



СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ: ПОКИДАЯ XX ВЕК

UNIVERSITAS TARTUENSIS

SLAVICA TARTUENSIA VIII

SLAVICA TARTUENSIA

VIII

UNIVERSITAS TARTUENSIS • TARTU UNIVERSITY
Department of Slavic Philology

SLAVICA TARTUENSIA VIII

**SLAVIC LINGUISTICS:
LEAVING THE XX CENTURY...**

FOR THE XIV INTERNATIONAL CONGRESS OF SLAVISTS
(OHRID, 10–16.09.2008)

Ed. by Alexandr D. Dulichenko

TARTU 2008

UNIVERSITAS TARTUENSIS
TARTU ÜLIKOOL • ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Slaavi filoloogia õppetool • Кафедра славянской филологии

SLAVICA TARTUENSIA VIII

СЛАВЯНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ: ПОКИДАЯ XX ВЕК...

К XIV МЕЖДУНАРОДНОМУ СЪЕЗДУ СЛАВИСТОВ
(ОХРИД, 10–16.09.2008)

Под ред. А. Д. Дуличенко

TARTU 2008

Редактор серии Slavica Tartuensia
Александр Дмитриевич Дуличенко

Редколлегия серии: Светлана Б. Евстратова (Tartu), Werner Lehfeldt (Göttingen), Валерий М. Мокиенко (С.-Петербург – Greifswald), Michael Moser (Wien), Наталья А. Нечунаева (Tallinn), Олег В. Никитин (Москва), Gerd Hentschel (Oldenburg)

Редакция серии Slavica Tartuensia: Estonia, 50090 Tartu, Näituse, 2–215, Tartu Ülikooli Slaavi filoloogia õppetool. Prof. dr. Alexandr D. Dulichenko.
Tel. 372/ 7 375 351; fax 273/ 7 376 352
E-mail: aleksd@list.ru, aleksander.dulitsenko@ut.ee

Статьи сборника прошли рецензирование.

В сборнике представлены доклады делегации Эстонии и участников тематического блока о славянских микроязыках на XIV Международном съезде славистов в Охриде; кроме того, опубликованы также статьи других авторов по общим вопросам славянского языкознания, по славянской лексикологии и фразеологии. Публикации касаются церковнославянского, русского, чешского, польского языков, а также славянских литературных микроязыков и экспериментов по их созданию — кашубского, помакского, банатско-болгарского, силезского, гуральского, карпаторусинского и др. К книге приложены сведения о Международном Комитете славистов (МКС): руководство и его почетные члены, фактические и адресные данные о национальных комитетах славистов, о комиссиях МКС, а также о членах Национального Комитета славистов Эстонии.

Авторские права: авторы статей и редактор, 2008
ISSN 1406–3522
ISBN 978–9949–11–938–7
Tartu Ülikooli Kirjastus/ Tartu University Press
Tartu, Eesti/ Estonia
www.tyk.ee

СОДЕРЖАНИЕ

1. Доклады делегации Эстонии

Н. А. Нечунаева (Tallinn). Минья: история текста и списков XI–XIV вв.	9
С. Б. Евстратова (Tartu). Диалекты и их значение в воссоздании фрагментов славянского мира (некоторые замечания об истоках славянской этнолингвистики)	24
Р. Э. Романчик (Tartu). К вопросу о стандартизации кашубского языка: между лингвистическим императивом и языковой практикой	33

2. Доклады по тематическому блоку «Малые славянские языки (микроязыки): статус, проблемы нормы и функционирования» (руководитель блока проф. др. А. Д. Дуличенко)

S. Gustavsson (Uppsala). Slavenski književni mikrojezici, regionalni jezici i manjinski jezici	54
А. Д. Дуличенко (Tartu). Статус и проблемы развития славянских микроязыков в контексте современной Микрославии	63
K. Steinke (Erlangen). Über Sinn und Unsinn der Kodifizierung von Kleinschriftsprachen. (Am Beispiel des Pomakischen, Kaschubischen und Banater Bulgarischen)	96
Ch. Voss (Berlin). Balkanische Kleinsprachigkeit — Mikroliteratursprachlichkeit?	107

M. Moser (Wien). Slavische Regional- und Minderheitensprachen auf dem Gebiet der Republik Polen	123
R. Marti (Saarbrücken). Вопросы кодификации и реформы правописания в микроязыках (на примере нижнелужицкого языка)...	154
М. Капраль (Nyíregyháza). Языковая ситуация в Подкарпатье 1938–1944 гг.	178
A. Czesak (Kraków) Sytuacja językowo-polityczna etnolektów górnośląskiego i podhalańskiego wśród (obok) słowiańskich mikrojęzyków literackich	196

3. Общие вопросы славянского языкознания

Ф. Д. Климчук (Мінск). Славянские этно-языковые пограничья	209
Д. Д. Шайбакова (Алма-Ата). Межкультурное взаимодействие в русскоязычном пространстве Казахстана	225
О. В. Никитин (Москва). Деловая письменность в перекрестке традиций XVIII в. (К вопросу о формировании национальной основы русского литературного языка)	244
А. Д. Дуличенко (Tartu). От «книжной справки» к «типологии рефлексии», или об общем славянском литературном языке	272
В. П. Щаднева (Tartu). К вопросу о лингвистическом статусе понятия «интенсивность»	291

4. Из славянской лексикологии и фразеологии

В. М. Мокниенко (Greifswald – С.-Петербург). Из истории фразеологических германизмов в чешском языке (культурологема <i>pověsit co nahřebík</i>)	314
И. В. Абисогомян (Tartu). Значение первых словарей эпохи чешского национального Возрождения и роль их авторов в процессе становления чешской лексикографии	322

И. Ю. Табакова (Tartu). Лексические сокращения в польской лексикографии	354
Л. В. Дуличенко (Tartu). Заметки о жаргонной этнонимии русского языка	364
Е. А. Малиновский (Самарканд). Об окказиональных отфразеологических неологизмах в русском языке последней трети XX в.	371
А. В. Штейнгольд (Tartu). Мантический компонент семантики русских паремий типа «Из одного места не одни вести»	379

5. Международный Комитет славистов (МКС)

Руководство МКС	393
Национальные комитеты славистов	393
Почетные члены МКС	398
Члены Национального Комитета славистов Эстонии (НКСЭ)	399
Международные комиссии при МКС	404

Наталья Алексеевна Нечунаева
Академия МВД (Таллин)

МИНЕЯ: ИСТОРИЯ ТЕКСТА И СПИСКОВ XI–XIV ВВ.

Гимнография – Минея – устав – рукопись – список – архаичные списки «первичной формации» – состав рукописи – структура текста – языковые разночтения.

Минсея является одним из самых важных памятников в истории славянских литературных языков. Исследование текста Минсеи, имеющего сложную и запутанную историю перевода, редактирования и бытования в средневековой книжной среде *Slavia Orthodoxa*, привлекает внимание различных специалистов в области медиавистики. Гимнографическое наследие славянской культуры находит, прежде всего, ярко выраженный издательский интерес. Минейный «бум», пользуясь лексикой масс-медиа, начался в 90-е годы и продолжается до сегодняшнего дня. Причин здесь две. Первая — ранее не опубликованные тексты всегда привлекали внимание исследователей: ведь в них могут быть найдены ответы на самые разные вопросы истории славянской книжности и славянских языков. Минсеи были пропущенным звеном в качестве источника такого материала. Вторая причина — это современные возможности издания памятника.

Назовем некоторые публикации списков Минсеи последних лет:

- I. Ильина книга, древнейший славяно-русский гимнографический сборник, традиционно называемый Минсея праздничная XII в. (СК 1984, № 76) (Верещагин 2006).

- II. Славянская служебная минея на май (см.: Манускрипт). В ней представлены древнерусские списки майской Миней, включающие пять рукописей XI–XIII веков, а также греческий текст Миней: 1) Служебная Минея на май (Путятинская Минея), XI в. (РНБ, Соф. 202), (СК № 21). Первые публикации рукописи Путятиной Миней были осуществлены в 1988–2003 годах (Мурьянов, Страхов 1988–2000; Щёголева 2001; Баранов 2003). 2) Служебная Минея на май, XII в. (ГИМ, Син. 166), (СК № 89). 3) Служебная Минея на май, XII в. (РНБ, Соф. 203), (СК № 90). 4) служебная Минея на май, XIII в. (РНБ, Соф. 204), (СК № 282). 5) Праздничная Минея (служебная на май), кон. XII–нач. XIII вв. (РНБ, Ф.п.1.25), (СК № 156). Первая публикация рукописи была осуществлена в 2001 году (Нечунаева 2001). В Сводном каталоге и в каталоге РНБ рукопись имеет шифр Q.п. 1.25.
- III. Помимо майских списков Миней в электронной версии (см.: Манускрипт) представлены списки: 1) служебная Минея на сентябрь 1095–1096 г. (СК № 7); служебная Минея на октябрь 1096 г. (СК № 8); служебная Минея на ноябрь 1097 г. (СК № 9); служебная Минея на апрель, XII в. (СК № 88). Впервые эти списки были опубликованы еще Ягичем (Ягич 1886); 2) служебная Минея на апрель, XI/ XII вв. (СК № 41). 3) Минея служебная на июнь (Минея Дубровского) (СК № 22). Ранее рукопись была опубликована в Германии российско-германской издательской группой (Минея Дубровского 1999).

Интерес к электронной версии Миней на май понятен: именно майская Минея XI–XIV вв. дошла до нас в наибольшем количестве списков (Нечунаева 2000, 26–30).

Первый вопрос, который обычно возникает у исследователей текста Миней: когда и где сделан перевод текста на славянский? Однако до сих пор он остается нерешенным по той причине, что в сохранившихся источниках, прежде всего в Житиях Кирилла и Мефодия, нет прямого указания на перевод ими гимнографических книг.

Под избранными службами церковными, о переводе которых сообщается в Пространном житии Мефодия (Климент Охридский 1973, 191), традиционно понимают отдельные тексты из праздничной Ми-

неи, перевод же служебных относят к деятельности Охридской школы (Станчев 1995, 331). Миней праздничная имеет более прозрачную историю, чем Миней служебная. Сверка славянских богослужебных книг с греческим оригиналом, проводившаяся в Восточной Болгарии в 886–893 гг., затронула гимнографические книги: праздничную Миней, Триодь постную, Триодь цветную, столп субботних служб из Октоиха. В Преславской книжной школе переводили на славянский четьи сборники, в том числе и четий вариант Миней. Древнейший вариант Миней четьи представлен в Супрасльской рукописи XI в., написанной на старославянском языке (СК № 23). Супрасльская рукопись представляет собой мартовскую Миней с 4 по 31 марта с гомилиями на некоторые подвижные праздники триодно-го цикла от Лазаревой субботы по Фомину неделю. Тексты, по-видимому, использовались не при богослужении, а в качестве внецерковного общего или индивидуального назидательного чтения.

Было выдвинуто предположение о том, что Климент Охридский составил общие минейные службы (Ангелов 1969, 237–259). Гипотеза основывается на сообщении греческого Пространного жития Климента о том, что он составил песнопения в честь множества святых. Был обнаружен акростих, принадлежащий Клименту, в тропарях в составе общих служб пророку, апостолу, святителю (Станчев, Попов 1988, 135–144, 189–210). С македонским этапом в развитии славянской гимнографии (894–916 гг.) связывают следующий порядок возникновения оригинальных текстов, написанных Климентом Охридским: сначала общие минейные службы «низшим» ликам святых, а затем текст полного славянского Октоиха. (Темчин 2004, 61–62). Местом перевода служебных миней назывались Моравия или Богемия:

«миней пришли в Россию из Моравии или Чехии или прямо, или через Болгарию. В них есть служба Вячеславу, князю Чешскому (ум. 935 г.), а туда они перешли из Константинополя через Студийский монастырь» (Сергий 1901, 31; см. также с. 211).

Называется также Восточная Болгария или Афон (Ягич 1886, ХСVII). Современные исследователи Миней все же связывают ее перевод с деятельностью Кирилла и Мефодия. Лингвистическим аргументом доказательства служит лексика древнейших списков, имею-

щая мораво-паннонское происхождение. Восточноболгарское редактирование текста рассматривается как дальнейший этап его бытования (Мулич 1970, 240–242).

Древнейшие дошедшие до нас списки Минеи древнерусские. Они датируются XI в.: новгородские служебные минеи 1095–1097 гг. (СК № 7–9), Путятина Минея (СК № 21), Минея Дубровского (СК № 22), Минея на март (отрывок) (СК № 20). Появление Минеи на Руси относится ко времени введения студийского устава после 1065 г. В результате сверки с оригиналом и правки по греческим образцам сложилась восточнославянская редакция богослужебных гимнографических книг, которая представлена в названных списках, кроме Путятиной Минеи.

Во второй половине XIV в. на Руси началась замена студийского устава на иерусалимский, распространившийся уже к тому времени в Византии, на Афоне и у южных славян. Традициям иерусалимского устава следуют старшие из сохранившихся южнославянских списков: Драганова/ Зографский трефологий Минея кон. XIII в. (СК № 356, 357); Добрианова/ Григоровичева Минея вт. пол. XIII в. (СК № 358, 359); Минеи праздничная февраль, апрель, май-август вт. пол. XIII в. ОГНБ 1/5 (Григ.) (СК № 360); «фрагмент от служебен миней за месец май XIV/ среда – трета четвѣрт» (95) Ottob. gr. 424 (Опис 1985, 187); сербская служебная Минея XIII в. с проложными чтениями — БАН 4.5.10 (СК № 281).

К русским спискам Минеи, соотнесенным с Иерусалимским уставом, относятся, например, Минея служебная, май, Кир/ Белоз., нач. XVI в. (РНБ); Минея служебная, май Mscr. 707, пер. чет. XVI в. (Печерский монастырь); Минея служебная, май, Mscr. 708, сер. XVI в. (Печерский монастырь).

При делении списков Минеи на студийские и иерусалимские обычно учитывают ряд признаков. Важнейшими из них являются состав рукописи, ее структура в соответствии с уставом и языковые чтения. Перевод, возникший в кирилло-мефодиевскую эпоху, отражен в студийских минеях. Он связан с так называемым переводом по методу ключевых слов. Более поздний перевод, максимально приближенный к оригиналу, представлен в иерусалимских списках памятника.

Однако среди древнейших списков выделяется группа рукописей, отличающаяся от общего корпуса текстов как по составу и структуре текста, так и по языковым чтениям. Некоторые параметры дают совпадения, а некоторые — отличия. Уже давно была замечена уникальность Путятиной Минеи и как памятника, и как списка. Сопоставление текста Путятиной Минеи с другими списками Минеи на май, а затем и на другие месяцы, позволило выделить особый архаичный тип памятника, состоящий из четырех древнерусских, четырех/пяти южнославянских и одного греческого списка:

Древнерусские списки:

- Путятина Минея XI в. (СК № 21);
- Служба Борису и Глебу из Июльской Минеи XII в. (СК № 42);
- Ильина книга — Минея праздничная XII в. (СК № 76);
- Триодь Моисея Киянина кон. XII–нач. XIII (СК № 170).

Южнославянские:

- Листок Гильфердинга и Листки Амфилохия, Минея праздничная, май-июнь кон. XII – нач. XIII вв. (СК № 156, 157);
- Глаголическая Минея библиотеки монастыря св. Екатерины на Синае № 4/N;
- Битольская Триодь вт. пол. XII в. София, БАН, № 38;
- Острожницкие отрывки, содержащие фрагменты канона св. Дмитрия Солунского XI—XII вв.

Греческий список:

- Триодь XI в. Vat. grec. 771.

В круг этих списков входит аналог Путятиной Минеи — Листок Гильфердинга, рукопись Q.п.І. 25 из собрания РНБ (СК № 156), совпадающая по структуре текста и лингвистическим чтениям со знаменитой рукописью. Этот же список является первым фрагментом книги, условно названной нами «Минея праздничная май-июнь конца XII – начала XIII в.». Второй фрагмент этой книги — Листки Амфилохия, рукопись Q.п.І.28 (СК № 157; Нечунаева 2001, 83–98). Рукопись Q.п.І. 25 уже стала предметом лингвистических исследований, после того, как была нами определена в качестве текста-аналога Путятиной Минеи (Баранов 2006, 109–122)

Листок Гильфердинга (рукопись входила в коллекцию А. Ф. Гильфердинга) — текст, написанный на пергамене, объемом в 1 лист, датируемый кон. XII — нач. XIII вв. По содержанию рукопись представляет собой отрывок из майской Минеи. Редакция рукописи считается среднеболгарской (СК № 156).

Рукопись содержит:

- 1) конец 2-го тропаря со слов же истачаеши рѣки 9-ой песни канона из службы 21 мая св. Царям Константину и Елене;
- 2) 4-ый тропарь Безъ начела весмѣрьтѣ црѣу: 9-ой песни канона 21 мая;
- 3) стихирѣ сѣти: гл҃а: д҃а: по даст змѣнение из той же службы;
- 4) начало седална ѿѣ г҃а по върѣ вѣи - Нови ти бѣ ддѣ.

Содержание рукописи установлено по Путятиной Минее, начало рукописи — по Минее служебной, май XII в., Син. 166 (СК № 89).

Листки Амфилохия (первые сведения о рукописи принадлежат архимандриту Амфилохию) — текст на двух пергаменных листах, который квалифицируется как отрывок из праздничной июньской Минеи, датируется кон. XII — нач. XIII вв. и идентифицируется с рукописью Q.п.I.25 — Листком Гильфердинга.

Содержание рукописи составляют отдельные тропари песен канона 11 июня св. Варнаве, начиная со слов варѣнаво славне: и поток пиш(...) и рѣко (...) | потѣче: Они чередуются с тропарями песен другого канона этого же дня, 11 июня, св. Варфоломею со слов пѣ · д҃а · пришествова(...). Низлѣжи (...) р(...) мѣ хвѣмь ограж(...) | вѣснаго шетаниѣ: После тропаря 9-ой песни канона св. Варфоломею пѣ · ѿ · бѣз начелѣ роу | Словеси сѣджителѣ: бѣ: самовидецѣ: оученикъ (л. 35 об.; с. 116) и тропаря 9-ой песни канона св. Варнаве Вѣрож память ти творимъ: следует стихира из службы Варфоломею сѣти: гл҃а · д҃а · Мрѣжеж словесѣ твоихъ: гласе апле: изъ гл҃авини:

Затем идет седален ѿѣ · гла · ѿ · по: прѣмьдрос(...) | Ждицеж словеси: изъвлачивъ ннѣ апле: мѣ от|вѣнакъ.

Далее помещен канон 14 июня свв. пророкам Илье и Елисею: Мѣца · юнѣ · д҃а · ба : сѣтима пророкома | илие елисею пѣ · д҃а : гл҃а · д҃а : въспож т и ги вѣ | Въспож ти ги вѣ мои: ѿко вѣвилъ еси на|мѣ.

Содержание Листков Амфилохия установлено по Минее служебной, июнь. XII в. Соф. 206 (СК № 92), Минее Дубровского XI в. (Минея Дубровского 1999, 63–153) и греческому тексту Минеи [MHNATA 1889, 263].

Листки Амфилохия, Минея праздничная, — книга, состоящая из текстов служб наиболее почитаемым святым и праздникам соответствующего месяца. Рукопись является июньским фрагментом праздничной Минеи со службами 11-го и следующего сразу же 14-го дня, каноны которых состоят из песен с одним тропарем каждому воспеваемому святому. Рукопись является образцом «краткого» варианта минейного текста, иначе называемого Минеей праздничной. Из всех разновидностей Минеи — праздничная, служебная, общая — Минея четья — праздничная содержит древнейший текст, относящийся ко времени первых переводов на славянский (Нечунаева 2000, 12–13). Праздничная Минея входит в круг служебных книг, перевод которых был осуществлен в кирилло-мефодиевскую эпоху.

Тремя основными параметрами для классификации рукописей Минеи являются состав рукописи, её структура и языковые чтения.

Состав рукописи, набор памятней (11 июня ап. Варфоломей и Варнава; далее следующий канон 14 июня прр. Илья и Елисей), — первый параметр, по которому классифицируются списки Минеи. Для листков Амфилохия он является доказательством отнесенности рукописи к Минее праздничной.

Второй параметр — структура текста. Сохранившиеся листы рукописи позволяют описать этот очень важный текстологический признак.

В жанровую структуру текста Минеи входят канон и малые песнопения — стихиры, седальны, светильны, икосы, кондаки. Центральное место в тексте отведено канону, по отношению к нему могут быть различные комбинации малых песнопений. Известны два варианта текстового расположения в Минее. Первый: седален (-льны) — кондак — икос — стихира(-ы) — канон (для списков, следующих студийскому уставу). Второй: стихира(-ы) — канон, прерываемый после третьей песни седальном, после шестой песни — кондаком и икосом (списки по иерусалимскому уставу). Кроме того, известен еще один вариант расположения песнопений: канон — сти-

хира(-ы) — седален(-льны). Его считают архаичным. Иерусалимский вариант соответствует порядку следования при службе, два других — жанровые. Порядок расположения песнопений — результат эволюции богослужебного ритуала и эволюции жанровой формы.

В листках Амфилохия текст расположен по архаичному варианту: 1) тропари из 9-ой песни канона; 2) после тропарей 9-ой песни канона св. Варфоломею и тропарей 9-ой песни канона св. Варнаве следует стихира из службы Варфоломею 3) далее следует седален.

Аналогичную текстовую структуру имеет и Листок Гильфердинга, содержащий майский фрагмент Минее: тропари 9-ой песни канона из службы 21 мая св. Константину и Елене со следующими далее стихирой и седальном.

Порядок следования песнопений в Листке Гильфердинга совпадает с их порядком в Путятиной Минее, именно он позволил нам отождествить текст этой рукописи с текстом Путятиной Минее (Нечунаева 1998, 329–340). Одинаковый порядок следования песнопений в Листке Гильфердинга и Листках Амфилохия — первое указание на то, что перед нами два фрагмента одной и той же книги.

Архаичный вариант расположения песнопений использовался, по-видимому, в самых ранних текстах и не имел широкого распространения, и тем ценнее рукописи, в которых он сохранился. Помещение канона на первое место свидетельствует о древности текста и встречается в ограниченном количестве гимнографических списков. Коллекция архаичных списков, сформированная по критерию расположения гимнографических жанров, представлена выше.

Практика обратного расположения текстов последований дня была известна на Руси в XI–XII в. Об этом свидетельствует текст Июльской Минее XII в., в котором оригинальный канон 8-го гласа мученикам Борису и Глебу в службе помещен на первое место. После него следуют три стихиры и седален. Служба Христине того же дня в этом списке имеет студийский порядок текста. Такой же принцип расположения текста на неделе о мытаре и фарисее использован в Триоди Моисея Киянина (СК № 170).

Острожницкие отрывки были найдены в Восточной Словакии в 1927 г. И. Панькевичем и переизданы им в 1957 г. (Панькевич 1957, 271–274), а затем ещё раз изданы Л. Матейко (Matejko 1995, 4–15). В

списке содержится часть канона 26 октября св. Дмитрию Солунскому, песни которого отличаются от песен канона св. Дмитрию. Он помещен в Новгородских минеях, его автором является Феофан (Ягич 1886, СХХV–СХХVII). Порядок следований песнопений Матейко называет «специальной структурой», известной только в древнейших списках.

В Триоди XI в. из криптоферратского монастыря (Vat. gres. 771) все службы сырной недели следуют в таком порядке: трипеснец — стихира — седален: Ετγῶσε· ἐν μέ δύο ληστῶν ~ Μεγάλα σχύει ἡδὺν ἄμυστου ~ Ανύψωσον εἰς κλησίῳν τέγας. По наблюдениям И. В. Ягича, подобного порядка следований нет в известных ему греческих списках:

«...мне не приходилось видеть ни одной греческой минеи, в которой было бы такое же расположение текста, каким отличается слав. Софийская минея за месяц май XI в., так называемая Путятина» (Ягич 1886, LXVII).

В двух случаях обратный порядок в структуре службы отмечается в оригинальных текстах — это службы Борису и Глебу (СК № 42) и Дмитрию Солунскому (Острожницкие отрывки). В Минее на апрель XII Син.165 (СК № 87) под 6-м апреля помещен канон Кириллу и Мефодию. Текст этой службы начинается с канона, хотя текст службы Евтихию того же дня начинается, согласно студийскому уставу, с седална, за которым следует стихира и только затем канон. Но список Син. 165 нельзя бесспорно включать в перечень списков «первичной формации», так как в структуре службы вообще не представлены песнопения малых жанров.

Все сохранившиеся июньские списки Минеи как служебные (СК № 22, 91, 92, 281), так и праздничные (СК № 176, 359, 360), имеют вариант текстового расположения песнопений, при котором канону предшествуют седалны и стихиры. Они относятся к студийским минеям, и среди них нет аналога расположения песнопениям в Листках Амфилохия.

Вариант последований песнопений, при котором канон прерывается после третьей и шестой песен, представлен во всех славянских списках, начиная с XIV в., в греческих списках отражен уже в XII в.

Порядок следования текста соответствует иерусалимскому уставу, минеи же традиционно называют минеями иерусалимской редакции.

Архаичное расположение песнопений обязательно связано с особым типом текста в минейном списке, отражающим своеобразную переводческую традицию. Соответственно в Путятиной Минее и в Листке Гильфердинга представлен текст, отличающий эти списки от списков, следующих студийскому уставу. Сопоставим текстовый фрагмент стихиры из службы 21 мая Константину и Елене по трем спискам майской Минеи. Путятина Минея и Листок Гильфердинга — тексты архаичной структуры, а в Соф. 204 (СК № 282) текст соответствует студийскому уставу: *млѣтвѣно съ|мотреникѣ прославѣ лѣакмѣ · їсѣ млѣтивѣи · спсѣ|дѣшѣ нашихѣ* (Путятина Минея) — *млѣрное: ѣмотрение тѣе славы: їсѣ въ|сѣмѣ* (Листок Гильфердинга) — *члѣколювче съ|мотреникѣ славимѣ · їс · млѣтѣ|вѣи · и спсѣ · дѣшамѣ нашимѣ* (Соф. 204)

Лексические варианты *млѣтѣно/ млѣрное* — *члѣколювче* показывают близость текста Путятиной Минеи и Листка Гильфердинга и их отличие от текста Соф. 204, имеющего студийское расположение песнопений. К оригиналу ближе Соф. 204. Лексическое чтение *члѣколювче* — греческая калька *φιλάνθρωπον*, допускающая в славянском тексте и другой перевод — *милостивѣи*: *зѣло сладко и милостивно* (*φιλάνθρωπος*) (Срезневский 1989, II, 136). Это чтение представлено в Путятиной Минее: *млѣтѣно*. Второй член разночтения *млѣтѣно/ млѣрное* может быть как передачей греческого *φιλάνθρωπον*, так и греческого *εὐσπλαγχνον* (Срезневский 1989, II, 138–139 s.v. *милосърдик, милосърдѣи*).

Взаимосвязь между структурой текста и его языковыми чтениями прослеживается в и Листках Амфилохия. Архаичное расположение песнопений поддерживается лексическими чтениями, отличающими эту рукопись от списков студийских июньских миней: *ти бѣво вѣсно жити сподовисѣ* (Листки Амфилохия) — *ты бо въ їстиноу жити сподовисѣ* (Минея Дубровского) — *ты бо въ їстиноу жити сподовисѣ* (Соф. 206).

Листок Гильфердинга и Листки Амфилохия имеют общую структуру текста — принцип расположения песнопений, отличающую их

от миней студийской и иерусалимской редакций, и текстовые чтения, не совпадающие с чтениями в минеях студийской редакции. Самым важным показателем оказывается структура службы. Названные рукописи — майский и июньский фрагменты одной книги — Минеи праздничной архаичного типа. Палеографические и лингвистические данные только подтверждают эти наблюдения. Например, висячая строка, одинаковое написание многих букв (з, ѓ, ѣ, ш); ж на месте дифтонгического сочетания с носовым (Оржиѣ); є на месте ѧ (начела, зачело); неразличение ѣ и ѥ, с преобладающим написанием ѥ (вьсѣхъ).

Единые палеографические черты и фонетико-графические приметы двух рукописей говорят о том, что они листы одной книги, которая по этим данным вписывается в круг среднеболгарских рукописей XII–XIII в.

В архаичных минеях представлен и первичный этап формирования служебной терминологии. Сохранение греческой лексики, имеющей славянские соответствия в студийских списках, свидетельствует о древности перевода названных списков. Употребление лексемы *Метарси* ‘высокий’ связано только с Путятиной Минеей. Во всех хронологически последующих списках Минеи на май XII–XIV вв. лексема имеет вариант *прѣвысокъ*. Эти наблюдения подтверждены данными словаря Срезневского.

Сохранение греческой лексики *Μετάρσιος* в славянском списке — типологическая примета древности перевода, а ее замена на славянскую лексему в других списках — одно из доказательств нового перевода и нового типа текста, в них представленного. Тяготение к использованию грецизмов на фоне их славянских эквивалентов отмечено в Листке Гильфердинга. Грецизм *олѣи* употреблен в списке с архаичным порядком песнопений, его славянский эквивалент *масло* — во всех студийских списках.

Всякий порядок текста рукописи, который не соответствует порядку в службе, архаичен для соответствующей эпохи. Так, для XI–XIII вв. архаичный текст, или его фрагменты, содержится в 10-ти установленных древнерусских, южнославянских и греческих рукописях. Основной корпус списков этой эпохи — студийские списки со своими закономерностями текста и языка.

Изменения в составе, структуре и языке Минеи при переходе в XIII–XIV вв. от студийского устава к иерусалимскому были велики и привели к сокращению памятника и его унификации. Поэтому все поздние списки Минеи единообразны по основным текстологическим параметрам и языковым чтениям. Тогда как на раннем этапе, в XI–XIII вв., еще не установившийся до конца единый стандарт породил разнообразие списков в отношении состава, структуры и языка. Отсутствие установившегося стандарта было одной из причин появления архаичных списков «первичной формации». Дальнейшая история бытования списков Минеи связана с распространением иерусалимского устава и появлением сначала списков, совмещающих признаки студийского и иерусалимского типов, а затем списков, соотнесенных с иерусалимским уставом.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1. Рукописные хранилища

БАН — Библиотека Российской Академии наук (Санкт-Петербург)
 БАН, София — Българска академия на науките (София)
 ГИМ — Государственный исторический музей (Москва)
 ОГНБ — Одесская государственная научная библиотека (Одесса)
 РНБ — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
 Vat. — Ватиканская библиотека

2. Источники

РНБ Соф. 202 — Минея служебная май (Путятина Минея) XI в.
 РНБ Соф. 203 — Минея служебная май XII в.
 РНБ Соф. 204 — Минея служебная май XII в.
 РНБ Соф. 206 — Минея служебная июнь XII в.
 РНБ Q. п. I.25 — Минея праздничная май кон. XII в. — нач. XIII в.
 РНБ Q. п. I. 28 — Минея праздничная июнь кон. XII в. — нач. XIII в.
 РНБ Кир/Белоз. 361/618 — Минея служебная май нач. XVI в.
 ГИМ Син. 166 — Минея служебная май XII в.
 ГИМ Син. 165 — Минея служебная апрель XII в.
 БАН 4.5.10 — Минея служебная май – июнь XIII в.
 ОГНБ 1/5 — Минея праздничная февраль, апрель, май, август вт. пол. XIII в.

Псково-Печерский монастырь Mscr. 707 — Миней служебная май пер. четв. XVI в.

Псково-Печерский монастырь Mscr. 708 — Миней служебная май сер. XVI в.

ЛИТЕРАТУРА

- Ангелов 1969 — Б. С. Ангелов. *Климент Охридски — автор на общи служби*. Константин — Кирилл — Философ: Юбилеен сборник по случаю 1100 годишнината от смъртта му. София, 1969.
- Баранов 2003 — *Путьятина миней. Текст, исследования, указатели*. Изд. подготовили В. Баранов, В. Марков. Ижевск, 2003.
- Баранов 2006 — В. Баранов. *Грамматические разночтения в списках славянской служебной Миней: архаика и инновации*. Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн И. Харалампиев. Велико Търново, 2006, с. 109–122.
- Верещагин 2006 — *Древнейший славянский богослужебный сборник «Ильина книга». Факсимильное воспроизведение рукописи. Билинейно-спатическое издание источника с филолого-богословским комментарием*. Подгот. Е. М. Верещагин. Москва, 2006.
- Климент Охридский 1973 — Климент Охридски. *Събрани съчинения*. Т. 3. София. 1973.
- Манускрипт — *Манускрипт. Древние славянские памятники*. Веб-ресурс: <http://manuscripts.ru>.
- Matejko 1995 — L. Matejko. *K určeniü, interpretácii a datovaniu Ostrožnických zlomkov*. Slavica Slovaca, Bratislava, 1995, 30, s. 4–15.
- МННАΙΑ 1889 — *МННАΙΑ ΤΩΝ ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ*. EN ΡΩΜΗ, 1889.
- Миней Дубровского 1999 — *Das Dubrovskij-Menäum*. Edition der Handschrift F. n. I 36 (RNB) besorgt und kommentiert von M. F. Mur'janov. Hrsg. H. Rothe. Opladen/ Wiesbaden, 1999.
- Мулич 1970 — М. И. Мулич. *К вопросу о художественном мастерстве в древнейших славянских переводах служебных Миней*. Симпозиум 1100 годишнина од смртта на Кирил Солунски. 1. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 1970, с. 239–256.
- Мурьянов, Страхов 1988–2000 — *Путьятина Миней на май*. Подготовка текста и параллели М. Ф. Мурьянова; ред., пред. и комм. А. Б. Страхова. Palaeoslavica, Cambridge/ Massachusetts, 1998–2000, VI–VIII, р. 114–208, 136–217, 132–221.

- Нечунаева 1998 — Н. А. Нечунаева. *Майская Миня и рукопись Q.n.I.25 из собрания А.Ф. Гильфердинга. Русь и южные славяне. Сборник статей к 100-летию со дня рождения В. А. Мошина.* Санкт-Петербург, 1998, с. 329–340.
- Нечунаева 2000 — Н. Нечунаева. *Миня как тип славяно-греческого средневекового текста.* Таллинн, 2000.
- Нечунаева 2001 — Н. Нечунаева. *Два фрагмента среднеболгарской Минеи праздничной архаичного типа.* *Palaeoslavica*, Cambridge/ Massachusetts, 2001, IX, p. 83–98.
- Опис 1985 — *Опис на славянските ръкописи във Ватиканската библиотека.* София, 1985.
- Панькевич 1957 — И. Панькевич. *Острожницкие пергаменные отрывки Минеи XI–XII вв.* *Byzantinoslavica*, Praha, XVIII, 1957, s. 271–274.
- Сергий 1901 — Сергей. *Полный месяцеслов востока.* Т.1. Владимир, 1901.
- СК — *Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв.* Москва, 1984.
- Срезневский 1989 — И. И. Срезневский. *Словарь древнерусского языка.* Т. I–III. Москва, 1989.
- Станчев, Попов 1988 — К. Станчев, Г. Попов. *Климент Охридски. Живот и творчество.* София, 1988.
- Станчев 1995 — К. Станчев. *Климент Охридски. Кирило-методиевска енциклопедия.* Т. 2. София.
- Темчин 2004 — С. Ю. Темчин. *Этапы становления славянской гимнографии (863–ок. 1097 гг.).* *Славянский мир между Римом и Константинополем.* Москва, 2004, с. 53–94.
- Щеголева 2001 — Л. И. Щеголева. *Путьмина Миня (XI век) в круге текстов и истолкований.* Москва, 2001.
- Ягич 1886 — И. В. Ягич. *Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям 1095–1097 годов.* Санкт-Петербург, 1886.

Menea: XI–XIV sajandi tekstide ja käsikirjade ajalugu
Natalia Netšunajeva

Artiklis kirjeldatakse Menea käsikirju. Menea on XI–XVI sajandi slaavi-kreeka jamalateenistuse ja lauluraamat, mis sisaldab pühakute ülistusi või kirikupühade tekste, mis olid jaotatud päevade kaupa igal kuul. Esmakordselt tõlgiti nimetatud

tekste kreeka keelest Kirillose ja Methodiose ajastul. Iga Menea käsikiri on teadustöö unikaalne uurimisobjekt. Uuritud tekstide korpus sisaldab vene, bulgaaria, serbia ja kreeka käsikirju XI–XIV sajandist. Kasutades lingvistilist tekstide analüüsi meetodit, tehti kindlaks käsikirjade tüpoloogia ja spetsiifilised lingvistilised variandid.

Autor tuvastas Putjatina Menea ja Maikuu Menea käsikirja RNL Q.п.I.25 (Gilferdingi käsikiri) tüpoloogilise ja lingvistilise ühtsuse. Autor tegi kindlaks, et Maikuu Menea käsikiri RNL Q.п.I.25 ning Juunikuu Menea käsikiri RNL Q.п.I.28 (Amthilohiose käsikirjad) on ühe raamatu fragmendid, milles on esindatud arhailist tüüpi menea tekst.

Светлана Борисовна Евстратова
Тартуский университет

**ДИАЛЕКТЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
В ВОССОЗДАНИИ ФРАГМЕНТОВ СЛАВЯНСКОГО МИРА
(НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ
ОБ ИСТОКАХ СЛАВЯНСКОЙ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ)**

Славянская этнолингвистика – воссоздание фрагментов славянского мира – монография А. С. Будиловича «Первобытные Славяне» (1878) – роль диалектного материала

Славянская этнолингвистика опирается на объемный материал, одним из составляющих которого являются диалекты и говоры. Еще в XIX в. А. С. Будилович одним из первых понял важность диалектного материала как источника для изучения жизни древних славян, посвятив этим вопросам обе свои диссертации, в т. ч. защищенную в качестве докторской первую часть задуманного большого сочинения по славянской «лингвистической палеонтологии» — «Первобытные Славяне въ ихъ языкѣ, бытѣ и понятіяхъ по даннымъ лексикальнымъ. Изслѣдованія въ области лингвистической палеонтологіи Славянъ» (Кіевъ, 1878). В то время диалектология как наука не имела еще четких очертаний, хотя в середине XIX в. в русском обществе пробуждается широкий интерес к жизни народа, его быту, обычаям — и, как следствие, меняется и отношение к диалектам, которые еще в первой половине XIX в. рассматривались некоторыми учеными как искажение литературного языка. В 1852 г. Академией наук был издан сохраняющий значение и до нашего времени «Опыт областного великорусского словаря» — сводный словарь русской диалектной лексики.

«В этнографических исследованиях, многочисленных протоколах заседаний и отчетах Второго отделения Академии наук и ученых обществ отражается кропотливая работа многих собирателей-любителей, присылавших в Академию, в Русское географическое и другие общества рукописные собрания слов, которые часто в значительной степени дополняли печатные словари» (Библиографический указатель 1954, 9).

Достаточно назвать здесь словари местных слов Архангельской губернии, составленные Н. Борисовым (1844) и П. С. Ефименко (1868), Ярославской губернии — А. Преображенского (1853), Сибири — С. Гуляева (1848) и др.

В изменении отношения к народной речи большую роль сыграл «Толковый словарь живаго великорусскаго языка» В. И. Даля, впервые вышедший в 1863–1866 гг. и с тех пор неоднократно переиздававшийся. Будилович ссылается в основном на этот словарь как на «самый обширный и надежный изъ русскихъ словарей», а также на «Словарь бѣлорусскаго нарѣчія» И. И. Носовича (1870), «Словарь малороссійскихъ идіомовъ» Н. Закревского (1861) и рукописный «Славянорусскій словарь» священника Петрушевича: как известно, украинский и белорусский языки в соответствии с представлениями того времени были представлены на карте в виде наречий русского (великорусского) языка. Будилович отмечает:

«Очень возможно, что многія изъ этихъ областныхъ параллелей окажутся, при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ, восходящими къ древнимъ или даже первобытнымъ эпохамъ жизни нашего языка» (Будилович 1878, 8).

При этом в «Библиографическом указателе литературы по русскому языкознанию 1852–1880» рассматриваемая диссертация А. С. Будиловича помещена в раздел «Старославянский и церковнославянский язык. История возникновения старославянской письменности. Изучение фонетики, грамматического строя и словарного состава старославянского и церковнославянского языка» с комментарием:

«Исследование о происхождении и о времени образования около 2000 слов, общих всем славянским языкам. Установление общих семантических классов славянской лексики. Характеристика фонетических примет слов, заимствованных славянскими языками из других, не славянских языков. Характеристика состава и замечания о месте возникновения церковнославянского языка. Во Введении — аннотирован-

ный список трудов по славянской филологии (36 названий)» (Библиографический указатель 1955, 191–192).

Мы попытаемся определить скрытый, на первый взгляд, подход автора к описанию материала. Исследователь не всегда отмечает локальную маркированность слов; состав же рассматриваемых им локально-говорных элементов очень разнообразен и отражает многие говоры. Покажем это на материале русских говоров, примененном к словам со значением «природные явления», — *дождь*, *смерч*, *мгла*, *снѣгъ*, *болото*:

Таблица № 1

	дождь	смерчъ	мгла	снѣгъ	болото
вологод., арханг.	<i>бусъ</i>				
рязан.	<i>ситникъ,</i> <i>морось</i>		<i>мжица,</i> <i>невзгода</i>		<i>вязь</i>
северн.	<i>ситуха</i>			<i>слудъ,</i> <i>служъ</i>	
vladimir.	<i>парось</i>				
арханг.	<i>левень</i>			<i>вталь,</i> <i>наслудъ</i>	<i>лыва</i>
костром.	<i>лева</i>	<i>сикавица</i>			<i>дрягва</i>
новгород.	<i>налой</i>				<i>зыбень,</i> <i>зыбунъ</i>
псков.	<i>ливникъ</i>	<i>сикавица</i>	<i>памжа</i>	<i>насть</i>	<i>мишара</i>
твер.		<i>насосъ</i>			

Как видно из таблицы, обильнее всего материал говоров представлен в статьях «Дождь» и «Болото», причем некоторые лексемы часто связывают несоседние говоры: рязан. *ситникъ* — северн. *ситуха*, арханг. *левень* — костром. *лева* — псков. *ливникъ* и под. До десятка приведенных диалектных соответствий к *дождю*, их нередко прозрачная внутренняя форма [*ливникъ* ← (про)ливной ← *лить* (о дожде) и под.] рисуют достаточно детальную картину русского мировосприятия.

А. С. Будилович отмечает, что письменные памятники славянского языка охватывают лишь часть «лексикального материала, хранящегося в народной памяти; ключъ для входа въ священныя палаты славянскихъ древностей находится въ живой памяти славянскихъ народовъ, во взаимныхъ отношеніяхъ ихъ нарѣчій» (Будилович 1878,

7). Приводя областные языковые параллели, ученый во второй, историко-этнографической, части интерпретирует полученные данные, связывая их с мифологией и культурой древних славян и воссоздавая таким образом фрагменты славянского мира. Так, описывая лексическую доминанту *дождь*, исследователь приводит следующие областные названия: серб. *киша* 'Regen' (Вукъ), хорв. *kisica* 'pluvial' (Стул.); рус. *бусь*, *ситникъ*, *ситуха*, *морось*, *парось*, *мясичка* 'мелкій дождь' (Даль); серб. *измаглица* 'Nebelregen' (Вукъ); хорут. (= словен.) *peršavica* 'Staubregen' (Янежичъ); рус. *ливень*, *лева*, *налой* 'проливной дождь' (Даль), пол. *ulewa* 'Regenguss' (Б. Арк.); малорус. *плюта*, *плюха* 'долгій дождь' (Петруш.), серб. *пљусак* 'Platzregen' (Вукъ), хорут. *pljuskavica* 'Regenguss' (Янежичъ), *ploha* 'Platzregen' (ib.), *pliš*, *plišovina* 'Strichregen' (ib.); словац. *priwal* 'Schlagregen' (Бернолакъ), чеш. *přival* 'id.' (Ранкъ).

Следует отметить, что многие из приведенных в диссертации Будиловича диалектных названий дождя содержатся в «Толковомъ словарѣ живаго великорусскаго языка» В. И. Даля. К ним относятся: *бусь* или *бусенець* (влгд., арх., прм., сиб.), *ситникъ*, *морось*, *мжица* (ряз.) как 'самый мелкій дождь при ненастьѣ; мокрый, ниспадающій туманъ въ безветріе' (Даль 1989, I, 145), *парось* как 'мельчайший дождь' (Даль 1982, III, 19). В списке диалектных обозначений дождя Будилович не дает слова *чичерь* (тул., тмб., орл., ряз.), которое может также употребляться для обозначения резкого, холодного осеннего ветра с дождем, иногда и со снегом (Даль 1991, IV, 609). Можно предположить, что исследователь не делает этого из-за размытой семантики слова и его неясной этимологии, но почему в этом случае не приводятся такие этимологически прозрачные названия, как *косохлестъ* и *подстега* (Даль 1981, I, 452)? Зато приводятся слова *лева* (кстр.) — 'вода, потокъ, ливень' (Даль 1989, II, 242); *ливень* и *ливникъ* (пск.) — 'проливной дождь, самый сильный, а если онъ продолжителенъ, то заливной' (Даль 1989, II, 256); *налой* (нвг.) — 'проливной дождь, ливень, особенно при колошеніи хлѣба, который отъ этого ложится' (Даль 1989, II, 435). Можно предположить, что Будилович избирательно включает в описываемый им материал прежде всего слова с прозрачной внутренней формой, помогающие воссоздать картину мира носителей русского языка, о чем будет сказано ниже. В задачи исследователя не входит представление исчерпыва-

ющего перечня диалектных наименований со значением «дождь», для него важно подчеркнуть значимость диалектизмов при реконструкции быта первобытных славян.

Областные названия к лексеме *снѣгъ* состоят из следующих наименований: рус. *насть* 'отвердѣвший талый снѣгъ' (Даль, ср. § 17, 3), *вталь*, *слудъ*, *слузь*, *наслудъ*, *наслузь*, *наледь* 'id.' (Даль), *на́ропъ* 'мелкій снѣгъ, хрустящий подъ полозьями' (Носов.); хорут. *Skrapa* 'Schneerinde' (Янежичъ), *кепа* 'Schneeball' (ib.); серб. *смет* 'nives conflatae in unum locum' (Вукъ); пол. *porosa*, *porosza* 'erster Schnee' (Б. Арк.); ср. рус. *на́рось* (§ 18, 1).

Связывая приведенные наименования с фрагментами славянского мира, А. С. Будилович пишет:

«Праславянамъ хорошо были знакомы всѣ три формы метеорологическихъ осадковъ: *дождь* (§ 18, 1), *снѣгъ* (§ 18, 2) и *градъ* (§ 18, 3). Наибольшимъ числомъ мифовъ сопровождаются явленія дождя, этихъ слезъ неба (Аѳан. I, 167 и въ др. Мѣстахъ, см. указ.) и молока облачныхъ коровъ (ib. I, 296, см. указ.); но и снѣгъ, и градъ появляются, хотя и рѣже, въ системѣ славянскихъ мифовъ (Аѳан. см. указ.). Изъ этого можно сдѣлать историческое предположеніе, что Праславяне занимали страну, гдѣ дожди составляютъ преобладающую, но не единственную форму воздушныхъ осадковъ, что соотвѣтствует не тропическому поясу исключительныхъ дождей, или полярному — снѣговъ, а умѣренному поясу переменныхъ осадковъ, съ перевѣсомъ дождевыхъ (ср. Кл. 776, 794)» (Будилович 1878, 280).

Сравним перечисленные в диссертации Будиловича названия с данными словаря Даля: *слудъ* и *слузь* (сев.) — 'тонкий слой льда', 'снѣгъ, обмерзшій сверху' (Даль 1982, IV, 224); *вталь* (арх.) — 'тонкій черепъ по рыхлому снѣгу, послѣ оттепели и новаго мороза' (I, 272); *насть* (кстр., ярсл.) — 'осѣвший, послѣ оттепелей, отвердѣвший отъ морозовъ снѣгъ, подымающій чело́вѣка, а иногда и лошадь' (I, 477); *наслузь*, *наслудъ* — 'наледь, наводь, вода, выступившая по рѣкѣ сверхъ льду' (II, 470 – 471); *наледь* (пск.) — 'гололедь, гололедица, намерзшій слой на землѣ ледъ; черепъ, кора; ледяной слой на выступившей посверхъ льду водѣ, наслудъ, наслузь' (II, 433).

При этом в работе А. С. Будиловича не фиксируются такие имеющиеся в словаре Даля областные названия снега, как *рядна* (арх. ол.), *лепень* (арх. пск.), *ляпа*, *дряба*, *чадега*, *вялица*, *кура*, *хурта* (сиб., кур), *буранъ* (вост.), *блестка*, *убродъ* и др. (Даль 1982, IV, 249) —

вероятно, отчасти из-за скрытой внутренней формы этих наименований, но и по причине отсутствия необходимости полностью дублировать материал, приведенный в словаре Даля. Используя в своих описаниях диалектизмы, Будилович направляет в данное русло мысль читателя, постепенно подводя его к воссозданию условий жизни древних славян.

Областные названия к лексеме *болото*: 'ц. слав. *ломь* 'lacus paludosus' (L. P.); Фикъ сближает его съ лат. *la(c)ta*, *lacunab* и лит. *Lekmene* 'Sumpf' (W. II, 215, 647), а Миклошичъ производит *ломь* от *ломати*, указывая на аналогию нѣм. *Bruch* отъ *brechen* (L. P.); далѣ: ц. слав. *моузъ, моузга* 'lacuna' (ib.), ср. хорут. (= словен.) *mozga* 'Lache' (Янежичъ), *тиѣа* 'Sumpf' (ib.); ц. слав. *обрасль* 'palus' (ib.); рус. *ляга, лыва, лива*, 'колдобина ямина съ водою' (Даль), *бочага* 'лужа' (ib.), *топь, топель* 'вязкое мѣсто, болото' (ib.), *топина* 'id.' (ib.), *алѣсь* 'топь' (ib.), *вязь* 'id.' (Носов.), *нажда* 'топкое мѣсто' (ib.), *мишара* 'мшистое и болотистое мѣсто' (ib.), *трясина* 'зыбунъ, наплавное болото' (Даль), ср. словац. *Trasidlo* 'Sumpf' (Бернолакъ), чеш. *třasavidlo* 'Moorgrund' (Ранкъ); рус. *дрегвѣ* 'трясина въ болотѣ' (Носов.), ср. рус. *дрегвѣ, дрягвѣ* 'студень, холодецъ' (Даль), хорут. *Dergnovina* 'zusammengeschaufelter Koth' (Янежичъ); рус. *зыбень, зыбунъ* 'трясина, болото' (Даль), ср. хорут. *zibi* 'Moorland' (V.Gr. II, 20), *ozibi* 'morastige Gegend' (Янежичъ); рус. *баюра* 'Sumpf, Koth' (Петруш.), ср. пол. *bajor, bajoro* 'seihter Sumpf' (Б. Арк.); болгар. *rjol* 'лужа' (Каравел.); ст. серб. *кольць* 'palus' (Дан.), новосерб. *сплака* 'lacuna' (Вукъ), *плошта* 'palus' (ib.), *савуља* 'id.' (ib.), *мура* 'lutum' (ib.), ср. хорут. *murja* 'Moor' (Янежичъ): по Миклошичу отъ итал. *Moria* (Fremdw.); хорв. *bereg, berechina* 'palus, stagnum' (Стул.), хорут. *berečina* 'sumpfiger Ort' (Янежичъ); хорут. *cekla* 'Morast' (ib.); словац. *slim* 'bahno' (Юнгманъ), отъ нѣм. *Schleim*? Словац. *kalisčo* 'lacuna' (Бернолакъ, ср. § 28, 2; 29, 2); чеш. *uvar* 'Nassgalle, Brachland' (Ранкъ)» (Будилович 1878, 34 – 35).

Воссоздавая фрагмент славянского мира, связанный с отношением к воде, исследователь отмечает, что если предания о потопе играют видную роль в мифических представлениях многих народов, то болото издавна известно в славянских мифах как чертово жилище, а для русского областного *дрегва* 'трясина в болоте' есть аналогия в племенном названии *Дреговичи*, которое встречалось на Руси, во

Фракии, Македонии и Полабии, что означает глубокую архаичность данного слова для русского языка (Будилович 1878, 284).

Отсылая читателя к словарю Даля, Будилович приводит в своей диссертации лишь часть диалектных названий болота, зафиксированных в словаре живого великорусского языка, и не отмечает локальной маркированности таких диалектизмов: *бочага* или *мочага* (сев.), *бочагъ* (мск., твр., ярс., ниж.) 'глубокая лужа, колдобина, ямина, залитая водою' (Даль 1989, I, 120); *дрягва* (смл.) 'болото, зыбунь, трясина' (Даль 1989, I, 494); *лива*, *лыва* — 'лужа, поймочикъ, застойная вода на пашнѣ' (Даль 1989, II, 256); *лыва* (сев.) — 'лужа', 'мочежина (*лива*, *лить*)', полой отъ дождя, разлива, родниковъ' (Даль 1989, II, 275); *ляга* (сиб.) — 'мочижина съ лывами, болото, менѣ топкое, чѣмъ согра, ногра' (Даль 1989, II, 285). Помимо перечисленных наименований, В. И. Даль приводит диалектизмы с очень прозрачной внутренней формой: *топка* (твр., пск.) (Даль 1991, IV, 416); *трясина*, *трясунъ* (?) (IV, 439); *зыбунъ* (?), *зыбень* (нвг.) (1989, I, 697); *ходунъ*, *ходень*, *ходель* (пск.) (1991, IV, 557); *согра* (влгд., арх., прм., сиб.) (IV, 259); *слотина* (?) (IV, 223); *ряса* (IV, 126); *болотня* (пск.) (1989, I, 110); *вязь* (ряз.) (I, 338); *кочкарникъ* (1989, II, 181); *мочлявина* (пск.), *мочака* (кур.) (II, 353) и др. Вместе с тем в словаре Даля отсутствует диалектное название болота *алѣсь*, приведенное в диссертации Будиловича (Будилович 1878, 34). Подробное описание диалектного материала не являлось задачей Будиловича, но, даже избирательно включая его в свою работу при описании быта и условий жизни древних славян, исследователь подчеркивает необходимость привлечения примеров из живого великорусского языка.

Смерчъ. А. С. Будилович приводит соответствующие диалектные наименования данного природного явления и таким образом пытается определить значение описываемой лексемы, стремясь связать его с языковой картиной мира славян: ц.-слав. *сопоухъ* 'siphon' (L. P.), ср. чеш. *sopouch* 'Brennloch, Ofenloch' (Ранкъ); «ц. слав. *сикавица* 'nubes fluviosa' (L. P.), рус. *сикавица* 'насосъ, водяной смерчъ' (Шимк., Даль), ср. пол. *sikawka* 'Spritze' (Б. Арк.); болгар. *смукъ* 'trouble marine, siphon' (Богоровъ)» (Будилович 1878, 14).

В словаре В. И. Даля приведено единственное диалектное название смерча — *сикавица*, и то подается оно с вопросительным знаком: *сикать*, *сикнуть* (пск., кстр.) 'брызнуть, пускать воду струей, брыз-

гами' <...> *сикавица*, 'насосъ, большая сикалка'. || 'Водяной смерч'? (Даль 1982, IV, 184).

На основании приведенных параллелей Будилович делает вывод о том, что понятие о газообразной жидкости, окружающей землю, не было чуждо первобытным славянам, а мифическое олицетворение *воздуха, ветра, вихря, смерча и бури* отражает взгляд на сходство животных и движений атмосферы (Будилович 1878, 278).

Описывая значение лексемы *мгла*, ученый указывает на наличие сходства в происхождении данного слова и областных русских названий этого природного явления: *мга*, *мжица* 'мелкий дождь' (Даль), *пóмоха* 'мгла, туманъ' (ib), *памжа* 'невзгода' (Даль) (Будилович 1878, 15). По мнению Будиловича, такие метеорологические явления, как *пар*, *мгла*, *роса*, *иней*, *тучи*, были замечены славянами и названы соответствующим образом уже в праславянское время, и почти каждое из них легло в основу разных мифических представлений и образов: так, *пар* уподобляется душе, *мгла* изображается мочою тучи, а *роса* — слезами зари (Будилович 1878, 278).

В словаре Даля *мгла* определяется как 'помраченье воздуха, испаренья, сгущающія воздухъ, дѣлающія его тусклымъ, мало прозрачнымъ; сухой туманъ, дымъ и чадъ, нагоняемые въ засухи отъ лѣсныхъ паровъ' и имеет такие не приводимые Будиловичем диалектные названия, как «*ряз.*, *твр.* *медуница*, *медянка*, *ржа*; по *суевѣрью*, 'вредная роса'». Далее мы встречаем «*Мга* *кал.* *тул.* *кур.* 'мгла; сырой, холодный туманъ'. *Мга пала, листъ побила*; || 'мжица, ситничекъ, бусъ, мельчайшій дождь, какъ въ рядно' (см. *мжитъ*)» (Даль 1981, II, 311), а также *мга*, *мжица*, *мжичка* (*кал.* *вят.*) (II, 324), *памжа* (*зап. пск.*) (1982, III, 14).

В XIX в. было распространено мнение о том, что в языке реальные только изоглоссы отдельных диалектных явлений и нет целостных территорий языковых общностей, — этим, вероятно, обусловлен используемый Будиловичем подход к описанию диалектных наименований, при котором некоторые лексемы часто связывают несоседние говоры. У исследователя недостаточно полно развернут диалектный материал, однако он чувствует, что именно в этом направлении следует идти, указывая на диалектизмы как на один из источников историко-этнографического отдела, в котором он воссоздает некоторые фрагменты славянского мира.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

- Библиографический указатель литературы по русскому языкознанию 1825–1880.* Вып. 2–3. Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1954–1955.
- Даль В. *Толковый словарь живого великорусского языка.* I–IV. Москва: Русский язык, 1981–1982.
- Русская диалектология.* Под ред. Л. Л. Касаткина. Москва, 2005.

**Dialektid ja nende tähendus slaavi maailma fragmentide taasloomisel
(mõningaid märkusi slaavi etnolingvistika lätetest)**

Svetlana Jevstratova

Tänapäeva etnolingvistika on slaavlaste vaimukultuuri uurides kogunud mahuka materjali, mille üheks osaks on ka dialektid. Ühena esimestest mõistis slaavi keelte ja dialektide, kui muistsete slaavlaste elu uurimise allika, kontrastiivse uurimise tähtsust Anton S. Budilovitš, kes pühendas slaavi lingvistika ja etnolingvistika küsimustele oma väitekirjad. Eelpool nimetatud uurimustööd pälvisidki antud artikli autori tähelepanu. Dissertatsioonide kirjutamise ajal huvitusid teadlased enamajaoalt rahva vaimuelu allikatest ning kuigi koguti ka materjali dialektoloogias, ei olnud sellel teadusel kindlaid piirjooni.

Artikli autori eesmärgiks on esitada konkreetne formuleering Budilovitši esmapilgul varjatud lähenemisele kogutud materjali kirjeldamisele. Tema poolt vaadeldavate lekseemide koosseis on väga mitmekesine ning peegeldab paljusid tänapäeva dialektoloogia poolt eristatavaid murrakuid. Seda on illustreeritud loodusnähtusi kirjeldavate sõnadega: *дождь* vihm, *смерч* 'tromb', *мгла* 'pimeuds', *снег* 'lumi', *болото* 'soo'.

Materjali analüüsist selgub, et dialektidel on Budilovitši järgi oluline tähendus slaavi maailma fragmentide taasloomisel.

Ромаш Эрленд Романчик
Тартуский университет

К ВОПРОСУ О СТАНДАРТИЗАЦИИ КАШУБСКОГО ЯЗЫКА: МЕЖДУ ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ИМПЕРАТИВОМ И ЯЗЫКОВОЙ ПРАКТИКОЙ

Лингвистическое наследие Ф. Цейновы – проблемы изучения – проект литературного языка – языковая норма – норма и кодификация в проекте литературного языка – эволюция нормы и нормотворческая эволюция

Случается, что роль выдающегося деятеля в определенной области человеческой активности признается столь значительной, что именно как «исполнитель» данной роли он входит в историю. Творческое же наследие, эту роль определившее, меркнет в сравнении с лучами славы своего создателя или вовсе теряется в тени памятника, воздвигнутого благодарными потомками. Именно такова посмертная судьба Флориана Цейновы, с чьим именем связаны первые попытки создания кашубского литературного языка.

«Dziś bardziej niż kiedykolwiek zdajemy sobie sprawę z europejskiego formatu postaci Floriana Stanisława Wenancjusza Ceynowy (1817–81), wagi jego dokonań dla kaszubszczyzny, jak również jego roli — choćby tylko symbolu! — jako budziciela Kaszubów» (Treder 1997, 112).

Неудивительно, что литература, посвященная «отцу кашубской литературы» (Roppel 1939), достаточно обширна. При этом чаще всего говорится о роли Цейновы в развитии кашубского движения, соответственно деятельность его рассматривается в социокультурном и — в свое время достаточно горячо — в историко-политическом

аспекте. Немало внимания уделялось анализу его фольклористических и этнографических изысканий. Как ни парадоксально, собственно лингвистический интерес к нему до сих пор довольно слаб. Впрочем, парадоксальность здесь во многом кажущаяся, ибо при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что такое положение скорее закономерно. Причин тому несколько. Одна из них кроется в том, что его *деятельность* в области создания письменности на кашубском языке снискала более высокую оценку, чем непосредственные *плоды этой деятельности*. Другую объективную причину такого положения можно видеть в относительной новизне проблематики славянских литературных микроязыков в научном кругу.

Как справедливо указывает Е. Тредер (Treder 2005), до сих пор наиболее основательной и — добавим — разносторонней работой о Цейнове остается монография Я. Карновского ([Karnowski 1917]). Исследование отдельных аспектов языка и лингвистической деятельности Цейновы занимались такие видные кашубологи, как А. Д. Дуличенко, Э. Бреза, Е. Тредер, Х. Поповска-Таборска, М. Цыбульский (см. прежде всего: Дуличенко 1996, 1997; Duličenko, Lehfeldt 1998, Breza 1983, Treder 1995, 1997, 2001, 2005, Popowska-Taborska 2001, Cybulski 2005 и литературу к ним. Наиболее полная библиография работ о Цейнове (до 1997) представлена в Duličenko, Lehfeldt 1998, 115–121). Нельзя не отметить заметную активизацию интереса к Цейнове и его наследию в последние 10–15 лет, после того, как было сломлено многолетнее сопротивление полонистики признанию за кашубским языком статуса, во-первых, самостоятельного; во-вторых, существующего и в форме литературного (об этом противостоянии во многих своих выступлениях говорил и писал А. Д. Дуличенко, см., например, Дуличенко 2006, 24). Немало этому способствовал и пришедшийся на те же годы очередной подъем кашубского самосознания.

Закономерно, что при тех тенденциях, которые в последние годы обозначились в славистике, в том числе в кашубологии, смещаются и акценты в подходе к рассмотрению лингвистической деятельности Цейновы, что предопределяется изменением самого объекта изучения, каковым становится литературный язык, а не «записи кашубского языка» или говор села Славошина. Симптоматично, появление

в 2005 г. книги Е. Тредера «История кашубского литературного языка», в которой литературному языку Цейновы (*kaszubszczyzna literacka*) посвящена отдельная глава (Treder 2005, 71–114). Здесь мы находим первую со времен упомянутой монографии Карновского попытку разностороннего анализа деятельности Цейновы по созданию литературного языка, и — что особенно важно! — пристальное внимание уделяется собственно языковым вопросам. Монография Е. Тредера является, кроме прочего, и обобщением изучения языка Цейновы более, чем за 100 лет, и в то же время в указанной монографии нашли свое отражение тенденции современной рефлексии над историей создания и развития кашубского литературного языка, в том числе над первыми его проектами. С учетом этих обстоятельств, а также принимая во внимание авторитет проф. Тредера в области кашубологии, в настоящей статье мы неоднократно будем обращаться к ней, как представляющей современное состояние проблем изучения языка Цейновы.

На протяжении XX в. проблемы кашубского языка рассматривались в русле двух течений, разных по природе, задачам, целям и по отношению к объекту исследования. Одно течение создало кашубское движение, второе — славистика. Все сказанное справедливо и для изучения Цейновы, его деятельности и ее результатов.

Долгое время проекты Цейновы привлекали, прежде всего, активистов кашубского движения, в первую очередь, с практической точки зрения, т. е. в процессе поисков основ литературного языка и определения путей его развития. При таком подходе в фокусе оказывается оценка перспективности проекта, т. е. его критический анализ в прагматическом аспекте. Следует принимать во внимание, что каждое поколение деятелей кашубского движения формировалось и действовало в конкретный исторический период, социально-культурные особенности которого определяли и направление мысли, и эстетику, что в свою очередь диктовало определенное отношение к языку, его форме, обществу, прошлому и т. д., следовательно, и на взгляды как на будущее языка, так и на предшествующую традицию.

В научной среде наибольшее число споров вокруг проектов Цейновы велось по вопросам: 1) насколько точным он был в передаче славошинского говора? — проблема, порожденная восприятием фи-

логической деятельности Цейновы как диалектологической; 2) стремился ли он к созданию литературного языка?; 3) на какой диалект/ диалекты он при этом ориентировался? В качестве основных аргументов чаще всего привлекались высказывания Цейновы о языке, своей деятельности и намерениях.

Между тем систематического лингвистического описания кашубских текстов Цейновы до сих пор нет. Е. Тредер, указав на проблематику работ [Karnowski 1917], Breza 1983¹, Дуличенко 1998, Treder 1995, замечает:

«Nie ma wśród tych prac takiej, która przedstawiałaby wprost kształt jego kaszubszczyzny literackiej: w jego teorii i bardziej w praktyce, tj. w jego pismach kaszubskich» (Treder 2005, 72).

Правда, далее он указывает, что наиболее близко к достижению этой цели подошел П. Смочиньский. Это утверждение понять довольно трудно: ведь диалектолог Смочиньский рассматривает тексты Цейновы как запись славошинского говора. Именно в таком качестве эти тексты его привлекают, а иначе весь пафос его выступления на Поморской конференции в Гданьске в 1954 г. и статей (Smoczyński 1954; 1956) теряет смысл.

Нет, соответственно, и научного анализа адекватности языка, на котором писал Цейнова, требованиям, предъявляемым к литературному языку со стороны общей теории литературного языка. Между тем именно этот вопрос, по нашему мнению, является центральным для осознания лингвистического феномена Цейновы. Проблемы диалектной базы и декларируемых намерений — при всей существенности этих вопросов — не должны заслонять его, поскольку, по сути, имеют подчиненное значение.

Что касается прямых высказываний Цейновы, то они, бесспорно, представляют собой важный материал, однако при описании системы литературного языка он может привлекаться только как вспомогательный, позволяющий объяснить те или иные выявленные лингвистические решения, или как стимул обратить внимание на определенные моменты с целью обнаружить реализацию декларируемого. Любое иное обращение с высказываниями Цейновы о своем языке или частных решениях чревато ошибками, ибо не следует забывать, что:

- высказывания, сделанные в разное время и разным адресатам, могут иметь разные цели;
- высказывания (resp. формулировки) опираются на современную (Цейнове) теоретическую мысль, строятся на современном терминологическом аппарате, в силу чего не всегда адекватно отражают практическую реальность. Так, например, высказывание типа «я пишу на языке своих отцов и дедов» нельзя понимать как ‘я пишу на родном говоре’, хотя очевидно, что отец и дед говорили именно на говоре, который к тому же мог измениться и во времени.

В связи с последним стоит остановиться еще на одном моменте. Практически в каждой статье, посвященной Цейнове, подчеркивается, что он не был профессиональным лингвистом. За этим утверждением нетрудно увидеть то снисхождение, то пренебрежение... Между тем стоит напомнить, что, во-первых, лингвистические опыты Цейновы продолжались несколько десятилетий, причем при активном взаимодействии с разными славистами; во-вторых, как показал Э. Брежа (Breza 1983), Цейнова внимательно следил за развитием современной ему грамматической мысли; в-третьих, в середине – третьей четверти XIX в. славянская филология находилась еще в процессе становления; что же касается теории литературного языка (той сферы языкознания, которая ближе всего соотносилась бы с деятельностью Цейновы), то ее становление происходит только в 1930-е гг. усилиями пражской школы. Что же касается современных ему филологических дискуссий, программ, проблем создания, задач и т. д. литературного языка, то с ними Цейнова был знаком прекрасно, благодаря близости к кругу деятелей серболужицкого Возрождения.

Сказанное, с одной стороны, указывает, что нет особых причин упорно делать акцент на «дилетантизме» Цейновы, а, с другой — предостерегает от предъявления к высказываниям или языковым тактикам деятеля середины позапрошлого столетия теоретических знаний, к которым наука пришла в течение последующих полутора веков.

Итак, основным предметом анализа, который представил бы «kształt jego kaszubszczyzny literackiej», может быть лишь сам язык. Естественно, что лишь анализ языка может дать ответ на вопросы о

его адекватности требованиям «литературности». Разумеется, прежде всего это касается внутриязыковых параметров, при этом нельзя упускать из виду принципиальность для категории «литературности» внешних требований, поскольку *литературный язык* — это *форма существования языка*. Применительно к микроязыкам А. Д. Дуличенко дает следующее определение:

«Литературный микроязык — это такая форма существования языка (или диалекта), которая наделена письменностью, характеризуется нормализующими тенденциями, возникающими как следствие функционирования литературно-письменной формы в рамках более или менее организованного литературно-языкового процесса. Именно организованный литературно-языковой процесс диктует выбор письменности, введет к унификации грамматических, лексических и проч. норм, заявляя тем самым о рождении нового литературного языка» (Дуличенко 2006, 27).

В статье, представленной в настоящем сборнике, он особо подчеркивает обязательность литературно-языкового процесса для существования литературного языка:

«Обратим внимание: только при наличии литературно-языкового процесса, работающего на унификацию грамматических и проч. норм и на их дальнейшую кодификацию, можно говорить о литературном микроязыке (впрочем, как и вообще о любом литературном языке!) <...> ...это явление <литературный диалект> действительно существует, однако оно, как правило, вне литературно-языкового процесса (допускаю: до определенного времени), это обычно индивидуальные языковые эксперименты — часто без преемственности. Писать можно на любом говоре или диалекте, но будет ли при этом организован литературно-языковой процесс, в который вовлекаются, помимо индивидов-энтузиастов, также другие деятели культуры, образуя преемственность между поколениями-участниками процесса, — это для литературного диалекта большой вопрос» (Дуличенко 2008, 65).

Таким образом, сама возможность литературного языка неотъемлема от языковой ситуации в определенный исторический период. Хорошо известно, что языковая (и шире — общая социокультурная) ситуация в Гданьском Поморье 1840–1870-х гг. для развития литературного языка была неблагоприятной. Деятельность Цейновы не нашла живого отклика у современников, а его вариант письменного языка не был принят последователями на пути создания кашубского

литературного языка, т. е. в свое время Цейнова остался одиноким «индивидуалом-энтузиастом». Иными словами, ни другие деятели культуры не включились в процесс, ни преемственности между поколениями не получилось. Точнее, преемственность место имела, но только в отношении самой идеи, но не способа ее реализации. В то же время наследование идеи знаменует становление процесса и, следовательно, лингвистические опыты Цейновы ему принадлежат, несмотря на то, что в отношении выработки и развития литературной нормы процесс этот пошел в ином направлении.

В свете сказанного собственно *литературным* язык творчества Цейновы не является, однако есть все основания рассматривать его как *проект* литературного языка. В чем принципиальное значение такой оговорки? В самом изменении статуса объекта анализа. Отчасти опираясь на приведенное выше определение А. Д. Дуличенко, проект можно определить следующим образом: *проект литературного языка — это возникающая в результате сознательных усилий и обладающая письменностью реализованная наддиалектная форма существования языка, характеризующаяся полифункциональностью, стилистической дифференциацией и нормализующими тенденциями, потенциал которых достаточен для организации литературно-языкового процесса.*

Такой подход позволяет выделить основные критерии внутренних свойств реализуемого проекта, с точки зрения «литературности», и предопределяет специфику такого центрального понятия языка, как *норма*. Также из данного определения следует, что предметом анализа должна быть *норма в ее реализации*, то есть тексты.

Особую актуальность анализ текстов Цейновы приобретает в связи с изданием А. Д. Дуличенко и В. Лефельдтом первой, датированной ими 1840-ми гг., грамматики Цейновы (Kurze). До обнаружения этой грамматики общее направление эволюции филологической, в том числе нормотворческой, деятельности Цейновы рассматривалось «от практики к грамматике», или — в терминологии А. Д. Дуличенко — «от скрытой (текстовой) кодификации — посредством неполной — к собственно кодификации в грамматике» (Дуличенко 1981, 130–140, см. также с. 120). В данном случае речь идет о познанской грамматике 1879 г. (Zarés).

Закономерно возникновение вопроса: в какой степени грамматическому императиву подчинена практика Цейновы? Поскольку основной корпус текстов на кашубском языке был создан до написания познанской грамматики, поставленный вопрос можно разделить на два автономных: 1) в какой мере, с какой степенью регулярности проявляется норма в языковой практике Цейновы, т. е. насколько унифицирована орфографическая и грамматическая система?; 2) каким образом внутритекстовая норма соотносится с той, которая будет предписана тем же автором чуть позже?

Обнаружение первой грамматики заставляет посмотреть на эволюцию нормотворчества Цейновы во многом иначе. Вопросы, поставленные ранее, при этом не снимаются, но, напротив, распространяются и на более раннюю грамматику. С другой стороны, именно анализ практической (реализованной) нормы может дать новую информацию для уточнения отношений между двумя грамматиками Цейновы, а шире — дать последовательное описание нормотворческой эволюции Цейновы.

В отношении целесообразности такого изучения на сегодняшний день существуют диаметрально противоположные мнения. Одно из них высказано А. Д. Дуличенко в связи с обнаружением Kurze:

«Bei seiner Herausgebertätigkeit orientierte Ceynowa natürlich an seiner Grammatik. Jedoch sah er sich oft genötigt, von ihr abzuweichen, weil ihn die Sprachpraxis jedesmal mit einer Menge Überraschungen konfrontierte. Vergessen wir auch nicht, was wir oben gesagt haben: das Fehlen dieser oder jener Zeichen mag dazu geführt haben, daß die Drucker willkürlich Vereinfachungen und Ersetzungen vornahmen. Es ist die Aufgabe gestellt, sowohl die Normen der Ausgabe von 1866–1868 sorgfältig zu untersuchen wie auch die graphischen und orthographischen Besonderheiten und natürlich auch deren Widerspiegelung in Ceynowas späteren Texten, um zu bestimmen, wie sich seine grammatikalischen Anschauungen und Lösungen änderten und wie er schließlich zu der neuen und endgültigen Variante seiner kaschubischen Grammatik gelangt ist, die er dann gegen Ende seines Lebens veröffentlichen sollte» (Duličenko, Lehfeldt 1998, 17).

Второе принадлежит Е. Тредеру (указавшему на отсутствие работ, представляющих «wprost kształt jego kaszubszczyzny literackiej»!):

«Szczegółowe badanie kaszubszczyzny literackiej tekstów Ceynowy nie przedstawiało może większego interesu, ponieważ niemal wszystko w niej od początku do końca jest jasne: pisownia, fonetyka, fleksja, z podawanych w CeyZdG² przykładów także składnia. Wszystko to wiadome z jego gramatyki» (Treder 2005, 112).

Действительно, зачем тратить усилия на изучение того, что и так «от начала до конца понятно»?! Но как же тогда трактовать расхождение между Kurze и Zarés, выявленные и описанные в Duličenko, Lehfeldt 1998, следует ли отказаться в принципе от понятия *эволюция* применительно к проекту Цейновы? И, наконец, как следует понимать широко засвидетельствованное в литературе применение к его текстам категорий правильно/ неправильно, верно/ неверно, что следует считать ошибками? Ср., например:

«Język piśmiennictwa (nie poglądów językoznawczych czy wartości jego opracowań teoretycznych, gramatycznych) Ceynowy spotyka(ł) się z bardzo różnymi ocenami badaczy, m.in. dlatego, że formułowano je właściwie a priori, intuicyjnie, bez szczegółowej analizy, a mimo to poza wyjątkami były trafne» (Treder 2005, 105).

«Трафне» относительно чего? Ср. также комментарий к приводимому на с. 95 фрагменту текста «Szczōdráki»³:

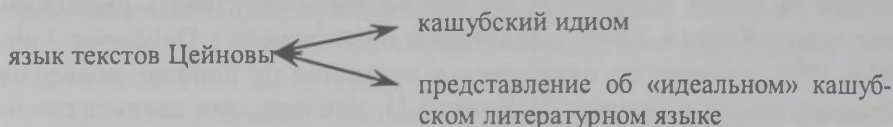
«Błędy (zaznaczone tu pogrubieniem) są liczne, zawinione zapewne i przez Ceynowę, i przez wydawcę» (Treder 2005, 96).

Само понятие ошибки предполагает нарушение некоторого правила, отклонение от нормы. Об отклонении от какой нормы в данном случае идет речь? Представленной в Zarés? Нормы, действующей (?) в тексте? Нормы диалекта? Той, относительно которой «без детального анализа, интуитивно» выносились оценки? Современной нормы кашубского литературного языка? И каково же соотношение между этими нормами?

Очевидно, что только при условии их последовательного различения становится возможным их корректное соотнесение, а, следовательно, и вынесение обоснованных суждений как относительно нормативности отдельных текстов, так и потенциала нормализующих тенденций проекта Цейновы; как относительно подчинения или неподчинения императиву грамматик (Kurze и/ или Zarés), так и относительно основы нормы Цейновы и т. д.

Если обратиться к анализу оценок языка текстов Цейновы (обзор мнений см., например, в Treder 2005, 105–114), то нетрудно заметить, что выносятся они преимущественно на основе двух групп оппозиций:

1. «Кашубская»

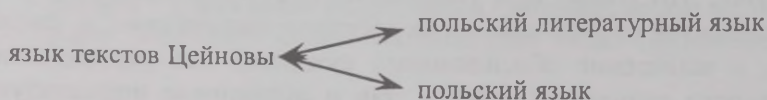


Абстрактный характер и того, и другого делает неприменимым к ним понятия нормы, поскольку

«абстрактные идиомы по своей природе не могут иметь нормы. Ее роль выполняет сознательный отбор лингвистами общих особенностей, например, в местных говорах как конкретных системах, чтобы представить диалект как абстрактную диасистему, или в диалектах, чтобы представить язык в генетическом плане еще и как абстрактную диасистему» (Брозович 1976, 130).

Можно, конечно, для понимания природы таких оценок вспомнить о «языковом чутье», но оно, в свою очередь, базируется на владении нормой. В качестве таковой в период до возникновения литературного языка может выступать только норма родного критику диалекта, который в таком случае осознанно или бессознательно принимается за эталон. Представление же об «идеальном» литературном языке, как мы уже отмечали, детерминировано, кроме прочего, сложным комплексом социальнокультурных факторов конкретного исторического периода.

2. «Польская»



Суждения о нормативности (правильности/ неправильности) языка текстов Цейновы, как и других проектов кашубского литературного

языка, в соотнесении с польским языком выросли на почве «польско-кашубского» вопроса.

Очевидно, что при всей объяснимости традиции «мерить кашубский польской меркой», такой подход не имеет под собой никаких методологических оснований. Кроме того, при подобном смешении искажается истинная природа отношений между нормами двух литературных образований. Безусловно, можно говорить о влиянии на норму Цейновы (а также на нормы других проектов кашубского литературного языка или нормы других славянских литературных языков) нормы польского литературного языка.

«...orientując się nieco w historii kształtowania się wielu europejskich języków literackich, zwłaszcza polskiego i niemieckiego, w niedalekiej przeszłości rosyjskiego i czeskiego, zdawał sobie sprawę, że konieczna jest rezygnacja z wielości cech w ich lokalnych odmianach na rzecz rozwiązań upraszczających, i to od zaraz, i w całości. Świadomie pomijał różne warianty fakultatywne i kombinatoryczne obecne w odmianach terenowych, m. in. w badaniach prowadzonych dla Petersburga. Nie bał się przy tym zgodności z ogólną⁴ polszczyzną, która bez wątpienia i w sposób całkiem naturalny była dlań bardzo konkretnym wzorcem, który <Ceynowa> znał zresztą dość dobrze. Ponadto cały ówczesny świat słowiański miał ją wówczas za wzór» (Treder 2005, 112–113).

При этом, однако, необходимо различать *влияние* чужой нормы на выработку своей и *действие* чужой нормы. Важность литературных образцов в период становления славянских литературных микроязыков подчеркивал и А. Д. Дуличенко (Дуличенко 1981, 131–132). Тем более важно установить действительный характер отношений между нормой польского литературного языка и нормой Цейновы, т. е. выявить уровни и степень влияния одной на другую, формы проявления и т. д. Причем недопустимо смешивать результаты воздействия образца (точнее, одного из них) и подобию, обусловленные генетической близостью языков⁵. Это еще раз указывает на необходимость последовательного описания нормы, действующей в литературной практике Цейновы, уже с целью прояснения ее генезиса. Приведенную выше цитату Е. Тредер завершает вопросом:

«Można wręcz dwójako stawiać zagadnienie: podłożem jego języka kaszubskiego gwara sławoszyńska czy polszczyzna?» (Treder 2005, 112–113).

Такая постановка вопроса в полной мере соответствует многолетней традиции оценки проекта Цейновы как достаточно или недостаточно «кашубского». Проблема эта остается интересной и сегодня, но прежде всего в социолингвистическом измерении, т. е. если рассматривать ее как фактор, способствующий или, напротив, препятствующий успешности проекта. В отношении же основы литературного языка постановка вопроса в форме «то или другое» не вполне корректна. Констатация польского влияния на те или иные участки нормы указывает на неомогенность материальной основы проекта Цейновы. Последняя также до сих пор не получила последовательного описания, в том числе и в отношении точного определения диалектной базы⁶, а также с точки зрения отражения тех инославянских элементов, которые могли быть приняты Цейновой, в частности, под влиянием идеи общеславянской письменности.

Вопрос о материальной базе имеет принципиальное значение не только как таковой, но и в отношении характера нормы. Так, при формировании литературного языка на говорной основе, литературная норма имеет возможность опираться на узусную. Таким образом, кодифицируется то, что проверено, отобрано и одобрено обществом в процессе общения на определенной ограниченной территории. Однако узус же в таком случае препятствует развитию полифункционального языка, особенно применительно к слабо социально и культурно дифференцированному обществу. Уже только в силу этого обстоятельства становление литературного языка на узко говорной базе является затруднительным (если вообще возможным), хотя для разных уровней языка это проявляется в разной степени, что также следует принимать во внимание. При расширении же материальной базы исчезает и узусная норма⁷ (пока не сложится новая, литературная, если это произойдет).

В основе большей части литературных языков (как микро-, так и национальных) лежит межговорное койне (см. Дуличенко 1981, 100–130). Применительно к койне говорить можно лишь о зачаточной норме:

«Неорганические идиомы, за исключением стандартных языков, не знают нормы, потому что не являются конкретными системами (интердиалекты и разговорные языки), но и в этих идиомах существует

хотя бы зародыш некоей нормы, так как существует какой-то выбор, только границы здесь такие широкие, что не может быть и речи об истинной норме; но, если все же этот зародыш начнет развиваться и оформляться, тогда появятся и первые процессы стандартизации, и идиом как таковой станет конкретной системой, мы получим стандартный язык, а вместе с ним и норму» (Брозович 1976, 130).

Однако у кашубов такого койне не сложилось (о складывающемся в XVII–XVIII вв. койне в Западном Поморье и его исчезновении см. Lorentz 1934, 11), следовательно, даже «зародыша» нормы в распоряжении Цейновы — после выхода за рамки говора Славошино — не было. В то же время установка на создание полифункционального письменного языка, которую выше мы определили как *проект литературного языка*, предопределяет особый путь развития нормы:

«...развитие нормы в стандартном языке всегда связано с определенной профессиональной или полупрофессиональной деятельностью, разной по степени интенсивности. Эту деятельность мы называем кодификацией, а ее плоды нормативностью стандартного языка. Кодификация может быть предписанием или просто регистрацией, но между этими двумя видами кодификации возможны разные переходы» (Брозович 1976, 131).

Соответственно, применительно к проекту литературного языка можно говорить о *проекте кодификации*, т. е. попытке установить определенную норму, обязательную в речевой практике в определенных коммуникативных ситуациях для всех членов языкового коллектива. Языковое общество может принять или не принять эту кодификацию. В случае, если проект кодификации получит социальную поддержку, т. е. носители языка будут подчиняться установленным правилам, можно будет говорить о реализации проекта литературного языка (при условии его соответствия другим требованиям)⁸. Если же проект кодификации остается непризнанным, то тексты, созданные в соответствии с этим проектом, тем не менее, характеризуются нормативностью как результатом реализации определенных регулирующих правил.

Очевидно, однако, что для того, чтобы норма развивалась тем или иным образом, она прежде всего должна существовать.

«Под нормой обычно понимается совокупность соответствующим образом реализованных языковых средств, принятых в данном язы-

ковом обществе (носителями данного языка) как обязательные, и те закономерности, которыми определяется употребление языковых средств. В данном определении подчеркивается объективный характер нормы в самом языке (в отличие от кодификации, которая является по отношению к норме закреплением и установлением данной нормы), регулярность языковых средств и социальный общеобязательный характер нормы)» (Едличка 1976, 18).

Как было показано выше, в таком смысле нормы, на которую мог бы опираться Цейнова, кашубский язык не знал. Таким образом, с самых первых опытов создания текстов на кашубском языке он был «обречен» на нормотворчество. В более широком смысле

«норму можем понять <...> как выбор из того ассортимента, который характеризует потенциал. <...> этот выбор осуществляется при реализации, функционировании языка» (Брозович 129–130)⁹.

В условиях практической реализации языка одним человеком им же осуществляется выбор языковых средств. Языковое общество в этом случае существует лишь потенциально, т. е. активно на отбор не влияет. Обратим внимание на то, что *существует потенциально* — не то же самое, что *не существует*: ведь именно это виртуальное общество обеспечивает социальный характер нормы и саму возможность коммуникации, становления и развития литературно-языкового процесса (возможность может так и остаться нереализованной).

Из сказанного следует, что создание Цейновой проекта литературного языка было единовременно и процессом выработки нормы, и актом ее кодификации.

Более того, и потенциал в значительной степени определялся самим Цейновой, причем сравнительно произвольно. Произвольно в том смысле, что он не исходил из потенциала некоего существующего конкретного идиома (органического или неорганического). Разумеется, речь не идет о предварительной каталогизации материальных средств, из которых на практике будет осуществляться выбор. Под определением потенциала в данном случае следует понимать — отчасти сознательное (возникшее под влиянием программных установок как собственных, так и обсуждаемых в связи с развитием других литературных языков), отчасти неосознанное (пристрастиях, базирующихся на индивидуальном языковом опыте) — очерчивание

границ языкового пространства, материальные средства и правила комбинирования в пределах которого оказываются доступными, т. е. принимаются как структурированная субстанция. Непосредственному же наблюдению доступно только то, что реализовано, т. е. уже выбрано из этого потенциала. Следовательно, приблизиться к описанию потенциала языка Цейновы (который в данном случае можно понимать как некоторый абстрактный идиом) можно только через изучение и описание его нормы.

Таким образом, изучение нормы Цейновы является той основой, с опорой на которую можно говорить как о его кодификации, так и о «*kształcie jego kaszubszczyzny literackiej*». Причем, во-первых, его язык может быть рассмотрен как дискретная система и описан безотносительно, вопреки тезису Е. Тредера:

«Dopiero na tak zarysowanym tle dialektnym ujmować trzeba język piśmiennictwa Ceynowy (Treder 2005, 94).

Во-вторых, никакой критерий, внешний по отношению к языковой системе, созданной Цейновой, не может быть основанием для оценки нормативности его текстов.

Отдельно следует обратить внимание на то, что одновременность актов порождения нормы и ее кодификации, даже в случае совпадения их материального выражения, не означает тождества между ними: природа этих явлений, так же как и их лингвистическая ценность, остается различной. Впрочем, совпадение материального выражения нормы и кодификации отнюдь не полное, что заслуживает отдельного разговора, здесь же, обратим внимание лишь на одно существенное. О текстовой кодификации возможно говорить только применительно к тем языковым средствам и способам их комбинирования, регулярность которых надежно засвидетельствована.

Например, при анализе текстов, представленных в периодическом издании «*Skôrb kaszëbsko-słowjnskje mòvé*» (Skôrb) обнаруживаются лишь три случая употребления существительных женского рода на согласный в форме дат. п. ед. ч. Во всех трех случаях это одна словоформа *kòkòshi* (именит. *kòkosz*, непосредственно в тексте (Skôrb, 174) в форме равного ему вин. п.), к тому же в составе пословиц:

To mu sę tak traffło, jak slepi kòkòszi zòrno (Skôrb, 2);

Dac le kòkòszi grzędę, to wòna chce vjeżë (Skôrb, 2);

Dac le kòkòszi grzędé, to wòna chce vszędé (Skôrb, 188).

Говорить на таком материале о кодификации Цейновой флексии -i для выражения грамматического значения дат. п. у существительных этого класса неправомерно, в то же время нет никаких оснований отказывать этим формам в соответствии норме.

Существительные среднего рода в этом же падеже в том же корпусе текстов представлены тремя формами с различными флексиями: *panstvé* (Skôrb, 173), *dzecku* (Skôrb, 18), *jezerovj* (Skôrb, 163). Мы можем предполагать, что выбор флексии в каждом случае подчинен определенному нормативному правилу, однако материал недостаточен для выявления закономерностей их использования, соответственно нельзя говорить о кодификации.

С другой стороны, нарушение четко прослеживающихся закономерностей следует рассматривать как отклонение от нормы. Каждый выявленный случай подобной нерегулярности необходимо анализировать отдельно, с тем чтобы уточнить характер и статус отклонения: возможно, перед нами исключение (кодифицированное именно в таком виде!), возможно — всего лишь опечатка, или автор не придерживается им же выработанного правила, или он намеренно отклоняется от нормы (например, в целях достижения определенного художественного эффекта) — все эти явления по-разному соотносятся с нормативностью, потому не могут быть рассмотрены в одной плоскости.

Итак, отношения между нормой, кодифицированной нормой и нормативностью в проекте литературного языка, возникающем в ситуации, характеризующейся отсутствием естественных наддиалектных языковых образований и предшествующей традиции, отличны от отношений между соответствующими параметрами в литературном языке, как различны и механизмы их становления. Стоит обратить внимание и на то, что речетворчество (прежде всего — в письменной форме!) в рамках проекта, которое, как было показано, одновременно является актом создания нормы и ее кодификации, в то же время подвержено противонаправленным норме тенденциям, по-

скольку норма не является устоявшейся в процессе языковой практики. Порождение речи в таком случае происходит в условиях значительно более широкого диапазона вариативности, предопределенного нестабильностью «матрицы». На практике это выражается в возможности большего числа отклонений от прослеживаемой нормы и, допуская, меньшей степени урегулированности отдельных языковых участков. Важно, однако, иметь в виду естественность таких тенденций.

Закономерно, что по мере накопления литературно-языкового опыта происходит и стабилизация нормы. В связи с этим учет диахронии в отношении языковой практики Цейновы имеет особое значение. Данное обстоятельство указывает также на необходимость, рассматривая работы разных лет, различать *нормотворческую эволюцию* Цейновы и *эволюцию языковой нормы*. Первая соотносится с изменением лингвистических взглядов автора, вторая — с характером нормы, ее стабильностью и регулярностью. Очевидно, что как явления разного порядка рассматривать их следует отдельно.

На сегодняшний день в диахроническом аспекте последовательно, с выделением отдельных этапов развития и их характеристикой описана только графика Цейновы ([Karnowski 1917], 52–58). В области грамматики констатируются различия между «крайними точками» деятельности Цейновы — Kurze и Zarés, предварительный анализ отношений между ними проведен А. Д. Дуличенко и представлен в (Duličenko, Lehfeldt 1998). Говорить же об отношениях между нормами, отраженными в Kurze и Zarés, и нормой, кодифицируемой в процессе ее реализации в тестах, возможно только после того, как будет дано последовательное описание внутритекстовой нормы (норм — для текстов разных лет) и определена природа расхождений.

Отмеченная в начале статьи активизация интереса к истории стандартизации кашубского языка дает основания надеяться, что в скором будущем задачи описания нормы проекта (проектов) Цейновы на разных стадиях творчества и во временной протяженности найдут свое решение.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ В тексте ошибочно: 1963.
- ² Zarés.
- ³ *Jutrzenka*, Warszawa, 1843, т. II, cz. 3, s. 58–60.
- ⁴ Или все же с *литературным* польским языком?
- ⁵ Здесь можно вспомнить о проекте жжешеньцев, пуризм которых был направлен против всякого сходства кашубского языка с польским, в результате чего их проект литературного языка переставал отвечать требованию понятности.
- ⁶ Говор Славошина или более широкая диалектная основа, как заявляет сам Цейнова (*Kurze*, 32) и за ним А. Д. Дуличенко (*Duličenko*, *Lehfeldt* 1998, 22).
- ⁷ «... языковую норму знают только два идиома: стандартный язык как ‘неорганический’ и местный говор как ‘органический’ идиом» (Брозович 1976, 131).
- ⁸ Становление литературной нормы может происходить и иным путем, т. е. предшествовать кодификации. Об этом см., например, Едличка 1976, 19; Дуличенко 1981, 130–131 и далее до 140. Последний, как уже упоминалось, различает скрытую (текстовую), неполную и полную (сознательную) кодификацию. Следует, однако, подчеркнуть, что только последняя имеет общеобязательный характер.
- ⁹ «Структуру и субстанцию некоего идиома можно понять как его потенциал. Под субстанцией мы будем понимать общий инвентарь материальных языковых элементов, которые идиом имеет в своем распоряжении, под структурой — совокупность возможных правил для употребительных комбинаций» (Брозович 1976, 129–130).

ЛИТЕРАТУРА

- Breza 1983 — E. Breza. *Florian Ceynowa jako językoznawca*. *Rocznik Gdański*, t. XLIII, Gdańsk, 1983, z. 2, s. 59–85.
- Брозович 1976 — Д. Брозович. *Об общих и специфических особенностях узусной и кодификационной нормы в славянском мире*. Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. Доклады на IV заседании Международной комиссии

- по славянским литературным языкам 22–25 октября 1974 года. Москва, 1976, с. 128–138.
- Ceynowa 1850 — F. Ceynowa. *Wuwogi nad mówną kaszebską*. Trze rozprawy przez Stanisława. Kraków, 1850.
- Cybulski 2005 — M. Cybulski. *Alternacje morfonologiczne w pismach Floriana Ceynowy*. Gdańskie Studia Językoznawcze IX, Gdańsk, 2005, s. 19–30.
- Duličenko, Lehfeldt 1998 — *Kurze*.
- Дуличенко 1981 — А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. (Вопросы формирования и развития)*. Таллин, 1981.
- Дуличенко 1996 — А. Д. Дуличенко. *Рукопись первой кашубской грамматики Флориана Цейновы/ Rękopis pierwszej gramatyki kaszubskiej Floriana Ceynowy*. Rocznik Gdański, t. LVI, Gdańsk, 1996, z. 1, s. 117–133.
- Дуличенко 1997 — А. Д. Дуличенко. *Кашубологические публикации в «Jahrbücher» Яна Петра Йордана (В связи с находкой рукописи первой кашубской грамматики Флориана Цейновы)*. Lětopis 44, Budyšin/Bautzen, 1997, H. 1, s. 202–207.
- Дуличенко 2006 — А. Д. Дуличенко. *Современное славянское языкознание и славянские литературные микроязыки*. Slavica Tartuensia VII: Славянские литературные микроязыки и языковые контакты. Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Международном Комитете славистов, Тарту, 15–17 сентября 2005 г. Тарту, 2006, с. 22–46.
- Дуличенко 2008 — А. Д. Дуличенко. *Статус и проблемы развития славянских микроязыков в контексте современной Микрославии*. Slavica Tartuensia VIII: Славянское языкознание: покидая XX век... К XIV Международному съезду славистов (Охрид, 10–16.09.2008). Tartu, 2008, с. 63–94.
- Едличка 1976 — А. Едличка. *Проблематика нормы и кодификации литературного языка в отношении к типу литературного языка*. Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах. Доклады на IV заседании Международной комиссии по славянским литературным языкам 22–25 октября 1974 года. Москва, 1976, с. 16–39.
- [Karnowski 1917] — J. Karnowski. *Dr. Florian Ceynowa*. Oprac. J. Treder. Gdańsk, 1997.
- Kurze — F. Ceynowa. *Kurze betrachtungen über die kašubische Sprache als Entwurf zur Grammatik*. Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Aleksandr Dmitrievič Duličenko und Werner Lehfeldt. Göttingen, 1998.
- Lorentz 1934 — F. Lorentz. *Zarys etnografji kaszubskiej*. F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Splawiński. Kaszubi. Kultura ludowa i językowa (Instytut Bałtyckiego, Seria Balticum, z. 8). Toruń, 1934.

- Popowska-Taborska 2001 — H. Popowska-Taborska. *Rosyjsko-kaszubski słownik Floriana Ceynowy widziany oczyma językoznawcy*. Florian Ceynowa, Mały zbiór wyrazów kaszubskich. Oprac. H. Popowska-Taborska. Słownik kaszubski Floriana Ceynowy. Wejherowo/ Rumia/ Pelplin, 2001, s. 131–166.
- Roppel 1939 — L. Roppel. *Dr. Florian Cenôwa na miarę słowiańską*. Klëka, Wejcherowo, 1939, r. 3, nr. 1.
- Skôrb — F. Cenôva. *Skôrb Kaszëbsko-słowjnskje mòvé*. Z. 1–12. Świecië, 1866.
- Smoczyński 1954 — P. Smoczyński. *Zmiany językowe w rodzinnej wsi Cenowy*. Język Polski, XXXIV, 1954, s. 242–249.
- Smoczyński 1956 — P. Smoczyński. *Stosunek dzisiejszego dialektu Sławoszyna do języka Cenowy*. Konferencja Pomorska (1954). Prace Językoznawcze, Warszawa, 1956, s. 49–88.
- Treder 1995 — J. Treder. *O Ceynowie na marginesie dawnych i najnowszych prac*. Rocznik Gdański, LV/2, Gdańsk, 1995, s. 51–109.
- Treder 1997 — J. Treder. *Ceynowa wobec zdań sławistów i kaszubszczyźnie*. J. Karnowski. Dr. Florian Ceynowa. Oprac. J. Treder. Gdańsk, 1997, s. 112–1152.
- Treder 2001 — J. Treder. *Wiedza F. Ceynowy o kaszubszczyźnie w świetle «Mójch spóstrzezeńj»*. Florian Ceynowa. Uwagi o kaszubszczyźnie. Oprac. J. Treder. Słownik kaszubski Floriana Ceynowy. Wejherowo/ Rumia/ Pelplin, 2001, s. 27–60.
- Treder 2005 — J. Treder. *Historia kaszubszczyzny literackiej*. Studia. Gdańsk, 2005.
- Zarés — F. Cenôva. *Zarés do grammatikj kašëbsko-słowjnskje move*. Poznań, 1879.

**Kašuubi keele standardiseerimisest:
lingvistilise imperatiivi ja keelepraktika vahel**

Romasz Erlend Romantšik

Kašuubi keele standardiseerimise esimesed katsed on seotud Florian Ceynowa (1817–1881), kašuubi rahvusliku ärkamise juhtfiguuri nimega. Tema valgustus-tegevusele, mis oli suunatud kašuubide rahvusliku ja sotsiaalse eneseteadvuse tekitamisele, on pühendatud arvukalt uuringuid. Teadlaste tähelepanu on pälvinud tema rahvaluule ja etnograafiaalased tööd. Samas keeleteaduslik huvi F. Ceynowa kirjutiste vastu on viimase ajani olnud küllaltki tagasihoidlik. Selle-

laadse huvipuuduse üheks objektiivseks põhjuseks võib pidada asjaolu, et slaavi mikrokeeled on kerkinud teadlaste huviorbiiti suhteliselt hiljuti.

Suurimaid vaidlusi, mis puudutavad F. Ceynowa kirjamälestisi, on peetud kahel suunal: 1) kas tema eesmärgiks oli kirjakeele loomine; 2) millisele murdele/murretele ta toetus. Samas tänaseni puudub F. Ceynowa tekstide süstemaatiline lingvistiline kirjeldus. Sellest lähtuvalt ei ole ka teaduslikku analüüsi selle kohta, kuivõrd adekvaatselt vastab nende keel nõuetele, mida esitatakse kirjakeelele. Teisest küljest oleks vale hinnata esimesi kirjamälestisi kategooriates, mida rakendatakse arenenud kirjakeele puhul.

Artiklis põhjendatakse sellise lingvistilise fenomeni nagu *kirjakeele projekt* erilist staatust. Vaadeldud on ka keelenormi ja kodifitseerimise iseärasusi taolise projekti tingimustes. Normi ja kodifitseerimise kujunemise spetsiifika ning nendevaheline suhe tingib ka meetodite valiku, mis oleksid kasutatavad F. Ceynowa kirjapärandi uurimisel. Artiklis pööratakse tähelepanu asjaolule, et analüüsides F. Ceynowa eri perioodide töid, tuleb silmas pidada tema vaadete muutumist keele normeerimisele ning keelenormi enese evolutsiooni.

Sven Gustavsson
Uppsala Universitet

SLAVENSKI KNJIŽEVNI MIKROJEZICI, REGIONALNI JEZICI I MANJINSKI JEZICI

Slavenski jezici – slavenski književni mikrojezici – Europska povelja o regionalnim ili manjinskim jezicima (European Charter of Regional or Minority Languages) – Okvirna konvencija – situacija u raznim zemljama

U našoj knjizi Славянские литературные микроязыки и языковые контакты, koja je izdana u Tartu 2006. i koja je rezultat rada istoimenoga skupa u Tartu 2005. (*Slavjanske literaturnye mikroязыки i языковые контакты* — SLMJJK 2006), profesor Aleksandar Duličenko diskutira u svom uvodnom članku pojam slavenskih književnih mikrojezika, definira ih, te dijeli na skupine. Između ostalog, profesor Duličenko piše (moj prijevod, S. G.):

«Književni mikrojezik mora biti oblik jezika koji ima sustav/ sistem pisanj i koji je karakteriziran kodifikacijskim tendencijama, koje nastaju kao rezultat pojavljivanja raznih vrsta pisanih tekstova u okviru manje-više organiziranoga književno-jezičnog procesa» (Duličenko 2006, 46).

Kada ih klasificira, Duličenko se koristi geografskim načelima, ali uzima u tom procesu također u obzir etnolingvističke i književno-jezične čimbenike. Prema tome on dijeli mikrojezike na *autonomne, otočne, periferno-otočne i periferne*.

Autonomni mikrojezici su prema njemu *kašupski* (Poljska), *gornjolужиčki* i *donjolужиčki* (Njemačka);

otočni mikrojezici su *jugoslavorusinski* (Srbija, Hrvatska), *gradišćanskohrvatski* (Austrija), *molishkohrvatski* (Italija), *rezijanski* (Italija) i *banatsko-bugarski* (Rumunjska);

periferno-otočni mikrojezici su karpatorusinski (s lemkovskim) (Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, Ukrajina, Rumunjska), egejsko-makedonski, pomakski (Grčka) i venecijanskoslovenski (Italija); a periferni mikrojezici su čakavski, kajkavski (Hrvatska), prekmursko-slovenski (Slovenija), ljaški (Češka), istočnoslovački (Slovačka) i zapadnopoljeski (Bjelorusija).

U diskusiji o mikrojezicima ponekad se kao mikrojezici spominju i drugi pisani jezici kao vičski (Latvija), moravski (Češka), šleski, podhalanjski (Poljska) itd.

Tijekom posljednjeg desetljeća mnogi od ovih mikrojezika dobili su priznanje kao manjinski ili regionalni jezici pri uvođenju *Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima* (European Charter of Regional or Minority Languages) (http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/regional_or_minority_languages/2_Monitoring/Monitoring_table.asp#TopOfPage) u nekim od gore navedenih zemalja. Ovi jezici mogu dobiti indirektno priznanje također kada spomenute zemlje priznaju govornike ovih jezika kao nacionalne manjine prema *Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina* (Framework Convention for the Protection of National Minorities) (http://www.coe.int/T/E/human_rights/minorities/).

U trenutku pisanja ovog članka u prvom mjesecu 2008. bilo je 33 potpisa i 22 ratifikacije *Povelje* i 39 potpisa i ratifikacija *Okvirne konvencije* od strane 47 zemalja-članova Europskog Vijeća. Sve gore navedene zemlje nisu među potpisnicima i ratifikatorima. Grčka, na primjer, nije potpisala ni *Povelju* niti *Okvirnu konvenciju*, što nije veliko čudo kada se uzme u obzir grčka politika prema manjinama.

Poslije potpisa i ratifikacije počinje monitoring kako dotična država provodi obveze koje su predviđene u *Povelji* i *Okvirnoj konvenciji*. Monitoring se vrši po ciklusima. Jedan takav ciklus obuhvaća:

- a) izvještaj dotične države,
- b) izvještaj Odbora eksperata pri Vijeću Europe u kojem eksperti daju svoja mišljenja o državnom izvještaju i o situaciji u zemlji (u ciklusu za *Okvirnu konvenciju* taj odbor se zove Savjetodavni odbor),
- c) odgovor ili komentare dotične vlade na izvještaj Odbora eksperata ili Savjetodavnog odbora, i
- d) preporuke Odbora Ministara pri Vijeću Europe.

Neke su države već prošle treći ciklus. Svi su ovi dokumenti dosta lako dostupni i čini se da ovaj kontrolni mehanizam funkcionira dobro. Najveći je problem što se preporuke Odbora Ministara dosta često shvaćaju upravo kao preporuke, ne kao nešto obvezatno.

U *Okvirnoj konvenciji* nema definicije pojma nacionalne manjine i zbog toga države same moraju definirati taj pojam što znači da se definicije i razumijevanje ovoga pojma ponekad razlikuju u pojedinim državama. Problem je najočitiji u svezi sa Romima. Pojam *nacionalna manjina* uglavnom podrazumijeva da pripadnici takve manjine pripadaju nekoj naciji. No pitanje je — da li postoji romska nacija kao nacija bez zemlje? Većina zemalja riješile su to pitanje poistovjećivanjem pojma nacionalne manjine s pojmom etničke grupe ili etničke manjine, ali ne sve. U Sloveniji naprimjer, Romi imaju drugačiji status od druge dvije priznate nacionalne manjine, Talijana i Madara. U Poljskoj Kašubi i Šlezani nisu priznati kao manjine. Niti nisu priznati Moravljani i Šlezani u Češkoj. Kad se govori o Kašubima u prvom poljskom izvještaju, govori se o kašupskoj zajednici (*community* na engleskom). Isto tako su nazvani Romi u slovenskim izvještajima.

U prvom ukrajinskom izvještaju Rusini nisu spomenuti. Umjesto toga govori se o etnografskim ili subetničkim grupama kao Bojki, Huculi, Lemki, Litvini i Poliščuki. Nema ni definicije pojma etnografske ili subetničke grupe što Savjetodavni odbor kritizira u svom izvještaju. Rusini koji su danas priznati kao posebna nacionalna manjina u mnogim zemljama, nisu priznati u Ukrajini. Rusini su dakle dio ukrajinskoga naroda. Izgleda da su danas priznati kao zasebna grupa u Karpatskoj Ukrajini u nekim regionalnim savjetima, ali to ne znači da su zaštićeni *Okvirnom konvencijom* jer države, a ne regije potpisuju i ratificiraju *Okvirnu konvenciju*.

U austrijskim izvještajima govori se i o Hrvatima i o Gradišćanskim Hrvatima. Nije sasvim jasno da li su samo Gradišćanski Hrvati priznati kao nacionalna manjina ili su dio veće grupe Hrvata koja uključuje i kasnije imigrante.

U talijanskom izvještaju spominju se samo Slovenci i Hrvati. Nema Venecijanskih ili Režijanskih Slovenaca ili Moliških Hrvata.

U bugarskom izvještaju nema ni Makedonaca ni Pomaka.

I naravno, ne govori se ni o Čakavcima ni o Kajkavcima sa velikim slovom u hrvatskom izvještaju. Čakavci i kajkavci sa malim slovom su Hrvati koji govore čakavski ili kajkavski.

Kad jedna skupina nije priznata kao manjina to u principu znači da njezin jezik nije priznat i da neće imati zaštitu prema načelima *Okvirne konvencije*, ali da može dobiti priznanje prema *Povelji o regionalnim i manjinskim jezicima*.

U prvom dijelu Povelje imamo definiciju pojma regionalni ili manjinski jezik. Citiram iz hrvatskoga prijevoda:

DIO I.
OPĆE ODREDBE
Članak 1. – Definicije

U smislu ove *Povelje*:

- a) izraz «regionalni ili manjinski jezici» znači jezike koji se
 - i. tradicionalno rabe na području određenog državnog teritorija od strane državljana te države koji sačinjavaju grupu brojčano manju od ostatka državnog stanovništva, i
 - ii. razlikuju od službenih jezika te države; Ovo ne uključuje ni dijalekte službenog jezika države ni jezike useljenika;
- b) «područje na kojem se regionalni ili manjinski jezici rabe» znači zemljopisno područje na kome je navedeni jezik način izražavanja određenog broja ljudi što opravdava usvajanje različitih zaštitnih i poticajnih mjera predviđenih u ovoj *Povelji*;
- c) «neteritorijalni jezici» znači jezike koji se rabe od državljana određene države a koji se razlikuju od jezika koje rabi ostatak državnog pučanstva, ali koji iako su tradicionalno u uporabi u okviru državnog teritorija, ne mogu biti svedeni na zasebno područje.

U definiciji ima nekoliko problema:

1. Izgleda da su regionalni jezik i manjinski jezik ista stvar. Obadva pojma pretpostavljaju da se jezik govori na jednom teritoriju/ području. No kasnije se uvodi izraz «neteritorijalni jezik», što je nužno primjerice glede Roma ili Židova.
2. Jedan drugi problem je izraz «jezike koji se tradicionalno rabe». Riječ «tradicionalno» je ovdje ključna riječ. Kako se «tradicionalno» može tumačiti? Koliko godina treba jedna jezična skupina ži-

vjeti na jednom teritoriju da bi taj život imao «tradicije»? Kada postaje grupa useljenika, koja čuva svoj jezik, manjina?

3. Stupanj razlikovnosti između službenog jezika jedne države i jezika jedne skupine je također vrlo važan. Kaže se da dijalekti službenog jezika nisu uključeni. Međutim, postoje dijalekti koji su dosta daleko od službenog jezika i koji imaju književnost, što znači da neki ljudi osjećaju potrebu da se izražavaju i pismeno na tom dijalektu.

Rekao sam da izgleda da su regionalni jezik i manjinski jezik ista stvar. Ali u nekim slučajevima države razlikuju ova dva izraza. U njemačkom izvještaju, na primjer, donjonjemački je regionalni jezik ali na primjer danski manjinski jezik. U novom poljskom zakonu o manjinama kašupski je regionalni jezik dok su drugi jezici manjinski jezici. Na ovaj način, obje države izbjegavaju spomenuti manjinski status Kašuba odnosno Donjih Nijemaca.

U poljskom slučaju izbjegava se također pitanje o statusu kašupskoga, t. j. da li su kašupski dijalekti dio poljskoga jezika ili da li su poseban dijasistem dijalekata ranga jezika, kao što, između ostalih, smatra Dalibor Brozović.

Na istoj osnovi bilo bi moguće definirati kajkavski i čakavski kao regionalne jezike u Hrvatskoj. Oba imaju bogatu književnojezičnu tradiciju i još uvijek ima ljudi koji se izražavaju pismeno na čakavskom, a pogotovo na kajkavskom. No, Hrvati nisu definirali ni kajkavski ni čakavski na taj način. Razlog tome je što se književnost na čakavskom i kajkavskom danas smatra dijalektalnom književnošću, te što se kajkavski i čakavski smatraju dijalektima navodno jedinstvenog hrvatskog jezika. Ovo je na primjer jasno u članku M. Lončarića i S. Kekeza «Čakavština i kajkavština kao književni jezici i danas u književnosti» (Lončarić i Kekez 2006, 188–206). Između ostaloga, Lončarić i Kekez u zaključku kažu:

«...pa iako je osnova hrvatskog standardnog jezika novoštokavska, sastavni njegov dio, za razliku od drugih štokavskih standardnih jezika, čine i druga dva narječja, čakavsko i kajkavsko» (str. 203).

Koliko je ovaj dio sastavni, za mene je veliko pitanje. Ipak su hrvatski vukovci na kraju XIX i početku XX stoljeća očistili hrvatski dosta temeljno od čakavizama i kajkavizama, koji još nisu vraćeni u standardni jezik.

U hrvatskim udžbenicima se često piše da se hrvatski jezik sastoji od tri narječja, primjerice S. Težak, Z. Klinžić, M. Bacan (Težak, Klinžić, Bacan 2003, 128–145). Ali kad se gledaju primjeri štokavskih govora, spominju se samo govori kojima govore Hrvati. To znači da je hrvatski jezik definiran samo po etničkoj osnovi, t. j. dijalekti kojima govore Hrvati su dijalekti hrvatskoga jezika. Takva definicija nije baš zadovoljavajuća. Ili imamo u području između Slovenije i Bugarske i Makedonije jedan jezik ranije nazvan srpskohrvatski i kasnije središnji južnoslavenski dijasistem (na primjer Brozović 2003, 45–52), ili imamo tri jezična sustava (kako piše hrvatski lingvist Josip Silić 2001, 147–155), to jest tri jezika, čakavski, kajkavski i štokavski. Iako pitanje o književnim ili standardnim jezicima u ovom području nema veze s razdiobom na tri jezična sustava (svi službeni standardni jezici imaju kako znamo novoštokavsku osnovu i vjerojatno će i crnogorski imati istu osnovu), ipak mislim da bi razdioba na tri jezična sustava mogla biti dodatan razlog za priznanje kajkavskog i čakavskog kao regionalnih jezika.

U povijesti slavenskih jezika i slavenskih književnih jezika, koji su često veoma srodni, odnos dijalekta i jezika uvijek je bio aktualan. Taj odnos je također vrlo aktualan za rusinski. Jedan od argumenata sa ukrajinske strane je da su dijalekti kojima govore Rusini ukrajinski. To nije sasvim točno jer su dijalekti koji su osnova jugoslavorusinskog mikrojezika po nekim vrlo bitnim obilježjima zapadnoslavenski, na pr. po odsutnosti takozvane pleofonije/ *polnoglasija*. Osnova drugih pisanih rusinskih varijanata je u svemu bitnome istočnoslavenska. Ta činjenica je vrlo važan argument protiv ukrajinskog upornog nepriznavanja rusinskih književnih jezika, ali i protiv postojanja rusinskog dijasistema dijalekata. Možda bi se moglo reći da su rusinske varijante stvorene na osnovi prijelaznih govora između istočnoslavenskog i zapadnoslavenskog u Karpatima ali to je dosta komplicirano. U tom slučaju ušli bi i istočnoslovački govori u ovaj dijasistem. Mislim da bi mudar izlaz iz svega ovoga bio priznati rusinski kao regionalni jezik u karpatskoj Ukrajini, iako je u drugim državama priznat kao manjinski jezik.

Glede šleskog, podhalanjskog i moravskog, izgleda da poljske i češke vlasti nemaju želju niti priznavati Šlezane, Podhalane i Moravljane kao nacionalne manjine niti govoriti o njihovim jezicima kao zasebnim jezicima. Jedan od mnogih razloga tome jest da su šleski i podhalanjski govori

od davna, i još uvijek, smatrani dijalektima poljskoga jezika. Podhalanjski je čak imao i dosta visok status poljskosti u uspoređenju s drugim dijalektima. Moravski su dijalekti prema svima dijalektologijama također dijalekti češkoga jezika. I u ovom slučaju bilo bi moguće priznati ove jezike kao regionalne jezike, ali pitanje je da li bi takvo priznavanje imalo neku jaču potporu podhalanjskoga ili moravskoga pučanstva. U šleskom slučaju takvo priznanje bi sigurno imalo podršku jednog dijela stanovništva u Šleziji jer u posljednjem poljskom popisu stanovništva više od 50000 su deklarirali da je njihov materinski jezik šleski i skoro 200000 da su Šlezani. I Podhalani i Šlezani imaju književnost i radi se na normiranju pisanog jezika. Slažem se s Arturom Czesakom kad kaže:

«Wydaje się, że omawiane systemy językowe, ciągle poszerzają zakres swego występowania, spełniają już kryteria, by nazwać je mikrojęzickimi literackimi w rozumieniu A. Duliczenki» (Czesak 2006, 373).

Sudbina gradišćanskohrvatskoga dugo je vremena bila predmet diskusije među Gradišćanskim Hrvatima. Da li će se u školama u Gradišću predavati hrvatski (ranije hrvatskosrpski) standardni jezik ili gradišćansko-hrvatska varijanta? Sad je pobijedila njihova varijanta. Ovu diskusiju opisuje Katarina Tyran u svom članku (Tyran 2006, 122–137).

Mislim da je jedan problem u svezi s gore diskutiranim mikrojezicima njihova prijelaznost. Kajkavsko narječje je ipak na neki način prijelazno između slovenskoga i štokavskoga, šleski govori prijelazni su između poljskoga i češkoga, moravski između českoga i slovačkoga, podhalanjski ima djelomično neke karpatske karakteristike, a rusinski dijalekti su prijelazni između istočnoslavenskoga i zapadnoslavenskoga. U ovom kontekstu možemo također napomenuti zapadnopolesski, čija su osnova polesski govori, koji su prijelazni između bjeloruskoga i ukrajinskoga. Ova područja su također često prijelazna u kulturnom smislu, i često stoje između dvije ili čak tri kulture, ili imaju svoju vlastitu kulturnu i političku povijest.

Najstariji «lingvistički» razlog da se neki idiom ne priznaje kao manjinski ili regionalni jezik, ili kao jezik uopće, jest da je on dijalekt nekog nacionalnog službenog jezika. U slučaju slavenskih jezika gdje su granice među jezicima dosta «fuzzy» t. j. nejasne zbog velike srodnosti slavenskih jezika ovaj argument nije baš tako snažan. Mislim da su sociolingvistički argumenti snažniji. Ako se neki ljudi žele izražavati na tom idiomu,

i jedan od znakova toga je stvaranje pisanoga jezika, onda je to sasvim dobar razlog za priznavanje.

Razlozi protiv priznavanja su uglavnom političke naravi. Vlasti i političari boje se rascjepljivanja države, zahtjeva autonomije ili samostalnosti, ili čak secesije. Često i ekonomija igra ulogu. Skupo je imati više jezika u državi. Skupa je manjinska politika. Ali u ovom kratkom izlaganju neću ulaziti u takve probleme.

LITERATURA I PRIMJEDBE

Brozović 2003 = Dalibor Brozović. *Genetsko lingvistički i sociolingvistički kriteriji u sistematizaciji južnoslavenskih idioma, s posebnim obzirom na Bosnu i Hercegovinu*. Wiener Slawistischer Almanach. Sonderband 57: Bosanski – Hrvatski – Srpski/ Bosnisch – Kroatisch – Serbisch. Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca, Wien, s. 45–52.

Czesak 2006 — Artur Czesak. *Góralski i śląski — mikrojęzyki literackie in statu nascendi?* SLMJJK, s. 360–385.

Duličenko 2006 — Александр Д. Дуличенко. *Современное славянское языкознание и славянские литературные микроязыки*. SLMJJK, с. 22–46.

Silić 2001 — Josip Silić. *Hrvatski i srpski jezik*. Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Trideset godina rada. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, s. 147–155.

U tom članku on piše (s. 148): «Obično se kaže da se hrvatski jezik (kao sustav) dijeli na tri narječja (dijalekta): štokavsko, kajkavsko i čakavsko. U jednoj smo svojoj raspravi pokazali kako to nije točno jer su to različiti sustavi. A različiti sustavi ne mogu biti (sastavni) dijelovi jednoga sustava. Ondje smo rekli da to nisu tri narječja (dijalekta) hrvatskoga jezika, nego tri hrvatska narječja (dijalekta) – da su to u biti tri hrvatska jezika. To smo objasnili i šetnjom kroz njihovu povijest (dijakroniju) i šetnjom kroz njihovo stanje (sinkroniju)».

SLMJJK 2006 — Slavica Tartuensia VII: *Славянские литературные микроязыки и языковые контакты (Slavic literary microlanguages and language contacts)*. Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Международном Комитете славистов, 15–17 сентября 2005 г. Ред.: А. Дуличенко, С. Густавссон (при участии Дж. Данна). Тарту, 2006.

Težak, Klinžić, Bacan 2003 = Stjepko Težak, Zora Klinžić, Marijan Bacan. *Moj hrvatski 8. Udžbenik*. Zagreb: Školska knjiga, 2003.

Tyran 2006 — Katarina Tyran. *Der Streit um die Standardsprache bei den Burgenländischen Kroaten*. SLMJJK, S. 122–137.

Slaavi mikrokirjakeeled, regionaalsed keeled ja vähemusrahvuste keeled

Sven Gustavsson

Mõistet *slaavi mikrokirjakeeled* (SMKd) käsitlen ma töökogemuste põhjal Euroopa Nõukogus vähemusrahvuste kaitse konventsiooni ning Euroopa regionaalsete keelte ja vähemusrahvuste keelte harta raamides. Raamkonventsioon ja harta aitasid kaasa mõnede slaavi mikrokirjakeelte tunnistamisele rahvusvähemuste keelteks ja ühel juhul regionaalseks keeleks (kašuubi keel). Ometi ei ole mõned pikaajalise kasutamistraditsiooniga SMKd või SMKd in statu nascendi leidnud tunnustamist kui vähemusrahvuste keeled või regionaalkeeled, kuigi vastavad riigid on harta ja/või raamkonventsiooni allkirjastanud, näiteks Horvaatia (tšakavi ja kaikavi), Poola (sileesia ja guraali), Tšehhi (moraavia), Ukraina (russiini), Itaalia (rezijani). Neil juhtudel, kui riigid ei ole raamkonventsioonile ja/või hartale alla kirjutanud, näiteks Kreeka, on situatsioon teistsugune. Artiklis toetun osaliselt mõnede publikatsioonidele SMKd kohta, mis on ilmunud Tartus, sealhulgas raamatus «Славянские литературные микроязыки и языковые контакты» seerias Slavica Tartuensia (2006, kd. VI, lk. 82-101).

Александр Дмитриевич Дуличенко
Тартуский университет

СТАТУС И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЛАВЯНСКИХ МИКРОЯЗЫКОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ МИКРОСЛАВИИ

Славянские языки – славянские литературные микроязыки – термин и понятие – состав и классификация – социолингвистические параметры – восприятие категории славянских микроязыков в славистике – славянские микроязыки: «ящик Пандоры»? – новые эксперименты по созданию литературных микроязыков

Категория славянских микроязыков (на социолингвистическом уровне — славянских литературных микроязыков) стала разрабатываться с середины 70-х гг. XX в. и получила свое более или менее цельное оформление лишь в начале 80-х гг. В ту пору был собран, описан и типологически проанализирован материал 12 литературных микроязыков и их проектов, т. е. в том же количестве, что и число традиционно включаемых в генетическую классификацию славянских языков. Разумеется, за прошедшие четверть века многое изменилось: собрался дополнительный материал, который по тем или иным причинам не оказался в нашем распоряжении тогда; уточнялись отдельные моменты истории и современного состояния ряда конкретных славянских литературных микроязыков; дальнейшую разработку получили также некоторые теоретические положения, касающиеся этой категории языков, и т. д. За указанное время «проспали» также ростки некоторых новых славянских литературных микроязыков (в 70–80-е гг. проявления некоторых из них еще не бы-

ли столь выразительными, чтобы включать их в состав описываемых литературных микроязыков). В Европе в целом изменилось соотношение «больших» и «малых» языков, что также является немаловажным фактором для формирования, функционирования и вообще перспектив развития литературных микроязыков.

Существенно, что понадобилось по меньшей мере два десятка лет, чтобы проблематика славянских литературных микроязыков привлекла к себе внимание языковедов-славистов и постепенно стала одним из достаточно перспективных направлений современного славянского языкознания (см. Дуличенко 2006, 23–26). Тематический блок по малым славянским языкам (= микроязыкам) на Международных съездах славистов (МСС) работает уже второй раз: впервые он функционировал на XII МСС в Кракове, т. е. 10 лет назад. Проблематика микроязыков была представлена и на XIII МСС в Любляне в 2003 г. в целом ряде докладов. Это, безусловно, показатель увеличивающегося внимания славистов к рассматриваемому нами лингвистическому феномену.

Понятие литературного микроязыка

Чтобы вникнуть в суть этого феномена, нужно его определить. Что мы понимаем под литературным микроязыком? Какие необходимые признаки лежат в его основе?

- 1) Это форма существования языка — как и любого этнического литературного языка;
- 2) он(а) обладает письменностью и реализует определенные принципы правописания;
- 3) он(а) базируется на определенном говоре (resp. говорах) или диалекте — как и большинство этнических литературных языков;
- 4) характеризуется нормализующимися и нормализуемыми тенденциями, т. е. выработкой литературно-языковых норм в области фонетики, грамматики и словаря;
- 5) возможностью их стабилизации и дальнейшей кодификации,

- 6) что в целом является следствием функционирования такого литературно-языкового образования в разных сферах жизни
- 7) в рамках организованного и социально поддерживаемого литературно-языкового процесса.

Обратим внимание: *только при наличии литературно-языкового процесса, работающего на унификацию грамматических и проч. норм и на их дальнейшую кодификацию, можно говорить о литературном микроязыке (впрочем, как и вообще о любом литературном языке!)*. Ведь без таких компонентов литературно-языкового процесса, как функционирующая письменность, производство литературно-художественных и проч. текстов, применение в образовательной сфере, в СМИ — от газет и журналов до радио и телевидения, в религиозной сфере и т. д., невозможно говорить о литературном языке, в том числе и о литературном микроязыке. Ведь именно литературно-языковой процесс формирует контуры литературного языка, скрыто или открыто влияет на развитие его норм, заставляя искать при этом те ниши социальной жизни, в которой язык нашел бы то или иное применение.

К сожалению, эти факторы нередко не принимаются во внимание (или просто не понимаются) некоторыми критиками теории литературных микроязыков. Они смешивают интересующую нас категорию с так наз. литературным диалектом: это явление действительно существует, однако оно, как правило, вне литературно-языкового процесса (допускаю: до определенного времени), это обычно индивидуальные языковые эксперименты — часто без преемственности. Писать можно на любом говоре или диалекте, но будет ли при этом организован литературно-языковой процесс, в который вовлекаются, помимо индивидов-энтузиастов, также другие деятели культуры, образуя преемственность между поколениями-участниками процесса, — это для литературного диалекта большой вопрос. Более того: литературный диалект по своей цели стремится отобразить в нюансах специфику местной традиции и особенно местной речи, т. е. обычно уходит от связывающих построений типа койне или нормы. Литературный микроязык идет в ином направлении, повторяя те пути, которыми проходит любой этнический литературный язык.

О термине *микроязык*

Термин *микроязык* (мн. ч. *микроязыки*) уже обсуждался нами ранее. Но мы вынуждены вновь и вновь возвращаться к нему.

Он возник во второй половине 60-х гг. XX в. Напомню, что речь о нем шла и во время моих бесед и обсуждений проблемы с Н. И. Толстым. Предлагая термин *литературный микроязык*, я подразумевал отразить в нем по крайней мере три важнейших параметра:

- 1) форму существования — *литературный* (в отличие от *территориальной* — говоров и диалектов и от *социальной* — просторечий, жаргонов и под.);
- 2) препозитивным компонентом *микро-* указать на малые количественно-пространственные показатели;
- 3) компонентом *-язык* показать высший ранг объекта в таксономическом ряду *говор — наречие/ диалект — язык*.

Почему не *региональные литературные языки* (resp. *региолекты*)? Дело в том, что состав литературных микроязыков значительно шире: это понятие и термин применимы лишь к одной их группе — *периферийных литературных микроязыков*, которые называются мною также *региональными* (иногда *матичными*). Ведь *региональный* подразумевает непосредственное соседство с основным лингвомассивом, он — его периферийное, или региональное, продолжение; в целом это непрерывное речевое (и этническое) пространство.

Но в составе микроязыков есть немало таких, которые характеризуются дистанционным параметром по отношению к основному лингвомассиву, т. е. они располагаются в отрыве, в иноязычном и иноэтническом окружении. Есть и другие отличия.

Термин *языки этнических меньшинств* содержательно не покрывает состав литературных микроязыков — носители тех же периферийных микроязыков всего лишь культурно-языковые или этно-языковые группы соответствующего этноса-корня. Кроме того, фактически это не термин, а распространенное выражение.

Термин *малые славянские литературные микроязыки* иногда используется мною как синоним или даже как дублет, однако он менее терминологичен, нежели *славянские литературные микроязыки*.

В связи со спорами вокруг терминообозначения лингвистической категории «литературные микроязыки» возникают парадоксы: те,

кто не приемлет предложенный термин, взамен, как это не удивительно, ничего нового сами не предлагают.

Вот показательный пример. Представив синтезированный очерк о славянских литературных микроязыках для энциклопедии Российской Академии наук «Языки мира», для ее славянского тома, я услышал от одного из редакторов, что лучше все же из заглавия слово *микроязыки* снять и заменить его на *малые*, т. е. обозначить очерк как «*Малые славянские литературные языки*». Каково же было мое удивление, когда, получив корректуру очерка, я увидел, что компонент термина *малые* остался в названии, но в самом тексте по-прежнему использовался термин *микроязыки*! Более того, на завершающей стадии работы другой редактор спросил меня, почему я назвал очерк «*Малые славянские литературные языки*», а не «*Славянские литературные микроязыки*». Я ответил, что так предложил предыдущий редактор, на что он среагировал следующим образом: термин *микроязыки* очень хорош и его нужно оставить. Вышли из ситуации таким образом: очерк назвали «*Малые славянские литературные языки (микроязыки)*»!... (См. Дуличенко 2005, 595–615).

Ощущаю ли я сам достаточность предложенного термина?

Я понимаю, что не все входящие в эту категорию языки стоят на одном уровне своего интра- и экстралингвистического развития. Более того: если одни унифицируют свои нормы и как-то расширяют свой функциональный спектр, то другим избежать полинормности (т. е. отсутствия единых норм) и узости функционального применения пока не удастся. Такие, например, феномены, как молизско-славянский (опыты с XIX в.) и восточнословацкий (с XVIII в.), характеризуются не только прерывностью, т. е. они время от времени просто угасают, но и вяло текущим литературно-языковым процессом в целом. Но и при этом здесь сохраняется некоторая преемственность в языкотворческом процессе, направленном на формирование литературных норм.

Ляшский, создаваемый О. Лысогорским в 30-е гг. XX в. в чешской Силезии, задумывался как литературный язык локального пространства для местного населения, от которого литературные чешский и польский были достаточно далеки. Начиная оформляться литературно-языковой процесс, но ему помешала Вторая мировая

война. И после ее окончания были кое-какие надежды на его оживление, но они рассеялись, как только было определено негативное отношение официальных властей к этому феномену. Сам Лысогорский так и остался на позициях своего литературного языка, постоянно совершенствуя его в своем творчестве. Литературно-языковой процесс, не успев зародиться, свернул свои социолингвистические перспективы до одного человека. Случай уникальный. Но у меня есть сведения о том, что этот процесс может там в скором времени возродиться.

Если говорить о соотношении этнического и языкового аспектов, то таковое имеют в нашем списке лишь серболужичане, а также кашубы, в то время как остальные характеризуются и разными диалектными (или говорными) основами — общесловенский литературный язык, с одной стороны, и резьянский, венецианско-словенский и прекмурско-словенский — с другой, и разными этническими соотношениями: нация и ее группа в различном этнокультурном статусе (этно-культурные группы, этно-языковые группы). Таким образом, этническая и языковая соотносительность (типа *словенцы – словенский язык*, *украинцы – украинский язык* и под.) в нашем случае реализована лишь частично. Это тоже отличие.

Типологически, однако, микроязыковая ситуация отчасти напоминает феномен сербско-хорватского (resp. хорватско-сербского): на его генетически единой штокавской основе формируются ныне несколько языков на социолингвистическом уровне — сербский, хорватский, боснийский и, вероятно, черногорский, ср., например, на чакавском наречии — региональный матичный чакавский Хорватии и переселенческий чакавский градищанско-хорватский Австрии; общесловацкий, базирующийся на среднесловацком наречии, и попытки создания восточнословацкого регионального литературного языка на говорах восточнословацкого наречия — хотя оба эти наречия генетически словацкие, и под.

Однако я попытался выстроить иерархию микроязыков, которая так или иначе объединяла бы такой диапазон различий между ними (см. ниже). Более того, я смотрю на данную категорию языков диалектически, предусматривая ее внутреннее и функциональное движение, развитие. В этой связи замечу, что, например, некоторые дея-

тели современного (карпато)русинского культурно-языкового движения недовольны помещением (карпато)русинского в его литературно-языковых вариантах в категорию литературных микроязыков, так как, по их мнению, молодой (карпато)русинский — это четвертый самостоятельный восточнославянский язык и, таким образом, он должен стоять в одном ряду с белорусским, русским и украинским языками. Однако на такие утверждения имеются некоторые возражения: во-первых, закарпатскоукраинскую генетическую основу (карпато)русинского пока еще никто не отменял — она очевидна; во-вторых, это не случай македонского, который в силу исторических, политических и проч. причин оказался оторванным от общего с болгарским генетического источника и в социолингвистическом плане утвердился как особый язык в ином государстве. Однако как пойдет дальнейшее развитие (карпато)русинского феномена, покажет время.

Как бы то ни было, термин *микроязыки* все же не только получил достаточно широкое распространение, но и, как кажется, постепенно утверждается в славянском языкознании, о чем свидетельствует также его наличие в различных славянских языках, ср.: юг.-русин. *микроязыки*, белор. *мікрамовы*, укр. *мікромови*, словц. *mikrojazyky*, болг. *микроезици*, с.-хорв. *микројезици* / *mikrojezici*, пол. *mikrojęzyki* и под. Распространился он и в неславянских западных языках, ср.: нем. *Mikrosprachen*, англ. *microlanguages* и т. д.

Сколько же литературно-микроязыковых феноменов отвечает рассмотренным выше требованиям?

Если, как мы уже заметили, в начале 80-х гг. таковых насчитывалось 12, то за прошедшие после этого четверть века количество литературных микроязыков прибавилось — это значит, что современная Славия хотя и плотно покрыта языками культуры, т. е. Литературными языками, все же таит в себе некоторые возможности для новых прецедентов. Это значит также, что категория славянских литературных микроязыков характеризуется динамичностью, это развивающаяся и пополняющаяся лингвистическая категория. К настоящему времени насчитывается по крайней мере 18 литературных микроязыков различной степени развития и характеристик, присутствующих литературному языку вообще.

Каким образом можно классифицировать такой состав микроязыков? Изучая эту лингвистическую категорию, я пришел к выводу о том, что объективное распределение микроязыков лучше всего отражает ареальный (resp. географический) подход. Разумеется, классифицируются диалекты основы по их ареальному расположению, а вместе с ними в классификационные рамки попадают и сами социолингвистические феномены.

Наша классификация за четверть века претерпела изменения как по своей структуре, так и по количеству единиц, ее составляющих. Выделяются четыре группы микроязыков по особенностям их географического расположения. Вот как это выглядит:

Таблица № 1

Классификация славянских микроязыков
(с данными о местах их распространения и числе носителей)

микроязыки	страна / регион / культурный центр	статистические данные
I. Автономные		
верхнелужицкий	Германия, земля Саксония, ист. обл. Верхняя Лужица / Budyšin (нем. Bautzen)	40 тыс.
нижнелужицкий	Германия, земля Бранденбург, ист. обл. Нижняя Лужица / Chóśebuz (нем. Cottbus)	ок. 20 тыс.
кашубский	Польша, Гданьское воев., ист. обл. Поморье Гданьское и вост. часть Западного/ Kartuszy, Gdańsk	от 200-367 тыс. (переп. 2002 г.: ок. 5 тыс., ок. 51 тыс. говорящих)
II. Островные		
югославо-русинский (южнорусинский)	Сербия – Автономная обл. Воеводина, Хорватия / Руски Керестур (серб. Руски Крстур) – Нови Сад / Загреб (хорв. Zagreb)	ок. 25 тыс.
градишанско- хорватский	Австрия, земля Бургенланд/ Željezno (нем. Eisenstadt)	35–45 тыс.

молизско-славянский	Италия, обл. Молизе, пров. Кампобассо (итал. Molise, Campobasso)/ –	ок. 4–4,5 тыс. (?)
резьянский	Италия, пров. Венеция – Джулия (итал. Venezia – Giulia), долина Резья	ок. 3 тыс. (?)
банатско-болгарский	Румыния, ист. обл. Банат / (в XIX в. — Винга)	18–22 тыс.
III. Периферийно-островные		
(карпато)русинский	Украина – Закарпатская обл. (Подкарпатская Русь); Вост. Словакия (Пряшевская Русь); Польша, Венгрия, (Румыния)/ разные	статистические данные противоречивы
эгейско-македонский	Греция, Эгейская Македония / –	от 110 до 160 тыс.
помакский	Греция, номы Ксанти, Родопи, Эврос, ист. Зап. Фракия / Комотини (?)	39 тыс. (переп. 2001 г. – 36 тыс.)
венецианско-словенский	Италия, обл. Фриули – Юлийская Краина, Терская и Недижская долины	ок. 9 тыс.
IV. Периферийные (региональные)		
чакавский	Хорватия, Адриатическое побережье и острова / Split, Rijeka (?)	говорами пользуется 12% насел. Хорватии (интернетданные)
кайкавский	Хорватия, северо-запад и средняя часть / Zagreb, Varaždin (?)	говорами пользуется 31% насел. Хорватии (интернетданные)
прекмурско-словенский	Словения, обл. Прекмурье / Murska Sobota (?)	–
ляшский	Чехия, Силезия / Фридек-Мистек (чеш. Fridek-Místek)	–

восточнословацкий	Восточная Словакия / –	–
западнополесский	Белоруссия (част. Украина)/ Мінск (?)	–

Исследование микроязыковых образований позволило выявить интересную закономерность: их нормативные и функциональные параметры ослабевают или сокращаются по мере движения

- 1) от автономных микроязыков, которыми пользуются народности (т. е. достаточно самостоятельные небольшие этносы), →
- 2) к островным, обслуживающим переселенческие группы (этнические меньшинства), →
- 3) а также к периферийно-островным, оказавшимся отрезанными от своего этно-языкового пространства (так же этнические меньшинства) и, наконец, →
- 4) к периферийным (resp. региональным), которые культивируются этно-культурными региональными группами в рамках своего этно-языкового пространства.

Таким образом, из этого видно, что носителями микроязыков являются различные этно-социальные общности: в случае с автономными — это народности, в случае с островными и периферийно-островными — этнические меньшинства в иноэтническом и иноязыковом окружении и, наконец, в случае с периферийными — этнокультурные или культурно-языковые региональные группы. Действительно, у народностей больше возможностей для развития собственного литературного языка в нормативном и функциональном плане, у островных, а также у периферийно-островных этнических меньшинств подобные возможности тоже имеются, хотя их статус несколько ниже (меньшинства дистанционно располагаются или же являются отрезанными частями какого-то этноса); что же касается этнокультурных региональных групп, то они, оставаясь на периферии общего этно-языкового пространства, т. е. не отрываясь от него, пользуются общим литературным языком, а в качестве связи с «малой родиной» прибегают к локальной форме письменности и литературно-языкового койне.

Некоторые социолингвистические параметры литературных микроязыков

Теперь посмотрим, какими социолингвистическими параметрами характеризуются группы славянских литературных микроязыков. В качестве таковых выделим лингвонимы, т. е. обратим внимание на то, имеют ли они собственные наименования, какие были взяты в качестве базы говоры или диалекты при создании литературного микроязыка, с какого времени существует на них письмо и на какой основе, когда появились первые и последующие кодификации и каков функциональный статус рассматриваемых литературных микроязыков.

I. Автономные

Таблица № 2

микроязыки	лингвонимы	диалектная основа	письменность	грамм. кодиф.	функцион. аспект
в.-лужицкий	serbšćina, hornjoserbšćina	в.-лужиц. г-ры (будышинский)	с XVI в.; латиница	1679 г. →	функц. развитый (поливал.)
н.-лужицкий	serbšćina, dolnoserbšćina	н.-лужиц. г-ры (хошебузский)	с XVI в.; латиница	1640 г. →	функц. слабый
кашубский	kaszësczi jãzëk/ kaszëbskô mowa	разные г-ры	с XV в.; латиница	40-е гг. XIX в. /1879 г.	функц. развивающ.

В плане приведенных социолингвистических параметров верхнелужицкий оказывается достаточно развитым, слабы позиции нижнелужицкого, движется в направлении расширения своего функционального спектра кашубский.

II. Островные

Таблица № 3

микроязыки	лингвонимы	диалектная основа	письменность	кодиф. грамм.	функцион. аспект
югославо-русинский	руски язык (бачванско-руски язык)	зак.-укр. г-р, смеш., переходн.	с XVIII в.; церковн., граждан.	1923 г. →	функц. развитый (поливал.)

		к вост.-словацк. наречию	кириллица		
градишанско-хорватский	gradišćansko-hrvatski jezik	переселен. чакавский икавско-экавский г-р хорватский	с XVI в.; латиница	1919 г. →	средней функц-ти
молизско-славянский	naš jezik, po našu, na našu	штокавск. икавский г-р хорватский	с XIX в.; латиница	1968 г. →	функц. слабый
резьянский	rozajanski jazez/langač	г-р примор. наречия словен. яз.	с XVIII в.; латиница	—	средней функц-ти
банатско-болгарский	banátsći-balgarsći jazič	юго-восточные г-ры болгар. яз.	с XIX в.; латиница	1866—	средней функц-ти

По ряду параметров литературные микроязыки этой группы следуют за автономными, однако в функциональном плане они явно отстают (кроме югославо-русинского).

III. Периферийно-островные

Таблица № 4

микроязыки	лингвонимы	диалектн. основа	письмен-ность	грамм. кодиф.	функц. аспект
(карпато)-русинский	русиньский / русинський / русинский / лемківський язык/ карпаторусский язык/ karpatorusskij jazyk	закарпат.-укр. г-ры укр. языка	с XV в.; церковн., граждан. кирилл., спорадич. латиница	преимущ. с XX в.	функц. развивающ.
эгейско-македонский	македонски език/ језик от Эгей/ Egej	македонск. эгейские костурско-лерин. г-ры Греции	XVIII/ XIX вв.; кирилл., спорадич. греческ., латиница	1953 г.	функц. слабый
помакский	поматскез меџик/ pomatskes gjezik	болгарск. родоп. г-р Греции	XX в.; греческ., латиница	с 90-х гг. XX в.	функц. слабый
венецианско-словенский	beneškoslov(i)enski jezik	г-ры примор. наречия словен. яз.	кон. XVIII в.; латиница	—	функц. слабый

Некоторые периферийно-островные литературные микроязыки характеризуются пестротой используемого письма и слабой функциональностью, кроме интенсивно развивающегося (карпато)русинского в Европе.

IV. Периферийные (resp. региональные)

Таблица № 5

микроязыки	лингвонимы	диалект. основа	письмен- ность	грамм. кодиф.	функцион. аспект
чакавский	čakavština, čakavski (književni) jezik	хорватск. чакав. г-ры	XI/XII вв.; глаголица, с XV в. латиница	1604 г.	функц. активн.
кайкавский	kajkavština, kajkavski (književni) jezik	хорватск. кайкав. г-ры	с XV/XVI в.; латиница	1783 г. →	функц. активн.
прекмурско- словенский	prekmurščina, prekmurski (knjižni) jezik		с XVII в.; латиница	—	функц. слабый
ляшский	lašćina, lašsky (spisowny) jazyk	верхнеострав. г-р чеш. яз.	XX в.; латиница	—	функц. угасающий
восточно- словацкий	vichod(no)- slovenska reč	восточнослова ц. г-ры словацк. яз.	с XVIII в.; латин.	(1875)	функц. слабый
западно- полесский	заходьшнo- поліська волода/мова	полесские г-ры белорус. яз. (и укр. яз.)	с (XIX)/XX в.; кирилл., спорад. латин.	—	функц. угасающий (с сер. 90-х гг.)

Периферийные (региональные), как и следовало ожидать, в большинстве своем лишены кодификаций, а в функциональном отношении это в основном слабые литературные микроязыки, а некоторые находятся даже на грани угасания (ляшский, западнополесский); некоторые из них активно развиваются, но в узкой сфере — главным образом в области художественной литературы (чакавский, кайкавский).

Социолингвистические параметры во всех четырех группах дают нам возможность составить представление о том, что перед нами не капризы индивидуумов, но — литературно-языковые процессы.

Нетрудно заметить, что чем выше микроязык в предложенной иерархии (IV → III → II → I), тем он лучше обработан, о чем свидетельствует наличие первых (и показанных знаком →) последующих кодификаций в виде нормативных грамматик (но также, добавим, правописаний и словарей). Действительно, языки группы I (пока кроме кашубского) и части группы II (югославо-русинский, градищанско-хорватский) достаточно хорошо нормированы и по большей части стремятся к функциональной поливалентности. Последняя как раз и работает на повышение грамматической (и лексической) нормативности, так как своим использованием в различных доступных сферах жизни литературный язык как бы вынужден оттачиваться, унифицироваться и т. д. Мною была разработана специальная функциональная матрица современных славянских литературных микроязыков — см. в раб.: Дуличенко 2006, 42. Подтверждением функционального развития славянских микроязыков в тех сферах, которые оказываются им доступными, является недавно изданная двухтомная хрестоматия с образцами текстов разных жанров (см. Дуличенко 2003–2004).

О восприятии категории литературных микроязыков

До этого мы говорили о том, как воспринимается термин *микроязыки* в современном славянском языкознании. Теперь коснемся вопроса о восприятии самой категории литературных микроязыков.

Знакомясь с отзывами и рецензиями на монографию 1981 г. о славянских литературных микроязыках (Дуличенко 1981) и на свои последующие публикации, нетрудно было заметить, что большинство их авторов соглашается с введенной категорией литературных языков.

Однако высказываются и критические замечания. Речь идет скорее всего о психологическом восприятии микроязыков. Суть заключается в следующем. Традиционно, в течение почти двух веков, славянский мир складывался по крайней мере из 12 языков, которые распределялись по трем известным подгруппам по степени наибольшей близости друг к другу. И тут появляется категория ранее по сути не выделявшихся языков (*resp.* литературных языков), состоящая к то-

му же по количеству в не меньшем составе, чем традиционный список. Своего рода эффект неожиданности, даже, может быть, какого-то опасения, с одной стороны, перед самой категорией, о которой до того мало что было известно, с другой стороны, перед самим числом литературных языков! Разумеется, во все это не так просто поверить, а еще труднее — принять. Но можно ли закрывать глаза на литературно-языковые образования, которые претендуют на статус пусть даже локальных и незначительных по занимаемому пространству и числу говорящих языков?

Отмеченный психологический эффект связан, конечно, и с консерватизмом мышления. Отсюда не всегда в достаточной мере усваивается и осознается сама новая теория. Иногда ведутся поиски «обходных» путей квалификации новой категории языков.

Один из критиков теории литературных микроязыков, немецкий славист П. Редер, вскоре после появления в 1981 г. моей монографии написал статью под названием «Славянские литературные микроязыки?» (см. Rehder 1984–1985, 665–670). Сама постановка вопросительного знака в названии этой небольшой статьи как бы ставит под сомнение рассматриваемую лингвистическую категорию. Действительно, в тексте статьи много говорится о подходах к общей теории литературного языка. Особенно доверительно автор относится к системе признаков литературного языка, выдвинутой в свое время А. И. Исаченко. В целом создается впечатление, что заранее заданная схема в виде «обязательных» признаков литературного языка не очень-то и накладывается на многие литературные микроязыки.

Однако суть идеи литературных микроязыков состояла, помимо прочего, и в том, чтобы показать, что реальная литературно-языковая жизнь (в славянском мире по крайней мере) значительно разнообразнее и богаче унификационных схем, в которые мы пытаемся втиснуть такую страту, как литературный язык. Да, не все выделяемые нами литературные микроязыки одинаковы в плане нормированности, не все смогли расширить свой функциональный диапазон. Но, даже слабо функционируя, они являются свидетельством живого литературно-языкового процесса, и лишь время покажет, превратится ли такой язык из слабо функционального в язык средней функциональности или даже в функционально сильный. Слабо или же,

напротив, активно функционируя, литературные микроязыки постепенно пробивают в доступные им сферы социальной жизни путь, закрепляясь в них, разумеется, не столь мощно, как это случается с литературными языками крупных народов. Для «малого» достаточно и «малости» во всем...

Типологический взгляд, с одной стороны, на историю и современное состояние национальных литературных языков, с другой — на историю и современное состояние литературных микроязыков дает возможность, опираясь на последние, увидеть внутреннее и внешнее движение литературного языка, зафиксировать важные моменты, которые переживают такой литературный язык и которые отражаются в его судьбе: тут и перерывы в литературно-языковом процессе, которые известны не только литературным микроязыкам, но и крупным литературным языкам (например, белорусскому); тут и ослабление функциональной нагрузки литературного языка в той или иной сфере жизни, и роль субъективного фактора в нормировании и расширении сфер употребления и под. Так что не следует требовать от микроязыка сразу все те параметры, которые приобрели имеющие длительный период развития национальные литературные языки. Более того, до ряда социолингвистических параметров некоторые микроязыки могут «не дорасти» вообще, однако разве из-за этого они теряют статус именно литературных языков?

Показательно, что тот же П. Редер позднее, как нам кажется, иначе стал относиться к категории литературных микроязыков, поскольку попросил меня написать очерки нескольких из них (русинского, резьянского и банатско-болгарского) для неоднократно переиздающегося под его редакцией университетского курса «Введение в славянские языки (с введением в балканологию)» (см. Rehder 1998, 126–140, 246–249, 326–330; то же самое в переиздании 2003 г.).

Досадно, когда к психологическому фактору примешивается также недостаточное, попросту — поверхностное и даже несколько вольное знакомство с основными положениями теории микроязыков.

Показателен такой пример. Один из постоянных критиков теории литературных микроязыков славист И. Доровский, по происхождению эгейский македонец из Греции, живущий в Чехии (в Брно), в

ряде своих статей на чешском и македонском языках прямо пишет, что ему не нравится ни термин *микроязыки* (он присоединяет к нему словосочетание *так называемые*), ни сама категория литературных микроязыков. Однако его рассуждения теряются, когда мы, читая его тексты далее, замечаем, что автор, забыв о своем неприятии термина и понятия, с успехом пользуется ими на протяжении всех своих статей, т. е. по существу признает их (см.: Dorovský 1987, 1992, 2005, 35–43; 33–38; 11–17). Как это понимать? Видимо, критиковать — дело не такое уж сложное, но значительно сложнее разобратся в проблеме или же что-то предложить взамен. А предложить этот критик ничего взамен и не может: он не только, к сожалению, не прочитал критикуемую им монографию 1981 г. и, следовательно, не разобрался в основных положениях теории литературных микроязыков, но и не знаком с работами критикуемого автора, появившимися за четверть века после его монографии 1981 г. Коснемся некоторых рассуждений этого автора.

Так, наш критик в статьях 1992 и 2005 гг. дословно повторяет одни и те же фрагменты (целые абзацы) из первой своей статьи за 1987 г., хотя временной диапазон между ними, как видим, составляет почти 20 лет! Он постоянно твердит, что микроязыки — эти региональные литературные языки, хотя из классификации видно, что региональные — это всего лишь одна из четырех подгрупп (в 80-е гг. — одна из двух подгрупп). При этом он ссылается на некоторые публикации, где речь идет совсем о другом, — о национальных вариантах литературного языка, например, французского в Бельгии, Швейцарии, Канаде и т. д., т. е. о вариантах, которые имеют одну и ту же диалектную базу с французским языком Франции, но под влиянием политико-административных и географических факторов развивают, в отличие от метрополии, некоторые локальные черты! У нас же речь идет о разных диалектных основах (или разных говорах одного диалекта), с одной стороны, общелитературного языка и, с другой — литературного микроязыка, например, штокавского общехорватского и чакавского регионального в пределах Хорватии и островного чакавского переселенческого градищанско-хорватского в Австрии и т. д. Далее. Критик практически не делает различия между диалектом и литературным языком, что само по себе показательное. Так, он

пишет о том, что мною был проигнорирован ганацкий диалектный писатель Чехии Ондřej Пржикрил (Ondřej Přikryl; 1862–1936). В моей книге 1981 г. издания я специально касаюсь расцвета культурно-языкового регионализма, в том числе диалектной литературы, с начала XX в. и почти до Второй мировой войны на пограничье Чехии и Польши — в той части книги, где речь идет о ситуации, предшествовавшей появлению О. Лысогорского и его ляхского литературного языка. Там дан краткий обзор диалектной литературы с чешской и польской сторон. Там также указаны авторы, успевшие напечатать не по одному сборнику своих диалектных стихов и короткой прозы. Однако в этом контексте культурно-языкового регионализма все же не был еще сформирован литературно-языковой процесс, который бы имел продолжение и привел к формированию норм, присущих литературному языку. О. Лысогорский же создал общество, привлек единомышленников, разработал программу культурно-языкового развития на основе ляхского, или верхнеостравского, говора. Вторая мировая война помешала этому процессу, однако не только ему. После Второй мировой войны единомышленники О. Лысогорского еще как-то и что-то писали в рамках разработанного литературно-языкового русла, но под официальным давлением были вынуждены перейти на чешский литературный язык, за исключением самого О. Лысогорского, который продолжал совершенствовать не только графику и правописание, но и грамматику и словарь ляхского литературного языка. Да, этот язык социалингвистически не раскрылся, но он успешно функционировал в творчестве международно признанного поэта О. Лысогорского.

Что касается венецианско-словенского и эгейско-македонского, то в монографии 1981 г. мы говорим о работе по созданию этих литературных языков, о чем иногда вспоминает и сам критик. Но если бы он знал о моих последующих работах, он увидел бы, что они включены в состав славянских микроязыков и отражены в ряде публикаций, в том числе и в книге — см.: Дуличенко 2004, II, с. 4–39 — об эгейско-македонском, с. 52–68 — о венецианско-словенском. Запоздалая «критика»!

Немало наш критик позволяет себе вольностей и даже неточностей. Так, он утверждает, что в монографии 1981 г., якобы, пишется,

что попытки создания восточнословацкого литературного языка возникли в период Второй мировой войны. Если повнимательнее почитать книгу, то нетрудно будет заметить, что я веду начало этих экспериментов с середины XVIII в., когда стали появляться первые печатные книги по-восточнословацки, а если иметь в виду и рукописные документы на восточнословацком — то и ранее.

Наш критик категорически настроен против некоторых микроязыков. Так, он уже «сдал в архив» нижнелужицкий, на котором, по его словам, уже почти не говорят и на нем, якобы, ничто не издается. Это вымысел или просто элементарное незнание ситуации. Таким же образом он «расправился» с карпаторусинским, имеющим богатую историю и возрождающимся с конца 80-х — начала 90-х гг. XX в. Однако карпаторусинское культурно-языковое возрождение критик так и не заметил...

Вряд ли имеет смысл продолжать спорить с нашим настойчивым «критиком», поскольку нет для этого конструктивной основы. Но я благодарен ему за личные воспоминания, связанные с некоторыми моментами создания эгейско-македонского литературного языка, на котором он учился в свои молодые годы.

Хотел бы внести также некоторые уточнения в интерпретацию отдельных положений, высказанных мною в монографии 1981 г. Так, в одном из последних советских университетских учебников по введению в славянскую филологию есть специальный раздел «Славянские литературные микроязыки» (см. Супрун 1989, 130–134). Это, пожалуй, единственный случай в СССР, когда интересующая нас категория языков, хотя и кратко, изложена студентам. Автор пользовался моими материалами, в том числе монографией 1981 г., о чем сказано специально в данном разделе. Несмотря на то, что в моей монографии четко отделяются литературные микроязыки от так наз. литературных диалектов и приводятся аргументы в пользу такого разделения, автор почему-то пишет, что литературный микроязык иногда «называют литературным диалектом» или «региональным языком», — хотя в представленной в монографии 1981 г. классификации литературные микроязыки делятся на две группы — островные и региональные (или периферийные), т. е. из поля зрения в таком случае выпадает одна группа — островные микроязыки. Та-

ким образом, терминообозначение, как и само содержание понятия *литературные микроязыки*, становится неполным. При этом, однако, сравните выше название самого раздела этого учебника. Утверждение о том, что «некоторые микроязыки в определенные периоды развития стремятся к тому, чтобы занять в данном языковом коллективе место основного или единственного литературного языка со всеми его функциями», противоречит сущности анализируемой нами категории языков, так как микроязыки не могут быть самостоятельными ни в каком социуме, — напротив, они выполняют локальную и тем самым играют дополнительную роль по отношению к национальному литературному языку или литературному языку окружающей крупной нации. То есть они реализуют своего рода принцип дополнительности. Вношу эти уточнения исключительно по той причине, что речь идет об университетском учебнике, который, вероятно, используется до сих пор студентами филологических факультетов.

Итак, славянские литературные микроязыки: «ящик Пандоры» ли?

За прошедшие по крайней мере четверть века у меня накопилось немало материала, касающегося взглядов ученых и самих носителей на статус микроязыков, включенных в разработку. Кое-что заслуживает специального внимания. Касается это некоторых микроязыков. Но мы остановимся здесь лишь на двух прецедентах.

1. Ситуация с кашубским языком

Споры по поводу статуса этого языка длятся уже по меньшей мере два века. В чем же это проявляется?

1) Уже с XIX в. в полонистике и в польской славистике вообще кашубщина ставится в ранг диалекта — диалекта польского языка. При этом пишут, что кашубские говоры занимают весьма специфическое место в системе польских говоров. Что касается самих кашубов, носителей этих говоров, то они квалифицируются как своего рода этническая (иногда пишут: этнографическая) группа польского народа. Такая точка зрения на этнический и языковой вопрос кашу-

бов сохраняется до сих пор и имеет среди некоторых польских славистов горячих сторонников. Можно даже сказать, что эта точка зрения преобладает как в полонистике, так и в современном польском обществе в частности.

2) Уже в конце XIX в. С. Рамулт, работая над словарем кашубского языка, пришел к выводу о самостоятельности его генетического статуса, что вызвало тогда острую критику в польской науке и печати. Спустя почти сто лет, в 90-е гг. XX в., была выдвинута идея о кашубском как этнолекте (А. Majewicz): в самом этом терминологическом значении отражен уже этнический аспект, хотя и связывается он в речевом плане с диалектным уровнем.

В 90-е же годы XX в. в полонистике стали, наконец, касаться и вопроса кашубского литературного языка. До того кашубская письменность и литература трактовались как региональная диалектная стилизация.

В 2000 г. в Гданьске прошла международная конференция «Кашубологические (кашубоведческие) исследования в XX веке», на которой одна из участниц задала аудитории вопрос: а существует ли кашубский литературный язык? Показательно, хотя и очень запоздало!...

Хочу подчеркнуть, что лишь с 90-х гг. XX в. гданьские кашубологи стали открыто настаивать на самостоятельном статусе кашубского языка.

3) В традиции русской и немецкой славистики было придавать кашубскому статус самостоятельного языка. В русской традиции это идет с конца XVIII в., когда в известных Санкт-Петербургских «Сравнительных словарях всех языков и наречий» кашубский лексический материал был подан наряду с польским. Об автономном статусе кашубщины писал И. И. Срезневский, затем А. Ф. Гильфердинг. Лишь П. И. Прейс, совершив в 1840 г. путешествие к кашубам, написал в своем отчете, что кашубский является диалектом польского языка. Традиция считать кашубский самостоятельным языком в целом была продолжена и во времена Советского Союза. Однако не так последовательно и четко.

В 1979 г. в «Ученых записках Тартуского государственного университета» (выпуск 502, с. 35–42) я опубликовал небольшую статью

под названием «К столетию первой кашубской грамматики» Ф. Цейновы, изданной на немецком языке в Познани в 1879 г. Тогда я, как и все, кто занимался кашубологией, считал именно эту грамматику первой по времени появления кашубской грамматикой. Лишь позднее, в 90-е гг., я обнаружил в Архиве РАН в Санкт-Петербурге рукопись действительно первой кашубской грамматики того же Ф. Цейновы. Она была завершена им к середине XIX в. В 1998 г. совместно с профессором Геттингенского университета В. Лефельдтом я издал ее отдельной книгой в серии «*Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen*». Но дело, собственно, не только в этом. На статью 1979 г. в ежегоднике «*Rocznik Gdański*» (1981, t. XLI, zesz. 2, s. 205–206) появилась рецензия проф. Э. Брезы, который подчеркнул, что ее автор, в отличие от принятого в полонистике мнения, рассматривает кашубщину как самостоятельный славянский язык...

В 1980 г. я завершил и представил на обсуждение свою докторскую диссертацию «Славянские литературные микроязыки. (Вопросы формирования и развития)», в частности, на внешний отзыв кафедре славянской филологии Московского университета им. М. В. Ломоносова. Диссертация была там обсуждена и получила положительную оценку. Но еще до официальной защиты в Институте языкознания АН Белорусской ССР в Минске в 1981 г. о диссертации стали говорить в научных кругах. Когда я приехал в Москву и встретился с акад. Н. И. Толстым, который был моим консультантом по диссертации, он сказал мне, что некоторые слависты предлагают снять очерк кашубского языка и данные о нем вывести из типологического анализа теоретической части диссертации, — «чтобы поляки не обиделись» (тогда, в социалистическом содружестве, на солидарность такого рода обращали особое внимание). На вопрос о том, как я к этому отношусь, я ответил, что ни очерк, ни данные о кашубском из теоретической части диссертации снимать не буду, так как это противоречит самой концепции микроязыков; к тому же я много и долго занимался кашубским языком и работал над его материалом, впервые написал синтезированный очерк становления и развития его письменности и литературного языка и попытался ввести в общетеоретический типологический контекст наряду с другими микроязыками. Н. И. Толстой тут же согласился со мною

и сказал: «Я ждал, что Вы мне именно так и ответите...». Кашубский материал в диссертации, таким образом, остался.

4) Зато по прошествии нескольких лет, конкретно — в 1988 г. на страницах журнала «Język polski» прошла дискуссия, начатая известным славистом А. Зарембой на тему «Существуют ли в Польше региональные языки?». Поводом для нее послужила моя монография 1981 г. Сам А. Заремба и те, кто вскоре за ним написали на эту тему, были единодушно убеждены в том, что таких языков в Польше не существует и что кашубские печатные тексты — не более чем диалектная стилизация и т. д. Прошло чуть более десяти лет и на упомянутой выше конференции в Гданьске уже робко ставился вопрос: а существует ли кашубский литературный язык?...

5) В русской и немецкой славистиках в XX в. стали проявляться некоторые колебания в признании самостоятельного статуса кашубского языка. И проявились они, как ни странно, в лингвонимах, т. е. в названии кашубщины. Так, в советское время в некоторых университетских учебниках по курсу введения в языкознание в генетической классификации славянских языков в западнославянской подгруппе указывался язык в виде странного сочетания «польский с кашубским» — как салат с чем-то... Никто не мог расшифровать такое обозначение. Хотя было ясно, что такие авторы, в отличие от тех, кто вообще не говорил о существовании кашубского языка, как-то хотели указать на него, но было «страшно» употребить лингвоним *кашубский язык* рядом или параллельно с лингвонимом *польский язык* — видимо, все по той же причине «чтобы поляки не обиделись»...

В немецкой славистике и в кашубологии в частности лингвонимического аспекта коснулся выдающийся кашуболог Ф. Лоренц. В какой-то период своих занятий он решил использовать лингвоним не *кашубский язык* — *die kaschubische Sprache*, а *поморский язык* — *die pomoranische Sprache* (пол. *język pomorski*), при этом он приводил некоторые аргументы. Однако было ясно, что географически (resp. топонимически) ориентированный лингвоним вряд ли сможет заметить этнически ориентированный. Допускаю, что реальной причиной такой лингвонимической переориентации Ф. Лоренца было стремление не оказаться в гуще диспутов об этническом и языковом

сепаратизме кашубов: все же лингвоним *поморский язык* затушевывал основной объект, поскольку в его понятие и особенно в понятие *поморские говоры* входили и собственно прибрежные польские говоры. Справедливости ради нужно заметить, что Ф. Лоренц не был первым, кто попытался активизировать лингвоним *поморский язык*. Впервые его употребил в конце XIX в. С. Рамулт в названии своего словаря — «*Słownik języka kaszubskiego czyli pomorskiego*», т. е. «Словарь кашубского или *поморского* языка».

6) Подобного рода раздвоенность проявилась в отношении кашубского языка и в указанном ранее одним из последних советских университетских учебников по введению в славянскую филологию. В очерке «Польский язык» сказано, что «особое место среди польских говоров занимают кашубские» (с. 74). Однако несколькими строками ниже читаем: «Однако в настоящее время тексты на кашубском языке [!] если и издаются, то воспринимаются как региональная, областная литература». (Заметим, что и во второй половине XX в., и сейчас периодика и книги по-кашубски издавались и продолжают издаваться). В разделе же «Славянские литературные микроязыки» (Супрун 1989, 130–134) написано:

«Кашубский язык формировался на базе диалектов, принадлежавших к родственным, но не тождественным польским диалектам среди западнославянской речи. Превращение его в микроязык можно рассматривать, как сближение с польским, т. е. как объединение двух первоначально особых языковых культур» (с. 131).

Надо заметить, что тенденции к сближению кашубского с польским до сих пор не наблюдались. К этому следует также добавить, что поляки практически не понимают кашубской речи. Это не только свидетельства, попадающие в печать, но и признания, которые мне приходилось неоднократно слышать лично, когда я бывал на Кашубах.

2. Ситуация с градищанско-хорватским литературным микроязыком

Феномен хорватского (resp. общехорватского) языкового ареала характеризуется рядом примечательных особенностей.

В генетическом плане он состоит из трех наречий: штокавского, выходящего за его пределы и покрывающего сербское, черногорское

и боснийское пространства; чакавского — хорватский диалект, распространенный по побережью Адриатического моря, и, наконец, кайкавского, располагающегося как в столице Загребе, в средней части Хорватии, так и в прилегающих к Словении северо-западных районах. В основе литературного языка хорватов, сербов, черногорцев и боснийцев лежит штокавский диалект (наречие), но так стало лишь в первой половине XIX в.

Хорватский ареал является уникальным в том смысле, что на социолингвистическом уровне задействованы все его наречия: если штокавское лежит в основе общехорватского литературного языка, обязательного для всех жителей республики, то в качестве региональных выступают чакавский и кайкавский литературные языки. При этом чакавский литературный язык — это первый литературный язык хорватов вообще, памятники которого восходят к XI–XII вв. В рамках хорватского ареала выявляются три основные линии литературно-языкового развития:

- а) чакавская: с XI–XII вв. → до XVII–XVIII вв. (угасание процесса) → перерыв → от начала XX в. (возрождение процесса) → развитие до настоящего времени;
- б) кайкавская: с XIV–XV/XVI в. → до 70-х гг. XIX в. (угасание процесса) → перерыв → от начала XX в. (возрождение процесса) → развитие до настоящего времени;
- в) штокавская: с 30-х гг. XIX в. как общехорватский литературно-языковой процесс (до 30-х гг. XIX в. существовала и областная письменность на штокавских говорах) → до настоящего времени.

Таким образом, с XX в. здесь параллельно развиваются общий штокавский литературно-языковой процесс и периферийные, или региональные, чакавский и кайкавский литературно-языковые процессы. Можно сказать, что два последних задействованы прежде всего в литературно-художественном творчестве и реализуют как бы принцип дополнительности по отношению к общехорватскому штокавскому литературно-языковому и литературно-художественному процессам.

В кроатистике признаются *чакавский литературный язык — čakavski književni jezik, književna čakavština* и *кайкавский литературный язык — kajkavski književni jezik, književna kajkavština*, которые,

как считается здесь, формируют диалектную (или наречную) литературу. В рамках нашей теории это региональные, или периферийные, литературные микроязыки ограниченной сферы функционирования и с тенденцией к полинормности, т. е. ориентацией пишущего на свой родной говор.

Таким образом: перед нами редчайший случай, когда все три наречия, составляющие этнический хорватский язык, задействованы на социолингвистическом уровне, т. е. «олитературены», в состоянии стандартизации или же тенденции к ней.

Вне пределов исконного хорватского ареала существуют переселенческие группы хорватов, которые сохраняют в иноэтническом и иноязычном окружении свою речь. Более того, в отдельных ситуациях ими предпринимались попытки создать письменность и нормы локального переселенческого литературного языка. Таких прецедентов два: это градищанско-хорватский в Австрии и молизско-славянский в Италии. Последний, правда, функционально слаб, его развитие нередко прерывается, среди интеллигенции мало инициативных людей, способных наладить успешный литературно-языковой процесс. Но недавно была издана достаточно подробная его грамматика (Sammartino 2004). Что касается градищанско-хорватского, то генетически это переселенческое чакавское наречие, существующее в земле Бургенланд (град.-хорв. Гради́ще) в Австрии с XVI в. (под давлением турок предки градищанских хорватов оказались в этих местах).

Градищанско-хорватский литературный микроязык, как мы уже показали, является островным языком средней функциональности. Письменность на нем отмечается со времени переселения сюда, т. е. с XVI в., когда предки градищанских хорватов привезли с собою старые религиозные книги (по большей части рукописные), которые переписывали и передавали от поколения к поколению. Затем появились печатные книги, уже составленные на новой родине. Первоначально градищанские хорваты использовали латиницу венгерского типа.

В XIX в. под влиянием хорватского национального возрождения активизировались и градищанские священники и интеллигенция: они стали выпускать литературу, думать о просвещении, создавать литературно-художественные и проч. тексты, приняв за основу гра-

фики гайицу (гаевицу). В начале XX в. появилась и первая градищанско-хорватская газета, а в 1919 г. классик градищанско-хорватской литературы М. Милорадиц издал и небольшую по объему нормативную грамматику градищанско-хорватского литературного микроязыка. В XX в. градищанско-хорватский расширил свое функциональное поле — стал употребляться не только в церкви, в художественной литературе и в периодике, но также активнее в системе образования, в таких СМИ, как радио и телевидение.

В 2003 г. в Градище вышла большая по объему (на 701 странице) грамматика градищанско-хорватского литературного микроязыка (*Gramatika* 2003). Над нею работали как местные, так и загребские специалисты. Спустя несколько лет одна из составительниц этой грамматики из Загреба на одном из семинаров неожиданно заявила, что изданием «большой (по объему) градищанско-хорватской грамматики» был открыт «ящик Пандоры» — *kutija Pandore*, т. е. указанная грамматика станет, якобы, прецедентом — и тогда по всей Хорватии на любом говоре пожелают писать и выпускать свои нормативные руководства. В этом она увидела «вавилонизацию [хорватского] языка и грамматики» — *babilonizacija jezika i gramatike*.

Это высказывание вызвало недоумение прежде всего в среде градищанских хорватов, о чем не преминула написать их главная газета «Hrvatske novine» ([Tyran] 2007, 5). Примечательно, что эта метафора вызвала реакцию другого хорватского лингвиста А. Ембриха, известного исследователя градищанско-хорватских, кайкавских и др. памятников письменности. Он, в частности, заявил, что не видит никакой «вавилонизации» даже если в разных частях Хорватии станут возникать локальные литературные языки (Jembrih 2007, 25).

Здесь все же смещены акценты: ведь речь идет об островной ситуации — градищанско-хорватский удален от общехорватского ареала многими сотнями километров, т. е. находится в дистанционных с ним отношениях. Если отказать градищанско-хорватскому в его литературно-языковом развитии, то значит ли это, что в таком случае он станет ближе к общехорватскому и дольше сохранится? Можно сильно в этом сомневаться. Наличие письменности и выработка норм как раз и являются единственной возможностью сохранить свою речь и одновременно приблизить этот локальный литератур-

ный язык к общехорватскому литературному языку, что в истории градищанских хорватов неоднократно и предпринималось (в XIX в. и уже во второй половине XX в.).

* * *

«Ящика Пандоры» опасался и недавно ушедший крупный польский славист Л. Мошинский. Здесь явная перекличка. В журнале «*Język polski*» Л. Мошинский резко отреагировал на интервью слависта-соотечественника В. Любася люблянской газете «*Delo*» во время его пребывания на XIII МСС в Любляне в 2003 г. В интервью В. Любася допустил, что на территории Польши возможно появление кашубского, силезского, гуральского (подгальского), мазурского локальных литературных языков. Л. Мошинский посчитал: если идти по такому пути, то это приведет к «распаду польского языка» — *rozpad języka polskiego* (Moszyński 2003, 338–339). По сути из этого утверждения выходит, что возникновение локальных литературных языков — это угроза уже давно состоявшимся крупным национальным литературным языкам. Странно только то, что в некоторых странах такой угрозы не видят. Более того, спустя два года после этого выступления Польский сейм принял закон о статусе кашубского как регионального языка (в 2005 г.). И в этом немалая роль кашубской письменности и предпринимавшихся в течение длительного времени в Польше попыток кашубских деятелей создать собственный литературный язык. Закрывать глаза на этот объективный факт значило бы уходить от проблемы.

Примечательно, что десять лет назад тот же самый проф. В. Любась в том же самом журнале «*Język polski*» опубликовал статью под названием «Возникнет ли силезский литературный язык?» (Lubaś 1998, 49–56). Самой постановкой вопросительного знака в названии статьи он как бы указывает на то, что формирующуюся тенденцию.

3. О новых экспериментах по созданию литературных микроязыков: силезский, буневский — какой следующий?

Действительно, за прошедшее десятилетие (с 1998 г.) движение за создание *силезского и гуральского* литературных микроязыков акти-

визировалось и привело к появлению текстов, в том числе перевода евангелия на гуральский, выпуска периодики и других изданий. Можно согласиться с А. Чесаком в том, что это — литературные микроязыки *in statu nascendi* (см. Czesak 2006, 360–385). Ср. особенно приводимого ниже фрагмента на одном из вариантов силезского и его соответствие на литературном польском:

текст на силезском	перевод на польский
Uo jynzyku ślůnskym. Čym je jynzyk ślůnski Jynzyk ślůnski, kery zwany je tyż ślůnskym djałektym, gwarům, godkům abo mowům, je uoriginalnym jynzykym regjůnalnym Ślůnska. Noleży uůn do jynzykům uod zachodńich Suowjanům s grupy lechickij do kupy s jynzykym polskim, kašubskym a pouabskim. Krům grupy lechickij wśrůd jynzykům uod zachodńich Suowjanům wyrůżńůmy tyż grupa česko-suowacko (jynzyk česki, knaanic, morawski i suowacki) uoroz ńywjelgo grupa serbo-uůżycko (jynzyk dolno i gůrno uůżycki). Jynzyki suowjańske dźelymy poza zachodńimi tyż na wschodńy (kere wystympujům na wschůd uod grańicy Polski) i pouedńowe (na pouedńy uod grańicy Madźarům)... ślůnski je jynzykym wystympujũcym w coukym rygjũny i dźelũncym Ńe na mińimũm kilkanaŃce skatalũgowanych lokalnych uodmjan gwarowych. Internet:ślůnski portal internecowy. punasymu.com	O języku śląskim. Czym jest język śląski Język śląski, który zwany jest też śląskim dialektem, [śląską] gwarą, <i>godką</i> [cf. pol. gadka, gadać] lub mową, jest oryginalnym językiem regionalnym Śląska. Należy on do języków zachodniosłowiańskich z grupy lechickiej wraz z językiem polskim, kaszubskim i połabskim. Oprócz grupy lechickiej wśród języków zachodniosłowiańskich wyróżniamy też grupę czesko-słowacką (język czeski, knaan [judeosłowiański], morawski i słowacki) oraz niewielką grupę serbołużycką (język dolno- i górnołużycki). Języki słowiańskie dzielimy poza zachodnimi także na wschodnie (które występują na wschód od granic Polski) i południowe (na południe od granic Węgier)... śląski jest językiem występującym w całym regionie i dzielącym się na co najmniej kilkanaście skatalogowanych [opisanych? Wyróżnionych? wyodrębnionych? wydzielonych? cf. ros. zafiksированных] lokalnych odmian gwarowych.

Как отмечает А. Чесак, который по моей просьбе перевел силезский текст на польский язык, в этом варианте силезского очевиден субстрат в виде польского литературного языка (слова *wśrůd*, *wyrůżnia-ty* и грамматические формы *wystympujũcym*, *dźelũncym Ńe*), фонетиче-

ски в нем отражены черты северных и среднесилезских говоров; что касается графики и орфографии, то это один из использующихся (но весьма, правда, специфических) вариантов. Совершенно очевидно, что здесь еще предстоит большая работа по унификации как графики и орфографии, так и грамматики и словаря. Однако таково начало почти любого литературного языка.

Как представляется, мы являемся свидетелями процесса создания нового литературного микроязыка и в Сербии, в ее воеводинской части — так наз. *буневского*.

Буневцы проживают в исторической области Бачка — Суботица, Сомбор, Чентавир, Баймок, Чонопля и др., а также незначительно в Баранье и Банате. Часть их поселений оказалась также в Венгрии. В бывшей Югославии их насчитывалось примерно 80 тыс. человек, в Сербии по переписи 2002 г. — 20 тыс. Вероятно, их предки являются выходцами из Далмации. В Сербии буневцы квалифицируются, как национальное меньшинство; иногда о них пишут как о народности, имевшей в качестве предков сербов-католиков. Тем не менее часть буневцев относит себя к хорватам, другая часть считает себя самостоятельным этносом. Как бы то ни было, но у них уже существует общество «Национальный Совет буневского национального меньшинства» и даже Буневская Матица — *Bunjevačka Matica*. Одной из задач возрождения ставится создание буневского литературного языка. Издающийся журнал «*Bunjevačke novine*» уже печатает тексты по-буневски, ср. такой фрагмент:

текст на буневском	перевод на сербский
Rič urednika Poštivana čeljadi, Prija par nedilja u našoj emisiji «Spektar» mogli ste vidit dicu kako side u škuli i na času uče bunjevački jezik. Ta do samo prija par godina, tako štogod se samo klapit moglo, a sad nam je eto od sriće srce zaigralo. I ni tog ne bi bilo da nije matera, da nije njeve žrtve u rađanju i odranjivanju dice. Koliko je samo odricanja potribno da od diteta postane čeljade vridno i valja-	Reč urednika Poštovani ljudi, Pre par nedelja u našoj emisiji «Spektar» mogli ste videti decu kako sede u školi i na času uče bunjevački jezik. Pre samo par godina tako nešto smo samo sanjati mogli, a sad nam je, eto, od sreće srce zaigralo. A toga ne bi bilo da nije majki, da nije njihove žrtve u rađanju i odgajanjju dece. Koliko je samo odricanja potrebno da od deteta postane vredan i valjan čo-

no,znadu samo matere. Tako je u životu za sve velike i važne stvari — potrebno vreme i tušta odricanja. Al zato kad taj trud sazre i stignu njegovi plodovi — ništa od njeg slade nije.

Bunjevačke novine, god. III, Subotica, 2007, novembar, br. 29, s.3.

vek to znaju samo majke. Tako je u životu za sve velike i važne stvari — potrebno vremena i puno odricanja. Ali zato kad ovaj trud sazre i stignu njegovi plodovi — ništa od njega nije sladj.

* * *
*

Подведем некоторые итоги.

Рассмотренный материал позволяет утверждать, что литературно-языковой феномен под названием «Микрославия» переживает сейчас подъем. Активизировалось функционирование не только литературных микроязыков с длительной письменной традицией, но и возникших недавно. Более того, мы сами являемся свидетелями начальных ростков литературных образований, которым в будущем суждено стать литературными микроязыками. А это значит, что «природная» речь, на которой они основываются, сохранится в своем существовании. Это значит, что усиливается связь с малой родиной и как-то удовлетворяется ностальгия нынешнего поколения по языку своих предков, и т. д. Развитие литературных микроязыков небеспроблемно, однако оно объективно. На социолингвистическом уровне феномен литературных микроязыков разнообразит и обогащает Слaviю. Некоторые недоразумения в связи с этой категорией языков могут быть приглушены при понимании сказанного выше и при осознании того неопровержимого факта, что не существует и не должно существовать запретов на свободу языкового выражения, тем более если для того имеются объективные предпосылки и возникает общественная необходимость.

ЛИТЕРАТУРА

Дуличенко 1981 — А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. (Вопросы формирования и развития)*. Таллин, 1981.

- Дуличенко 2003–2004 — А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов*. Т. I–II. Тарту, 2003–2004.
- Дуличенко 2005 — А. Д. Дуличенко. *Малые славянские литературные языки (микроязыки)*. Языки мира: Славянские языки. Москва, 2005, с. 595–615.
- Дуличенко 2006 — А. Д. Дуличенко. *Современное славянское языкознание и славянские литературные микроязыки*. *Slavica Tartuensia VII*: Славянские литературные микроязыки и языковые контакты. Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Международном Комитете славистов, Тарту, 15–17 сентября 2005 г. Тарту, 2006, с. 22–46.
- Супрун 1989 — А. Е. Супрун. *Введение в славянскую филологию*. Минск, 1989.
- Czesak 2006 — A. Czesak. *Góralski i śląski — mikrojęzyki in statu nascendi?* *Slavica Tartuensia VII*: Славянские литературные микроязыки и языковые контакты. Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Международном Комитете славистов, Тарту, 15–17 сентября 2005 г. Тарту, 2006, с. 360–385.
- Dorovský 1987, 1992, 2005 — I. Dorovský. *Bilingvismus, diglosie a tzv. Mikro-jazyky na Balkáne*. *Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské Univerzity*, Brno, 1987, Řada jazykovědná, A 35, s. 35–43; И. Доровски. *За некои балканизми и за т. н. литературни микројазичи*. XIX научна дискусија на XXV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 31.VIII – 2.IX.1992. Скопје, 1992, с. 33–38; I. Dorovský. *Slovanské mikroliteratury jako součást národních literatur*. *Eurolitteraria et eurolingua 2005*. Liberec, 2005, s. 11–17.
- Gramatika 2003 — *Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika*. N. Benčić i dr. Željčno, 2003, 701 s.
- Jembrih 2007 — A. Jembrih. *O «Pandorinoj kutiji» ili o čudnome iskazu o gramatici*. *Hrvatske novine*, ljetno 98, Eisenstadt, 2007, br. 33/34, s. 25.
- Lubaś 2003 — W. Lubaś. *Czy powstanie śląski język literacki?* *Język polski*, r. LXXVIII, 1998, N 1–2, s. 49–56.
- Moszyński 2003 — L. Moszyński. *Glosa do wypowiedzi profesora Władysława Lubasia w prasie słoweńskiej na temat rozpadu języka polskiego*. *Język polski*, r. LXXXIII, 2003, N 4–5, s. 339–440.
- Rehder 1984–1985 — P. Rehder. *Slavische Mikro-Literatursprachen?* Зборник Матице Српске за филологију и лингвистику, Нови Сад, 1984–1985, св. XXVII–XXVIII, с. 665–670.
- Rehder 1998 — P. Rehder. *Einführung in die slavischen Sprachen (mit einer Einführung in die Balkanologie)*. 3. Aufl. Darmstadt, 1998; 4. Aufl., 2003.

- Sammartino 2004 — A. Sammartino. *Grammatica della lingua croata-molisana/ Gramatika moliškohrvatskoga jezika*. Montemitro / Zagreb, 2004.
- [Tyran] 2007 — [P. Tyran]. *S gramatikom otvorili Pandorinu kutiju*. Hrvatske novine, ljeta 98, Eisenstadt, 2007, br. 28/29, s. 5.

**Slaavi mikrokeelte staatus ja arenguprobleemid
tänapäeva Mikroslaavia kontekstis**

Aleksandr D. Dulitšenko

Artiklis antakse slaavi mikrokirjakeelte kategooria põhjendus, esitatakse termini-
ga *mikrokeeled* seostuvad dilemmad ning areaalprintsibile toetuv mikrokeelte
klassifikatsioon: autonoomsed, saarelised, perifeersed-saarelised ja perifeersed
(regionaalsed) keeled. Oluline on mikrokeelte iseloomustus nende arengut soo-
dustavate sotsiolingvistiliste parameetrite kaudu. Autor kirjutab mikrokeelte ka-
tegoriasse suhtumisest tänapäeva slavistikas ja näitab seda kašuubi ja burgen-
landi-horvaatia keelte varal, polemiseerides mõnede uurijatega. Artikli lõpus
puudutatakse ka uusi mikrokirjakeelte loomise eksperimente tänases slaavi maa-
ilmas. Sealhulgas kirjutab autor mikrokeeltest in statu nascendi — sileesia kee-
lest Poolas ja bunjevi keelest Serbias.

Славянское языкознание: покидая XX век...
К XIV Международному съезду славистов.
Охрид, 10–16 .09.2008.
(*Slavica Tartuensia VIII*). Tartu, 2008

Klaus Steinke
Universität Erlangen

ÜBER SINN UND UNSINN DER KODIFIZIERUNG
VON KLEINSTSCHRIFTSPRACHEN
(AM BEISPIEL DES POMAKISCHEN, KASCHUBISCHEN
UND BANATER BULGARISCHEN)

Slavische Sprachen – slavische Mikrosprachen – Kodifizierung – Pomakisch – Kaschubisch – Banater Bulgarisch

Mit «Kleinstschriftsprache» hat P. Rehder (1998, 12) sicherlich ein sehr treffendes deutsches Äquivalent für A. D. Duličenkos (1981) bekannten Terminus *литературный микроязык* vorgeschlagen, und es wird hier mit Bedacht verwendet, da der im Russischen zugrundeliegende Begriff *литературный язык* zumindest in der direkten deutschen Übersetzung mehrdeutig bleibt und statt der weniger geläufigen Bedeutung von «Standardsprache», vor allem die von «Sprache der Literatur» dominiert (Bußmann 1990, 461). Von «Standardsprachen» kann man freilich in den von uns näher betrachteten Fällen, *Pomakisch*, *Kaschubisch* und *Banater Bulgarisch*, nur bedingt sprechen. Zwar haben alle drei Idiome längst ein mehr oder weniger umfangreiches Schrifttum aufzuweisen, aber bisher kaum eine vereinheitlichte, allgemein verbindliche Norm entwickelt.

In der einen oder anderen Form ist das Problem der Kodifizierung eines Standards für alle drei hier betrachteten Idiome in den letzten Jahren aktuell geworden und hat teilweise zu hitzigen Diskussionen geführt. Wenn auch die Ausgangsposition für die Kodifizierung jeweils sehr spezifisch ist, erscheint ein Vergleich der drei Beispiele als lohnend, um typologisch relevante Invarianten und Varianten herauszuarbeiten. Da diese

Frage über den engeren Kreis der Linguistik auch breiteres Interesse in der Öffentlichkeit findet, wird sie schnell mit Wertungen verbunden, wie sie in der Formulierung des Themas angedeutet und hier ebenfalls kurz erörtert werden müssen. Zunächst sind sicherlich unterschiedliche Perspektiven vor der Erörterung des Problems zu unterscheiden, die sich in einem *linguistischen*, einem *politischen* und einem *soziolinguistischen* Ansatz niederschlagen. Ihre Vermischung führt schnell zu überflüssigen Kontroversen, die man sich ersparen sollte.

Hinsichtlich der rein *linguistischen* Voraussetzungen gibt es keinen plausiblen Grund, irgendeinem Idiom die grundsätzliche Fähigkeit abzusprechen, eine Standardsprache bilden zu können. Es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob ein Idiom unterentwickelt oder gar zu primitiv ist, um als Basis für eine Standardsprache gewählt zu werden. In einem «primitiven» Stadium haben sich alle heutigen Standardsprachen einmal befunden. An sich sind die Attribute «unterentwickelt» oder «primitiv» auch weniger auf die Sprache selbst als auf ihre Sprecher bzw. auf ihre gesellschaftliche Organisationsform zu beziehen. Jedes sprachliche System besitzt per se die Fähigkeit, sich an die Entwicklung der jeweiligen Sprachgemeinschaft anzupassen. Man kann also keine rein linguistischen Argumente für oder gegen die Entwicklung einer Standardsprache finden oder ernsthaft in Erwägung ziehen.

Etwas anders verhält es sich indessen mit der *politischen Dimension* der oben aufgeworfenen Frage. Gewöhnlich vermeidet man es allerdings, die politischen Ziele in diesem Kontext direkt zu benennen oder gar machiavellistisch klar und unumwunden zu formulieren. Statt dessen schiebt man gern die Sprachwissenschaft vor, und die versucht mit pseudowissenschaftlichen Argumenten, Ansätze zur Entwicklung von neuen Standardsprachen zu blockieren oder — je nach Lage der Dinge — auch zu fördern. Leider gibt es immer wieder Linguisten, die dazu bereitwillig die entsprechenden Hilfestellungen leisten. Ziel der Politik muß es übrigens nicht immer sein, die Glottotomie, das Entstehen einer neuen Standardsprache zu verhindern. Im Prinzip gibt es nämlich zwei entgegengesetzte Positionen. Entweder man verhindert die neue Standardsprache, um eine Irredenta zu unterbinden, oder man hält sich an die alte politische Maxime *divide et impera*, um auf diese Weise fremde Ansprüche abzuwehren. In beiden Fällen beruft man sich aber nicht etwa auf eigene machtpoliti-

sche Vorstellungen und Wünsche, sondern auf objektive, d. h. auf wissenschaftliche Gründe. Daß und wie dabei manipuliert wird, zeigt sich deutlich am Beispiel der moldauischen Sprache. Sie wurde von sowjetischen Romanisten während der Stalinzeit zu einer neuen ostromanischen Sprache neben Rumänisch erhoben und ansatzweise ausgebaut. Dieser Versuch ist inzwischen aber als gescheitert anzusehen. Aufschlußreich ist in diesem Zusammenhang die lapidare Feststellung von M. Gabinskij (2002, 133), der in seinem Artikel für die Wieser-Enzyklopädie gleich mit folgender Feststellung beginnt:

«'Moldawisch' ist die (nichtwissenschaftliche) Alltagsbezeichnung für das in der heutigen Republik Moldova (Republik Moldau, Moldawien) bzw. der ehemaligen Sowjetrepublik Moldawien gesprochen Rumänisch».

Dem ist nun nichts weiter hinzuzufügen, als vielleicht die Erkenntnis, daß in diesem Fall der Versuch einer politisch motivierten Glottonomie ganz offensichtlich gescheitert ist. Dahinter stand nach dem 2. Weltkrieg natürlich die Absicht, zukünftige Ansprüche Rumäniens auf Bessarabien abzuwehren. Die Rechtfertigung sollte hierfür die Sprache liefern, wobei man sich des alten Grundsatzes aus der Ideologie des Nationalismus *ein Volk, eine Sprache, ein Staat* bediente. Nur betonte man in diesem Fall nicht die Einheit, sondern die Unterschiedlichkeit. Diese Situation ist sehr typisch, wenn es sich um territoriale Streitigkeiten zwischen Nachbarn handelt. Man könnte an dieser Stelle übrigens auch an den politischen Slalomlauf des Makedonischen denken, in dem die Sprache eine dekorative Funktion hat.

Etwas anders gelagert sind die Beispiele, wenn ohne eine potentielle Anschlußmöglichkeit an einen Nachbarstaat, der Ruf nach Schaffung einer Standardsprache erklingt. Dann sieht man gewöhnlich die Einheit des jeweiligen Staates gefährdet oder gar in Frage gestellt. Große Probleme haben mit solchen Forderungen naturgemäß vor allem zentralistische Staaten wie Frankreich. Das Prinzip der *Egalité* wird in diesem Fall dazu benutzt, allein die französische Sprache gelten zu lassen und das Patois zu bekämpfen. Die etwas eigenwillige Interpretation dieses Prinzips besagt, daß alle Staatsbürger nur dann gleiche Chancen haben, wenn sie eine, und zwar die französische Standardsprache beherrschen. Allerdings handelt es sich hierbei eher um die Pervertierung eines an sich löblichen Ideals.

Ein Fazit der bisherigen Ausführungen ist, daß es sich bei der Standardsprache primär um eine politische Größe handelt. Jeder Staat braucht sie, um reibungslos zu funktionieren. Er steht vor der unabweisbaren Notwendigkeit, für seine Institutionen eine einheitliche, allgemein gültige Sprachform zu schaffen und durchzusetzen. Sie bildet u. a. die Grundlage für eine gut funktionierende Verwaltung und insbesondere für jedes Bildungswesen. Der Lehrer muß z. B. wissen, welche Sprachform er seinen Schülern beibringen soll. Insofern ist es konsequent, wenn auch Fragen der Rechtschreibung in der einen oder anderen Form von staatlicher Seite sanktioniert werden. Das gilt im Prinzip auch für die umstrittene deutsche Rechtschreibreform, die freilich nicht immer von genügendem Sachverstand bestimmt war, wie die berechtigte Kritik an vielen «Verbesserungen» zeigt.

In einer Position zwischen Linguistik und Politik befindet sich die Soziolinguistik. Die enge Bindung der Standardsprache an bestimmte gesellschaftliche Voraussetzungen macht diese Varietät zu einem Forschungsgegenstand der Soziolinguistik par excellence. Diese Disziplin untersucht das Zusammenspiel von linguistischen und soziologischen Faktoren bei der Bildung und Durchsetzung von Standardsprachen. Für die großen europäischen Sprachen wie Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch u. a. ist diese Sprachform das Ergebnis eines komplexen, Jahrhunderte währenden Prozesses. Gelegentlich gibt es schon aus früher Zeit über diesen Prozeß Reflexionen. Allgemein bekannte Zeugen bzw. Promotoren dieser Varietät waren Dante, Hus und Luther.

Heute werden in der Nachfolge des Prager Linguistenkreises folgende Merkmale für die Standardsprache (oder Schriftsprache) als charakteristisch erachtet: *Schriftlichkeit*, *Überregionalität*, *Normiertheit*, *Kodifizierung* und *Obligatheit der Norm* sowie *Polyvalenz*. Rehder (1995) hat die Beziehungen der verschiedenen Merkmale untereinander in einem Modell explizit gemacht. Den Kern dieses Modells bilden die linguistischen Parameter *Normiertheit* und *Differenziertheit* sowie die darauf bezogenen soziolinguistischen Parameter *Obligatheit* und *Polyvalenz*. Mit ihnen wird unmittelbar auf die *Stabilität* und die *Flexibilität* des sprachlichen Systems Bezug genommen. Diese einander entgegengesetzten Kräfte gewährleisten die Anpassungsfähigkeit und Dynamik der Sprache und bestimmen den Rahmen für ihre weitere Entwicklung. Eingeeordnet werden

die Parameter in einen soziokulturellen Rahmen mit den Faktoren *Standardisierung*, *Vitalität*, *Autonomie* und *Historizität*. Das Ganze wird dann noch umschlossen von der staatlich-politischen Entscheidungsebene. Mit Hilfe dieses Modells lassen sich alle fest etablierten Standardsprachen ohne weiteres analysieren und beschreiben. Problematisch wird es allerdings, wenn eine Varietät sich erst im statu nascendi befindet. Dann werden manche der Bedingungen noch nicht in ihrer Gänze erfüllt.

Alle drei Idiome, die hier zur Diskussion stehen, haben noch nicht den Status von fest etablierten Standardsprachen erreicht. Ja, es ist sogar fraglich, ob sie ihn je erreichen können. Daneben sind Parallelen zum Zustand der anderen oben genannten Sprachen auf früheren Stadien zu erkennen, als deren Position ebenfalls noch keineswegs gefestigt war. Sicherlich erfüllen alle drei Kleinstschriftsprachen zweifellos das Kriterium der *Schriftlichkeit*. Von ihnen gibt es hinreichend Texte, wie A. D. Duličenko in seiner Chrestomathie zeigt (Duličenko 2003–2004).

Die einwandfreie Bewertung der übrigen Kriterien ist freilich etwas schwieriger und muß dynamisch sein, d. h. unterschiedliche Entwicklungsstadien berücksichtigen. Ansätze zur *Normierung* und *Kodifizierung* sind überall zu erkennen. Die Banater Bulgaren (Paulikianer) schufen früh eine eigene und vom Bulgarischen in der alten Heimat völlig unabhängige Schriftsprache und hatten im XIX. Jahrhundert sogar 1860–1896 Schulunterricht in diesem Idiom mit eigens dafür geschaffenen Lehrbüchern (Njagulov 1999, 29; Stojkov 1967, 18–21). Der muttersprachliche Unterricht wurde dann von den Ungarn bis 1918 und anschließend von den Rumänen bis zum Ende des 2. Weltkriegs unterbunden. Erst unter dem kommunistischen Regime wurden sie als nationale Minderheit anerkannt und erhielten wieder eigene Schulen. In ihren Publikationen, von denen hier nur die kürzlich erschienene neue Übersetzung des Neuen Testaments (Svetotu Pismu 1998) erwähnt werden soll, verwenden die Paulikianer weiterhin ihr Idiom. In der Schule wird jedoch gegenwärtig das ihnen an sich fremde Standardbulgarische als Fremdsprache unterrichtet. Dabei verwendet man selbstverständlich auch das kyrillische und nicht wie sonst in den Schriften der katholischen Bulgaren des Banats das lateinische Alphabet.

Die Kaschuben haben zwar ebenfalls ein umfangreicheres Schrifttum aufzuweisen, doch die erste Schulfibel für die Grundschule (Kaszëbscë

Abecadło 2000) ist erst neueren Datums. Immerhin scheint Florian Ceynowa bereits im XIX. Jahrhundert erste Schritte auf eine Normierung des Kaschubischen unternommen zu haben (Ceynowa 1998, 22–23). Als weiteren grundlegenden Beitrag zur Kodifizierung neben der Schulfibel und der Übersetzung des Neuen Testaments kann man schließlich das zweibändige polnisch-kaschubische Wörterbuch von J. Trepczyk (Trepczyk 1994) einstufen. Die Kaschuben haben wie die Banater Bulgaren eine eigene, sehr aktive Elite, die dieses Idiom unterstützt und auch verwendet, so daß an sich eine wichtige Bedingung nicht nur zu ihrem Erhalt, sondern auch zum weiteren Ausbau erfüllt ist (Porębska 2006, 218–221).

Ganz anders stellt sich die Situation für die Pomaken dar, wobei man zunächst noch deutlich zwischen den in Bulgarien und in Griechenland ansässigen Vertretern dieser Gruppe unterscheiden muß. In Bulgarien werden sie nur als religiöse und nicht gleichfalls als ethnische Minderheit betrachtet. Dementsprechend wird ihr Idiom dort einfach zu den bulgarischen Rhodopen-Dialekten gerechnet, das von der bulgarischen Standardsprache überdacht wird. Komplizierter sind die Verhältnisse in Griechenland, da die Pomaken zu der durch den Vertrag von Lausanne 1923 geschützten, einzigen in diesem Land offiziell anerkannten, religiös definierten Minderheit, zu den Muslimen gehören. Für diese Gruppe übernimmt die Türkei die Schutzmachtfunktion. Prinzipiell haben die Pomaken also drei Optionen: die griechische nach der Staatsangehörigkeit, die türkische nach der Konfession und schließlich noch die bulgarische aufgrund ihrer Sprache. Für die überwiegend stark religiös orientierte, slavischsprachige Minderheit ist davon jedoch allein die türkische Option erfolgversprechend, um sich gegen massive Assimilations- und Missionsversuche zu wehren. Nachdem der griechische Staat diesen Zustand lange Zeit mehr oder weniger akzeptierte, zeichnet sich in den 1990er Jahren — wohl auch unter dem Druck der europäischen Charta zum Schutz der Minderheiten- und Regionalsprachen — eine Veränderung der Position ab (Ioannidou, Voss 2001, 233–250). In diesem Kontext entstanden einige, freilich meist sehr dilettantische normative Grammatiken, darunter sogar eine von der griechischen Armee initiierte (Karahodza 1996), welche nicht in den Buchhandel kam. Die Autoren waren fast ausnahmslos Griechen, was bereits auf ein mangelndes Interesse der unmittelbar von dieser Initiative Betroffenen hindeutet. Ferner gibt es noch das Lehrbuch *Ūchem*

so *pomátsko* (Kokkas 2004), das allerdings in den Schulen keine Verwendung findet, da dort nur Griechisch und Türkisch unterrichtet wird. In den vom türkischen Konsulat von Xanthi intensiver betreuten Orten wie Sminthi behaupten die Pomaken inzwischen sogar, sie seien ethnische Türken und sprächen nur Türkisch, obwohl sie diese Sprache meist gar nicht beherrschen. Bezeichnend ist ferner, daß auch die kleine pomakische Elite, insbesondere gerade ihre Lehrer in den Minderheitenschulen kein Interesse an der Einführung des Unterrichts in der Muttersprache haben, obwohl sich dadurch die schwierige Situation der Schüler erheblich verbessern würde, die gegenwärtig vom ersten Schultag an in zwei ihnen unbekannten Sprachen unterrichtet werden. Nur in den entlegeneren Ortschaften bezeichnet man sich noch als Pomake und sein Idiom gelegentlich sogar als «Bulgarisch». Die bisherigen Versuche zur Normierung und Kodifizierung dürften wegen mangelnder Akzeptanz bei der Minderheit zum Scheitern verurteilt sein, wenn sich die Elite nicht neu orientiert.

Zusammenfassend ist festzustellen: Der Ethnolekt Kaschubisch wird gegenwärtig, und das schon seit einigen Jahren regulär in der Schule unterrichtet und ist sogar als Prüfungsfach im Abitur zugelassen. Die Banater Bulgaren lernen heute hingegen die bulgarische Standardsprache in der Schule und nicht mehr wie im XIX. Jahrhundert ihre eigenen Kleinstschriftsprache, die jedoch weiterhin verwendet wird. Die Pomaken in Griechenland benutzen ihr Idiom fast ausschließlich in der mündlichen Kommunikation und lernen sonst nur Griechisch und Türkisch.

Entscheidend für den Erfolg aller Initiativen zur Normierung und Kodifizierung von Kleinstschriftsprachen ist fraglos in erster Linie ihre uneingeschränkte Akzeptanz durch die Minderheit selber. Wo man dazu nicht bereit ist, bleiben alle Versuche in dieser Hinsicht fruchtlos. Insofern darf man wohl V. M. Alpatov (Alpatov 2006, 73-81) beipflichten, der bereits mit der skeptischen Frage «Что делать с малыми языками?» eine gewisse Distanz zu den überzogenen oder realitätsfernen Hoffnungen und Forderungen mancher Theoretiker erkennen läßt. In der heutigen Zeit stellt sich für die Angehörigen der kleinen Minderheiten häufig die schmerzhafteste Frage: «либо потерять язык, либо жить отсталой сельской жизнью» (с. 79). Man löst das Problem meist pragmatisch: zu Hause verwendet man weiter den Ethnolekt und sonst die Sprache der Mehrheit, um wirtschaftliche und andere Nachteile zu vermeiden.

Erst in zweiter Linie spielen äußere Einflüsse, vor allem von der staatlich-politischen Entscheidungsebene, bei der Etablierung von Kleinstschriftsprachen eine Rolle. Auf dieser Ebene können entsprechende Ansätze gefördert oder behindert werden. In dieser Hinsicht ist übrigens die Situation in allen drei Ländern: Griechenland, Polen und Rumänien, inzwischen relativ gut, da sie durch EU-Recht zum Schutz der Minderheiten verpflichtet sind. Damit sind freilich noch nicht alle Diskriminierungen beseitigt, insbesondere nationalistische Parteien lassen immer noch ihren Drohungen nicht selten Taten folgen. Trotz der staatlichen Garantien bleibt der Radius der Idiome sehr beschränkt. Nur Kaschubisch hat eventuell eine Chance, neben der es weiterhin überdachenden polnischen Staatssprache als Regiolekt auch im öffentlichen Bereich verwendet zu werden. Die Gruppe der Banater Bulgaren ist zu klein, um eine solche Funktion zu übernehmen. Für die Pomaken scheint sich diese Frage überhaupt nicht zustellen.

Davon unabhängig ist Frage der Vitalität dieser Idiome zu behandeln. Giles et al. (1977, 307–348) haben hierfür ein sehr detailliertes Modell entworfen, das eine Reihe von Faktoren berücksichtigt. Dennoch bleiben Prognosen weiterhin ein Wagnis. Generell gilt wohl nur, daß es, solange die Beziehungen innerhalb der Minderheit in Takt sind, keinen Grund zum Sprachwechsel gibt und die Nachbarn miteinander weiter in der gewohnten Sprache kommunizieren werden.

LITERATUR

- Alpatov 2006 — В. М. Алпатов. *Что делать с малыми языками?* Slavica Tartuensia VII: Славянские литературные микроязыки и языковые контакты. Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Международном Комитете славистов, Тарту, 15–17 сентября 2005 г. Тарту, 2006, с. 73–81.
- Bußmann 1990 — H. Bußmann. *Lexikon der Sprachwissenschaft*. 2. Aufl. Stuttgart 1990.
- Ceynowa 1998. — Fl. Ceynowa. *Kurze Betrachtungen über die Kaschubische Sprache als Entwurf zur Grammatik* Hrsg. A. D. Duličenko u. W. Lehfeldt. Göttingen, 1998.

- Rehder 1995 — P. Rehder. *Standardsprache. Versuch eines dreistufigen Modells*. Die Welt der Slaven Bd. XL, München, 1995, H. 2, S. 352–366.
- Rehder 1998 — P. Rehder (Hrsg.). *Einführung in die slavischen Sprachen*. (Mit einer Einführung in die Balkanphilologie). 3. Aufl. Darmstadt, 1998.
- Steinke 2001 — K. Steinke. *Aspekte der ethnolinguistischen Vitalität staatenloser Minderheiten*. (Am Beispiel der Banater Bulgaren, der Altgläubigen und der Kaschuben). Slavistica Vilnensis. Kalbotyra 50(2), Vilnius, 2001, S. 57–66.
- Steinke 2002 — K. Steinke. *Zum Begriff der «Vitalität» in der Soziolinguistik*. Język w przestrzeni społecznej. Opole 2002, S. 221–228.
- Steinke 2003 — K. Steinke. *Zur Typologie der sprachlichen Vitalität slavischer Minderheiten*. Funktionale Beschreibung slavischer Sprachen. Beiträge zum XIII. Internationalen Slavistenkongress in Ljubljana. München, 2003, S. 199–211.
- Steinke 2004 — K. Steinke. *Zum Status des Banater Bulgarischen*. Germano-slavistische Beiträge. Festschrift für P. Rehder zum 65. Geburtstag. München, 2004, S. 277–285.
- Steinke 2006 — K. Steinke. *Zur Vitalität bulgarischer Minderheiten in Rumänien*. Marginal Linguistic Identities. Studies in Slavic Contact and Borderland Varieties. Wiesbaden, 2006, S. 75–85.
- Stojkov 1967 — C. Стойков. *Банатският говор*. София, 1967.
- Svetotu Pismu 1998 — Svetotu Pismu, *Novija Zákun [preubranata ud Guspudina dekán Vasilčín Jáni]*. 2 Bde. Timișoara, 1998.
- Trepczyk 1994 — J. Trepczyk. *Słownik polsko-kaszubski*. I–II. Gdańsk, 1994.

**Mikrokirjakeelte kodifitseerimise mõte ja mõttetus
(pomaki, kašuubi ja banati-bulgaaria keelte materjali põhjal)**

Klaus Steinke

P. Rehder on A. D. Dulitšenko termini *литературные микроязыки* kõrvale välja pakkunud ekvivalendi *Kleinstschriftsprachen*, mida siinkohal kasutataksegi, kuna termin *литературный язык* on saksa keelde tõlgituna mitmetähenduslik — siin on ta kasutusel tähenduses «standardkeel», mitte tähenduses «kirjanduse keel». Teatud tinglikkusega võime pomaki, kašuubi ja banati-bulgaaria keeltest rääkida kui «standardkeeltest». Kuigi kõik kolm dialekti on rohkem või vähem kasutusel kirjalikult, arenevad nad ka neid ühendavate normide suunas.

Kodifitseerimise probleem on kõigi kolme dialekti puhul viimastel aastatel muutunud ühel või teisel kujul aktuaalseks ja tekitanud kohati teravaid vaidlusi.

Kõik see annab tunda kodifikatsioonides, mis peavad kajastama nii ühiseid elemente (invariante) kui ka variante. Ühiskonna huvi tõttu selle küsimuse vastu väljub see otsemaid puht lingvistilistest raamidest ja asetub sotsiolingvistilisele tasandile, mis on seotud aksioloogilise (hinnangulise) aspektiga.

Christian Voss
Humboldt-Universität zu Berlin

BALKANISCHE KLEINSPRACHIGKEIT — MIKROLITERATURSPRACHLICHKEIT?

Im Sammelband von Duličenko/ Gustavsson 2006 habe ich die slawischen Balkanmuslime miteinander verglichen und herausgestellt, dass die Sprachentwicklung in Bosnien in der zweiten Hälfte des XX. Jahrhunderts — ein bosnjakisches *nation building* und eine Standardsprache — der Ausnahmefall ist, da kleinere Gruppen wie die Torbeschen und Pomaken ihre Gruppenkohäsion vorrangig entlang religiöser Linien ausrichten (Voss 2006, 326–339). Der folgende Text stellt in gewisser Hinsicht eine Fortsetzung dar, da wir auch hier weitere Beispielsfälle untersuchen, in denen Sprache und Identität *nicht* nach der Logik des Ethnonationalismus («eine Sprache = eine Nation») funktionieren. Die von den Akteuren selbst gezogenen Gruppengrenzen laufen häufig quer zu den Sprachgrenzen: Selbst innerhalb kleiner ethnischer Gruppen werden auf einer sub-ethnischen Ebene weitere Untergruppen gebildet.

Ein derartiges Verhalten zeigt, wie kompliziert Sprachplanung für Kleingruppen ist, die keinem normativen Rahmen (wie obligatorischem Unterricht in der Muttersprache) ausgesetzt sind. Für dachlose Sprachminderheiten besteht grundsätzlich das Problem, die Sprecher von einer Norm zu überzeugen, die nicht exakt mit ihrem Dorfdialekt übereinstimmt. In den hier vorgestellten Fällen ist es gar so, dass sich Gruppenmitglieder von ihrer Muttersprache selbst lossagen, da sie sie als letztes Überbleibsel einer ungeliebten Ethnizität ansehen.

Das Konfliktpotential besteht im Aufeinandertreffen zweier Ideologien und ihrem unterschiedlichen Verhältnis zu Sprache: einerseits der alten osmanischen, an Sprache nicht interessierten Denkform, andererseits der des Ethnonationalismus, der Gruppengrenzen nach der Muttersprache zieht. Individueller und kollektiver Identitätswandel kann nach einer dieser beiden Logiken bestritten oder für ungültig erklärt werden: Dies gilt sowohl für die Gruppe, die man verlassen will, als auch für die Gruppe, in die man aufgenommen werden will.

Diese Mechanismen untersuchen wir zunächst am historischen Beispiel der sog. Gudilen in Plovdiv im XIX. Jahrhundert, dann anhand einer soziolinguistischen Studie zu den heutigen Arvaniten in Griechenland. In der Folge betrachten wir ähnliche Prozesse bei den Torbeschen in Makedonien und abschließend bei den sog. *Şehirli* in Makedonien, der altosmanischen sozialen Identität als «Städter», die sich ebenfalls jenseits von sprachlichen Kriterien definiert.

Unsere Fallstudien hinterfragen das Konzept der Mikroliteratursprachlichkeit. Wie im Falle der Pomaken sichtbar wird, haben die sprachplanerischen Vorstöße einer pomakischen Mikroliteratursprache keinerlei positiven Einfluss auf die Vitalität dieser Dialekte in Nordgriechenland, im Gegenteil, sie bestärken die Sprachilloyalität. Dieser Aspekt beinhaltet eine wissenschaftsgeschichtliche Selbstreflexion über unser Fach: Wieso ist die Slawistik nicht in der Lage, die Instrumentalisierung von Sprache und Kultur im neuen osteuropäischen Ethnofundamentalismus methodisch in den Griff zu bekommen und adäquat zu beschreiben? Nach dem Sammlerprinzip werden Kleinsprachen heute wie Trophäen behandelt – den historischen Kontext der frühen, teilweise schon im XVI.–XVIII. Jahrhundert eingetretenen Verschriftlichung – nämlich ethnopolitische Fremdzuschreibung – lässt man völlig außer acht und konstruiert stattdessen eine teleologische Kleinsprachengeschichte. Dies rationalisiert und verwissenschaftlicht auf unzulässige Weise die politischen Partizipationsbestrebungen der neuen «ethnischen Unternehmer».

Die Soziolinguistik hat die Nichtweitergabe der Familiensprache an die unmittelbar nächste Generation – anhand einer «*graded intergenerational disruption scale*» – als markantestes Kriterium für drohenden Sprachtod beschrieben (Fishman 1991, 112–114): Die Vermittlung von Sprachprestige zur Entwicklung von Loyalität zur Muttersprache durch

die Eltern ist eine *conditio sine qua non*, die nicht vom Schulsystem o. ä. kompensiert werden kann. Es ist der verhängnisvolle politische Fehler vieler europäischer Sprachminderheiten, die Institutionalisierung ihrer Sprache in Bildungssystem und Medien zu fordern und einzuleiten, ohne dass die Sprache als familiäre Verkehrssprache etabliert ist. In diesem Fall wird die Minderheitensprache niemals die offene Wettbewerbssituation mit der Mehrheitssprache bestehen können, was die Asymmetrie der Zweisprachigkeit letztlich verstärken wird.

Dies gilt nicht nur für Westeuropa, sondern vor allem auch für die Ex-Sowjetunion (Comrie 1999, 817–842): Einerseits gerierte sich die Sowjetideologie als Bewahrer der sog. «младописьменные языки» (*mladopis'mennye jazyki*), die z. T. erstmals verschriftlicht wurden, andererseits führte der Status des Russischen als «Sprache der interethnischen Kommunikation» (ab 1934) innerhalb der Sowjetunion und vor allem N. Chruschtschews Ideologie der «*slijanie*» (des «Ineinanderfließens») der Ethnien in den neuen Sowjetmenschen) zu einer unilinearen Assimilation ans Russische.

Ethnische Kohäsion im *millet rum*: Gudilen gestern und Arvaniten heute

«Was für eine Sprache ist das Gudilische?» fragte der belgische Slawist Raymond Detrez (Detrez 2005, 125–136). Die sog. slawische Wiedergeburt hat auf dem Südbalkan eingesetzt, nachdem es zu einer verstärkten Ansiedlung von Slawen in den Städten gekommen war und der eingespielte Mechanismus der kulturellen und sprachlichen Assimilation an das Griechische und Türkische nicht mehr funktionierte (Voss 2002, 91–111).

In dieser Zeit gerieten also die alten Fronten durcheinander, und die etablierte Ordnung, nach der die urbane christliche Bevölkerung, wenn sie Handel trieb, kulturell griechisch orientiert war, wurde von nationalen Ideologen erstmals angeprangert. Sie hatte schon lange vorher bestanden, wurde aber erst mit dem bulgarischen Nationalismus thematisiert, um diese — immanent argumentiert — «Missstände» zu beseitigen.

«Gudile» ist eine spottende Bezeichnung für die hellenisierten Bulgaren in Plovdiv. Plovdiv hatte Mitte des XIX. Jahrhunderts ca. 40.000 Einwohner, von denen die leichte Mehrheit christlich war. Die massenhafte

Hellenisierung ergab sich aus der einflussreichen Anwesenheit des zahlreichen patriarchalischen Klerus in den Städten wie auch des griechischsprachigen Handels- und Handwerkerbürgertums, dem die hellenisierten Bulgaren schon angehörten (Detrez 2003, 7–24; 2005, 125–136). Detrez bietet folgende zeitgenössische bulgarische Zählung für das Stadtzentrum von Plovdiv im frühen XIX. Jahrhundert an:

	Anzahl der Häuser:
Bulgaren	141
Gudilen	94
Eltern Bulgaren, Kinder Gudilen	41
Mal Bulgaren, mal Gudilen	4
Griechen	14

Wir sehen, dass das bulgarische Ethnikum hier eindeutig in der Mehrzahl, durch die kulturell-sprachliche Orientierung der Gudilen aber gespalten ist. Beachten wir auch, dass die Gudilen von bulgarisch-nationaler Seite hier nicht als Griechen geführt werden: Der bulgarische Ethnonationalismus «entlässt» seine aus seiner Sicht «objektiv» bestimmbaren Mitglieder nicht, sondern belegt sie mit der Sonderkategorie «Gudilen». Dies hat natürlich Einfluß auf die Identität der Gudilen, deren Assimilationsoption von Bulgaren wie auch Griechen bestritten wird: Erinnern wir uns, dass die gängigen Ethnizitätsdefinitionen die Abhängigkeit der ethnischen Eigenzuschreibungen von den Fremdzuschreibungen betonen: «Du bist kein Grieche, sondern nur ein Bulgare, der Grieche sein will».

Für den Assimilationsprozeß von hellenisierten Bulgaren wurde gar ein Verb abgeleitet: das doppelt präfigierte «изпогудилъ» (izpogudilja):

«er war von Geburt Bulgare, und seine Mutter trug bis zu ihrem Tod die Volkstracht und konnte kein Griechisch, aber ihr Sohn und die Enkel sind ‘vergudilisiert’» (Längere Zitate folgen der deutschen Übersetzung des Autors) (zeitgenössische Quelle, bei Detrez 2003, 13).

Wie in der gerade zitierten Plovdiver Häuserzählung wird der Identitätsstreit als Generationenkonflikt interpretiert: Gerade die jungen Leute entscheiden sich für die griechische Position. Die Subjektivität ethnischer Zugehörigkeit manifestiert sich in der Tatsache, dass selbst innerhalb des engsten Familienkreises unterschiedliche Identitäten vorkamen: «man

trifft häufig zwei Brüder, von denen der eine Bulgare ist, der andere Grieche» (Detrez 2003, 13).

Auch die folgenden Zitate zeigen, dass die Assimilationsmuster sehr ähnlich verlaufen wie bei heutigen Sprachminderheiten im Elsaß oder der Bretagne: Es sind vor allem die jungen Mütter, die sich am schnellsten dem Anpassungsdruck beugen und die Kinder zur prestigeträchtigeren Sprache hin orientieren, so dass die Männer ihre Erstsprache als «Männersprache» für sich entdecken, die als *tough* und *cool* gilt und sog. «verstecktes Prestige» besitzt:

«In der Stadt wurde Bulgarisch nur von Männern im Gespräch untereinander benutzt, während ihre Frauen fast alle Griechisch redeten. [...] Was Todor S. für einer war, weiß ich nicht, aber seine Töchter waren dertart fanatische Hellenistinnen, dass sie es nicht zuließen, wenn jemand von unserer Volkszugehörigkeit sprach. So etwa die Ivančevica, die ihre Kinder so erzieht, dass sie sich von ihrem Volkstum lossagen, und sogar ihren Mann so weit gebracht hat, dass er sich schämt zu sagen, dass er Bulgare ist» (Detrez 2003, 15).

Auf dem patriarchalen Balkan — wer hätte es gedacht — ist es die Frau, die zu Hause nicht nur die Kinder auf Kurs bringt, sondern auch ihrem Mann vorschreibt, wie er sich zu fühlen hat. Typisch für Minderheiten ist die ethnische Mimikry, die dazu führt, dass die eigene Herkunft nach außen hin geleugnet wird.

Interessant ist die Tatsache, dass zwischen Bulgaren und Gudilen durchaus geheiratet wurde. Die Gruppengrenze war also nicht hermetisch abgeriegelt, wofür Endogamie das sichtbarste und zuverlässigste Merkmal wäre. Die Gudilen haben also durchaus noch gewusst, woher sie stammen — und gerade für den vom Dorf zugezogenen Bulgaren war die städtische Gudilenfamilie eine gute Partie. Die Dynamik sah wie folgt aus:

«Es kam irgendein junger Bursche vom Land, diente einige Jahre bei irgendeinem Griechen oder einem gräzisierten Bulgaren, lernte das Plovdiver Griechisch, zeigte sich ehrgeizig und arbeitsam. Der Hausherr war bestrebt, ihn zu behalten und ihn mit seiner Tochter zu verheiraten und zum Teilhaber zu machen. Dieser Bursche wird dann mehr Grieche als sein Gönner. Seine Kinder wiederum wollen nichts von ihrer Herkunft wissen, sie sind dann schon echte Hellenen» (Detrez 2003, 13).

Indem im letzten Satz «Hellenen» statt «Griechen» steht, wird das neuerworbene Nationalbewusstsein betont, das die ethnische Kontinuität zu den alten Hellenen impliziert.

Ich möchte ein zweites Beispiel für die Assimilation innerhalb es christlich-orthodoxen Lagers hin zum griechischen Nationalismus anführen — allerdings kein historisches Beispiel, sondern eine heutige Sprachminderheit in Griechenland, die sog. Arvaniten. Sie leben seit dem XV. Jahrhundert vor allem in Attika (Großraum Athen), ihre Sprache gilt als eine der am schnellsten aussterbenden in Europa.

1983 hat der Soziolinguist Peter Trudgill eine Studie vorgelegt mit dem programmatischen Titel «*Language, contact, language shift and identity. Why Arvanites are not Albanians*»: Er betont, dass ethnische und sprachliche Gruppenzugehörigkeit nicht deckungsgleich sind. Wie im katholischen Nordirland kann die ethnische Identität bestehen bleiben, während die sprachliche verloren gegangen ist. In Griechenland ist das Gegenteil der Fall: Die sprachliche Distinktivität hat sich sehr lange gehalten, aber ohne Bewusstsein einer ethnischen Andersheit. Hier muss allerdings ergänzt werden, dass dieser Prozeß nicht freiwillig abgelaufen ist, sondern während der Metaxas-Diktatur in den 1930er Jahren ebenso wie der Militärjunta von 1967–1974 restriktive Assimilationskampagnen durchgeführt wurden.

Trudgill hat 1700 Arvaniten per Fragebogen um ihre Meinung gebeten bezüglich Sprache und Ethnizität. Bei Fragen nach der Sprachattitüde stellt sich deutlich heraus, dass die jüngeren Informanten dem Arvanitischen negativ gegenüberstehen, während die 30- bis 50-Jährigen indifferent sind und die ältere Generation positiv darüber denkt (Trudgill 1977, 171–184; 1983, 127–140). Typische spontane Antworten, die zeigen, dass die Arvaniten den offiziellen griechischen Nationaldiskurs internalisiert haben und die angeblich negativen Zuschreibungen akzeptieren, sind z. B. «Arvanitisch ist keine schöne Sprache», «man kann es nicht schreiben», «Griechisch ist die bessere Sprache», «Griechisch ist klassischer», aber auch Aussagen zur ethnischen Identität: «Wir sind Griechen», «Wir sind keine Albaner» und sogar «Wir sind keine Türken».

Die Mehrzahl der Befragten unter 35 Jahren ist dagegen, dass ihre Kinder Arvanitisch lernen: Typischerweise — vgl. die Gudilinnen — sind 72% der Personen, die sich klar gegen die Sprachweitergabe an die

Kinder aussprechen, Frauen. Dies geht soweit, dass ein Schamgefühl entwickelt wird, vor den Kindern im Schulalter nicht die Minderheitensprache zu verwenden. All dies entspricht exakt dem Zustand des sprachlichen Minderwertigkeitskomplex bei den Gudilen.

Schauen wir nun auf den Aspekt Ethnizität: Das Verhältnis der Arvaniten zu ethnischer und sprachlicher Gruppenzugehörigkeit ist recht paradox: Auf die Frage, ob sie stolz auf ihr Arvanitentum seien, antworteten 97% mit «ja», und waren gleichzeitig bestrebt zu betonen, dass Arvanite-Sein keinesfalls bedeute, nicht Griechisch zu sein: Alle fürchten sich vor dem Vorwurf, keine «guten Griechen» zu sein. Auf die Frage, ob es möglich sei, Arvanite und Griechen zugleich zu sein, antworteten 98% mit «ja», wobei viele «natürlich» hinzufügten. Das positive Selbstimage der Arvaniten ist sehr stark altersabhängig: Nur die Informanten unter 10 Jahren halten Arvanite-Sein für schlechter, während der Prozentsatz der Befürworter der gegenteiligen Meinung kontinuierlich mit steigendem Alter zunimmt und schließlich bei Personen im Rentenalter 96% erreicht.

Wenn wir dies mit den Attitüden zur Sprache verbinden, erhalten wir eine klare Aussage: Es ist die jüngere Generation, die komplexbeladen an ihre sprachliche Andersheit herangeht, die sich Gleichaltrigen gegenüber aufgrund ihrer sprachlichen Herkunft benachteiligt fühlt, und folgerichtig ist es die jüngere Generation, die den Sprachwechsel vollzieht. Es sind die Kinder, die zu Hause den Sprachgebrauch festlegen — manchmal zwingen sie gar die Großeltern, nicht mehr in der Minderheitensprache zu sprechen. Die Eltern, die wissen, dass ihre Kinder eine bessere Bildung erhalten als sie selbst damals, geben in der Regel nach.

Schauen wir nun auf eine der zentralsten Fragen zum Verhältnis von Sprache und Ethnizität, und die folgenden Zahlen besitzen Allgemeingültigkeit für fast alle Sprachminderheiten in Europa:

«Muß man Arvanitisch sprechen (können), um ein Arvanite zu sein?»

Alter:	«Ja»	«Nein»
10–14	67%	33%
15–24	42%	58%
25–34	24%	76%
35–49	28%	72%
50–59	33%	67%
60 +	17%	83%

Diese Tabelle kann erklären, wie die Arvaniten den allgemeinen Stolz auf ihr Arvanitentum mit dem fehlenden Wunsch verbinden, die Sprache an die nächsten Generationen weiterzugeben. Bis auf die Informanten unter 15 Jahren hält die Mehrheit aller anderen Altersgruppen Sprache *nicht* für ein notwendiges Merkmal der ethnischen Gruppenzugehörigkeit. Erklärt und gerechtfertigt wird diese Antwort damit, dass die Herkunft aus einer bestimmten Familie und noch mehr aus einem bestimmten Dorf ausreichendes Merkmal für Arvanitentum sei. Diese Sichtweise deutet eindeutig in Richtung Sprachtod: Wenn eine Gruppe sich damit abgibt, dass ihr wichtigstes Dissimilationssymbol — die eigene Sprache — verschwindet, droht die baldige Assimilation.

Wir halten Folgendes fest: Die Beziehung zwischen Ethnizität und Sprache kann selbst innerhalb kleiner Gemeinschaften verschiedene Formen annehmen. Im vorliegenden Fall der Arvaniten — und Th. Kahl beschreibt den gleichen Zustand bei den Aromunen (Kahl 2003, 205–219) — besitzt Sprache keine wichtige Symbolfunktion für die ethnische Gruppenzugehörigkeit. In dieser Phase der Assimilation besteht noch ein klares Bewusstsein über die ethnische Alterität, während die Sprache rapide verschwindet. Faktoren, die dieser Entwicklung zuarbeiten, sind die massive Urbanisierung, d. h. das Aufbrechen der alten, meist endogamen Dorfstrukturen, dann die Tatsache, dass das Arvanitische eine Sprachinsel ist, die keinerlei kulturelle, religiöse oder politische Kontakte nach Albanien hat. Als Anfang der 1990er Jahre Zehntausende ärmlicher Arbeitsmigranten aus Albanien nach Griechenland kamen, hat sich die arvanitische Gemeinschaft demonstrativ von ihrem relativen «Albanertum» distanziert — auch dies trägt zum Sprachtod bei.

Vor allem — und hier schlagen wir den Bogen nach Byzanz und ins Osmanenreich — ist die griechisch-nationale Orientierung der Arvaniten ein strukturgeschichtliches Phänomen der «langen Dauer» im Sinne von Fernand Braudel: Die Arvaniten sind seit dem frühen XIX. Jahrhundert wichtige Träger des Hellenismus, und man erkennt den verstädterten Arvaniten daran, dass er bei Nationalfeiertagen neben der griechischen, blau-weißen Flagge auch die gelbe mit dem byzantinischen Adler auf seinem Balkon hisst: Byzanz und die Religion sind der Schlüssel für seine selbstgewählte, «neue» ethnische Identität als Griechen.

Ethnische Kohäsion bei den Balkanmuslimen

Schauen wir nun auf zwei slawischsprachige muslimische Gruppen, deren heutige Identitätsmuster die ethnonationale Logik unterlaufen. Im Sammelband von Steinke/ Voss 2007 findet sich eine ausführliche Studie zu den slawischsprachigen Muslimen in der Republik Makedonien von Telbizova-Sack. Die Zahl der sog. Torbeschen liegt heute bei 60.000–70.000. Von den Muslimen Makedoniens sind zwei Drittel Albaner, der Rest setzt sich aus Türken, Roma und Torbeschen zusammen. Als Teil Tito-Jugoslawiens waren die Muslime Makedoniens starken Säkularisierungstendenzen ausgesetzt, andererseits nationalistischen Vereinnahmungsversuchen seitens der Titularnation, die von Tito stets aufgepäppelt wurde. Im monarchistischen Jugoslawien gab es keine Makedonier, sondern die einheimische slawische Bevölkerung (und somit auch die Muslime) war aus Belgrader Sicht «Süd- oder Berg-Serben».

Der junge jugoslawisch-makedonische Staat nach 1945 unternahm zunächst keine gezielten Nationalisierungsversuche seiner Muslime. Erst in den 1970er Jahren wurde er aktiv, als die demographische Alarmglocke klingelte angesichts der Tatsache, dass der Anteil der Albaner von 13% im Jahr 1961 auf 17% im Jahr 1971 gestiegen war, und sich zudem immer deutlicher die Tendenz abzeichnete, dass kleinere muslimische Gruppen sich an die Türken und Albaner im Land assimilierten. 1979 wurden von einigen makedonisch-national orientierten Torbeschen die Organisation «Културно-научни манифестации на Македонци-муслимани» (*Kulturno-naučni manifestacii na Makedonci-muslimani*) gegründet (Telbizova-Sack 2007, 213ff.): Die eigene «falsche ‘Religion’» wurde durch Zwangsislamisierungen in osmanischer Zeit erklärt. Obwohl die Bewegung politisch bestellt war, konnte sie sich über die Wendezeit hin halten, hat allerdings Konkurrenz bekommen durch die «Исламска верска заедница на Македонија» (*Islamska verska zaednica na Makedonija*).

Für die Mehrzahl der Torbeschen spielt die gemeinsame Herkunft und Sprache mit der makedonischen Mehrheit keine Rolle. Gerade in den letzten Jahren, in denen sich der makedonische Nationalismus immer stärker konfessionalisiert und mit christlicher Symbolik hantiert, stoßen diese Konnotationen von Makedonismus die Torbeschen ab. Das Errichten eines 70 Meter hohen Kreuzes im Jahr 2002 auf dem Hausberg von

Skopje (Vodno), das weithin sichtbar ist, wird von den Muslimen Makedoniens als Provokation wahrgenommen.

Viele Torbeschendörfer deklarieren sich als Türken, obwohl sie kein Türkisch können. Seit vielen Jahren liegen etliche Dörfer mit der Regierung in Skopje im Streit, ob in den Grundschulen Türkisch unterrichtet werden darf. Die Torbeschengemeinden erheben diese Forderungen allerdings nur sporadisch und geben in der Regel schnell auf. Und dennoch betonen sie die Wichtigkeit:

«Die echten Türken werden uns als Türken nur dann akzeptieren, wenn wir gut Türkisch sprechen können». «Egal wo Du hingehst und was Du machst, wenn Du kein Albanisch sprechen kannst, behandeln Dich alle weiter als Torbesch» (Telbizova-Sack 2007, 215).

Hier wirken also die alten ethnischen Hierarchien nach, und die prestigeträchtigeren Gruppen sind nicht ohne weiteres bereit, Gruppen wie die traditionell auf dem Land lebenden Torbeschen zu integrieren. Es geht hier wohlgemerkt nicht um eine Perspektive der Integration in die Mehrheitsgesellschaft, dass die Kinder etwa leichter in die Landeshauptstadt zum Studium gehen können, sondern um die Eingliederung in eine andere Minderheit, und zwar auf einer persönlich erlebten Ebene.

Um die eigene Identitätsoption als Türke zu stützen und nach außen zu legitimieren, wird also einerseits versucht, die Sprachkompetenz zu verbessern, andererseits bastelt man an Abstammungsmythen, die leichter zu manipulieren sind als Sprachkenntnisse: Man bestreitet etwa die slawische Herkunft, um sich dann auf türkische Stämme der Petschenegen, Kumanen und Awaren oder — wie die Bosnjaken — auf die lokale Sekte der Bogomilen zu berufen. Die Torbeschen weisen heute sehr flexible Identitätsmuster auf:

«Keiner von uns kann sich genau bestimmen. Die meisten bezeichnen sich als Türken und zugleich auch Albaner. Nur Makedonier sind wir nicht». «Mein Bruder sagt, dass er ein Albaner ist. Ich dagegen bin ein Makedonier» (Telbizova-Sack 2007, 216).

Vor allem bei praktischen Problemen wie Studienaufnahme, Arbeitssuche und ähnlichem werden bestimmte Identitätsmuster eingesetzt, um konkrete Ziele zu erreichen, ohne dass die nach «außen» deklarierte Bezeichnung mit dem Selbstverständnis der betroffenen Person übereinstimmt — eine Option, die nach der Rückkehr ins Dorf ihre Bedeutung wieder ver-

liert. Während der in den 1950er Jahren einsetzenden Migrationswelle muslimischer Bevölkerungsteile in die Türkei deklarierten sich slawische Muslime massenhaft als Türken, um ebenfalls die Auswanderungserlaubnis zu bekommen. Allein 1953 emigrierten 200.000 Muslime aus Makedonien in die Türkei — dies entspricht deutlich mehr als 10% der Gesamtbevölkerung der titojugoslawischen Republik.

Die Turzisierung der Balkanmuslime habe ich bereits am Beispiel der bulgarischsprachigen Muslime, der sog. Pomaken, in Nordost-Griechenland untersucht (vgl. Voss 2006, 326–339; 2007, 177–192). Sie stehen seit dem späten XIX. Jahrhundert im trilateralen Spannungsfeld zwischen Griechenland, der Türkei und Bulgarien, wobei letztere in der griechischen Außenpolitik als «Gefahr aus dem Osten» und «Gefahr aus dem Norden» wahrgenommen werden. Als die nordgriechische Grenze Teil des Eisernen Vorhangs war, galt eindeutig Bulgarien als größere Bedrohung, so dass für die türkisch- und bulgarischsprachige Minderheit in Griechisch-Thrakien 1951 zweisprachige griechisch-türkische Minderheitenschulen eingerichtet wurden. Erst mit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes dämmerte es griechischen Politikern, dass der Staat so die Turzisierung der Pomaken mitträgt. Seither wird versucht, eine pomakische Regionalidentität zu fördern, was von zahlreichen Kodifizierungsversuchen begleitet wird. Diese sprachpolitischen Vorstöße sind von der Pomakengemeinde selbst von Beginn an vehement abgelehnt worden, sie tragen unmittelbar zum rapiden Sprachtod des Pomakischen bei.

Urbane Identitäten jenseits von Sprache

Fraenkel 1993 widmet sich in «Urban Muslim identity in Macedonia: The interplay of Ottomanism and multilingual nationalism» dem Selbstverständnis der Städter: Die entscheidende Dichotomie zur Ausdifferenzierung der Bevölkerung war der Gegensatz von Stadt und Land, wobei tendenziell die Christen auf dem Land lebten, die Muslime hingegen in den Städten. Da sowohl im byzantinischen als auch im osmanischen Reich kein Zugangsrecht in die Städte bestand, gab es nur minimale Migration von Christen in die Städte. Dies änderte sich erst im XVIII. Jahrhundert mit dem massiven Zuzug von Christen in die Städte, wodurch die nationalen Wiedergeburtbewegungen Aufwind erhielten (Voss 2002, 99ff.).

Wir können vermuten, dass Christen und Muslime, die gemeinsam auf dem Land lebten, einander mental und kulturell ähnlicher waren als ihre Ko-Religiösen in den nahegelegenen Städten. Innerhalb der Städte wurden die wenigen Zugezogenen ebenso wie Konvertiten (d. h. Religionswechsler zum Islam) schnell absorbiert, wobei aus der muslimischen Identität schnell eine soziale und ökonomische wurde. Innerhalb der urbanen muslimischen Gesellschaft hatten ethnische, sprachliche und geographische Ausdifferenzierungen wenig Bedeutung. Dasselbe gilt für die christliche Stadtbevölkerung, die sich kulturell homogenisiert als «Griechen». Die Muslime lebten in einer klassenbasierten Gesellschaft, die sie nicht zwang, sich ethnisch oder national festzulegen: Dies geschah erst mit dem eindringenden Ethnonationalismus.

Eine der gelungensten Darstellungen zum kulturellen Erbe der osmanischen Zeit auf dem Balkan ist das Buch «Shadow Genealogies» von Burcu Akan Ellis (Ellis 2003). Das Buch beginnt mit einem bezeichnenden Zitat, in dem die Fremdzuschreibungskriterien der jugoslawischen Volkszähler mit der Eigenzuschreibung urbaner Muslime in der Republik Makedonien kollidieren:

«The census observers asked my aunt: ‘Are you Albanian, Macedonian or Turkish?’ – ‘I’m Şehirli’, my Albanian aunt replied proudly, in Turkish» (Ellis 2003, 1).

Ellis beschäftigt sich mit einer Identitätsoption, die keine Kategorie bei der Volkszählung darstellt und die auch keinen Nationalstaat besitzt, auf den man sich als «*homeland*» berufen kann. *Şehirli* konnte man in osmanischer Zeit nur werden, wenn man über 40 Jahre Bürger einer Stadt war: Dieser urbane Status stand über allen religiösen Kategorien. Ellis fragt nun nach dem Fortbestand dieser typisch osmanischen Identitätsform unter den Bedingungen einschneidender soziopolitischer Transition (Nationalstaatsbildung nach 1913, 1918, 1945 und 1991): Können sich derartige soziale Identitäten, die einzig und allein auf dem Lebensstil beruhen, über Generationen halten? *Şehirli* haben eine «Schatten-Genealogie», wie Ellis bereits im Buchtitel verkündet: Sie lassen sich nicht in die heute virulenten ethnischen Identitäten als Albaner, Türken oder Makedonier sowie sprachliche und religiöse Raster einordnen.

Im Rahmen von Titos Jugoslawien ist die urbane muslimische Identität in albanische und türkische Nationalidentität transformiert worden.

Dieser föderale Staat hat ab den 1960er Jahren immer stärker die Partikularnationalismen betont, so dass der jugoslawische Staat letztlich seine Legitimität bei den Bürgern verlor. Tito-Jugoslawien hatte erst fünf, dann sechs Nationen — народи (*narodi*), die ihre eigenen Republiken besaßen. Darüber hinaus gab es neun Nationalitäten — народности (*narodnosti*). Dies waren ethnische Gruppen mit Nationalstaaten in benachbarten Ländern: Albaner, Bulgaren, Tschechen, Italiener, Ungarn, Rumänen, Ruthenen/ Russinen, Slowaken und Türken.

Als Folge der unerbittlichen Ethnisierung und Nationalisierung der jugoslawischen Gesellschaft wurde jeder Person auf der Basis seiner Deklaration in der Volkszählung anhand von «ethnischen Schlüsseln» ein Platz in der Gesellschaft zugewiesen (Duijzings 2002, 123–148). Die *Şehirli* mit ihrer stolzen, anationalen Identität mussten eine Partei ergreifen, auch wenn sie dies zutiefst befremdete. Als Muslime gab es für sie nur zwei Optionen: als Türken oder Albaner.

«I don't call myself either Albanian or Turkish. If somebody starts being a hard-headed nationalist Albanian in front of me, speaking against the Turks, I lash back at them strongly as a Turkish nationalist. If I hear someone talk about the Albanians badly, I strike back at them defending the Albanians. If you ask me, I am neither one nor the other» (Wie alle folgenden Zitate: Ellis 2003, 74ff).

Durch die Parteinahme für die albanische oder türkische Nationalpartei wurde das Verhältnis der *Şehirli* zum jugoslawischen Staat abhängig von den bilateralen Beziehungen Titos zu Albanien und zur Türkei. Die Identitäten der *Şehirli* sind also dreifach schichtbar als «ererbte», «gefühlte» und «nach außen deklariert». Gerade in Fällen, wo man den sozialen Aufstieg infolge von ethnischer Umorientierung beneidet, ist die Gruppe nicht bereit, derartige Identifikationen jenseits der «Blutlinie» zu akzeptieren: Eifersüchtig wacht die Gruppe über «die Wahrheit der anderen».

Es stellt sich heraus, dass die Entscheidung für eine der beiden Ethnizitäten vom Zufall abhängig war: Nicht die Indoktrinierung im Schulsystem selbst, sondern persönliche Netzwerke als *face-to-face-community* haben nachhaltige Loyalitäten ausgebildet.

«We lived in a mixed neighborhood and my best friend was Turkish. I know all three languages (Albanian, Turkish and Macedonian), so when school started, I just walked with him and enrolled in the Turkish school.

Parents didn't care where you studied. I just grew to love being Turkish, while all the rest of my brothers became Albanian».

Abschließend noch ein Beispiel für das Switchen von Identität und die Reaktion der Umgebung: Die von Ellis erzählte Geschichte spielt zu Beginn der 1960er Jahre. Die leiblichen Eltern der Informantin sind Albaner, aber ihre Tante, die sie bei der Geburt adoptiert hat, ist mit einem bekannten *Şehirli* verheiratet, so dass das Kind mit türkischer Muttersprache in einem türkischsprachigen Haushalt in Bitola aufwächst. Mit 12 Jahren erfährt sie von ihrer Adoption:

«I cried for six weeks. 'What are you?' I asked my aunt. 'I'm Muslim'. — 'But are you Albanian or Turkish?' — 'I'm Albanian. I know that your mother and father do not speak Turkish. But your adopted father is Turkish'. — 'Then I cannot be Turkish, I must be Albanian', I sobbed. 'My parents are Albanian. I can not be a Turk even if I want to'».

Sie nahm eine albanische Identität an, besuchte die albanische Höhere Schule und heiratete einen Albaner. Ihre Schulfreunde und das türkische Milieu haben ihr diesen «Verrat» bis heute nicht verziehen:

«She has switched to being Albanian. How can she be Albanian after all those years?! We went to school together, I ate at her parents' table. We read the same books, shared the same desk. She lived as Turkish. You can't just become Albanian like that. You just can't».

Fazit

Der Überblick über Sprachideologien recht unterschiedlicher Gruppen widerlegt eindeutig das Balkanstereotyp kontinuierlicher und extremer Formen von Exklusion bis hin zur physischen Vernichtung. Stattdessen zeigt sich, dass Kleingruppen in Südosteuropa ihre Gruppengrenzen sehr flexibel und multioptional gestalten. Vor allem für muslimische Gruppen ist kennzeichnend, dass sie Eigenzuschreibungen jenseits der Sprachgrenzen ausformulieren, wie sie der Ethnonationalismus vorschreibt.

In den hier beschriebenen Osmoseprozesse zwischen lokalen, regionalen und nationalen Loyalitäten schlägt sich der traditionelle balkanische Habitus der Koexistenz nieder, wie er bis zum Eindringen der ethnonationalen Ideologie und des Sprachnationalismus vorgeherrscht hat.

LITERATUR

- Comrie, B.: *Sowjetische und russische Sprachenpolitik*. H. Jachnow (Hrsg.). Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik und ihrer Grenzdisziplinen. Wiesbaden, 1999, S. 817–842.
- Duijzings, G.: *Die Erschaffung von Ägyptern in Kosovo und Makedonien*. U. Brunnbauer (Hrsg.). Umstrittene Identitäten. Ethnizität und Nationalität in Südosteuropa. Frankfurt/ M. u. a., 2002, S.123–148.
- Detrez, R.: *За характера на погръчването на славянското градско население на Балканите*. (Върху материала за историята на Пловдив). Slavica Gandensia, 2003, vol. 30, p. 7–24.
- Detrez, R.: *Was für eine Sprache ist das «Gudilische»?* Zeitschrift für Balkanologie, Bd. 41, 2005, H. 2, S.125–136.
- Duličenko, Gustavsson (Hrsg.) 2006 — А. Д. Дуличенко, С. Густавссон (ред.). Slavica Tartuensia VII: Славянские литературные микроязыки и языковые контакты. Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Международном Комитете славистов, Тарту, 15–17 сентября 2005 г. Тарту, 2006.
- Ellis, B. A.: *Shadow genealogies: memory and identity among urban Muslims in Macedonia*. New York, 2003.
- Fishman, J. A.: *Reversing Language Shift. Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages*. Clevedon et al., 1991.
- Fraenkel, E.: *Urban Muslim identity in Macedonia: The interplay of Ottomanism and multilingual nationalism*. E. Fraenkel, Chr. Kramer (ed.). *Language contact – language conflict*. New York u. a., 1993, p. 27–41.
- Kahl, Th.: *Aromanians in Greece. Minority or Vlach-Speaking Greeks?* S. Trubeta, Ch. Voss (Hrsg.). Minorities in Greece — Historical Issues and New Perspectives (= Jahrbücher für Geschichte und Kultur Südosteuropas). München, 2003, S. 205–219.
- Steinke, Kl., Ch. Voss (Hrsg.). *The Pomaks in Greece and Bulgaria — a model case for borderland minorities in the Balkans*. München, 2007.
- Telbizova-Sack, J.: *Zwischen Hammer und Amboss: Die slawischen Muslime Makedonien*. Steinke/ Voss 2007, S. 201–225.
- Trudgill, P., G. A. Tzavaras: *Why Albanian-Greeks are not Albanians: Language shift in Attica and Boeotia*. H. Giles (ed.). *Language, ethnicity and intergroup relations*. London/ New York/ San Francisco, 1977, p. 171–184.
- Trudgill, P.: *Language, contact, language shift and identity. Why Arvanites are not Albanians*. P. Trudgill. On dialect. Oxford, 1983, p.127–140.

- Voss, Ch.: *Das Motiv der Wiedergeburt in der Großregion Makedonien*. Zeitschrift für Balkanologie, Bd. 38, 2002, H. 1–2, S. 91–111.
- Voss, Ch.: *Toward the comparability of Slav-speaking Balkan Muslims in the light of the «microlanguage» concept*. Duličenko/ Gustavsson (Hrsg.) 2006, p. 326–339.
- Voss, Ch.: *Language ideology between self-identification and ascription among the Slavic-speakers in Greek Macedonia and Thrace*. Steinke/ Voss (Hrsg.) 2007, p. 177–192.

Kas Balkani väikekeeled on mikrokeeelte ilming?

Christian Voss

Siirdelised vähemusrahvused Balkanil sümboliseerivad hübriidset bilingvaalset identiteeti, mis ei soodusta ühemõõtmelist (ainult etnilist või ainult keelelist) rahvuslikku ühinemist mingil kujul. Niisuguste rühmade keeleideoloogias tuleb näha Osmanite impeeriumi pärandit. Artiklis vaadeldakse niisuguseid rühmi, nagu kreeka mõjudega bulgaaria keele kõnelejad Plovdivis XIX sajandil (nn gudiilid), albaania keelt rääkivad kreeklased (arvaniidid), samuti slaavi keeltes kõnelevad moslemid tänapäeva Makedoonias ja Kreekas. Niisugune keelelise ja etnilise kuuluvuse mittevastavus annab alust käsitada neid keeli A. D. Dulitšenko poolt välja töötatud mõiste kohaselt mikrokeeltena.

Michael Moser
Universität Wien

SLAVISCHE REGIONAL- UND MINDERHEITENSPRACHEN AUF DEM GEBIET DER REPUBLIK POLEN

Republik Polen – slavische Regionalsprachen – slavische Minderheitensprachen – Schrifttum und Literatursprache (Standardsprache) – Europäische Charta für Regiona – oder Minderheitensprachen

1. Zur Europäischen Charta für Regional- und Minderheitensprachen

Der vorliegende Überblick über die slavischen Regional- und Minderheitensprachen auf dem Gebiet der Republik Polen soll unter anderem zeigen, dass auch die jüngsten Entwicklungen in der slavischsprachigen Welt nur dann verstanden werden können, wenn man sie auch unter einem sprachhistorischen Blickwinkel betrachtet¹.

Der Aktualität dieses Themas ist man sich ohnedies bewusst. So bekennt sich etwa die Europäische Union mit der Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten aus dem Jahr 1994 sowie der Europäischen Charta für Regional- oder Minderheitensprachen des Europarates aus dem Jahr 1992, die am 12. 5. 2003 von Polen ohne Vorbehalte signiert, aber bis heute noch nicht ratifiziert wurde, grundsätzlich zur Vielsprachigkeit der Union, zu einem Europa der Regionen und zum Schutz der Minderheiten- und Regionalsprachen. Auch Letzterer wird im Übrigen reichlich subventioniert (Rautz 2003, 265).

Betrachtet man nun die erwähnte Charta für Regional- oder Minderheitensprachen, so stellen sich rasch erste Schwierigkeiten ein. In Artikel 1 heißt es:

- a «regional or minority languages» means languages that are:
 - i traditionally used within a given territory of a State by nationals of that State who form a group numerically smaller than the rest of the State's population; and
 - ii different from the official language(s) of that State (Charter 1992, 2).

Es wird also zunächst betont, dass die Charta nur Territorialsprachen betrifft, während nicht-territoriale Sprachen im selben Artikel 1 definiert werden als:

«languages used by nationals of the State which differ from the language or languages used by the rest of the State's population but which, although traditionally used within the territory of the State, cannot be identified with a particular area of there» (Charter 1992, 3).

Dass selbst die Unterscheidung zwischen territorialen und nicht-territorialen Sprachen auch konkret mit Bezug auf Polen höchst problematisch ist, wird hier noch zu zeigen sein. Dass es grundsätzlich nicht ganz einfach ist, zwischen autochthonen und allochthonen Minderheiten zu differenzieren (Wicherkiewicz 2003, 74) — so wie dies hier kaum merklich nur mittels des Wörtchens *traditionally* getan wird —, sei hier lediglich angedeutet: Früher oder später wird man sich allerdings wahrscheinlich doch auf einen bestimmten minimalen zeitlichen Rahmen einigen müssen, der zum Status der Autochthonizität berechtigt. Nicht immer problemlos ist letztlich auch die Unterscheidung zwischen Regional- und Minderheitensprachen, gemäß welcher Minderheitensprachen — anders als Regionalsprachen — mit den offiziellen Sprachen anderer Staaten identifiziert werden, denn die minderheitensprachlichen Varietäten können sich von den offiziellen Standardsprachen der anderen Staaten mitunter erheblich unterscheiden.

Wichtiger ist in unserem Zusammenhang allerdings vor allem ein Zusatz, der über den Referenzbereich der Charta mitteilt: it does not include either dialects of the official language(s) of the State or the languages of migrants (Charter 1992, 2).

Die Feststellung, dass die Sprachwissenschaft eigentlich gar nicht fähig ist, den Status von Sprachen und von Dialekten klar zu unterscheiden, ist längst zum Gemeinplatz geworden. Was dieser aber bedeutet, könnte man auch so umschreiben: Wird ein Idiom, das traditionell als Dialekt einer offiziellen Staatssprache gilt, zu einer neuen Sprache erklärt, so

muss dieser Akt der Sprachschöpfung schlichtweg allen und immer freistehen. Hinsichtlich eng verwandter Idiome liegt der Statusunterschied zwischen Dialekten und Sprachen jedenfalls keineswegs in der inneren Struktur begründet.

Was die Sprachwissenschaft in dieser Situation zunächst beibringen kann, ist eine Klärung der Überdachungsverhältnisse im Licht der inneren und äußeren Sprachgeschichte. Dabei sind also zunächst die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den in Frage stehenden Idiomen im Sinn der historischen Grammatik sowie ihre arealen Verhältnisse — auch und gerade mit Bezug zu anderen Dialekten der Überdachungssprache(n) und nicht nur mit Bezug auf die jeweilige(n) Überdachungssprache(n) selbst — zu betrachten. Ebenso wesentlich wird in weiterer Folge eine Sichtung der traditionellen Rolle der Überdachungssprache(n) für die Sprachgemeinschaft sein. Typologische Betrachtungen können in diesem Zusammenhang durchaus lehrreich sein, wenngleich Typologie als solche in der Regel — und eben auch in diesem Fall — weniger zu erklären als vielmehr scheinbare Kausalitäten zu relativieren vermag.

Keine der eingebrachten Beobachtungen kann dabei das Recht auf die Schaffung einer neuen Sprache grundsätzlich in Frage stellen. Was aber geleistet werden kann, ist letztlich gar nicht wenig: Tendenziöse Darstellungen der synchronen Verhältnisse werden unter Umständen im Blick von außen ebenso zurechtgerückt wie sprachhistorische Mythen, die häufig eine wichtige Rolle für die Legitimation aktueller Initiativen spielen. Die Sachlage ist dabei in der Regel komplexer, als sie von den Interessensvertreterinnen und -vertretern aller Seiten dargestellt werden. Dass mit diesen Sprachschöpfungen auch ethnische oder nationale Identitätsbilder ins Spiel kommen, muss nicht eigens betont werden.

Ist aber die Sprache, die kein Dialekt mehr sein soll, erst einmal aus der Taufe gehoben, existiert sie schon allein aufgrund dieses deklarativen Akts. Von nun an sind andere Bewertungskriterien einzubringen: Die Sprachen, die über den Dialektstatus angehoben werden sollen, sind an jenen Maßstäben zu messen, welche die Sprachwissenschaft seit den wegweisenden Arbeiten der Prager Schule für die Beschreibung des Status von Standardsprachen entwickelt hat. Greifen wir auf den Minimalkatalog der Anforderungen zurück, dann kommt hier neben der Kodifikation und der allgemeinen Verbindlichkeit der Normen vor allem der Poly-

valenz eine grundlegende Rolle zu. Selbst wenn wir die hier oft hinzugefügte stilistische Differenziertheit zunächst noch beiseite lassen, ist jedoch klar, dass auch die zuvor genannten, vermeintlich härteren Kriterien immer noch relativ weiche Größen sind: Denn selbst die strikteste Kodifikation zollt, sofern sie den Tatsachen gerecht werden will, dem Phänomen der Varianz Tribut, — und die Normen sind, wie Vilém Mathesius es formulierte, letztlich doch nur «elastisch». Was bedeutet die «allgemeine» Verbindlichkeit der kodifizierten Normen wirklich, da sie doch keineswegs 100% der Sprachgemeinschaft einhalten können oder auch nur wollen? Wie bewerten wir dieses Kriterium mit Bezug auf die Regional- und Minderheitensprachen, die oftmals zunächst nur von einem schmalen Kreis von Aktivistinnen und Aktivisten kodifiziert, propagiert und ausgebaut werden – nicht anders übrigens, als in der Vergangenheit viele «große» Standardsprachen der Gegenwart? Und wie genau soll man es mit der Polyvalenz nehmen, wenn etwa die rechtlichen Voraussetzungen für eine echte Multifunktionalität des Idioms fehlen²?

Der Tatsache, dass die genannten Kriterien von jenen Idiomen, die hier als Regionalsprachen behandelt werden, in der Regel nur teilweise erfüllt werden, wird der Dorpater Slavist Aleksandr Dmitrievič Duličenko gerecht, der in seiner mittlerweile klassischen Monographie den Begriff der «Mikroliteratursprachen»³ in die Slavistik eingeführt hat (Duličenko 1981). In seiner kürzlich erschienenen zweibändigen Anthologie von Texten aus dem Bereich der slavischen Mikroliteratursprachen definiert Duličenko diese wie folgt:

«Под литературными микроязыками следует понимать такие образования, которые обладают письменной формой и функционируют в рамках более или менее организованного литературно-языкового процесса, прерывного или непрерывного, формирующего и реализующего грамматические и лексические нормы самим применением такого языка в различных сферах жизни, при этом носитель процесса характеризуется количественно-пространственными параметрами, обозначаемыми элементом *микро-*» (Duličenko 2003–2004, I, 5).

Erst kürzlich betonten die Herausgeber des Buches «Small and Large Slavic Languages in Contact», eines Sonderbandes des *International Journal of Sociolinguistics* (Marti, Nekvapil 2007), zu Recht, dass die Zuordnung von Idiomen zu den so genannten «kleinen Sprachen» nicht allein auf-

grund von Sprecherzahl erfolgen kann. Außerdem ist die Bestimmung eine relative: Sprachen sind letztlich eigentlich in der Regel nicht klein, sondern verhalten sich zueinander wie kleine oder große Sprachen und können dabei je nach Vergleichsgröße sowohl die Rolle der kleinen als auch die der großen Sprache einnehmen. Gegenüber sämtlichen Idiomen, die wir im Folgenden besprechen werden (mit Ausnahme der standardsprachlichen Varietäten der Minderheitensprachen), verhält sich das Polnische zurzeit wie eine große Sprache, gegenüber dem Englischen aber etwa wie eine kleine.

Die Minderheitensprachen sind hingegen in einen anderen Kontext eingebettet, solange ihre Sprecherinnen und Sprecher den Bezug zu den slavischen Standardsprachen und offiziellen Sprachen der slavischen Nachbarländer als ungebrochen betrachten. Der Kontakt zu diesen Standardsprachen ist nicht immer gleich intensiv. Die Beherrschung der Standardsprachen ist in der Regel nicht perfekt. Hinsichtlich des Weißrussischen und des Ukrainischen tritt die Tatsache hinzu, dass die Standardsprachen in den Mutterländern selbst bis in die jüngste Vergangenheit existenziell bedroht waren. Für das Weißrussische dies bis heute.

2. Die slavischen Regional- und Minderheitensprachen in der Republik Polen

Wenden wir uns nun also konkret den slavischen Regional- und Minderheitensprachen in der Republik Polen zu, so ist zunächst an die letzte polnische Volkszählung aus dem Jahr 2002 zu erinnern. Trotz aller berechtigten Skepsis gegenüber solchen Erhebungen wirft sie nämlich ein klärendes Licht auf die uns interessierenden Fragen, da sie zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren Fragen zur Nationalität und zur Sprache der Bevölkerung enthielt (Fleming 2005, 84)⁴. Die Zählung wies nach, dass sich über 96% der Bevölkerung zur polnischen und nur 1,23% (439.893 Personen) zu einer anderen Nationalität bekannten, während 2,03% (774.900 Personen) gar keine Nationalität angaben (Fleming 2005, 87).

Die Frage nach der eigenen Sprache wurde wie folgt gestellt: «W jakim języku (językach) rozmawia Pan(i) najczęściej w domu?». Es wurde also die Heimsprache, die Familiensprache erfragt. Gemäß der Volkszählung sprachen 97,8% der Bevölkerung zu Hause polnisch, und zwar 96,5% ausschließlich. Für die übrigen 2,2% wurden 87 andere Sprachen

aufgenommen (Fleming 2005, 86), wobei diejenigen, die die Daten erhoben, angeblich häufig beklagten, dass in dieser Sparte «Dialekte» angegeben wurden (Fleming 2005, 86–87), die allerdings bedauerlicherweise noch nicht publiziert wurden. Auch in die von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebene erweiterte Euromosaik-Studie, die im September 2004 mit Hinblick auf die Erweiterung der Europäischen Union durchgeführt und zuletzt im Oktober 2006 aktualisiert wurde (EM 2004/2006)⁵, sind solche «Dialekte» nicht eingegangen. Von den hier im Folgenden behandelten Regionalsprachen 2.1.–2.5. wird in der Euromosaik-Studie lediglich das Kaschubische behandelt. Das «Schlesische» wird in der Studie ausschließlich im Kontext des Deutschen erwähnt (EM 2004/2006, Pkt. 2.3.), was aus sprachlicher Perspektive zumindest in Bezug auf das hier im Folgenden besprochene Idiom unzulässig erscheint. Berücksichtigt wird in der Euromosaik-Studie (2004/2006, Pkt. 2.2.) außerdem das Lemkische, und zwar als Sprache der einzigen slavischsprachigen «ethnischen Minderheit» in Polen. Unerwähnt bleibt hingegen das erst seit Kurzem in Entstehung begriffene Podlachische.

Die Daten der polnischen Volkszählung des Jahres 2002 werden in der Euromosaik-Studie von 2004/2006 wiedergegeben (EM 2004/2006, 2.4.)⁶. Ich ergänze die Tabelle nach den Angaben eines anderen Abschnitts der Studie (EMa 2004/2006, Pkt. 5.) um Daten für das in der Quelle unberücksichtigte Russische:

	Menschen polnischer und nicht polnischer Staatsangehörigkeit	
	Andere Nationalität	Andere Heimsprache
Deutsch	152.897	204.573
Jüdisch/ Hebräisch	1.133	Hebräisch: 225
Karaimisch	45	-
Kaschubisch	5.062	52.665
Lemkisch	5.863	5.627
Litauisch	5.864	5.838
Roma	12.855	15.788
Russisch	6.103	15.299
Schlesisch	173.153	56.643
Slowakisch	2.001	921

Tatarisch	495	-
Tschechisch	831	1.482
Ukrainisch	30.957	22.698
Weißrussisch	48.737	40.650
Gesamt	439.893	407.110

Als Sprachen nationaler Minderheiten gelten in Polen die folgenden Sprachen, deren geschätzte, von den erhobenen Volkszählungsdaten stark abweichende Sprecherzahlen ich nach der Euromosaik-Studie von 2004/2006 in Klammern hinzufüge: Deutsch (300.000–400.000), Weißrussisch (250.000–300.000), Ukrainisch (300.000), Litauisch (30.000), Russisch (20.000), Slowakisch (15.000), Tschechisch (3.000), Jiddisch (5.000), Armenisch (1.500). Als Sprachen ethnischer Minderheiten gelten: Ruthenisch/ Russinisch/ Lemkisch (50.000), Roma[nes] (20.000), Tartarisch (2.000), Karaimisch (150). Dem Kaschubischen mit einer geschätzten Sprecherzahl von 250.000 bis 300.000 kommt der Sonderstatus der Sprache einer «regionalen Sprachgemeinschaft» zu (EM 2004/2006, Pkt. 2.2.)⁷.

2.1. Schlesisch

Trotz aller Vorzeichen war es für viele eine echte Überraschung: Die «Schlesier» erwiesen sich also laut der Volkszählung des Jahres 2002 mit 173.153 Personen als die zahlenmäßig stärkste «nationale Minderheit» in Polen, von diesen wollten gar noch 56.643 Personen zu Hause die Sprache Schlesisch sprechen. Dass Schlesien in der Geschichte Polens und in der Geschichte des Polnischen eine regionale Sonderstellung einnimmt, ist allgemein bekannt – so lässt sich auch historisch leicht nachweisen, dass sich die Schlesier im XIX. Jahrhundert lange Zeit nur zögerlich an der polnischen Nationsbildung beteiligten und die polnische Standardsprache übernahmen (vgl. Kamusella 1998).

Das Auftauchen einer schlesischen Nationalität mit dem Anspruch auf eine eigenständige schlesische Sprache am Ende des 20. Jahrhunderts aber erstaunte viele. Sehen wir bewusst von anderen, nicht minder wichtigen Kriterien ab und beschränken wir uns zunächst auf das sprachliche, so können wir in einer der gängigen Darstellungen der polnischen Dialektologie kurz Folgendes über die grundlegenden schlesischen dialektalen

Spezifika lesen: Der nördliche Teil Schlesiens masuriert, der mittlere nicht, im Teschener Raum wird nicht masuriert, doch fällt dort die palatale Reihe *ś*... mit der postdentalen Reihe *š*... zusammen. Im nördlichen Teil wird nicht nur «geneigtes *a*» («*a* pochylone» < *ā*), so wie im mittleren Teil, sondern auch *o* und «geneigtes *o*» («*o* pochylone» < *ō*) häufig diphthongiert. Charakteristisch für viele schlesische Dialekte ist die reliktartige Bewahrung des nasalen *q* an der Stelle des *ę* der Standardsprache, während im Teschener Raum *ę* und *Ů* unterschieden, allerdings verengt artikuliert werden (Urbańczyk 1984, 81–82). Stanisław Urbańczyk (1984, 82) fasst zusammen:

«Śląsk jako całość mało ma cech charakterystycznych. Od sąsiednich prowincji różni się raczej brakiem tych cech, które są dla tamtych typowe: nie ma małopolskiego przejścia *-x* w *-k*, a od Wielkopolski różni się mazurzeniem. Śląskowi właściwa jest postać *jegła* ‘igła’, zjawisko dziś drobne, ograniczone tylko do jednego wyrazu, ale kiedyś być może pojawiało się także w innych wyrazach. Inną osobliwością jest postać *leška* ‘łyżka’, co jest prawidłową kontynuacją prasl. **ľžьka*. Za śląską cechę może dziś uchodzić wymowa *q* zamiast *ę*, bo dziś nie zna jej ani Małopolska (znała w dalekiej przeszłości), ani Wielkopolska».

Wichtig ist andererseits, dass Oberschlesien und der östliche Oppelner Raum als jene Gebiete gelten, in denen das mitunter bis heute auch von den schlesischen Aktivisten selbst so genannte «Wasserpolsche» beheimatet ist, welches vor allem von zahlreichen Germanismen auf allen sprachlichen Ebenen, außerdem von einigen Bohemismen geprägt ist.

Bogusław Wyderka, der den sprachlichen Verhältnissen in Schlesien seit den frühen 1990er Jahren viel Aufmerksamkeit gewidmet hat, spricht zunächst ebenfalls vor allem von schlesischen «Mundarten» («gwary»). In den Subregionen Nieder- und Oberschlesien, dem «Oppelner Schlesien», dem «Teschener Schlesien» und dem «Zaolzie», verläuft die sprachliche Entwicklung dabei in vielerlei Hinsicht durchaus unterschiedlich.

Weder im Teschener Raum im polnisch-tschechischen Übergangsgebiet noch im so genannten «Zaolzie» waren bis jetzt Bestrebungen zur Schaffung einer eigenen Abstandsprache zu beobachten. In Niederschlesien standen im Jahr 1950 etwa 1,7 Millionen Zugewanderten nur 15.146 «gebürtige Schlesier» gegenüber (Wyderka 2003, 503), die auf verlorenem Posten standen. Die Dialekte werden bis heute vom Gemeinpolni-

schen verdrängt. Ähnliches gilt im Wesentlichen für den Westen des Oppelner Raums. Im Osten des Oppelner Gebiets aber spielen die lokalen Mundarten eine wichtige Rolle, und in Oberschlesien im engeren Sinn bilden sie sogar das Fundament von Stadtsprachen — hier diagnostiziert etwa Wyderka (2003, 502) durchaus eine Entwicklung in Richtung Regionalsprache.

Die autochthonen Schlesier – in den ersten Nachkriegsjahren wurden noch rund 850.000 gezählt — machten im Oppelner Raum 54,1% und im übrigen Oberschlesien 62,7% der Bevölkerung aus. Heute stellen die Schlesier im Raum Oppeln etwa ein Drittel, in Oberschlesien etwa ein Viertel der Bevölkerung (Wyderka 2003, 504–505; Hentschel 2000, 897). Studien aus den frühen 1990er Jahren haben nachgewiesen, dass die schlesische Mundart für 95% der Schlesier das wichtigste Verständigungsmittel darstellte (Wyderka 2003, 505). In dieser Sprache kommunizieren sie in der Familie und im lokalen Raum. «Für den Großteil der älteren Generation und einen Teil der mittleren», so teilt Wyderka (2003, 505) mit, bildet sie den einzigen aktiv gebrauchten gruppeninternen mündlichen Code. Über die jüngere Generation gibt es unterschiedliche Angaben: Viele behaupten, dass sie die Dialekte nicht mehr beherrscht; Wyderka (2003, 506) bestreitet dies, räumt aber ein, dass die polnische Standardsprache bereits bei einem Teil der jüngeren Generation dominiert. Es wird geschätzt, dass sich insgesamt etwa 1,5 Millionen Sprecherinnen und Sprecher der schlesischen Mundarten bedienen (Hentschel 2000, 897), was eine durchaus beträchtliche Zahl ist.

Wie aber ist es um einen modernen schlesischen Standard bestellt? Im Jahr 1998 zweifelte Władysław Lubaś noch: «Czy powstanie śląski język literacki?» (Lubaś 1998, 49–56), im Jahr 2000 stellte Gerd Hentschel (2000, 895) pointiert fest: «Für das Schlesische ist die Frage nach der Normierung schnell beantwortet: Es ist nichts Wesentliches in Sicht». Drei Jahre später diagnostizierte Bogusław Wyderka (2003, 507) hingegen:

«Badania socjolingwistyczne wskazują na szerzący się pogląd o gwarze śląskiej jako odrębnym języku słowiańskim. Podkreśla się wszelkie kontrasty z polszczyzną ogólną, niepomniernie do stanu faktycznego uwydatnia się tzw. wpływy morawskie (nie mówię tu o gwarach łaskich ani o Zaolziu) i oczywiście niemieckie. Polski charakter gwar śląskich jest w ten sposób «ideologicznie» rozrzedzany. Na tym tle rodzą się nieporozu-

mienia. Za takie należy uznać wysunięty swego czasu postulat wprowadzenia języka śląskiego do szkół. Na Górnym Śląsku, gdzie ruch separatystyczny autonomii Śląska przybierać zaczął ramy instytucjonalne, podniesiono sprawę kodyfikacji języka śląskiego. Czy trwają jakieś prace, trudno mi powiedzieć».

Bis heute ist im Bereich der Kodifikation «nichts Wesentliches in Sicht», wenngleich der schlesische Aktivist Andrzej Rocznioł am 13. Dezember 2003 die schlesische Sprache in die Union der Regional- und Minderheitensprachen in Polen («Unia Języków Regionalnych i Mniejszościowych w Polsce») eintragen ließ (Czesak 2006, 371) und wenngleich bereits einige Orthographieprojekte gestartet wurden, deren Zwischenstand im Jahr 2004 Artur Czesak zusammengefasst hat (Czesak 2004). Veröffentlicht werden «auf Schlesisch» vor allem humoristische und folkloristische Texte, dazu gehören auch die von Marek Szołtysek publizierte «Biblia Ślązoka» aus dem Jahr 2000, eine Travestie verschiedener Bibeltexte, sowie seine Travestiensammlung «Ślązoki nie gęsi» aus dem Jahr 2002 (Czesak 2006, 368). Schon die Orthographie der «schlesischsprachigen» Texte ist höchst uneinheitlich. Andrzej Rocznioł schreibt im Jahr 2004 (zit. nach Czesak 2004, 373) in einer deutlich am Polnischen ausgerichteten Orthographie:

«Ślonsko szpracha wyrzywo sie ku kodyfikacyje, ino na profesorów niy ma co tukej rachować. Godajom co niy poradzom, eli niy miarkujom. Beztóz ino pisanim fest wiela ludziów poradzi ślonsko godka szrajbowano łostawić drugim generacyjom. I ku tymu wszyjskich smowiom».

Eine ganz eigenwillige orthographische Ausrichtung auf teilweise tschechischer Grundlage, mit Berücksichtigung des bosnisch-kroatisch-serbischen *đ*, Einbeziehung des wohl auf Nähe zum Deutschen abzielenden *ö* und insgesamt deutlicherer Abstandnahme zum Polnischen legt hingegen Piotr Kalinowski (2002) in «Echo Slonska» an den Tag, vgl.:

«Ńy próbują upodobić našy godki do českého. Našo godka (wbrew tymu co Poloki godajom) jes bańij zbliżono do morawského niż polského (ńy godom sam o tym co jes đišoj, po 70 latach «repolonizacji», na Ślönsku słyhać, yno o tym jak našo godka richtik wyglōndała, bez polskich i nyměckich nalećałości). Poloki (np. Miodek) godajom co we našy godce zachowōł śe «piękny staropolski język», ale to ńy jes prawda. Našo godka rozwijała śe kole polského (a ńy z nim) a na Ślönsku do XVIII wěku uřyndowym był českı (fakt, co był pisany tak jak đišoj polski). Abecadło,

kěre kaś 150 lot nazot opracowali Češi, jes nojlepšym abecadłym (do di-
soj dña) na zapis słowáńskich godków. Kořystajom ze něgo Češi, Słowacy,
Morawěne, Słowynicy, Sorbowie (Łużyce), Kroaci, Bošnjacy, a tyž ludy
Bałtów (Litwińi i Łotyše). Jes on tyž traktowany jako podstawa do
traksrypcji cyrylicy na łaciński alfabet. Koždo nacjo ustawiała se go sama
do swoich potreb, ale zasady sōm takě same: žodnych dwu i wyncyj zna-
ków (Čechōm še to juž ňy udao, bo ňy wědōm jak zapisać «ch» coby je
odrōžnić we godce od «h», a odrōžňajom to i to še słyšy), konkretně opraco-
wane zménkčanie i utwardžanie głosek (z tym tyž sōm problemy). Oprōč
tego zapis «česki» dowo tyž pewen efekt psychologiczny, tj. ňy koždy
Polok može go swobodně přečytać i bezto přestowo traktować našo god-
ka jak gwara polskěgo jynzyka.

Co do zapisu českij, čy morawskij godki za pomocōm polskěgo alfa-
betu, to do Wōsny Ludōw taki zapis był stosowany <...>».

Es gibt auch Radioprogramme, die Sendungen «auf Schlesisch» ausstrah-
len (Czesak 2006, 369). Im Internet ist das Schlesische durchaus präsent.
Dabei scheinen sich auf der Grundlage des Usus sukzessive breiter wir-
kende Normen herauszubilden (Czesak 2006, 365, 369).

Selbst wenn allerdings weiterhin Kodifizierungsversuche angestellt
worden sein mögen — solange sie nicht allgemein sichtbar werden, spie-
len sie keine Rolle. Das sehen wohl auch die schlesischen Aktivisten ähn-
lich, und sie setzen entsprechende Maßnahmen, die aber weiterhin eher
deklarativen Charakter haben: So erfährt man aus Wikipedia, dass die
«schlesische Sprache» seit dem 18. Juli 2007 einen eigenen ISO-Code
(«International Organization for Standardization») aufweist, und zwar un-
ter ISO 693-3 das Kürzel «szl» (= «szlonzokian»; ISO 2008, Schlesisch
2008). Weiterhin kämpfen die Schlesier vor dem polnischen Sejm um die
Anerkennung ihrer Sprache als Regionalsprache.

Eine eigene Nationalität «Schlesier» tritt im Übrigen auch in den
Volkszählungen der Tschechischen Republik in Erscheinung, doch schei-
nen keine nennenswerten grenzüberschreitenden Kooperationen stattzu-
finden.

2.2. Lachisch

Als Sprache sichtbarer als «das Schlesische» war zumindest unter Slavi-
sten eine Zeitlang eine andere Mikroliteratursprache aus dem schlesi-
schen Raum, obwohl sie sich durch eine minimale Verbreitung auszeich-

net: das so genannte Lachische, das in den 1930er Jahren von Óndra Łysohorsky auf der Grundlage der polnisch-tschechischen Übergangsdialekte aus dem Raum Mährisch-Ostrau geschaffen und mit Ausnahme von einer Handvoll Mitstreitern fast ausschließlich von ihm selbst geschrieben wurde. Im Jahr 1936 initiierte Łysohorsky in Ostrau den Kulturverein «Lachische Perspektive» («Łaśsko perspektywa»), bevor die Entwicklung durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen wurde, der zur Emigration Łysohorskys nach Taschkent in der damaligen Sowjetunion führte, wo er sein lachisches Projekt allein fortführte. Über das Lachische schrieb Łysohorsky selbst:

«Łaśsky jazyk, w širokych rysach, je młuva ludu w sewerowychodni Morawě, w starym «rakuskym Ślónsku» a w Hučinsku (česky: Hlučinsku). Od zapadniho jazyka českeho a poledniho jazyka słowénskego še rozeznowo hławne akcéntem na předostatni słabice, od wychodniho jazyka polskeho hławniě nedostatkiem nosowych samohłosek. Jazyk łaśsky še skłodo z wicero podřeči, kěre dohrómady twořo własny jazykowy organizmus» (Łysohorsky 1934).

Das Lachische verstummte mit dem Ableben seines Schöpfers im Jahr 1989. Es handelt sich um ein Kuriosum, das im Übrigen die Republik Polen lediglich am Rande berührt. Man darf abwarten, ob es jemals zu einer Wiederbelebung dieses Projekts kommt. Mittlerweile schreibt die Autorin Olga Tlučková in Publikationen wie «Z našeho kraja» (Tlučková 2005)⁸ auf Lachisch, jedoch ganz in Anlehnung an die Orthographie des Tschechischen.

2.3. Kaschubisch

Ein ganz anderer Fall ist das Kaschubische, dessen Sprecherinnen und Sprecher «als eine geschlossene Gemeinschaft auf dem Gebiet Weichselpommerns, an der Ostsee, westlich von Danzig bis Stolp und nördlich bis zur Linie der Städte Czersk-Chojnice-Chłuchów» siedeln (Borzyszkowski 2002, 34). Die Kaschuben gelten in Polen weder als nationale noch als ethnische Minderheit, sondern als eine so genannte regionale Sprachgemeinschaft (EM 2004/2006, Pkt. 2.2.). Bei der letzten polnischen Volkszählung bekannten sich lediglich 5.062 Personen zur kaschubischen Nationalität – das sind sehr wenige, wenn man bedenkt, dass seriöse Schätzungen von rund 250.000 bis 500.000 Kaschubinnen und Kaschuben aus-

gehen (Porębska 2006, 559), die Euromosaik-Studie von 250.000 bis 300.000 (EM 2004/2006, Pkt. 2.2.).

Nicht nur Marlena Porębska (2006, 559) versucht die so geringe Zahl der bekennenden Kaschubinnen und Kaschuben damit zu erklären, dass sie in der Volkszählung «nicht die eigene ethnische, sondern lediglich die nationale Zugehörigkeit» deklarieren konnten⁹. Bestätigt wird sie dadurch, dass immerhin 52.665 Personen angaben, zu Hause kaschubisch zu sprechen. Doch gerade vor dem Hintergrund der «Schlesier» fällt das geringe kaschubische Selbstbewusstsein sehr stark auf. Das deutliche Bekenntnis zum Polentum steht auch am Beginn des Vorworts, das Edward Breza dem kaschubischen Band aus der bedeutenden, in Oppeln herausgegebenen Reihe «Najnowsze dzieje języków słowiańskich» vorangesellt hat:

«Kaszubi nie są osobnym narodem słowiańskim, lecz grupą etniczną narodu polskiego <...>. Ich credo to zdanie wypowiedziane przez Hieronima Derdowskiego (1852–1902) <...>: ‘Czuja tu ze serca toni skłód nasz apostołsci: Ni ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polsci’» (Kaszub-szczyzna/ Kaszëbizna 2001, 9).

Der kaschubische Band ist im Übrigen der einzige aus der genannten Reihe, der in einer anderen als der im Buch besprochenen Sprache verfasst ist.

Tatsache ist, dass das Kaschubische wohl nicht zuletzt aufgrund dieser Einstellung weiterhin auf dem Rückzug befindlich ist, andererseits aber auch gerade seit den neunziger Jahren echte Revitalisierungsmaßnahmen erfährt. Vieles ist hier zweideutig: Wenn sich die Kaschuben mehrheitlich der polnischen Nation zugehörig fühlen — und das wird von mehreren voneinander unabhängigen Erhebungen bestätigt (Porębska 2006, 142–143), so kann sich durchaus die Frage nach der Zweckmäßigkeit einer eigenen Standardsprache stellen. Ein Ethnolekt muss ja nicht unbedingt zur Standardsprache ausgebaut werden, um bewahrt zu werden — der Ertrag ist zweifelhaft, wenn man bedenkt, dass eine Standardisierung und die mit ihr verbundenen Zwänge auch viele abschrecken können. Treffend diagnostiziert der Oldenburger Slavist Gerd Hentschel (2000, 900) fernerhin «die Gefahr, dass eine Forcierung einer allgemeinen Varietät zur Bedrohung von relativ kleinen Dialektkontinua (ob wir sie Dialekt oder Sprache nennen wollen) werden kann».

Wie die vor Kurzem erschienene Studie Marlena Porębskas bestätigt, wird das Kaschubische weiterhin vorwiegend als Familiensprache verwendet und bleibt weitgehend auf den mündlichen Bereich beschränkt, obwohl es — im Unterschied zum «Schlesischen» oder gar zum «Lachischen» — seit dem Jahr 1991 an Schulen unterrichtet und auch verstärkt in den elektronischen und Printmedien genützt wird, wenn auch erwartungsgemäß in bescheidenem Rahmen. Laut Euromosaik-Studie gab es im Schuljahr 2002/2003 48 Primarschulen (6./7. bis 12./13. Lebensjahr), 8 Mittelschulen (12./13. bis 15./16. Lebensjahr) und 4 Sekundarschulen (15./16. bis 18./19. Lebensjahr), die das Kaschubische im Unterricht im Rahmen von Fächern wie «Kaschubische Sprache», «Kaschubische Sprache mit Elementen regionaler Kultur» und «Regionale Erziehung mit kaschubischen Elemente» berücksichtigten (EM 2004/2006, Pkt. 3.4., EMK 2004/2006, Pkt. 2.1.).

Seit Januar 2005 genießt das Kaschubische sogar den Status einer regionalen Amtssprache (Porębska 2006, 227). Alarmierend sind jedoch folgende Tatsachen: Die Verbreitung von Kaschubischkenntnissen nimmt nicht nur von Generation zu Generation, sondern auch proportional zum Bildungsgrad ab (vgl. die Zusammenfassung in Porębska 2006, 225). Positive Sprachattitüden – hier stimme ich mit Marlena Porębska aufgrund ihrer eigenen Erhebungsdaten nicht überein – bleiben dabei oft reine Lippenbekenntnisse. Selbst unter den von ihr befragten Personen, die dem Kaschubentum gegenüber aufgeschlossen sein mussten, da sie ja bereit waren, eine ganze Stunde lang einen Fragebogen auszufüllen, erklärten nur 34%, ihre Kaschubischkenntnisse verbessern zu wollen, während 94% zugaben, auf Kaschubisch schlechter oder viel schlechter als auf Polnisch schreiben zu können (Porębska 2006, 112, 114). 69% behaupteten, kaschubische Bücher mit oder ohne Titel zu kennen, 50% aber haben im vorhergehenden Jahr kein einziges kaschubisches Buch gelesen, weitere 35% nur eines oder zwei (Porębska 2006, 131). 61% kannten kaschubische Zeitungen oder Zeitschriften mit oder ohne Titel, 90% aber lesen sie entweder selten oder nie (Porębska 2006, 132). 63% kannten kaschubische Radiosendungen mit oder ohne Titel, 89% hören sie entweder selten (33%) oder nie (56%). 37% ganz und weitere 20% stimmten eher zu, dass es mehr kaschubische Fernsehbeiträge geben sollte; 79% aber sehen kaschubische Sendungen im Fernsehen selten (54%) oder nie (25%) (Po-

reńska 2006, 134–135). Wie also soll man es einschätzen, wenn 90% behaupteten, es sei wichtig, dass die Kaschuben ihre Sprache und Kultur bewahrten?

Dabei hätten doch gerade die Kaschuben allen Grund, eine von den Polen verschiedene sprachliche Identität für sich zu beanspruchen, wird doch ihre Sprache vor allem außerhalb der polnischen Slavistik gemeinhin im genetischen Sinn eben nicht dem Polnischen, sondern der vom Polnischen verschiedenen, mit ihr nur im Bereich des Lechischen vereinten Gruppe des Elb- und Ostseeslavischen zugeordnet. Es gibt kaschubische Schrifttraditionen seit der Reformationszeit, auch wenn diese oft — durchaus zu Recht — als polnisch mit kaschubischen Einsprengseln dargestellt werden, und es gibt Bestrebungen zum Ausbau einer kaschubischen Schriftsprache spätestens seit den Arbeiten von Florian Stanisław Ceynowa/ Cenôva (1817–1881) auf nordkaschubischer und von Hieronim Derdowski (1852–1902) auf südkaschubischer Basis. Dass die ihrerseits auf kleinem Raum dialektal stark ausdifferenzierten kaschubischen Mundarten — die nördlichen etwa weisen den archaischen freien Akzent auf, die südlichen den Initialakzent — für Polen tendenziell schwerer zu verstehen sind als beispielsweise das Slowakische, wird in zahlreichen polnischen Publikationen bestätigt. Auch Urbańczyk (1984, 92) schreibt gleich einleitend über die kaschubischen Dialekte:

«Właściwości gwar kaszubskich zostały w opisie dialektów celowo uwzględnione w niewielkim stopniu, odbiegają bowiem w niewielu wypadkach od przeciętnego typu ogólnopolskiego».

Für das Kaschubische gibt es bereits einige Kodifikationsversuche (vgl. zuletzt auch Gólabk 2005; vgl. Makurat 2008) und einige Lehrbücher, sogar ein Universitätslehrbuch aus dem Jahr 1992, das auch in Kaschubisch-Sprachkursen an der Universität Danzig eingesetzt wird (EMK 2004/2006, Pkt. 2.1.). Auch wurde ein kaschubischer Sprachrat gegründet. Von einer umfassenden und allgemein akzeptierten Kodifikation kann jedoch immer noch keine Rede sein (Hentschel 2000, 895). Die Möglichkeiten für die Entfaltung eines kaschubischen Sprachlebens sind freilich heute besser denn je. Es gibt kaschubische Periodika, wenn auch keine Tageszeitungen. Das Kaschubische ertönt in Radio- und Fernsehsendungen, wenn auch in eher bescheidenem Rahmen. In den neuen

Medien ist das Kaschubische präsent (EMK 2004/2006, Punkte 2.4. und 2.7.). Erst vor Kurzem ist außerdem

2.4. Masurisch

Außer dem Schlesischen und dem Kaschubischen wurde verschiedentlich auch das Masurische aus dem ehemals deutschen Ostpreußen nicht zuletzt wegen der dort stark verbreiteten Germanismen als eigene Sprache aufgefasst, so auch unter dem Eindruck der tendenziell antipolnischen deutschen Sprachenpolitik im XIX. und der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts. Es gab in der Zwischenkriegszeit jedoch durchaus auch Manifestationen eines eigenständigen masurischen Selbstbewusstseins, so etwa innerhalb der Zeitschrift «Cech», die in den dreißiger Jahren in Berlin erschien (Obitz 2007)¹⁰. Seit dem Zweiten Weltkrieg aber hört man von einer «masurischen Sprache» nichts mehr, sie beschäftigt uns hier daher nicht (vgl. den Überblick Hentschel 2002).

2.5. Podhalisch (Góralisch)

Anders steht es um das Podhalische (Góralische), das im Tatragebiet um Zakopane gesprochen wird. Die Betonung der góralischen Eigenständigkeit ist von vornherein dadurch diskreditiert, dass es unter anderen die Nationalsozialisten waren, die ein eigenes Góralenvolk propagierten. Doch schon im Jahr 1938 war in «Język polski» ein Beitrag zur Orthographie des Podhalischen unter dem Titel «Ustalenie ortografii podhalańskieję» publiziert worden. Man geht davon aus, dass einige zehntausend Personen – viele von ihnen sind in die USA ausgewandert — góralische Dialekte sprechen. Es gibt die beliebte humoristische «Historia filozofii po góralsku» aus dem Jahr 1997 von Józef Tischner, einige Übersetzungen Molières und anderer literarischer Werke aus der Feder Jan Gutt-Mostowys, vor allem aber eine Übersetzung des Neuen Testaments von Maria Mateja-Torbiarz, die auch eine Übersetzung des gesamten Alten Testaments plant. Die Verfasserin stellt dabei jedoch ausdrücklich fest, dass ihr Text «w gwarze górali skalnopodhalańskich z Zakopanego» verfasst sei, sie zielt nicht auf die Schaffung einer eigenständigen góralischen Sprache ab (Czesak 20067).

Dasselbe gilt umso mehr für Józef Tischner. Im podhalischen (góralischen) Idiom werden auch Radiosendungen aus Zakopane ausgestrahlt,

und die Sprache dringt in den Wortgottesdienst ein (zum gesamten Absatz vgl. Czesak 2006, 363, 368–372; vgl. auch Hentschel 2002a). Einen «auf Góralisch-Podhalisch» verfassten sprachkritischen Text findet man in einem Blog zum Thema der Góralen:

Góralsko mowa

«Chyba już przysła najwyżso pora, cobyk napisał pare słów o mowie góralskiej. No to pise.

Jo byk pedzioł, że z góralskom mowom jest jak z naszymi górami. A jak jest z naszymi górami? Wiadomo, som pikne, ale różne: inacej wyglądam Tatry, inacej Pieniny, jesce inacej Gorce. No i góralsko mowa tyż jest pikno, ale różno: inacej godajom górole z Chochołowa, inacej ci spod Krościenka, a jesce inacej ci spod Mszany. Inacej godajom w Łopusznej, a inacej w Ochotnicy, choć obie wsie lezom niedaleko od siebie pod tym samym Turbaczem. Nieftóryk słów syćka abo prawie syćka górole używajom, ale nieftóre usłyszycie ino u nielicnyk.

I kie bedziecie uważnie przysłuchiwać sie rozmowie dwók góroli, to możecie casem zauważyć, że som takie słowa, ftóre jeden wymawio po swojemu, a drugi po swojemu. . Tak na przykład było w rozmowie między najstynniejsom góralskom poetkom, Wandom Czubernatowom z Ra-by Wyżnej a najstynniejszym góralskim filozofem, jegomościem Józefem Tischnerem z Łopusznej.* Czubernatowa godała: «mom», a Tischner: «móm». Czubernatowa godała: «bedzie», a Tischner: «bee». Czubernatowa godała: «kieć», a Tischner: «chcieć» abo «fcieć».

No a jaki jest język, we ftórym jo tutok pise swojego błoga? To jest język OWCARKOWY» (Anonym 2006).

2.6. Russisch

Wenn wir nun zu den slavischen Minderheitensprachen in der Republik Polen übergehen, die aus heutiger Sicht eindeutig nicht als Dialekte des Polnischen zu betrachten sind, so seien zunächst die etwa 6.103 Russinnen und Russen erwähnt, von denen zumindest ein paar Hunderte den Altgläubigensiedlungen im heutigen Nordostpolen entstammen, die seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert bei Suwałki und Augustów sowie im XIX. Jahrhundert in Masuren bei Pisz und Magrowo bildeten und bis heute als solche erhalten sind. Ihnen stehen zweieinhalb mal so viele, nämlich 15.299 Personen gegenüber, die angaben, zu Hause russisch zu sprechen. Die erste Volkszählung des Russischen Imperiums im Jahr 1897 wies noch 5.450 Altgläubige in der Umgebung von Augustów und

Suwałki aus (Grek-Pabisowa 1968, 13). Der russische Dialekt der Altgläubigen aus diesen Gebieten gehört zu den westmittlerussischen Aka-n'e- und Jakan'e-Dialekten des Pskover Typs; er weist zahlreiche weißrussische und polnische Elemente auf (Grek-Pabisowa 1968, 167; Grek-Pabisowa 1999). «Alle Altgläubigen sind zweisprachig in Polnisch und Standardrussisch <...>bzw. ihrem spezifischen archaischen Dialekt <...>», wird in der Euromosaik-Studie von 2004/2006 behauptet (EMa 2004/2006, Pkt. 5). Dabei erscheint jedoch die Annahme, dass der Dialekt in der Regel deutlich besser beherrscht wird als die Standardsprache, plausibel. Russisch wird in der Provinz Podlaskie als Fremd-, nicht als Minderheiten- oder Regionalsprache unterrichtet (Euromosaik weitere 2004/2006, Pkt. 5).

2.7. Slowakisch

Zu nennen sind auch die 2.001 Slowaken, die als autochthone Minderheit kompakt in der Zips und in der Arwa in der Wojewodschaft Kleinpolen siedeln – 921 von ihnen gaben an, zu Hause Slowakisch zu sprechen. Die Zips wurde zwischen dem XIII. und XVI. Jahrhundert kolonisiert, und zwar zunächst stärker von slowakischer als von polnischer Seite. Die Kolonisierung der Arwa wurde im Wesentlichen erst im 16. und 17. Jahrhundert vollzogen (Sowa 1997, 1628). Bis 1918 waren sowohl die Zips als auch die Arwa ein Teil Oberungarns. In Polen, dem ein Drittel der Zips und die Hälfte der Arwa zugesprochen wurde, wurden die Slowaken vor dem Jahr 1947 nicht als Minderheit anerkannt und — außer während der Annexion durch die Slowakei zwischen 1939 und 1945 — zunehmend polonisiert. Die Slowaken sprachen in der Regel den góralisch-polnischen und ihren slowakischen Dialekt, die Verbreitung des slowakischen Standards war lange Zeit schwach. Zwar wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Schulen eingeführt, das Slowakische befand sich dennoch weiterhin auf dem Rückzug. So gab es etwa im Schuljahr 1952/53 noch 33 slowakische Schulen, 1988/89 aber nur noch zwei (Sowa 1997, 1629–1630, vgl. auch Czesak 2007). Im Schuljahr 2002/2003 fand das Slowakische hingegen wieder in 6 Primarschulen, 4 Mittelschulen und 1 Sekundarschule Berücksichtigung (EM 2004/2006, Pkt. 3.4.). Ein slowakischsprachige Monatsmagazin mit dem Titel «Život» wird in Krakau herausgegeben. Wichtig ist für die Slowaken auch die Gesellschaft «Towarzystwo Słowaków

w Polsce – Spolok Slovákov v Pol'sku» (vgl. auch Towarzystwo/ Spolok 2007ff.). Die slowakische Minderheit wird in der Euromosaik-Studie als «in seiner Existenz sehr gefährdet» eingestuft (EMa 2004/2006, Pkt. 6.).

2.8. Tschechisch

Jene 831 Personen, die sich als Tschechen deklarierten, und die 1.482 Personen, die laut eigenen Angaben zu Hause Tschechisch sprechen, sind zum geringen Teil Nachkommen jener Tschechinnen und Tschechen, die als Sprecher eines nordöstlichen tschechischen Dialekttyps in einer Enklave bei den niederschlesischen Städten Kudowa (tsch. Chudoba) und Strzelin (poln. Strzelin, tsch. Střelín) sowie im polnisch-tschechischen Grenzland bei Głubczyce (tschechisch Hlubčice) und Racibórz (tschechisch Ratiborž) siedelten. Besser erhielt sich das Tschechentum unter jenen Religionsflüchtlingen, die sich am Beginn des XIX. Jahrhunderts im Gebiet von Zelów und Kuców bei Łódź ansiedelten (Siatkowski 1997, 1634). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche Tschechen aus Polen ausgesiedelt, von mehreren tausenden in Kudowa und Strzelin waren in den 1990ern nur noch wenige Dutzende übrig geblieben, und auch im Umland von Łódź ist die Existenz der Minderheit heute gefährdet. Im Oppelner Land sind die Tschechen verschwunden, dasselbe gilt für die Gegend von Syców (Siatkowski 1997, 1635). In Racibórz und Głubczyce werden jedoch bis heute lachische Mundarten gesprochen, die von den Sprechern selbst als «mährische Sprache» bezeichnet werden (Wawoczny 2008)¹¹. Kulturell stehen die Tschechen laut der Euromosaik-Studie von 1957 mit den polnischen Slowaken im Rahmen des «Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce» in Verbindung, deren Tätigkeit bis in der Mitte der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts durch das im Umfeld dieser Gesellschaft publizierte Buch von Zbigniew Tobjański über die Tschechen in Polen aus dem Jahr 1994 bestätigt wird (Tobjański 1994; vgl. Wójcik 2008). Tschechische Schulen gibt es in Polen nicht, lediglich einen Kindergarten. Das Monatsmagazin «Život» veröffentlicht laut der Euromosaikstudie vereinzelt auch tschechischsprachige Beiträge, ist aber im Wesentlichen als slowakischsprachige Publikation bekannt. In der calvinistischen Ortskirche von Zelów werden in polnischen Messen tschechische Kirchenlieder gesungen, in einzelnen

lachischen Dörfern sind tschechischsprachige Gottesdienste erhalten geblieben (Siatkowski 1997, 1637; EMa 2004/2006, Pkt. 8.). Die Vitalität der tschechischen Minderheit nimmt laut der Euromosaik-Studie von 2004/2006 weiterhin rapide ab (EMa 2004/2006, Punkt 8.).

2.9. Weißrussisch und Podlachisch

Historisch anders liegt die Sache bei den 48.737 Weißrussen (Weißruthenen) aus Podlachien, den 30.957 Ukrainern aus den Wojewodschaften Dolnośląskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie und Warmiński-Mazurskie und den 5.863 Lemken aus den Wojewodschaften Dolnośląskie, Dolnośląskie, Małopolska, Lubuskie, Podkarpackie und Zachodniopomorskie¹², die schon seit Jahrhunderten auf dem Territorium der heutigen Republik Polen ansässig waren.

48.737 Weißrussen sind eigentlich nicht viele, wenn man sie mit Schätzungen der polnischen Regierung für die Europäische Union vergleicht, die von einer Zahl von 200.000 bis 300.000 ausgingen. Ein Bekenntnis zur weißrussischen Nationalität fiel jedoch auch nach 1989 noch vielen der Weißrussen, die vor allem in der Gegend von Białowieża siedeln, schwer (Fleming 2005, 87), denn sie wurden in Polen in der Vergangenheit häufig stigmatisiert, ebenso übrigens wie die Ukrainer und Lemken (vgl. auch EMU 2004/2006, Punkt 2.7.). Zu bedenken ist fernerhin das wenig ausgeprägte nationale Selbstbild der Bevölkerung in der polnisch-ostslavischen Grenzregion Tradition: Die Ethnographen wurden bekanntlich noch bis in die Zwischenkriegszeit regelrecht zur Verzweiflung getrieben, wenn sie auch auf die gezieltsten Fragen lediglich die Antwort erhielten, es mit «tutęjszyja» 'Hiesigen' zu tun zu haben, welche auch noch von sich behaupteten, «pa-našamu» 'in unserer Sprache' oder «pa-prostamu» 'auf Bäurisch' zu sprechen, sonst jedoch keine ethnischen oder gar nationalen Eigendefinition boten.

Nichtsdestoweniger erklärten insgesamt 40.650 Personen, zu Hause weißrussisch zu sprechen, die meisten von ihnen daneben auch polnisch. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich hier fast ausschließlich um dialektale Varietäten des Weißrussischen, denn der weißrussische Standard ist insgesamt, nicht nur in Polen nur sehr schwach verbreitet. Die Vitalität des Weißrussischen hat sich während der letzten Jahrzehnte in eine bedenkliche Richtung entwickelt: Zwischen dem Schuljahr 1967/8

und dem Schuljahr 2003/4 sank die Zahl der Schüler, die weißrussischen Sprachunterricht erhielten, von 12.504 auf 3.664 (Fleming 2005, 90). Immerhin gab es andererseits im Jahr 2002/2003 24 Primarschulen, 12 Mittelschulen und 4 Sekundarschulen, in denen das Weißrussische Berücksichtigung fand (EM 2004/2006, 3.4.). Einige Periodika erscheinen wöchentlich, monatlich oder jährlich. Radio Białystok sendet zwei Programme wöchentlich für die weißrussische Minderheit in Polen, die weißrussische Minderheit wird auch in Fernsehsendungen für die Minderheiten der Provinz Podlasie berücksichtigt (EMW 2004/2006, Punkt 2.4.). Aus Weißrussland gibt es unter den gegenwärtigen politischen Bedingungen nur wenig Unterstützung für die Weißrussen in Polen, die weißrussischsprachige Kultur steht bekanntlich auch in Weißrussland selbst unter Druck.

Prompt wurde im Jahr 2005 in einer Zeitschrift und in einem Sammelband – und zwar explizit auch als Reaktion auf die offizielle Erscheinungsform des Weißrussischen unter Lukašenka – vom Übersetzer und Radyja Svaboda-Mitarbeiter Jan Maksimiuk der Beitrag «Ustava i svoja mova» publiziert, in dem – zunächst offenkundig noch teilweise im Scherz — eine neue Sprache, die «pudłaška mova», propagiert wurde, und zwar gleich in dieser Sprache selbst, die im Übrigen zunächst im lateinischen Alphabet verschriftet wurde (Czesak 2007a):

«Kob Ustava ne była ono pustym papiêrciom dla deseti pudłašôvskich gminuv, treba od našych panienok v siêtych gminach domahatisia ne tak białoruškoji matury, jak viêdania svojej i rôdnoji baťkovsko-materynškoji białoruškoji pudłaškoji movy (*synonimičny śtiah, of course*). Ot vam i pryčyna, čom my povinny jak najchutčêj začati pisati po-svojomu v ‘Nivi’ i ‘Časopisi’. <...> Nu a koli urad skaže, što *nie widział i nie słyszał takiej mowy*, treba bude vypuścić pered jim odpoviêdni *dźwięki* i pokazaći ‘Nivu’ z ‘Časopisom’, v kotorych siêta mova kołositsia i nalivajetsia» (Maksimiuk 2005).

Während der letzten Jahre wurden einige weitere Aktivitäten im Bereich des Podlachischen gesetzt, das nun außer im lateinischen auch im kyrillischen Alphabet geschrieben wird¹³. Das Idiom steht auf der Grundlage weißrussisch-ukrainischer Übergangsdialekte, wird aber von den Initiatoren, wie aus dem Zitat ersichtlich, eher dem weißrussischen Bereich zugeordnet.

2.10. Ukrainisch und Lemkisch (Russinisch)

Die vorwiegend orthodoxen Lemkinnen und Lemken sowie vorwiegend griechisch-katholischen Ukrainerinnen und Ukrainer stellen das Prinzip des traditionellen geschlossenen Territoriums, auf dem eine Regional- oder Minderheitensprache laut der Straßburger Charta von 1992 gesprochen werden soll, auf die Probe (dies wird auch in der Euromosaik-Studie angedeutet, vgl. EM 2004/2006, Punkt 2.3.)¹⁴: Die Lemken und Ukrainer hatten nämlich einst sehr wohl seit Jahrhunderten auf einem solchen geschlossenen Gebiet innerhalb des heutigen Territoriums der Republik Polen gelebt, wurden aber während der ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg massenweise im Rahmen der so genannten «Weichselaktion» («Akcja Wisła») aus ihren alten Siedlungsgebieten in Südostpolen vertrieben. Durch gewaltsame Deportationen also erklärt es sich, dass ein großer Anteil der 30.957 Personen mit ukrainischer Nationalität heute aus der Wojewodschaft Ermland-Masuren stammt, und dasselbe gilt für die 5.863 Lemken, die in ihrer Mehrzahl in Niederschlesien ansässig sind¹⁵.

Außerdem zeigt gerade das Beispiel der Lemken und Ukrainer einmal mehr, dass die sprachlichen und nationalen Verhältnisse in Europa auch heute noch keineswegs ein für allemal geklärt sind. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es weder Ukrainer noch Lemken auf der Landkarte Europas. Beide Gruppen galten jenen, die sich einen Überblick über die Verbreitung ihres Ethnos verschaffen wollten, als ein einziges grenzüberschreitendes und damals noch staatenloses Volk, welches im Westen seines Verbreitungsgebiets, so insbesondere in Galizien, in der Ostslowakei und im heutigen transkarpatischen Gebiet der Ukraine den Namen «русини» (auf Russinisch: «русины») ‘Ruthenen oder Russinen’ oder auch (auf Russinisch:) «руснаки» ‘Russnaken’ trug, im Zentrum und im Osten hingegen, der damals zum Russischen Imperium gehörte, den Namen «малороси» ‘Kleinrussen’. Mehr noch: Auch die Weißrussen oder «Weißruthenen» wurden noch von den meisten als ein weiterer Bestandteil dieses «ruthenischen» Volks verstanden. Andere schließlich – in den fünfziger Jahren des XIX. Jahrhunderts gab diese Richtung der «Russo-philien» sowohl in Galizien als auch in Transkarpatien deutlich den Ton an — betrachteten die Ruthenen wiederum als einen Teil einer einzigen russischen Nation, zu der auch die Großrussen gehörten. «Lemke» wollte damals niemand sein, denn es handelt sich wohl um einen erst im XIX.

Jahrhundert aufgekommenen ursprünglichen Spottnamen, der sich auf den Gebrauch des Wortes *лем* 'nur' bezieht.

Als die «Ruthenen» und «Kleinrussen» seit den sechziger Jahren des XIX. Jahrhunderts eine gemeinsame Nationalbewegung initiierten, wählten sie für sich selbst ein neues Ethnonym und bezeichneten sich fortan als «Ukrainer», um sich auch auf diese Weise möglichst deutlich von Russland und von den Russen abzugrenzen. Ihre Sprache, und so auch ihre gemeinsame Schriftsprache, nannten sie aus demselben Grund fortan «українська мова» (oder zunächst auch noch «український язык»). Diese neuen Namen und die hinter ihnen stehenden Ideen setzten sich im Russischen Imperium und in Galizien innerhalb weniger Jahrzehnte durch. An der äußersten südwestlichen Peripherie des ostslavisches Verbreitungsgebiets aber verlief die «Ukrainisierung» allerdings zunächst weniger erfolgreich, was sowohl für Transkarpatien als auch für das ehemalige Verbreitungsgebiet der Lemken im südöstlichen Polen gilt. Wiederrum nach dem Zweiten Weltkrieg aber war im Weltbild des Realen Sozialismus kein Platz für eine lemksche Nation, die Lemken wurden als westliche Vertreter der Ukrainer betrachtet, und als solche hatten sie auch beim damaligen Bündnispartner Polen zu gelten. Vor allem in Schlesiens hat jedoch in den letzten Jahrzehnten eine neue Nationalbewegung eingesetzt, die Teil einer größeren, russinischen ist, welche außer den Lemken Polens auch die Russinen in der Ostslowakei sowie einige wenige in Transkarpatien und in Ungarn erfasste. Auch mit den Russinen in der Vojvodina, die Nachfahren von Emigranten aus der Ostslowakei sind und bereits seit mehreren Jahrzehnten ihre russinische Mikroliteratursprache pflegen, kooperieren sie (vgl. zum Russinischen insgesamt Rusyn'skŷj jazŷk 2004). Jene, die sich als lemksche Vertreter eines größeren russinischen Ethnos betrachten, lehnen die ukrainische Schriftsprache in der Regel ab. Sie haben an der Kodifizierung des Lemkschen gearbeitet, und zwar mit achtbarem Erfolg. Vor allem gibt es eine durchaus seriöse Grammatik, die von den führenden lemkschen Aktivisten Henryk Fontański und Mirosława Chomiak verfasst wurde. Über das Lemksche schrieb im Jahr 1992 eine der führenden lemkschen Aktivistinnen, Helena Duć-Fajfer, auf Lemksch:

«Лемкы в Польщы. — Лемківска проблематыка як предмет науковых досліджынь часто была підоймувана през науковців — спеціалі-

стів в різних ділах широко понятой гуманістыкы. Свідощвом того є значуча бібліографія науковых і публіцистичных прац посвяченых Лемкам і Лемковині, опрацьована, як наразі, лем в спосіб фрагментарний, далекий од повного перегляду выштыкых позиций бібліографічных <...>» (zit. nach Misiak 2006, 138).

Das Lemkische wird seit 1991 unter dem institutionellen Schutz des polnischen Unterrichtsministeriums an Schulen unterrichtet, seit 1999 und 2001 gibt es Programme von der Grundschule bis in das Gymnasium (Misiak 2006, 122–124). Die Euromosaik-Studie von 2004/2006 informiert, dass im Schuljahr 2002/2003 14 Primarschulen, 6 Mittelschulen und 1 Sekundarschule das Lemkische im Unterricht berücksichtigten, denen für das Ukrainische 80 Primarschulen, 46 Mittelschulen und 10 Sekundarschulen gegenüberstehen (EM 2004/2006, Punkt 3.4.). Dabei wird vor allem den Internaten eine besonders wichtige Rolle zugesprochen, weil es sich bei den Ukrainern in Polen um eine besonders verstreut lebende Minderheit handelt (EMU 2004/2006, Punkt 2.1.). Es gibt einige lemki-schsprachige Presseerzeugnisse, die vierteljährlich erscheinen, sowie eine lemki-schsprachige Beilage der ukrainischen Wochenzeitung «Наше слово», die also nicht in den Kontext einer sich vom Ukrainischen emanzipierenden Sprache gehört. Immer wieder sind auch in den letzten Jahren bis zu einer Handvoll Bücher jährlich auf Lemkisch erschienen. Der Radiosender Krakau berichtet in einer wöchentlichen Sendung über lemki-sche Themen, dasselbe gilt für den Krakauer Fernsehsender, der sich mit einem besonderen Programm an alle anerkannten Minderheiten wendet (EML 2004/2006, Punkt 2.4.). Für die Ukrainer existiert seit dem Jahr 1956 die erwähnte Wochenzeitung «Наше слово», außerdem erscheint zweimal in der Woche eine Zeitung in Podlachien. Die ukrainischsprachige Buchproduktion in Polen übertrifft die lemki-schsprachige kaum. Ukrainischsprachige Radiosendungen werden im Ausmaß von bis zu zweimal 30 Minuten wöchentlich von Radio Rzeszów, Radio Koszalin (Köslin), Radio Olsztyn (Allenstein) und Radio Białystok ausgestrahlt, im regionalen Fernsehsendern werden außerdem monatlich ukrainischsprachige Nachrichtensendungen oder Minderheitensendungen mit Berücksichtigung der Ukrainer ausgestrahlt (EMU 2004/2006, Punkte 2.4. und 2.5.). Im Internet sind sowohl Polens Ukrainer als auch die Lemken präsent.

Wie viele Sprecherinnen und Sprecher des Lemkischen es tatsächlich gibt, bleibt aus mehreren Gründen fraglich. Die Volkszählung von 2002 weist 5.627 Personen aus, die angaben, zu Hause Lemkisch bzw. Russisch zu sprechen, während 22.698 Personen angaben, zu Hause Ukrainisch zu sprechen. De facto besteht allerdings zwischen den Sprachen dieser und jener in der Regel überhaupt kein Unterschied, nämlich dann, wenn sich jene Ostslaven, die sich zum Ukrainertum bekennen und die ukrainische Schriftsprache akzeptieren und sie erlernen, zu Hause trotz allem im alten lemckischen Dialekt unterhielten.

3. Fazit

Es trifft durchaus zu, dass, wie gemeinhin behauptet, nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem ehemals multilingualen und multinationalen Polen ein weitgehend monolithischer Nationalstaat geworden ist. Andererseits ist vor allem an den Peripherien der Republik Polen nicht zu übersehen, dass der Wandel letztlich eher ein quantitativer als ein qualitativer war. Faktisch alle Sprachen und Ethnien der Vergangenheit begegnen auch noch in den Erhebungen der Gegenwart wieder, und dies gilt nicht nur für den slavischen Zweig. Sicherlich sollten diese Sprachen und ihre Sprechergruppen gegenwärtig mit Unterstützung der Europäischen Union als ein Bestandteil des kulturellen Reichtums stärker geschätzt und geschützt werden, als dies in der Vergangenheit oft der Fall war. Vor allem gilt dies, wenn es um zweifellos althergebrachte Sprachen und Minderheiten geht. Das Recht zur Etablierung neuer Sprachen und zur Deklaration neuer oder auch zur Wiederbelebung alter Minderheiten, wie es auch in Polen eingefordert wird, muss weiterhin grundsätzlich allen freistehen. Die Frage, in welchem Fall man solche Entwicklungen aber auch zu fördern hat, wird die Diskussion der nächsten Jahrzehnte prägen.

BEMERKUNGEN

¹ Ich danke Herrn Dr. Artur Czesak (Krakau) für die Durchsicht des Manuskripts sowie für einige wertvolle Hinweise.

² Vgl. zu einem differenzierteren standardologischen Modell Rehder 1995 und zu einer Diskussion der Prager Ansätze etwa Nebeská 1996/1999.

- ³ Zu diesem und verwandten Termini vgl. auch Wingender 1996.
- ⁴ Einer der Gründe dafür lag im Übrigen gerade darin, dass die polnische Regierung die Daten für die Verhandlungen mit der Europäischen Union über den Minderheitenschutz benötigte.
- ⁵ Von slavistischer Seite nahmen teil: Sven Gustavsson (Uppsala), Jiří Nekvapil (Prag/ Praha) sowie Tomasz Wicherkiewicz (Posen/ Poznań), wobei der zuletzt Genannte wohl die Leitung für den polnischen Bereich innehatte.
- ⁶ Die von der Krakauer Soziologin Marta Moskal (2004, 5) gebotenen, aus dem Internet leicht herunterladbaren Daten weichen von diesen – verlässlicheren – Zahlen teilweise erheblich ab.
- ⁷ Die sprachenpolitischen Rahmenbedingungen für die Minderheitensprachen werden im Folgenden nur am Rande thematisiert werden. Solide Grundinformationen sind der Euromosaik-Studie von 2004/2006 (EM 2004/2006, Punkte 3.1.–3.7.) zu entnehmen.
- ⁸ Für diesen Hinweis danke ich Herrn Dr. Artur Czesak (Krakau/ Kraków).
- ⁹ Der Begriff «narodowość» wurde im Erhebungsbogen m. E. vorbildlich kommentiert: «Narodowość jest deklaratywną (opartą na subiektywnym odczuciu) cechą indywidualną każdego człowieka, wyrażającą jego stosunek emocjonalny (uczuciowy) kulturowy lub genealogiczny (ze względu na pochodzenie rodziców) z określonym narodem» (zit. nach Misiak 2006: 76). Eine andere Frage ist, ob auch alle Befragten diesen Text wirklich verstanden...
- ¹⁰ Für diesen Hinweis danke ich Artur Czesak.
- ¹¹ Für den Hinweis auf diesen Artikel danke ich Artur Czesak.
- ¹² Zur Verbreitung der Lemken und der Ukrainer vgl. EML 2004/2006, Pkt. 1.1, EMU 2004/2006, Pkt. 1.1.
- ¹³ Über diese hat etwa zuletzt im November 2007 Curt Woolhiser (Slavic Department, Harvard University) auf der Konferenz der American Association for the Advancement of Slavic Studies in New Orleans berichtet.
- ¹⁴ EML 2004/2006 enthält hingegen mehrere Inkonsistenzen und Fehler, vor allem im Abschnitt zur Geschichte 1.2. Einige wichtigere Kritikpunkte seien kurz genannt: Die Lemken in Polen können nicht ohne Weiteres mit jenen Russinen gleichgesetzt werden, die im Königreich Ungarn lebten. Auch sind Ruthenisch oder Russinisch und Lemkisch nicht vollständig miteinander zu identifizieren, denn das Lemkische bildet nur einen Teil jener Sprachgruppe, die zuletzt immer häufiger als eine Varietät des Russinischen beschrieben und gleichzeitig vom Ukrainischen getrennt betrachtet wird. In EML 2004/2006 ist im Übrigen von vier ostslavischen Sprachen die Rede, in EMU 2004/2006 von drei, doch wird auch dort von der «Revitalisierung» des Ruthenischen oder Russinischen seit 1980 gesprochen (EMU 2004/2006, Pkt.

1.1.). EMU 2004/2006 enthält zahlreiche weitere Ungereimtheiten, vor allem in den historisch ausgerichteten Punkten 1.1. und 1.2.

- ¹⁵ Seriöse Schätzungen gehen von etwa 300.000 ukrainisch- und lemkinsprachigen Personen in Polen aus (EMU 2004/2006, Pkt. 1.2.).

LITERATUR

- Anonym 2006: Anonym. *Góralско mowa*. Hau! Blog owczarka podhalańskiego, <http://owczarek.blog.polityka.pl/?p=11>, zuletzt aufgerufen am 19. 3. 2008.
- Borzyszkowski 2002 — J. Borzyszkowski. *Die Kaschuben. Danzig und Pommern*. Danzig, 2002.
- Charter 1992 — *European Charter for Regional or Minority Languages*, Strasbourg, 5.XI.1992 (Council of Europe: European Treaty Series, Nr. 148).
- Czesak 2004 — A. Czesak. *Ślázacy w poszukiwaniu języka*. Przegląd polonijny, Warszawa, 2004, s. 105–111.
- Czesak 2006 — A. Czesak. *Góralski i śląski – mikrojęzyki literackie in statu nascendi?* Slavica Tartuensia VII: Славянские литературные микроязыки и языковые контакты. Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Международном Комитете славистов, 15–17 сентября 2005 г.. Ред. А. Дуличенко и С. Густавссон (при участии Дж. Данна). Тарту, 2006, с. 360–385.
- Czesak 2007 — A. Czesak. *Języki literatury południowomałopolskiej. Ponad granicami*. Kultura, literatura i język obszarów pogranicza. Red. Joanna Kułakowska-Lis, Kazimierz Sikora. (Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, z. 26). Krosno 2007, s. 53–60.
- Czesak 2007a — A. Czesak. *Współczesne próby tworzenia, opisu i kodyfikacji nowych języków słowiańskich (górnos Śląski, wschodniosłowacki, podlańska mowa)*. Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4.–7. októbra 2006. Red. J. Dudášová. (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešovensis. Slavistický zborník 6, AFPhUP 163/245). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2007, s. 246–258.
- Duličenko 1981 — А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. (Вопросы формирования и развития)*. Таллин, 1981.
- Duličenko 2003–2004 — А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов*. Т. I–II. Тарту, 2003–2004.
- EM 2004/2006 — *Regional- und Minderheitensprachen. Euromosaik-Studie. Polen*. Hrsg. im Auftrag der Europäischen Kommission, 2004, zuletzt aktuali-

- siert am 27. 10. 2006, http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/index_de.html, zuletzt aufgerufen am 18. 3. 2008.
- EMK 2004/2006 — *Euromosaik-Studie. Kaschubisch in Polen*. Hrsg. im Auftrag der Europäischen Kommission, 2004, zuletzt aktualisiert am 27. 10. 2006, http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/pol3_de.html, zuletzt aufgerufen am 18. 3. 2008.
- EML 2004/2006 — *Euromosaik-Studie. Ruthenisch (Lemkisch) in Polen*. Hrsg. im Auftrag der Europäischen Kommission, 2004, zuletzt aktualisiert am 27. 10. 2006, http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/pol5_de.html, zuletzt aufgerufen am 18. 3. 2008.
- EMU 2004/2006 — *Euromosaik-Studie. Ukrainisch in Polen*. Hrsg. im Auftrag der Europäischen Kommission, 2004, zuletzt aktualisiert am 27. 10. 2006, http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/pol6_de.html, zuletzt aufgerufen am 18. 3. 2008.
- EMW 2004/2006 — *Euromosaik-Studie. Weißrussisch in Polen*. Hrsg. im Auftrag der Europäischen Kommission, 2004, zuletzt aktualisiert am 27. 10. 2006, http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/pol1_de.html, zuletzt aufgerufen am 18. 3. 2008.
- EMA 2004/2006 — *Euromosaik-Studie. Weitere Sprachen in Polen*. Hrsg. im Auftrag der Europäischen Kommission, 2004, zuletzt aktualisiert am 27. 10. 2006, http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/pol7_de.html, zuletzt aufgerufen am 18. 3. 2008.
- Fleming 2005 — M. Fleming. *The Belarusian minority in the 2002 Polish census*. Annus albaruthenicus 2005 (шосты том). Рэд. С. Яновіч. Kryuki, 2005, s. 83–96.
- Gòłąbk 2005 — E. Gòłąbk. *Kaszëbsczi słowôrz normatiwni*. Gdańsk, 2005.
- Grek-Pabisowa 1968 — I. Grek-Pabisowa. *Rosyjska gwara starowierców w województwach olsztyńskim i białostockim*. Wrocław/ Warszawa/ Kraków, 1968.
- Grek-Pabisowa 1999 — I. Grek-Pabisowa. *Starobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej*. Warszawa, 1999.
- Hentschel 2000 — G. Hentschel. *Zum «sprachlichen Separatismus» im heutigen Polen — vergleichende Beobachtungen zum Schlesischen und Kaschubischen*. Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Ein internationales Handbuch. Hrsg. v. L. N. Zybatow. Frankfurt am Main u. a., 2000, S. 893–909.
- Hentschel 2002 — G. Hentschel. *Masurisch*. Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens. Bd. 10: Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens.

- Hrsg. v. M. Okuka unter Mitwirkung von G. Krenn. Klagenfurt, 2002, S. 313–314.
- Hentschel 2002a — G. Hentschel. *Podhalisch*. Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens. Bd. 10: Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens, hrsg. v. M. Okuka unter Mitwirkung von G. Krenn, Klagenfurt 2002, 359–361.
- ISO 2008 — *International Organization for Standardization*, About ISO, <http://www.iso.org/iso/about.htm>, zuletzt aufgerufen am 17. 3. 2008.
- Kalinowski 2002 — P. Kalinowski. *Roztoméły kamraće Tyśoku*. Echo Slonska, 2002, 3_01, [http://www.echoslonska.com/0201/debata/020103db Piotr Kalinowski_RoztomiylykamracieTyszoku.htm](http://www.echoslonska.com/0201/debata/020103db_Piotr_Kalinowski_RoztomiylykamracieTyszoku.htm), zuletzt aufgerufen am 17. 3. 2008.
- Kamusella 1998 — T. Kamusella. *Wylanianie się grup narodowych i etnicznych na Śląsku*. Sprawy narodowościowe, 1998, N 12–13, s. 35–72.
- Kaszubszczyzna 2001 — *Kaszubszczyzna/ Kaszëbizna*. Red. naukowy E. Breza. (Najnowsze dzieje języków słowiańskich). Opole, 2001.
- Lubaś 1998 — W. Lubaś. *Czy powstanie śląski język literacki*. Język polski, r. LXXVIII, 1998, N 1–2, s. 49–56.
- Łysohorsky 1934 — Ó. Łysohorsky. *Spiwajuco piaść* (1934). In: Duličenko 2003, II, s. 181–186.
- Maksimiuk 2005 — J. Maksimiuk. *Ustawa i svoja mova*. Czasopis. Białoruskie pismo społeczno-kulturalne/ Беларускі грамадска-культурны часопіс 2005, N 4, http://www.slonko.com.pl/czasopis/in.php?id=0504/2005_04_c09, zuletzt aufgerufen am 17. 3. 2008.
- Makurat 2008 — H. Makurat. *Recenzjô: Eugeniusz Gółqbk, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny*. Projekt Raszko Kaszëbë/ Projekt Rastko Kaszuby, <http://www.rastko.net/rastko-ka/content/view/247/1/>, zuletzt aufgerufen am 12. 4. 2008.
- Marti – Nekvapil 2007 — R. Marti, J. Nekvapil (Hrsg.). *Small and Large Slavic Languages in Contact* (International Journal of the Sociology of Language 183). Berlin/ New York: Mouton de Gruyter, 2007.
- Michna 2004 — E. Michna. *Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce*. Kraków, 2004.
- Misiak 2006 — M. Misiak. *Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie*. Wrocław, 2006.
- Moskal 2004 — M. Moskal. *Language minorities in Poland at the moment of accession to the EU*. Noves SL. Revista de Sociolingüística. <http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/noves>. Spring-summer 2004, zuletzt aufgerufen am 17. 3. 2008.

- Nebeská 1996/1999 — I. Nebeská. *Jazyk. Norma. Spisovnost*. Praha 1996/1999.
- Obitz 1937/2007 — K. Obitz. *Dzieje ludu mazurskiego*. Wprowadzenie i opracowanie G. Jasiński. Dąbrówno, 2007 (geschrieben im Jahr 1937).
- Porębska 2006 — M. Porębska. *Das Kaschubische: Sprachtod oder Revitalisierung? Empirische Studien zur ethnolinguistischen Vitalität einer Sprachminderheit in Polen*. München, 2006.
- Rautz 2003 — G. Rautz. *Politische Maßnahmen zur Förderung von Regional- und Minderheitensprachen in Europa. Aspekte ihrer Umsetzbarkeit, Kosteneffizienz und ihrer demokratischen Auswirkungen*. Mehrsprachigkeit in der erweiterten Europäischen Union. Hrsg. v. J. Besters-Dilger, R. de Cillia, H.-J. Krumm, R.
- Rindler-Schjerve. Klagenfurt, 2003, S. 264–265.
- Rehder 1995 — P. Rehder. *Standardsprache. Versuch eines dreistufigen Modells*. Die Welt der Slaven, München, 1995, Bd. 40, S. 352–366.
- Rusyn'skŷj jazŷk 2004 — Русинський язык. Red. naukowy P. R. Magocsi. (Najnowsze dzieje języków słowiańskich). Opole, 2004.
- Schlesisch 2008 — *Schlesisch*. Wikipedia. Die freie Enzyklopädie. [http://de.wikipedia.org/wiki/Schlesisch_\(polnischer_Dialekt\)](http://de.wikipedia.org/wiki/Schlesisch_(polnischer_Dialekt)), zuletzt aufgerufen am 17. 3. 2008.
- Siatkowski 1997 — J. Siatkowski. *Polnisch-Tschechisch*. Kontaktlinguistik – Contact Linguistics – Linguistique de contact. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Hrsg. v. H. Goebel, P. Nelde, Z. Starý, W. Wölck. Bd. 2. Berlin/ New York, 1997, S. 1634–1641.
- Sowa 1997 — F. Sowa. *Polish-Slovak*. Kontaktlinguistik – Contact Linguistics – Linguistique de contact. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung, hrsg. v. H. Goebel, P. Nelde, Z. Starý, W. Wölck. Bd. 2. Berlin/ New York, 1997, S. 1628–1634.
- Tlučková 2005 — O. Tlučková. *Z našeho kraja*. Frýdek-Místek, 2005.
- Tobjański 1994 — Z. Tobjański. *Czesi w Polsce*. Kraków, 1994.
- Towarzystwo – Spolok 2007ff. — Towarzystwo Słowaków w Polsce/ Spolok Slovákov v Pol'sku, <http://www.tsp.org.pl>, zuletzt aufgerufen am 12. 4. 2008.
- Urbańczyk 1984 — S. Urbańczyk. *Zarys dialektologii polskiej*. Wyd. 7. Warszawa, 1984.
- Wawoczny 2008 — G. Wawoczny. *Wielkanocne procesje konne*. Gazeta Turystyka, 17. 3. 2008, <http://turystyka.gazeta.pl/Turystyka/51.88826.5023138.html?i=0>, zuletzt aufgerufen am 12. 4. 2008.
- Wicherkiewicz 2003 — T. Wicherkiewicz. *Języki mniejszościowe i regionalne w Europie — problemy typologii*. Języki mniejszości i języki regionalne. Red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa. Warszawa, 2003, s. 73–78.

- Wingender 1996 — M. Wingender. *Von Kleinsprachen, Miniaturschriftsprachen, Regionalschriftsprachen, Mikroliteratursprachen, Ausbaudialekten und Kulturdialekten*. Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland und Österreich. IV. JungslavistInnen-Treffen. Frankfurt am Main 1995. Hrsg. v. F. Schindler, unter Mitwirkung v. A. Grimm, H. Kuße u. K. Unrath. München, 1996, S. 337–353.
- Wójcik 2008 — S. Wójcik. *Poznajmy się, kochajmy się – Towarzystwo Polsko-Czechosłowackie 1923–1938*. Panorama kultur — Europa mniej znana, <http://www.pk.org.pl/artykul.php?id=290>, zuletzt aufgerufen am 12.4. 2008.
- Wyderka 2003 — B. Wyderka. *Śląsk jako region językowy*. Języki mniejszości i języki regionalne. Red. E. Wrocławska, J. Zieniukowa. Warszawa, 2003, s. 501–509.

**Regionaalsed slaavi keeled ja vähemusrahvuste keeled
Poola Vabariigi territooriumil
Michael Moser**

Lähtudes Euroopa Nõukogu hartast regionaalsete keelte ja vähemusrahvuste keelte kohta, on vaatluse all regionaalsete slaavi keelte ja vähemusrahvuste keelte sotsiolingvistiline situatsioon Poola Vabariigis tänapäeval. Poola on säilitanud oma piisavalt selgejoonelise paljurahvuselise ja paljukeelse iseloomu tänini, kuid väikeses ulatuses. Regionaalsed slaavi keeled ja Poola vähemusrahvuste keeled erinevad suuresti oma staatusest, mis on tingitud ajaloolistest põhjustest ja mis samaaegselt tekitab raskusi seoses mainitud harta interpreteerimisega.

Roland Marti
Universität des Saarlandes

**ВОПРОСЫ КОДИФИКАЦИИ
И РЕФОРМЫ ПРАВОПИСАНИЯ В МИКРОЯЗЫКАХ
(НА ПРИМЕРЕ НИЖНЕЛУЖИЦКОГО ЯЗЫКА)**

Литературные микроязыки – нижнелужицкий язык – кодификация – орфография – реформа кодификации

Литературные языки отличаются от других видов этнического языка прежде всего кодификацией¹. А составной частью кодификации является орфография². Литературные микроязыки уступают «нормальным» литературным языкам именно в этой области³. Этот недостаток литературных микроязыков объясняется прежде всего историческим развитием. Обычно кодификации языка предшествует длительный период письменной традиции, в рамках которой развиваются более или менее стабильные нормы употребления (узуальные нормы)⁴, служащие основой для литературного языка. Такой предшествующий период существует у микроязыков, как правило, только в ограниченном объеме или отсутствует вообще, и это препятствует нормальному развитию норм употребления. Не удивительно поэтому, что у микроязыков часто возникают «индивидуальные» орфографии, которые участвуют «в соревновании» кодификаций, но без четкого «победителя», пользующегося всеобщим признанием. Этому способствует и отсутствие инстанций, уполномоченных принять решение в пользу той или другой кодификации. Осложняется кодификация микроязыков и тем, что они характеризуются ограниченной автономией: обычно микроязыки находятся под влиянием «большо-

го» литературного языка, и это влияние отражается в кодификации, которая нередко следует примеру доминирующего языка. Сохранить известную самостоятельность удастся микроязыкам только с большим трудом. Поэтому иногда кодификация микроязыков приближается к кодификации других литературных языков, которые считаются генетически более близкими, — в противовес влиянию доминирующего языка. А такая ориентация как раз и подтверждает относительную несамостоятельность кодификации микроязыков. Кроме того, выступает здесь на передний план другой, не менее важный фактор кодификации — символическое значение. Через выбор образца кодификации определенного языка выражается близость или дистанционная удаленность по отношению к этому языку.

Подобные трудности микроязыки встречают не только при кодификации, но и в случае реформы орфографии. Более того, здесь возникают и дополнительные проблемы. Общая неуверенность, которая является нежеланным побочным эффектом реформы даже в случае «больших» языков, чувствуется у микроязыков сильнее, потому что носители языка обычно владеют орфографией микроязыка лишь в меньшей мере и поэтому им труднее различать новые правила от старых. Орфографический разнобой усугубляется еще и тем, что письменная продукция микроязыков особенно долговечна. Тексты в старой и новой орфографиях могут сосуществовать длительное время, а это лишний раз усиливает неуверенность. Срок пользования является особенно длительным, когда речь идет о словарях, которые должны отражать актуальную орфографию. Даже учебники не могут перейти на новую орфографию сразу, потому что и при небольшом тираже они обычно обслуживают несколько поколений учащихся. Внутренняя готовность примириться с новым правописанием является поэтому еще менее выраженной, чем у «больших» языков.

Примером трудностей, которые возникают перед микроязыками при кодификации и реформе правописания, послужит нам в дальнейшем изложении нижнелужицкий язык.

Нижнелужицкий язык находится в своеобразном и довольно сложном положении. В контексте Германии, но также и Лужицы, где раньше был доминирующим языком, он уступает немецкому языку. Носители нижнелужицкого языка, как правило, владеют не-

мецким языком лучше, чем родным нижнелужицким, особенно в его письменном виде. Надо также принять во внимание и тот факт, что в контексте обеих Лужиц нижнелужицкий язык находится по доминирующим влиянием не только немецкого, но и верхнелужицкого языка⁵. Кроме того, известную, хотя и ограниченную, роль играют также соседние польский и чешский языки (последний по большей части через посредничество верхнелужицкого, ср. Шустер-Шевц 1989, 4–23).

Употребление нижнелужицкого языка в письменном виде начинается после Реформации (от более раннего времени сохранился только ономастический материал). Первый обширный текст — это перевод Нового Завета М. Якубицы (M. Jakubica, ср. Schuster-Šewc 1967a). В 1574 г. печатается первая книга на нижнелужицком языке — катехизис А. Моллера (A. Moller, ср. Moller 1959). Уже с самого начала орфография здесь следует немецкому образцу. Ввиду различия фонологических систем обоих языков возникают известные трудности, которые решаются, так сказать, в рабочем порядке, пока без применения систематических правил⁶. Первые теоретические высказывания о нижнелужицком правописании можно найти у Г. Фабрициуса (G. Fabricius), который излагал используемую им орфографию в предисловиях к изданиям катехизиса 1706 г. (Fabricius 1706, без пагинации) и Нового Завета 1709 г. (Schuster-Šewc 1967, 367–368). Эта орфография основана на актуальной для того времени немецкой орфографии и поэтому базировалась на швабахе (готический шрифт) с обычными в немецкой традиции соотношениями между звуками (фонемами) и буквами (графемами); это особенно вырождалось в употреблении диграфов и триграфов. Звуки (фонемы), отсутствующие в немецком языке, передавались с помощью букв с диакритическими знаками (надписанные точки)⁷. Такое решение орфографического вопроса являлось разумным, потому что читатели, как правило, уже владели немецкой орфографией. Факт того, что такая орфография не была однородной, сочетая диграфы и триграфы с диакритикой, не считался важным: практика делает упор на удобстве, а не на систематичности⁸. Кроме того, орфография соответствовала верхнелужицкой, которую предложил Ц. Бирлинг (Z. Bierling) в 1689 г. и которая употреблялась в протестантских книгах

(Schuster-Šewc 1967, 137–150)⁹. Этой смешанной орфографией пользовались с многочисленными изменениями (с целью усовершенствования) вплоть до запрещения книгопечатания на лужицких языках во время национал-социализма и в ограниченной мере снова — после воссоединения Германии.

Совершенно другая разновидность письменной передачи лужицких языков вырабатывалась в рамках славянского возрождения, в первую очередь для верхнелужицкого языка. Она опиралась на латинский шрифт (*antiqua*), в отличие от готического, и использовала диакритику для обозначения палатальных и палатализованных согласных (в случае последних *j* заменяет диакритику перед гласными). В целом правописание следовало чешскому образцу (в случае *l*, *č*, *ž* и, с известными оговорками, также использование *j* в качестве графического знака для обозначения палатальности образцом являлась польская традиция) и таким образом как бы указывалось на близость к другим славянам, употребляющим латиницу, но одновременно подчеркивалось и отличие от немецкой традиции. Ввиду «общеславянской» направленности правописание называлось «аналогическим». Для нижнелужицкого языка латинский шрифт и аналогическое правописание впервые употребил К. Брониш (K. Broniś) — скорее всего в сотрудничестве с верхнелужицкими кодификаторами, прежде всего с Я. А. Смолером (J. A. Smoler) (см. Pohončowa 2007, 70–71)¹⁰. На начальном этапе новое аналогическое правописание употреблялось только изредка. С середины XIX в. оно последовательно использовалось в журнале научного общества Матица Сербская/Серболужицкая (Maćica Serbska)¹¹. С течением времени новые шрифт и правописание распространялись на издание литературных текстов, особенно в кругу «младолужичан». Как представляется, вначале Матица интересовалась только кодификацией верхнелужицкого правописания. С 60-х гг. XIX в. ситуация стала меняться: нижнелужицкий язык постепенно стал объектом внимания (верхнелужицких) кодификаторов, прежде всего М. Горника (M. Hórník, ср. Hórník 1862; 1868; 1869). Последний, как видно по его предложениям в публикациях, следовал примеру верхнелужицкого языка (Hórník 1869, 42)¹².

Первую полную и аргументированную кодификацию нижнелужицкой орфографии на основе латинского шрифта и аналогического

правописания вырабатывает А. Мука (А. Muka/ К. Е. Mucke) для своей (исторической) грамматики нижнелужицкого языка (Mucke 1891); с некоторыми изменениями это правописание отразилось и в трудах Б. Швели (В. Šwjela/ G. Schwela, ср. Šwela 1903, 23–37; Schwela 1906)¹³ и в большом словаре Муки (Muka 1911–1928). После войны 1939–1945 гг. латинский шрифт и аналогическое правописание доминировали (абсолютно — в случае верхнелужицкого языка и с незначительными исключениями — в нижнелужицком)¹⁴.

Правописание нижнелужицкого языка, использующее готический шрифт и смешанную орфографию, кодифицировалось в начале только в общих чертах и допускало значительные колебания¹⁵. Кодификацией *de facto* явились печатные публикации Фабрициуса, которые, как уже сказано, отличались между собой обозначением палатализованных согласных: начальная «йотация» (*jotowanje*) заменялась позднейшей «пунктуацией» (*dypkowanje*), где, однако, точка ставилась не над буквой для согласного, но над следующей за ней буквой для гласного, если таковая имелась (исключением можно считать *n*, над которой ставилась точка). Ни Фабрициус, ни грамматика Й. Г. Хауптманна (J. G. Hauptmann, ср. Hauptmann 1761, 1–29)¹⁶ не различали твердых и мягких шипящих (*ž* ~ *ż* и *š* ~ *ś*)¹⁷. Дальнейшей кодификацией *de facto* можно считать Старый Завет в переводе Я. Б. Фрыца (J. B. Fryco), опубликованный в 1796 г.¹⁸. Фрыцо различал твердые и мягкие шипящие¹⁹, ввел *ó* (по своеобразным правилам) и *l* и предлагал смешанную систему йотации и пунктуации для передачи палатализованных согласных, которая и определила дальнейшее развитие. Окончательную кодификацию нижнелужицкого правописания с использованием готического шрифта и смешанной орфографии выработал Я. Б. Тешнарь (J. B. Tešnař, ср. Pernak 1998), однако опять-таки не теоретически, но посредством публикаций, написанных или, по крайней мере, отредактированных им. Различение твердых и мягких шипящих он распространил на *č* и *ć*, пунктуацию заменил «акцентуацией» (*smužkowanje*), а в случае *ž* и *č* — «гачкованием» (*kokulkowanje*). Для обозначения различия между *š* и *ś* он применял (по аналогии с *l* и *ḷ*) «перечеркнутое» и нормальное *f* (*/ ch* для *š* и */ch* для *ś*). Его правописание постепенно распространялось на периодическую печать (на единственную нижнелужицкую газету и на

календарь *Pratyja*), а также, что являлось особенно важным, на церковный песенник — опять-таки с незначительными колебаниями. Тешнарское правописание стало, таким образом, общепризнанным до запрета (нижне)лужицких публикаций в 1937 г., и традиция возобновилась только в новом издании песенника (*Duchowne kjarliže* 2007)²⁰.

Таким образом, в истории употребления готического шрифта и смешанного правописания не было серьезных реформ. Скорее всего можно говорить о постепенном усовершенствовании посредством ряда частичных инноваций, отражавших тенденцию к большей системности. Такое стремление к усовершенствованию можно наблюдать как в развитии индивидуальных орфографических систем, так и в нижнелужицкой письменности в целом.

Довольно своеобразную позицию между «немецким» и диакритическим написанием занимает словарь Й. Г. Цвара (*J. G. Zwahr*, ср. *Zwahr* 1847). Цвар употреблял латинский шрифт, однако следовал немецким правилам правописания с диграфами и триграфами вместо диакритики. Его пример остался без последователей, но словарь оказал влияние на нижнелужицкий язык в том плане, что в течение полувека он был единственным лексическим справочником²¹.

Употребление латинского шрифта и диакритики имело подобное развитие, хотя в достаточно кратком времени и с довольно заметными переменами. Употребление и одновременное усовершенствование были типичными уже для К. Брониша (*Pohónčowa* 2007, 71), но это было индивидуальное начало, и оно не повлияло прямым образом на нижнелужицкую письменность в целом²². По-настоящему занимался вопросами нижнелужицкого правописания в общелужицком контексте М. Горник на страницах журнала *Časopis Maćicy Serbskeje*. Так как Горник был одним из ведущих деятелей младосербского движения, его предложения касались аналогической латинской орфографии, а не традиционной, готической. Он первым предложил правило для написания *ó* (*Hórnik* 1862), исходя при этом из положения в верхнелужицком языке. Надо, однако, указать на факт, что и в швабахской традиции нижнелужицкого языка существовали подобные правила (см. выше). Правила Горника в целом соответствовали реальному произношению, однако не принимали во

внимание изменений под влиянием перемещения ударения. С тех пор написание *ó* стало неотъемлемой частью аналогического правописания, несмотря на то, что правила менялись и в дальнейшем. Под влиянием верхнелужицкой орфографии и в духе аналогического подхода выступал Горник за одинаковое обозначение палатализации перед гласными с помощью *j* — вместо традиционного, более дифференцированного смешанного употребления диакритики и *j̣*²³. Дальнейшей особенностью диакритического написания, которая возникла под верхнелужицким влиянием, являлась передача палатализованного **r* после *p*, *t* и *k*. В верхнелужицком языке *r* превращалось перед передними гласными в (мягкий) шипящий (после *t* — в сибилант), а по чешской традиции писалось *ř*, что соответствовало принципам аналогического правописания²⁴. В нижнелужицком ситуация была, однако, иной. Здесь палатализация проводилась как перед передними, так и перед гласными заднего ряда, но в случае последних результат был не мягкий, а твердый шипящий. По примеру верхнелужицкого языка, где существуют только мягкие шипящие, все старые палатализованные **r* передавались и в нижнелужицком языке с помощью буквы *ř*, несмотря на то, что результаты палатализации оказывались различными²⁵. Это соответствовало аналогическому принципу «единолужицкости» (*jadnakoserbskosć*, Starosta/ Spiess 1994, 421). Мука отменил эту традицию и отказался от буквы *ř*. Вместо того он писал, в зависимости от произношения, *tš*, *pš* и *kš* перед передними гласными и *tš*, *pš* а *kš* — перед задними²⁶. Таким образом, было потеряно единство верхне- и нижнелужицких языков, но, с другой стороны, сохранилось соответствие между традиционной и аналогической разновидностями нижнелужицкой орфографии (ср. Śwela 1903, 21)²⁷. После таких уточнений осталось немного спорных вопросов. Прежде всего они касались написания *ó* в безударном слоге²⁸, альтернативы *ě* и *je* в некоторых словах и сохранения так наз. «немых» согласных, которые (в отличие от старой традиции) писались там, где произносятся в другом контексте (напр., после предлогов или приставок, ср. *wrośiš* из-за *nawrośiš* и т. д.), а также в наречиях (напр., *gdy*) или там, где это уже подтверждено традицией (напр., *ptašk*). Такое правописание сохранялось и в публикациях межвоенного периода.

Сразу после Второй мировой войны возобновилась культурная жизнь лужичан в Верхней Лужице. В сфере письменности это проводилось на основе латинского шрифта и аналогического правописания. Одновременно с вытеснением старой письменной традиции лужичане хотели провести орфографическую реформу с целью сближения двух языков²⁹. За такую реформу особенно боролись представители верхних лужичан³⁰. На самом деле это было лишь актуализацией устремлений, которые уже существовали в XIX в.³¹, но тогда они были отклонены в Нижней Лужице, потому что противоречили внутреннему единству традиционного и аналогического правописания (*jadnakodolnoserbškosć*). Сейчас же появилась возможность достигнуть этой цели при официальной поддержке, и облегчило задачу то, что культурная жизнь возобновилась сначала только в Верхней Лужице: в бранденбургской части советской оккупационной зоны Германии (позднейшей ГДР) деятельность лужицких организаций была разрешена значительно позже.

Реформа нижнелужицкого правописания проводилась посредством единственной газеты *Dolnoserbški* (позже *Nowy*) *Casnik*, которая печаталась вначале в Будышине как приложение к верхнелужицкой газете *Nowa Doba* и которая только потом, когда новое правописание уже утвердилось, стала самостоятельной и ее редакция переместилась в Хошебуз. С другой стороны, считалось важным, чтобы реформа получила формальное и официальное подтверждение. Это было сделано на заседании языковой комиссии лужицкого Отдела (Департамента) народного образования с участием двух нижнелужицких представителей, которые, однако, были попросту принуждены подписаться³². Реформа предусматривала для верхнелужицкого языка замену *kh-* в начале слова посредством *ch-*, что можно считать приближением к нижнелужицкому, но также и последовательным применением аналогического принципа.

Перемены в нижнелужицком языке были намного более основательными. Они охватывали, в частности, следующее:

- 1) «акцентуация» (*smužkowanje*) перед гласным последовательно заменено йотацией (*jotowanje*)³³;
- 2) вместо *h-* в начале слова или морфемы употреблялось *w-* — если в верхнелужицком языке тоже стояло *w-*;

- 3) *ó* как самостоятельная буква больше не употреблялось;
- 4) в некоторых словах *i* заменилось на *ě* по примеру верхнелужицкого;
- 5) «немые» согласные, как правило, на письме отражались.

Все эти перемены (за исключением пункта 3)³⁴ являлись приспособлением нижнелужицкого к верхнелужицкому. Но результаты этой реформы правописания касались не только письма: так как в школе и на радио требовалось «буквальное» произношение (*spelling pronunciation*), реформа правописания повлияла и на орфоэпию (что, впрочем, не предусматривалось реформаторами)³⁵.

Эта реформа, проведенная под давлением, не принималась вне официальных кругов и отчуждала носителей диалектного нижнелужицкого языка от литературной разновидности, пользовавшейся и без того слабым признанием. Убедительное доказательство несогласия с переменами можно увидеть в «реформе реформы», которая начиналась почти одновременно с отстранением государственного и партийного контроля над культурной жизнью, в том числе и в области правописания. Первым шагом назад к старой орфографии было отстранение пункта 4 в 1995 г. Предложение вернуться к прежнему правописанию и по пунктам 2 и 3 нашло поддержку большинства членов языковой комиссии в 1996 г., но не было принято, потому что для этого потребовалось квалифицированное большинство. В качестве компромисса комиссия допустила, что в учебниках можно графически указать на расхождение между правописанием и орфоэпией (в случае *ó* специально указывалось на эту букву как на «вспомогательный орфографический знак»). Что касается пункта 2, то усилия авторов учебников не увенчались успехом (скорее всего потому, что не было общепринятого знака), но по пункту 3 буква *ó* получала статус полуофициальной графемы (при этом решающим оказался тот факт, что буква *ó* употреблялась во втором издании нижнелужицко-немецкого словаря Старосты — Starosta 1999). Решение языковой комиссии 2006 г. возобновило прежний официальный статус *ó* безо всяких ограничений, но изменились правила ее употребления в сравнении со всеми прежними кодификациями³⁶. Стоит заметить, что возвращение к старой орфографии по пунктам 1 и 5, как кажется, не предусматривалось, хотя в соответствии с пунктом 1 ни-

жнелужицкое правописание (и, пожалуй, также орфоэпия) изменилось самым существенным образом. В последнее время опять требуется изменения пункт 2, особенно в связи с публикацией нового издания церковного песенника (Duchowne kjarliže 2007)³⁷.

Кодификация правописания нижнелужицкого языка и ее развитие подвергаются, таким образом, влиянию двух противоположных тенденций — немецкой и «славянской» (в данном случае особенно верхнелужицкой). Пока нижнелужицкий язык печатался швабахом (или, соответственно, пользовался немецким курсивным письмом), орфография по возможности следовала немецкому образцу. Постепенно нижнелужицкая орфография отстраняла особенности немецкого правописания, которые являлись излишними ввиду структурных отличий нижнелужицкого языка (напр., обозначение «долгих» и «кратких» гласных). С другой стороны, специфические черты звуковой структуры нижнелужицкого языка отражались все более и более точно (напр., мягкие и твердые шипящие). Здесь самым творческим образом применялся славянский принцип употребления диакритики.

С введением латинского шрифта менялся и образец написания. За исключением словаря Цвара, эта традиция следовала верхнелужицкому образцу, который, в свою очередь, ориентировался на чешскую и в меньшей мере — также на польскую традицию. Это и понятно — ведь развитие аналогической орфографии после Брониша зависело прежде всего от верхнелужицких кодификаторов. И в этой разновидности нижнелужицкой орфографии особенности языка передавались с возрастающей точностью. Таким образом, возникали различия между орфографическими кодификациями верхне- и нижнелужицкого языков, а это ослабляло «единолужицкость» (*jadnakoserbskosć*).

Для дальнейшего развития нижнелужицкого правописания важную роль сыграл другой фактор, а именно — единство традиционного (швабахского) и нового (аналогического) правописания, т. е. «единонижнелужицкость» (*jadnakodolnoserbskosć*). Только при сохранении этого принципа можно было надеяться на повышение престижа аналогического правописания, которое вне узкого круга новаторов не пользовалось особым признанием. Кроме того, единство облегчало переход от одной традиции к другой у тех, кто пользовал-

ся обоими шрифтами и правописаниями в зависимости от читателей³⁸. И, наконец, единство оказалось удобным там, где сосуществуют обе традиции³⁹.

Но послевоенная орфографическая реформа уже не считалась с этим тщательно выработанным равновесием между обоими принципами (*jadnakoserbskosć* и *jadnakodolnoserbskosć*), так как это казалось излишним ввиду того, что швабахская традиция не была возобновлена. Как показывал ход дальнейшего развития, такая оценка не соответствовала действительному положению. Во-первых, переход от привычного шрифта к новому всегда является проблематичным для малых языков, а особенно в случае с нижнелужицким, потому что письмо обычно усваивается в доминирующем языке, а владение чтением нижнелужицких текстов ограничивалось церковными текстами и было менее основательным. Сравнительно небольшой опыт в чтении (и тем более в написании) привел к большей зависимости от привычных, традиционных написаний и уменьшил готовность усвоить новые шрифт и написание. Во-вторых, в данном случае это был двойной переход: от швабахского шрифта к латинскому и одновременно от немецко-славянской смешанной системы к диакритической славянской. Изменился, таким образом, не только привычный вид письма, но одновременно и соотношение *буква – звук* (*графема – фонема*)⁴⁰. В-третьих, добавилась к этому реформа правописания, которая лишний раз изменила традицию. Так как реформа была основана на принципе «единолужицкости» и даже на асимметрическом варианте этого принципа в пользу верхнелужицкого языка, то реформа была обременена дополнительным отрицательным фактором. Неудивительно поэтому, что реформу встретили с большим сопротивлением. Победила реформа только потому, что контроль над печатным словом в ГДР был достаточно строгим.

Для носителей нижнелужицкого языка существовала, однако, возможность избежать изменений в литературном языке, а именно переходом на доминантный язык, т. е. немецкий. Этот путь выбирали в нижнелужицких областях чаще, чем в верхнелужицких⁴¹, и, думается, что именно языковая политика партии и государства, а также (верхне)лужицких организаций является одной из причин такого

массового отказа от использования нижнелужицкого (литературного) языка⁴².

После политических перемен 1989 г. можно было свободно говорить и писать об ошибках языковой политики прошлого и предлагать коррективы. Изменением символического характера явилось частичное возобновление традиции употребления швабаха. Связь с традицией здесь налицо, так как церковная литература (Библия, песенники, *prjatkarske* 'собрания проповедей') пользовалась исключительно этим письмом. Поэтому понятно, что и новые издания литургии и песенника печатались швабахским шрифтом. Компромиссный характер этих изданий явствует из того факта, что к швабахскому тексту помещали параллельный текст в аналогическом правописании и в латинском шрифте. Компромиссными являлись и попытки «реформы реформы» правописания. Первый шаг (*ě > i*) был довольно скромным, так как он касался только полдюжины корневых слов. Несмотря на это, реформа возбудила ожесточенную дискуссию со взаимными упреками в сепаратизме и вмешательстве во внутренние дела (ср. Faska 2003, 173–183; Geskojc 1995, 435–438). Не удивительно, что каждое предложение по реформированию правописания встречало сопротивление тех, кто усвоил уже реформированное правописание. Поэтому и понятно, что следующий шаг (*w- > h-* и восстановление *ó*) успехом не увенчался. Ввиду невозможности реформы правописания реформаторы перешли на уровень орфоэпии, что, однако, приводило в конечном счете к увеличению дистанции между написанием и произношением. Такой подход был довольно проблематичным особенно в случаях, когда язык изучается в школе на основе написанного слова. В результате стали слышны многочисленные случаи «гиперкорректных» форм там, где *h-* и *ó* употребляются неправильно. Поэтому следует приветствовать употребление *ó* в качестве вспомогательного орфографического знака и окончательное введение его в 2006 г. в качестве полноценной буквы.

Тем не менее реформа встретила сильный отпор в связи с тем, что правила написания *ó* (ср. Starosta 1998, 111–112) и как следствие правила произношения не совпали ни с одной из известных кодификаций и не оказались оправданными с точки зрения системности (ср. Faska 2007, 10–12). Это лишний раз доказывает, что реформы, кото-

рые не соответствуют языковой структуре и не находятся в русле традиций более ранних кодификаций, не принимаются носителями языка. Приходится сожалеть, что реформаторы не учли опыт неуспешной послевоенной реформы⁴³.

Как учит пример с нижнелужицким языком, кодификация правописания малых языков и позднейшие ее реформы находятся в сложных внутренних и внешних отношениях и поэтому оказываются более проблематичными, чем это бывает у больших языков. В случае с нижнелужицким языком бросается в глаза то, что влияние доминирующего языка, т. е. немецкого, не представляло сложности при кодификации — в отличие от «славянской» кодификации и особенно от реформы по верхнелужицкому образцу. Кажется, что немецкая доминация угрожает существованию нижнелужицкого языка в целом, но не представляет внутренней опасности. В плане отношения нижнелужицкого языка к верхнелужицкому это как раз наоборот: верхнелужицкий язык не представляет опасности для существования «меньшего брата», но угрожает его специфичности. Это объясняет реакцию носителей языка на изменения, которые воспринимаются как влияние со стороны верхнелужицкого языка. В орфографических вопросах явления «славизма» и «сорабизма» встречают сопротивление носителей языков. Приемлемым для них является лишь традиционный подход.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ср. классическое определение литературных языков, данное А. И. Исаченко 50 лет тому назад в связи с Международным съездом славистов в Москве (Исаченко 1958, 24).

² Большинство носителей языка считает данную сферу языка единственной кодифицированной. На это указывает тот факт, что тексты обычно проверяются только орфографически (например, с помощью словарей). Но и электронная обработка текстов подтверждает эту ложную концепцию: автоматическая проверка текста, как правило, ограничивается правописанием (spelling check), а другие области кодификации вообще не корректируются или же только затрагиваются поверхностно.

³ Не могу здесь вступать в дискуссию о том, какие языки являются микро-языками. Укажу только на труды А. Д. Дуличенко (Дуличенко 1981 и для

лужицкой ситуации особенно Дуличенко 1989, 24–36). Язык, который рассматривается нами в дальнейшем, бесспорно является микроязыком.

⁴ Ср. к терминологическим вопросам в этой области особенно: Coseriu 1952. В отличие от создателей других концепций, он различает систему, норму и речь. Нормы, в свою очередь, делятся на «(узуальные) нормы» и «кодифицированные нормы».

⁵ Это уже доминация другого порядка: она не влияет на употребление языка (верхнелужицкий практически не применяется в Нижней Лужице). Доминанция выражается в общелужицком контексте, где сосуществуют оба языка. Показателен, например, лозунг 50-х гг. XX в.: «Лужица будет двуязычной» (должно было быть: «Лужица будет трехязычной»). Кроме того, влиял и продолжает влиять верхнелужицкий язык на нижнелужицкий в области языковой политики и, в частности, при кодификации орфографии и при языковых реформах (ср. ниже).

⁶ Орфографии Якубицы и Моллера описаны в публикациях Г. Шустер-Шевца (Schuster-Šewc 1967a, 25–32, и Schuster-Šewc 1958, 7–25). Кроме обычных диграфов и триграфов, оба употребляют типичные для немецкого языка средства обозначения «долгих» и «кратких» гласных, а именно добавление буквы *h* и удвоение согласной буквы после гласного. Подобного правописания придерживается и А. Тарейс (A. Tharaeus) в книге *Enchiridion Vandalicum* 1610 г. (Hórník 1869; Tharaeus 1990, 47–49).

⁷ В катехизисе Фабрициус еще употреблял *j* для обозначения палатализации, однако в Новом Завете заменил йотацию точкой над следующей гласной буквой. Точку он ставил, кроме того, над *z* и *n* для обозначения палатализации (так было уже в катихизисе). Кажется, что диакритический способ маркирования букв не был чужим для тогдашнего читателя. Употребления надстрочных точек восходит к диакритической орфографии Яна Гуса (J. Hus, ср. Schröpfer 1968), скорее всего через посредство польского языка.

⁸ Кажется, что Фабрициус предусматривал более систематичную диакритическую орфографию, но отказался от этого по практическим соображениям: «... man hat [...] der Jugend die Sache [...] nicht allzuschwer/ sondern auf das leichteste vorstellen wollen» (Fabricius 1706, в предисловии).

⁹ Более систематичную диакритическую орфографию употребил М. Френцель (M. Frenzel) в своей первой публикации, но потом перешел на традицию Бирлинга (Hórník 1870, 56–57; Röseberg 1930, 66–71). Подобную диакритическую орфографию предусматривали также в католической Верхней Лужице, но и здесь победила смешанная система (Ticinus 1985, 12–15 а и Michałk 1980, 10).

- ¹⁰ Кажется, что Брониш в своих публикациях и рукописных материалах употреблял самые различные варианты писания. В общем можно сказать, что все они отличались более историческим подходом, чем та разновидность, которая кодифицирована впоследствии, ср., например, употребление *tj* и *dj* вместо позднейших *ś* и *ź* (обзор различных написаний дает: Pohončowa 2007, 71).
- ¹¹ В официальном журнале общества (*Časopis Mačicy Serbskeje*) готический шрифт употреблялся только в цитатах, а иногда и в публикациях исторических текстов. Единственным принципиальным исключением было небольшое собрание стихотворений полиглота Г. Саурвайна/Ю. Суровина (G. Sauerwein/ J. Surowin), а исключение сделано только по настоятельной просьбе автора — как это вытекает из примечания редактора (Sauerwein 1877, 73). Причиной нарушения принципа было намерение автора раздать оттиски своего собрания нижнелужицким знакомым «из народа». Книжки, напечатанные латинским шрифтом и аналогическим правописанием, не почитались бы (или, по крайней мере, так казалось Саурвайну). Это является доказательство также того, что новые шрифт и правописание не были широко распространенными и популярными, особенно среди нижнелужицкого населения.
- ¹² Примечательно, что Горник даже считал возможным введение *j* в «немецколужицком правописании» («němskoserbski prawopis») для обозначения палатализации.
- ¹³ Редактор журнала, в котором впервые опубликована статья Швели за 1903 г., А. Мука, объяснил в примечании, что правила, предложенные в статье, вырабатывались совместно. Можно поэтому считать, что данная кодификация являлась первой общеобязательной, тем более что она лежала в основе правописания словаря Муки (отклонения можно найти там только в правилах, касающихся употребления *ó*, и в правописании отдельных слов).
- ¹⁴ Послевоенная кодификация нижнелужицкого языка вначале следовала правилам грамматики Швели, вышедшей во втором издании с известными изменениями (Šwela 1952), см. ниже.
- ¹⁵ В дальнейшем я следую в общих чертах описанию развития правописания в публикации Швели (Šwela 1903, 1–22).
- ¹⁶ Это первая печатная грамматика нижнелужицкого языка. Существует, правда, более ранняя рукописная грамматика на латинском языке из-под пера Й. Хойнана (J[oh]an[nes] Chojnan[us]) 1650 г. (ср. Hórník 1876 и частичное ее издание: Schuster-Sewc 1967, 318–358). Поскольку грамматика существовала только в рукописном виде, она не могла создать традицию.

- ¹⁷ Хауптманн, впрочем, был обязан немецкой традиции в большей степени, чем Фабрициус, так как вновь ввел удвоение согласных букв и употребление *h* после гласных для различения (фонетически) «кратких» и «долгих» гласных. Кроме того, он писал существительные с прописной буквы. Возможно, что его большая зависимость от немецкой традиции объясняется тем, что грамматика написана по-немецки.
- ¹⁸ Объяснения самого Фрыца к правописанию, данные в предисловии к Старому Завету, перепечатаны в работе Шустера-Шевца (Schuster-Sewc 1967, 407–410).
- ¹⁹ Особенно замечательно введение специального триграфа *sch* для обозначения **r* после *p* и *k* перед задним гласным (кроме *βch* для *š* и *sch* для *ś*), потому что **r* не переходит в шипящий во всех наречиях.
- ²⁰ Немногочисленные другие публикации, употребляющие готический шрифт, неоднородны. Литургия употребляет *w*- вместо *h*- и не различает *ó* и *o* (Dolnoserbska liturgija 1991). Статьи в нижнелужицком приложении *Serske łopjeno* к рекламной газете *Der Märkische Bote* написаны согласно правилам Тешнаря.
- ²¹ Кроме того, словарь Цвара переиздавался в 1989 г.
- ²² Важнее здесь не прямое влияние: Я. А. Смолер (J. A. Smoler, ср. Kunze 1995), правописание которого во многих отношениях определило дальнейшее развитие ниже- и верхнелужицкой орфографии, ссылаясь во многом на Брониша. Смолер первым употреблял аналогичное правописание *avant la lettre* в сборнике (верхне- и ниже-)лужицких песен (Haupt/ Smoler 1841–43) и особенно для нижнелужицкого языка в публикации басен Федра, переведенных К. Ф. Штемпелем (K. F. Stempel, ср. Stempel 1854). См. о контактах Брониша со Смолером: Pohončowa 2007, 73–74.
- ²³ Заслуживает внимания то, что существует и противоположное решение, а именно случай последовательного употребления акцента (*smužkowanje*), которое применено в публикации эпической басни *Pšerada markgrofy Gera* (Kosyk 1881). Кажется, что это сделано по просьбе самого автора М. Косыка (М. Kosyk). В примечании редактор (Горник) выразил свое недовольство подобной орфографией и опять высказался в пользу последовательного применения йотации, ссылаясь при этом на необходимость сближения верхне- и нижнелужицкого языков. Пример Косыка не нашел, насколько мне известно, прямых подражателей.
- ²⁴ При этом не имело значения, что таким образом одна фонема передавалась двумя различными способами (*š/s* и *ř*). Подобный случай наблюдается (по крайней мере, в современном верхнелужицком литературном языке) при *č* и *ć*.

- ²⁵ В готической традиции эти две случая различались, так как здесь писали по произношению, а не по аналогии.
- ²⁶ Дополнительно надо указать на то, что смягчение происходит только там, где комбинация **r* + *передний гласный* является исконной. Этим объясняются мнимопротиворечивые случаи типа *kšej* и *kšěš*, *pšejc* и *pšecej*.
- ²⁷ В данном случае можно условно говорить о «единонижнелужицкости» (*jadnakodolnoserbskosć*).
- ²⁸ Именно в данном случае кодификация является наиболее нестабильной. Горник потребовал, чтобы *ó* сохранилось также в безударном слоге, но для него это было чисто графическим правилом, независимым от реального произношения. (Такое странное правило объясняется принципом аналогического правописания.) Мука последовательно отказался от *ó* при переходе ударения на другой слог. Швели снова приблизился к кодификации Горника, но указал при этом на реальное произношение в наречиях: поэтому это уже не чисто графическое правило (Šwela 1903). Мука тогда согласился с предложением Швели, как явствует из примечания к тексту Швели. (Надо сказать, что написания в самой статье не соответствуют правилам: очевидно, новое правило введено в последний момент и не оставалось времени подправить статью по новым правилам). Эта кодификация лежала в основе грамматики Швели (Schwela 1906). Позднее Мука еще раз изменил свою позицию насчет написания *ó* после перемещения ударения: в словаре (Muka 1911–1928) *ó* сохраняется после предлогов и в словосочетаниях и переводится в *o* после приставок (кроме *nej*-).
- ²⁹ Историю реформы описывает Rohončowa 2000. Одновременно возник спор о том, являются ли верхнелужицкий и нижнелужицкий языки на самом деле двумя языками. Крайняя позиция потребовала один литературный язык для всех лужичан (в таком случае это мог быть только верхнелужицкий). Такое предложение можно уже найти у А. Френцеля (A. Frenzel) в начале XVIII в. (ср. Muka 1881, 74).
- ³⁰ Неясно, насколько эти стремления к сближению или соединению поддерживались государственными и партийными учреждениями или даже исходили от них. Существует мнение, что немецкая сторона высказалась за единый (обще)лужицкий язык (из-за экономических или политических соображений?), но тому нет доказательств. Поэтому более правдоподобно предположить, что это был прежде всего внутрилужицкий спор.
- ³¹ Большую часть требований можно уже найти у Горника (Hórník 1880). Даже аргументация частично совпадает. У Горника «сближение» обоих

- языков должно быть двусторонним процессом, но и его предложения асимметричны, потому что нижнелужицкий уподобляется больше верхнелужицкому, чем наоборот.
- ³² Решение только подтвердило уже существующую ситуацию, как это видно из формулировки (ср. Pohončowa 2000, 20). Позже другая комиссия потребовала дальнейших перемен, которые приблизили бы нижнелужицкий язык к верхнелужицкому еще больше, но эти требования отклонились третьей комиссией (ср. Pohončowa 2000, 20–21).
- ³³ Кажется, что вначале реформа предусматривала как раз обратную перемену: второе издание грамматики Швели 1906 г. (Schwela 1906) употребляет почти последовательно *smužkowanje* (Šwela 1952, VIII). Таким образом, победила бы система Косыка (ср. прим. 23).
- ³⁴ Даже эту реформу можно понимать как приближение к верхнелужицкому, потому что правила для употребления *ó* различны в обоих языках. Через реформу уменьшилась возможность верхнелужицкой интерференции у верхних лужичан, изучающих нижнелужицкий язык.
- ³⁵ В грамматике П. Янаша пишется, что *ó* исключалось только в качестве буквы, т. е. без влияния на произношение (Janaš 1976, 37–38). Но это не везде так: Староста описывает «буквальное» произношение как «наддиалектальную, литературную норму» (Starosta 1991, 23). Позднее он отказался от этой позиции (ср. Starosta 1998, 111–112).
- ³⁶ Правила, действующие сегодня, указаны Старостой в специальной работе (Starosta 1991; ср. отрицательную оценку Х. Фаски в публикации: Faska 2007, 10–12). Они являются основой для орфографии словаря (правда, с многочисленными исключениями и непоследовательными написаниями).
- ³⁷ Издание воспроизводит текст параллельно на швабах (по правилам Тешнаря, хотя с большим употреблением «немых букв», и в области *ó* — по словарю Муки) и в аналогическом вариантах (по действующим правилам). Параллельное воспроизведение встретилось со всеобщим признанием, но применение действующих правил в аналогическом варианте вызвало дискуссию в печати, что привело к возвращению к старой орфографии. Обычно указывают при этом только на написание *w-/h-*, т. е. на пункт 2. Особенно возмущает критиков то, что центральное слово христианской веры, *humožnik* ‘Спас’, будто бы фальсифицировано написанием *wumožnik*.
- ³⁸ Примером функционирования обеих традиций является М. Косык. Его произведения раннего времени написаны немецким шрифтом и соответствующим правописанием. Уже потом, под влиянием верхнелужицких деятелей культуры (особенно Горника и Муки), он перешел на аналого-

чешскую систему. Переход этот хорошо виден в его рукописях Вербаньского времени (Kosyk 1993–94). (Так как рукописи часто служили оригиналом для набора в аналогическом правописании, в текстах иногда находятся указания для наборщика рукою А. Муки — как надо транскрибировать текст). В эпистолярном наследстве письмо зависит от адресата: родителям Косык всегда писал немецким курсивным шрифтом.

³⁹ Примером опять-таки может служить творчество Косыка. Значительное число его текстов напечатано несколько раз, и употребление шрифта каждый раз зависело от установок газеты, журнала или календаря. Существуют даже гибридные публикации: в первом издании собрания стихотворений (Kosyk 1929–30) употребляется латинский шрифт для надписей и швабахский — для текстов.

⁴⁰ Здесь можно указать на тот факт, что подобная перемена в чешском языке в XIX в. также вызвала упорное сопротивление со стороны населения, хотя здесь переход не был таким радикальным: чешская швабахская традиция уже употребляла диакритику во всех случаях, кроме *š*, для которого писалось *ff* (ср. Galmiche 2001, 191–216).

⁴¹ К сожалению, я не располагаю надежными данными, потому что переписи населения в ГДР не предусматривали вопросов о родном языке или вообще о языковом состоянии. Можно здесь только указать на исследование А. Муки с конца XIX в. и А. Черника с середины XX в. (Muka 1884; Černík 1956 и 1956a). Положение, характерное для конца прошлого века, отражено частично в публикациях: Norberg 1996 и Jodlbauer, Spiess, Steenwijk 2001. Но даже эти данные доказывают, что число носителей нижнелужицкого языка уменьшилось намного больше и быстрее, чем у верхних лужичан. Кроме того, известно, что, в отличие от верхнелужицкого языка, в Нижней Лужице практически нет людей моложе 50 лет, для которых нижнелужицкий язык является родным. Даже воспитатели и преподаватели в программе WITAJ не являются истинными носителями языка, а усваивают необходимые знания на интенсивных курсах.

⁴² Само собой разумеется, что причиной упадка не является исключительно (и даже не в первую очередь) языковая политика в области орфографии. В чисто языковом отношении к такому развитию приводили также языковой пуризм со стигматизацией непуристических диалектов и разговорной лексики, «орфографическая» орфоэпия, употребляемая в школе, на радио и в публичных выступлениях, а также верхнелужицкое влияние через носителей этого языка, работающих в Нижней Лужице без достаточной языковой подготовки. Кроме того, лужицкие организации скомпрометировали себя безропотной поддержкой государственной и партийной политики в области коллективизации и в отношении атеизма

(а также языковой политики) даже там, где такая политика отрицательно влияла на язык (ср. Pech 1999).

- ⁴³ Сторонники реформы указывают на сегодняшний языковой узус (ср. Bartels 2007, 4–6), но, кажется, что они не обратили должного внимания на традицию прежних кодификаций.

ЛИТЕРАТУРА

- Дуличенко 1981 — А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. (Вопросы формирования и развития)*. Таллин, 1981.
- Дуличенко 1989 — А. Д. Дуличенко. *Типологические параллели к истории формирования и развития серболужицких литературных языков. Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. Сборник научных трудов*. Москва, 1989, с. 24–36.
- Исаченко 1958 — А. И. Исаченко. [Ответ на вопрос] *Какова специфика литературного двуязычия в истории славянских языков?* Сборник ответов на вопросы по языкознанию (к IV Международному съезду славистов). Москва, 1958, с. 23–28.
- Шустер-Шевц 1989 — Г. Шустер-Шевц. *Возникновение современного верхнелужицкого литературного языка в XIX в. и проблема влияния чешской модели*. Формирование и функционирование серболужицких литературных языков и диалектов. Сборник научных трудов. Москва, 1989, с. 4–23.
- Bartels 2007 — H. Bartels. *Ein kleiner Strich mit großen Folgen – zur «ó»-Schreibung im Niedersorbischen*. Nowy Casnik 54, № 6, s. 4–6.
- Černik 1956 — A. Černik. *Statistika serbskeje ludnosće w dwurěčnych kónčinach Łužicow 1955/ 56*. Budyšin, 1956 (печат.: SKA Ms. XVII-14 A).
- Černik 1956a — A. Černik. *Statistiske překladki wosobow ze znajomosću serbsčiny w dwurěčnych kónčinach Łužicow po wokrjesach a wobwodach*. Budyšin, 1956 (печат.: SKA Ms. XVII-14 B).
- Coseriu 1952 — E. Coseriu. *Sistema, norma y habla*. Montevideo, 1952.
- Dolnoserbska liturgija 1991 — *Dolnoserbska liturgija*. Budyšin, 1999.
- Fabricius 1706 — G. Fabricius. *D. Martin Luthers sel. Kleiner Catechismus nebst einem Christlichen Glaubens-Bekäntnüs [...] und einer Kurtzen Anleitung zum Wahren Christenthum [...]*. Cottbus, 1706.
- Faska 2003 — H. Faska. *Džěl a knjež! – Aktualne problemy Serbow a serbskeje rěče w Delnjej Łužicy*. E. Wrocławsk, J. Zieniukowa (ред.). *Języki*

- mnjejszości i języki regionalne*. (Języki na pograniczach. 24). Warszawa, 2003, s. 173–183.
- Faska 2007 — H. Faska. *Pismik ó w delnjoserbščinje*. Serbska šula 60, Budyšin, № 1, s. 10–12.
- Galmiche 2001 — Galmiche. *Romaine contre gothique: aspects culturels des options alphabétiques et typographiques dans les Pays tchèques au XIXe siècle*. Slavica Occitania, Toulouse, t. 12, p. 191–216.
- Geskojc 1995 — A. Geskojc. *Wěcej tolerantnosći!* Rozhlad 45, Budyšin, s. 435–438.
- Haupt/ Smoler 1841-1843 — L. Haupt, J. A. Smoler. *Volkslieder der Sorben in der Ober- und Niederlausitz*. Grimma, 1841–1843.
- Hauptmann 1761 — J. G. Hauptmann. *Nieder-Lausitzsche Wendische Grammatica Das ist Möglichste Anweisung zur Erlernung der Nieder-Lausitzschen Wendischen Sprache*. Lübben, 1761.
- Hórnik 1862 — M. Hórnik. *Wo „ó“ w delnjoserbščinje*. Časopis Mačicy Serbskeje [= ČMS] 15, s. 111–113.
- Hórnik 1868 — M. Hórnik. *Delnjołužiska pokazka w nětčišim porjedženym prawopisu*. ČMS 21, s. 117–121.
- Hórnik 1869 — M. Hórnik. *W kotrej podryči pisaše Tharæus w lěće 1610?* ČMS 22, s. 108–119.
- Hórnik 1870 — M. Hórnik. *Ryč a prawopis Michała Frencela před runje 200 lětami*. ČMS 23, s. 56–57.
- Hórnik 1876 — M. Hórnik. *Jan Chojnan, jeho rukopis a delnjoserbske słowa w nim*. ČMS 29, s. 21–49.
- Hórnik 1880 — M. Hórnik. *Wutworjenje našeje spisowneje rěče a jeje zbliženje z delnjoserbskej*. ČMS 33, s. 155–164.
- Janaš 1976 — P. Janaš. *Niedersorbische Grammatik für den Gebrauch der sorbischen erweiterten Oberschule*. Bautzen, 1976.
- Jodlbauer/ Spiess/ Steenwijk 2001 — R. Jodlbauer, G. Spiess, H. Steenwijk. *Die aktuelle Situation der niedersorbischen Sprache. Ergebnisse einer soziolinguistischen Untersuchung der Jahre 1993–1995*. (Schriften des Sorbischen Instituts. 27). Bautzen, 2001.
- Kosyk 1881 — M. Kósyk. *Pšerada markgrofy Gera*. ČMS 34, s. 90–113.
- Kosyk 1929-30 — M. Kósyk. *Pěšnje*. I–II. (Knihownja dom a swět. 14–15. Zgromožone spisy Mata Kósyka. 3–4). Budyšin, 1929–1930.
- Kosyk 1993-94 — M. Kosyk. *Rukopise*. I–III. Altenburg 1993–1994.
- Kunze 1995 — P. Kunze. *Jan Arnošt Smoler: ein Leben für sein Volk*. (Schriften des Sorbischen Instituts. 10). Bautzen, 1995.
- Michałk 1980 — F. Michałk. *Jurij Hawštyn Swětlik a serbska spisowna rěč za katolikow*. Lětopis A 27, Budyšin, № 1, s. 10–25.

- Moller 1959 — A. Moller. *Niedersorbisches Gesangbuch und Katechismus*. Berlin, 1959.
- Mucke 1891 — K. E. Mucke. *Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache*. (Preisschriften der Fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft. 28. Historisch-nationalökonomische Section. 18). Leipzig, 1891.
- Muka 1881 — E. Muka. *Frenceliana. Druhi džěl*. ČMS 34, s. 69–78.
- Muka 1884 — E. Muka. *Delnjołužiske Serbowstwo w lěće 1880. Statistika Serbow*. ČMS 37, s. 1–159.
- Muka 1911–28 — A. Muka. *Słownik dolnosěrbskeje rěcy a jeje narěcow*. I–III. Petrograd; Praha, 1911–1928.
- Norberg 1996 — M. Norberg. *Sprachwechselprozeß in der Niederlausitz. Soziolinguistische Fallstudie der deutsch-sorbischen Gemeinde Drachhausen/Hochoza*. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Slavica Upsaliensia. 37). Uppsala, 1996.
- Pech 1999 — E. Pech. *Die Sorbenpolitik der DDR 1949–1970. Anspruch und Wirklichkeit*. (Schriften des Sorbischen Instituts. 21). Bautzen, 1999.
- Pernak 1998 — M. Pernak. *Jan Bjedrich Tešnař (1829–1898). Z jogo žywjjenja a žěła*. Barliń, 1998.
- Pohončowa 2000 — A. Pohončowa. *Procowanje wo pšibliženje gorno- a dolnosěrbskego pšawopisa po lěše 1945*. Lětopis 47 (IX), Budyšin, № 1, s. 3–21.
- Pohončowa 2007 — A. Pohončowa. *Kito Wilhelm Broniš (1788–1881) — pózabyty dolnosěrbski rěcywědnik*. Lětopis 54 (XVI), Budyšin, № 2, s. 65–89.
- Röseberg 1930 — K. Röseberg. *Leben und Wirken Michael Frentzels, Übersetzers des Neuen Testaments in das Wendische (Obersorbische)*. Dresden, 1930.
- Sauerwein 1877 — G. J. J. Sauerwein. *Serbske stucky*. ČMS 30, Budyšin, s. 73–88.
- Schröpfer 1968 — J. Schröpfer. *Hussens Traktat «Orthographia Bohemica». Die Herkunft des diakritischen Systems in der Schreibung slavischer Sprachen und die älteste zusammenhängende Beschreibung slavischer Laute*. (Slavistische Studienbücher. 4). Wiesbaden, 1968.
- Schuster-Šewc 1958 — H. Schuster-Šewc. *Vergleichende historische Lautlehre der Sprache des Albin Moller. Ein Beitrag zur Geschichte der niedersorbischen Sprache*. (DAW. Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik. 15). Berlin, 1958.
- Schuster-Šewc 1967 — Schuster-Šewc. *Sorbische Sprachdenkmäler. 16.–18. Jahrhundert*. (Schriften des Instituts für sorbische Volksforschung. 32). Bautzen, 1967.

- Schuster-Šewc 1967a — H. Schuster-Šewc (Hrsg.) *Das niedersorbische Testament des Miklawuš Jakubica 1548*. (DAW. Veröffentlichungen des Instituts für Slawistik. 47). Berlin, 1967.
- Schwela 1906 — G. Schwela. *Lehrbuch der Niederwendischen Sprache. Erster Teil: Grammatik*. Heidelberg, 1906.
- Starosta 1991 — M. Starosta. *Niedersorbisch schnell und intensiv 1. Lehrbuch für Fortgeschrittene und sorabistisch Interessierte*. Bautzen, 1991.
- Starosta 1998 — M. Starosta. *Pismik ó w dolnoserbsčínje*. Serbska šula, Budyšin, № 6, s. 111–112.
- Starosta 1999 — M. Starosta. *Dolnoserbsko-nimski słownik/ Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch*. Bautzen, 1999.
- Starosta/ Spiess 1994 — M. Starosta, G. Spiess. *Zasady a směrnice žělabnosći dolnoserbskeje rěčneje komisije*. Rozhlad 44, Budyšin, s. 421–423.
- Stempel 1854 — K. F. Stempel. *Faerdrusowe Basnicki z latyšskej do serbskej rěcy dolojnych Łužycow přeložone*. Budyšin, 1854.
- Šwela 1903 — G. Šwela. *Dolnoserbski pšawopis*. Budyšin, 1903.
- Šwela 1952 — B. Šwela. *Grammatik der niedersorbischen Sprache*. 2. Auflage, bearbeitet und herausgegeben von F. Mětšk. Bautzen, 1952.
- Tharaeus 1990 — A. Tharaeus. *Enchiridon Vandalicum. Ein niedersorbisches Sprachdenkmal aus dem Jahre 1610*. Bautzen, 1990.
- Ticinus 1985 — J. X. Ticinus. *Principia linguae wendicæ quam aliqui wandalicam vocant*. Bautzen, 1985.
- Zwahr 1847 — J. G. Zwahr. *Niederlausitz-wendisch-deutsches Handwörterbuch*. Spremberg, 1847.

Ortograafia kodifitseerimine ja reformid mikrokeeltes (alamsorbi keele näitel)

Roland Marti

Mikrokeelte kodifitseerimine, eriti kui nende üle domineerivad teised keeled, on vähem stabiilne ja enam muudatustele allutatud kui suurte keelte kodifitseerimine. Üldse pörkab iga ortograafiareform tugevale vastuseisule, mikrokeelte puhul aga võib niisugune vastuseis kutsuda keeles esile muutusi ja seada löögi alla keele kui niisuguse eksisteerimise. Selle näiteks on alamsorbi keel. See keel oli ja jääb domineeriva saksa keele ja ülemsorbi keele mõju alla. Enne Teist maailmasõda oli kasutusel kaks ortograafiat: saksa-slaavi segaortograafia fraktuuri (gooti trükikirjaliigi) põhjal ja slaavi ortograafia antiikva alusel (nn analoogiline õigekiri). Nende ortograafiate arengutendents liikus mõlema traditsiooni harmoneeru-

mise suunas. Pärast Teist maailmasõda katkestati fraktuuri kasutamise traditsioon ja alamsorbi ortograafia lähendati ülemsorbi omale. See protsess mõjutas mitte ainult ortograafiat, vaid ka ortoeepiat ja üldse kogu keelt, mistõttu paljud seda emakeelena kõnelejad käsitasid sel moel reformitud standardkeelt kui võõrast. Pärast seda läbi viidud ortograafiareformid olid edukad vaid osaliselt, kuna nad ei arvestanud küllaldasel määral traditsiooni.

Михаил Капраль / Káprály Mihály
Nyíregyháza

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ПОДКАРПАТЬЕ 1938–1944 гг.

Литературно-языковая ситуация в Подкарпатской Руси – «венгерский период» – основные лингвистические стратегии – усиление позиций (карпато)русинского литературного языка

Развитие русинского литературного языка на протяжении последних трех столетий было сопряжено с жизнью и деятельностью Мукачевской грекокатолической епархии. В конце XVIII – начале XIX вв. во времена епископа Андрея Бачинского в Подкарпатье достаточно отчетливо сформировались три стиля русинского литературного языка (Капраль 1999, 284–290); здесь же корни так называемого «язычия», языкового субстрата, который в дальнейшем выполнял функции литературного языка и в котором изначально преобладали элементы церковнославянского языка различных изводов, с привнесением некоторых особенностей тогдашнего великорусского языка и местных наречий (зачастую западнорусинских). Именно различное количественное соотношение этих языковых пластов и особенности их взаимосмешения определяло в основном все формы литературного языка русин на протяжении всего XIX и первой половины XX вв. Направление этого развития диктовалось прежде всего демократизацией, т. е. приближением норм литературного языка к живой разговорной речи русин. Наряду с этим естественным направлением воздействия на процесс языкового строительства у русин весьма заметное влияние оказывали иные факторы.

К середине тридцатых годов XX столетия оформились три языковых течения, которые условно можно обозначить как русофильское, украинофильское и собственно русинское. Не было единства среди русинского населения и в национальном вопросе. Буквально до прихода в Подкарпатье в октябре 1944 года красноармейцев большая часть русин идентифицировала себя частью единого «руського» народа. Последний феномен во многом объясняет, с одной стороны, доминирование русофилов в культурной жизни края на протяжении предшествующего столетия, с другой стороны, прохладное отношение местной духовной элиты к апологетам украинства, которые с начала XX столетия неоднократно наведывались из соседней Галиции. В глазах подкарпатских «руських» первой половины прошлого века сторонники украинской идеи представляли дестабилизирующим элементом, способным расколоть дотоле единое, по их мнению, тело восточного славянства.

Сторонники разных ориентаций составляли два противоборствующих общественных объединения: русофилов объединяло общество имени Александра Духновича, украинофилов — «Просвита». Языковая ориентация разделяла и учителей Подкарпатской Руси соответственно на русофильский и украинофильский лагеря, сторонники которых также в конечном итоге группировались вокруг организаций «Учительское Товарищество» (с 1921 г.) и «Учительська Громада», которая объединила вышедших из дотоле единой учительской организации в мае 1929 г. сторонников украинской идеи. Сторонники той или иной ориентации по-разному были представлены в общественной жизни края. Если в политической сфере (благодаря партийным лидерам Андрею Бродию и Степану Фенцику) доминировали русофилы, то украинофилы в силу сложившейся изначально практике школьного строительства (с 1919 г. научным и методическим обеспечением в крае занимались прежде всего эмигранты, а руководил процессом известный украинский ученый Иван Панькевич)¹ к концу 30-ых годов, хотя и не доминировали, но занимали значительные позиции в учительской среде. Сторонники русинской культурной ориентации формировались прежде всего вокруг духовенства Мукачевской греко-католической епархии.

В отличие от русофилов, имеющих богатые традиции и достаточно четкий ориентир (русский литературный язык) и достигших на данный период максимального приближения к стандартным нормам русского литературного языка, сторонники украинофильского и особенно русинского лагерей сталкивались с проблемами идентификации языковых норм. Так, литературной формой украинского литературного языка, точнее одной из его территориальных вариантов (западноукраинской или центрально-восточноукраинской), владели преимущественно эмигранты. В свою очередь, у сторонников русинской ориентации (использование в качестве литературного языка местных говоров) были свои сложности, связанные как с проблемами расширения аудитории (в середине 30-ых гг. доминировали их конкуренты из русофильского и украинофильского лагерей), так и с собственно языковыми вопросами. В условиях весьма заметно различающихся нескольких диалектов, отсутствия при этом их естественного смешения, поскольку русины не составляли сколько-нибудь значительного количества жителей ни в одном из местных городов, процесс выработки единой языковой нормы для всех русин не был завершен естественным путем в первой трети XX в. С другой стороны, разделение русинской интеллигенции на два противоборствующих — лагеря русофилов и украинофилов привело в конечном итоге к тому, что в своей языковой политике обе группировки пришли к одинаковым решениям: использованию в качестве литературного языка в своей практике соответственно (велико)русского и (западно)украинского литературных языков². Процесс формирования отдельного восточнославянского языка сознательно и целеустремленно начал формироваться только в середине 30-ых гг. XX столетия.

Организирующей и направляющей силой в этом процессе выступило греко-католическое духовенство. В первом номере еженедельника «Недѣля» 6 октября 1935 года в передовице «Розвиваємо» предлагается «отстранити всѣ недорозумѣння и споры меже русинами».

Идеологи русинского направления предполагали, что сумеют примирить два враждебных лагеря — русофилов и украинофилов на базе альтернативной «объединяющей» теории отдельности русинского сообщества.

«Мы честуеме пересвѣдченъе кождою чоловѣка. Мы высоко цѣниме культурну силу так великорусского як и украинского народа, мы в почести держиме их справедливѣ національнѣ цѣли и стремленья, але притом не хочеме забыти о своем... Зато рѣшили мы сю нашу новинку выдати и писати на чисто народном языкецѣ».

В условиях Чехословакии такого объединения не произошло, традиции протистояния враждебных лагерей к концу 30-ых гг. XX столетия достигли стабильных и резко антагонистических форм.

* * *

10 ноября 1938 г. важнейшие города Ужгород и Мукачево вместе со значительной частью юго-западной территории чехословацкой автономии Подкарпатская Русь³ были возвращены в состав Венгерского государства. Спустя менее полугода, 15 марта 1939 г., и вся оставшаяся часть края оказалась в составе Венгрии. В предшествующий двадцатилетний чехословацкий период наряду с государственным чешским языком в крае функционировало несколько форм литературного языка, обслуживающего культурные запросы местного русинского населения, которое и составляло большинство.

Культурная жизнь местного подкарпатского населения материализовались прежде всего на страницах периодических изданий. Обострившаяся, в связи с распадом Чехословацкой республики, борьба сторонников различной культурной ориентации весьма заметна именно в этой области общественной жизни Подкарпатья. В период обретения автономии края в противоборстве с официальной Прагой особенно усердствовали русофильские издания. Газеты Андрея Бродия «Русскій Вѣстникъ» и Степана Фенцика «Наш Путь» нередко выходили с большими белыми пятнами, остающимися после вмешательства цензуры, а после замены на посту первого премьер-министра автономии Андрея Бродия на Августина Волошина, который представлял в крае соперничающий с русофилами украинофильский лагерь, последний и вовсе запретил выход русофильской периодики.

Ожесточенное противостояние продолжалось и после перемещения столицы из Праги в Будапешт. Интересно, что одним из первых распоряжений новых властей осенью 1938 г. был документ, также непосредственно относящийся к местной журналистике. Уже через

три дня после I Венского арбитража 5 ноября 1938 г., на котором было принято решение о переходе части Подкарпатской Руси в состав Венгрии (за неделю до вступления венгерских войск в Ужгород!), газета Степана Фенцика «Нашъ Путь» опубликовала весьма важное решение новых властей:

«Недавнее распоряженіе карпаторусскаго правительства о закрытіи всѣхъ русскихъ газетъ, сегодняшнимъ днемъ отмѣняется. Одновременно запрещается изданіе всѣхъ чешскихъ и украинскихъ газетъ в Ужгородѣ, Мукачевѣ и Береговѣ. Русскія и мадьярскія газеты съ сегодняшняго дня на основаніи этого распоряженія не подлежатъ цензурѣ. Ужгородъ, 4 XI. 1938. Съ повѣренія Мадьярскаго Національнаго Совѣта П. Бернатъ».

В общественной жизни края и, в частности, ее языковой составляющей произошли значительные изменения.

В составе Венгерского государства Подкарпатье обрело статус особой территории, глава которой назначался непосредственно Миклошем Хорти, и был подотчетным только ему и премьер-министру государства. Наиболее острые и актуальные для местной интеллигенции вопросы, связанные с языковой ориентацией периодики края и местных органов государственной власти, Венгрия решила явно с учетом былых ошибок в языковой политике периода до 1918 г. Впервые в истории края приоритет получил *русинский* (resp. *угро-русский*) язык (ср. венг. *magyarorosz*). В середине 1939 г., с началом возобновления гражданского самоуправления в крае, власти окончательно утвердили двуязычие. В государственном законе 6200/ 1939 было записано однозначно:

«На подкарпатской территории государственными официальными языками являются венгерский и угрорусский»⁴.

Знаменательным в языковом отношении выглядит официальный еженедельник «Kárpátaljai Közlöny/ Подкарпатский Вѣстник. Hivatalas Lap/ Урядовый Лист», первый номер которого появился 30 июля 1939 г. Полоса еженедельника была поделена посередине: слева текст на венгерском, справа аналогичный на русинском языке, ср., например, «Вступное слово» регентского комиссара барона Зигмунда Перени:

«Коли «Подкарпатский Вѣстник», як окремѣшньи урядовый орган подкарпатской области, выпускаю на двох языках, але зато в побожном благоговѣннї в одну цѣлость злученою душою, просѣм: мадяре и русины, Всемогучого Бога, най поблагословить землю и народ послѣ двадцятилѣтнего страдания вернувшейся к М. Св. Коронѣ подкарпатской территорїѣ. Най благословить их обома руками. Най подасть Всемогучий, чтобы из столбов сего урядового листа, из его мертвых букв, повстав спокойный и благодатный живот. Най найде многострадаальный, вѣрный народ подкарпатской области в знамени свободы, соціальной справедливости и культурного поднесения дорогу до лѣпшой будущности!».

В составе администрации регентского комиссара был учрежден специальный отдел переводов. Помимо административного управления, русинский язык использовался в различных сферах жизни края. Этнические венгры из государственных учреждений проходили специальную языковую подготовку⁵. В срочном порядке изготавливались бланки школьной, банковской, почтовой и т. п. документации⁶. Составлялись новые вывески на учреждениях, ср., например: «Угорскій Народный Банкъ. Мункачевское Отдѣленіе», «Подкарпатська Земледѣльска Комора», наименования населенных пунктов в расписании поездов, на почтовых штемпелях и т. д. также дублировались, ср., «Huszt/ Хустъ», «Körösmező/ Ясина», «Rákos/ Ракошинъ», «Szerednye/ Середное»⁷ и т. п.

На первом этапе (1939–1940) особую роль в проведении в жизнь языковой политики Венгерского государства в Подкарпатье сыграл греко-католический священник Юлий Марина, который руководил отделом образования и культа в администрации края. Надо полагать, руководствуясь личными языковыми предпочтениями, он способствовал тому, что язык русинских изданий в 1939–40-х гг. был весьма близок к языку изданий русофилов⁸. Именно чиновник о. Юлий Марина возглавил коллектив авторов, который в начале 1940 г. Издает официально одобренное регентским комиссариатом под ч. 8888/ 1940 учебное пособие (Грамматика 1940). Сохраняя предшествующие языковые традиции в целом⁸, авторы вместе с тем пытались насытить русинский литературный язык местными языковыми формами. В частности, отметим использование в нем глагольных форм *читаеме, несеме; обробляе, буде, росте*; местоимений или их

форм *дакто*, *дакотрый*, *ктось*, *мене*, *менѣ*; форм звательного падежа имен существительных; форм числительного *двѣста*, *третее*; суффикса *-иск-* со значением уничижительности, ср. *ручиско*, *хлопчиско*; префикса *най-* (*най-бѣлѣйшій*) и т. д.

Следует отметить, что на практике эти немногочисленные официально кодифицированные местные языковые элементы не особо удалили русинский литературный язык от норм великорусского литературного языка, который использовался в крае⁹. Подобная форма русинского литературного языка в качестве второго государственного на территории Подкарпатья просуществовала вплоть до сентября 1941 г.¹⁰.

В новых государственных реалиях венгерский язык, естественно, использовался практически во всех сферах жизни, новое дыхание получила местная венгерская пресса. В этот период в крае выходило более десяти периодических изданий, ср., напр.: «*Kárpáti Híradó*», «*Kárpáti Magyar Hírlap*», «*Natárszéli Hírlap*», «*Az Őslakó*» и др.

На фоне запрета украиноязычных изданий русофильские газеты экс-премьера Подкарпатской Руси Андрея Бродия «Русский Вѣстникъ» и другого «автономиста» Степана Фенцика «Карпаторусский голосъ» сохранились, более того, в первый год венгерской власти (особенно до введения цензуры осенью 1939 г.) чувствовали себя весьма комфортно. В первые два года второго венгерского периода сторонники использования в качестве литературного языка русского (или же языка, приближенного к нему) развили заметную активность. В 1939 г. яркий представитель русофильского лагеря Георгий Геровский издает учебник (Геровский 1939). В пространным предисловии к учебнику (Предисловіе къ учителю, I–VI) автор предлагает учителям использовать «правильную грамматическую рѣчь» (т. е. следовать великорусским языковым нормам), ибо, по его мнению,

«...невозможно, чтобы грамматика излагала сельскую рѣчь <...>. Русский народъ на Карпатской Руси сохраняетъ въ каждой мѣстности свой природный русскій говоръ. Но ради образованія, чтенія книгъ и умственного развитія, ради національной культуры, а также для легкаго и удобнаго сообщенія съ русскими людьми изъ другихъ концовъ Карпатской Руси и для бесѣды съ образованными инородцами нашъ сельскій народъ долженъ знать и грамматическій языкъ. Знаніе

грамматического (литературного) языка должна дать нашему селянину школа путём правильного обученія школьных дѣтей».

Не вдаваясь в подробный языковой анализ учебника, отмечу некоторые его фрагменты: «О, как жаль мнѣ за братомъ! (с.7); *Зябнетъ голубка. Бѣдуетъ синичка. Добрыя дѣтки сыплютъ имъ каши (с.71); Подѣте домой! Про что?»* и под.

На русском языке в крае продолжали до 1943 г. выходить преимущественно коллективные сборники местных авторов¹¹, отдельные издания¹², русофильские газеты, например, Степана Фенцика «Карпаторусскій Голось» (сначала ежедневно с 7 ноября 1938 г. на смену предыдущему изданию «Нашъ Путь», а в годы войны дважды в неделю до октября 1944 г.). Ежедневную газету «Русская Правда», которая стала выходить на смену предыдущей «Русскій Вѣстник», в сентября 1939 г. начал издавать более умеренный политик Андрей Бродий. Через год ей на смену дважды в неделю до конца октября 1944 г. выходило «Русское Слово». Русофильские издания в крае печатались на языке с сохранением графики и орфографии до реформы 1918–1918 гг. Наряду с этим своеобразными маркерами «местной» редакции русского языка были и определенные стилистические особенности, вызванные влиянием местной полифоничной языковой среды, и использование изданиями Андрея Бродия (впрочем, не всегда последовательно) инфинитивных глагольных форм на *-ти* (*воевати, вѣрити, умѣти* и т. д.) и союза *якъ*, на месте общелитературной формы *какъ*, ср., например: «*Въ отвѣтственные моменты исторіи надо умѣти сохранять выдержку, самообладаніе и не теряти голову; Бѣженцы изъ Польши еще постоянно переходять литовскую границу, среди нихъ много видныхъ лицъ, якъ примѣромъ воевода изъ Гродно и одинъ митрополитъ; ...и я ставлю ея цѣлью всенародное объединеніе всего угрорусскаго народа въ одно здоровое національное цѣлое...*» (Русская Правда, 22 сентября 1939 г.).

Менее внимательной к языковым вопросам было праворадикальное и значительно менее респектабельное и влиятельное издание Степана Фенцика. Нередко в тексте можно встретить не только стилистические погрешности, но и чуждые русской речи лексические единицы, ср., например: «*Въ майстровскомъ состязаніи на собственной площади УАЦ (название футбольной команды. — М. К.)*

рѣшительно побѣдилъ и тѣмъ приобрѣл 2 цѣнныхъ точки. ...противъ эвентуальной инвазіи англо-американцевъ» (Карпаторусскій Голосъ, 24 марта 1943 г.)¹³.

При всех богатых традициях и бесспорных достижениях, к тому же отсутствию главных конкурентов предшествующих двух десятилетий украинофилов, сторонникам использования литературного русского языка приходилось довольствоваться вторыми ролями, а с весны 1941 г. и вовсе смириться с решением венгерских властей признать в качестве литературного языка подкарпатских русин — русинский язык, практически лишенный элементов великорусского языка.

Прерогатива новыми властями была отдана «третьему» направлению, тем политическим, общественным и религиозным силам, которые, в противовес русофильскому и украинофильскому движениям, отстаивали собственную автономию, право использовать родной (на основе местных говоров) русинский язык, который наряду с другими факторами помогал бы формированию независимой, прежде всего в культурном отношении, русинской нации.

Второй этап в языковом строительстве в крае наступил с приходом на должность регентского комиссара Миклоша Козмы в сентябре 1940 г., с именем которого связаны значительные достижения в культурной жизни края. По инициативе и с помощью государственного чиновника было организовано «Подкарпатское Общество Наукъ» (ПОН), институция-прообраз национальной Академии наук, в рамках обширной деятельности которой состоялась своеобразная культурная революция. За три непростых военных года в рамках институции были изданы почти сотня книг, несколько томов научного журнала «Зоря/ Najnal», десятки номеров литературного двухнедельника «Литературна Недѣля», детского ежемесячного журнала «Руська Молодежь», каждый год многотысячными тиражами издавался популярный в народе календарь¹⁴.

Полноценному функционированию ПОН предшествовала еще одна языковая реформа в крае. Весной 1941 г. была издана грамматика Ивана Гарайды (Гарайда 1941), а 17-го августа того же года регентский комиссар распорядился об ее обязательном использовании в школьном преподавании и других сферах культурной и экономиче-

ской жизни Подкарпатья. Естественно, на новый язык с сентября 1941 г. перешли и редакции учительского журнала «Народна Школа», официального двуязычного еженедельника «Подкарпатский Вѣстник», ежемесячника «Благовѣстник», различные ежегодные календари, столь популярные особенно в крестьянской среде, и т. д.

Не вдаваясь в языковой анализ новой грамматики¹⁵, следует отметить прежде всего тот факт, что она фактически только узаконила языковую практику сторонников отдельного русинского литературного языка, которые еще с 1935 г. группировались вокруг редакции еженедельной массовой газеты «Недѣля». Во второй венгерский период именно прорусинская периодика всячески поддерживалось властями.

С января 1939 г. в крае выходил русинский еженедельник «Нова Недѣля», который продолжил традиции своей предшественницы газеты «Недѣля» 1935–1938 гг. издания. Традиции эти зиждились на использовании одной из двух ветвей развития русинского литературного языка, органично сформировавшегося на базе различных изводов церковнославянского языка и под влиянием местных говоров во второй половине XVIII – начале XIX вв., больше известного под названием «язычие», выполнявшего функции литературного языка без малого на протяжении всего XIX в. и в середине 90-х гг. Значительно демократизированного, т. е. приближенного по многим параметрам к особенностям местных говоров с минимальным сохранением отдельных традиционных языковых элементов (вторая ветвь привела к практически полному слиянию с великорусским литературным языком). Языковые традиции, закрепленные в начале XX в. грамматиками Августина Волошина, языковой практикой периодических изданий того периода, продолжали в чехословацкий период в основном издания Мукачевской грекокатолической епархии («Благовѣстник», «Душпастьрь», «Добрый Пастырь», а с 1935 г. — редакция газеты «Недѣля», да и в значительной степени издания до октября 1938 г. самого Августина Волошина, к тому времени одного из лидеров украинофильского движения в крае).

В текстах, написанных так называемым этимологическим правописанием (на месте исторического *о*, произносимого в большинстве местных говоров как *у* или *й*, писалась буква *о*), встречалось немало

языковых элементов различных уровней, сохранившихся со времен Андрея Бачинского и не встречающихся в составе основных говоров Подкарпаття (ср. союз *что*, формы имен в творительном падеже женского рода типа *брехнею, бородою, нею* и т. д.), ср., например:

«Украинцѣ плачуть, что утратили независиму волошиновску краину ‘Карпатську Украину’, де им было так красно пановати за 5 мѣсяцев, что про то панство николи забыти не можуть... Та правда, правда — красно то было! Батькови украинцѣв Волошину, сему малому епигону великих политичных концепцій удалося сѣсти на коня, де его посадили каламутнѣ воды самых каламутнѣйших политичных обставин середньоевропейских, а уже настала золота ‘вікраїнська шльєбода’ на бывалой Подкарп. Руси <...>».

О своем отношении к языковому вопросу ведущий орган края высказывался неоднократно, ср., например:

«Из огляду языкового ‘Недѣлѣ’ заставаеся за права нашого домашнього народного языка (малоруського нарѣчія) с рѣшучим откинемь нашому народу чужой и ненавидженой украинщины. Кедь нашѣ братья Лемки можуть мати свою новинку и своѣ книжки выданѣ на своем домашном нарѣчію а так само розвивати можуть свое нарѣчіе и нашѣ братья Сотаки, то и нашому руському народу на Подкарпатах належиться право природное, чтобы мог мати свою новинку и своѣ книжки выданѣ на том языкѣ, котрый сей народ считае своим, и котрому розумѣе найлѣпше. Словом: Подкарпатскому Русинowi дае-ме литературу кождоденну на его языкѣ... Розумѣеся: что сим против руського литературного языка не ставимеся и против него не боре-месе, а признаеме его права в середных школах и высше, там, де того потребуе загальна высша интеллигенція, до котроѣ науковое образования середных и высших школ стремиться»¹⁶.

На подобном языке с 5 ноября 1939 до 20 июля 1941 гг. издавалась сначала газета «Карпатска Недѣля. Орган мадярьско-руського братерства»¹⁷, а после кодификации русинского литературного языка на базе грамматики Ивана Гарайды издание выходило до середины октября 1944 г. под старым названием «Недѣля». Языком грамматики Ивана Гарайды выходили в крае и остальные периодические и отдельные издания, велось делопроизводство. На практике языковая политика, особенно в изданиях Подкарпатского Общества Наук, где публиковались в большинстве своем украинофилы, проводилась

весьма либерально и, по большей части, формально. Декларируя приверженность локальным ценностям, грамматика Гарайды во многом ориентировался на языковые традиции. Даже в тех случаях, когда во всех основных диалектах использовались одинаковые формы, в ней кодифицированы старые книжные языковые элементы, например, на месте окончания творительного падежа *-ов*, предлагается использовать книжное *-ою* и т. д. Кодификаторы 40-ых гг. не смогли порвать с традиционными представлениями о литературном языке, которые доминировали в крае на протяжении последнего столетия до них. Не смея отказать в праве на собственное видение решения данного вопроса академику Антонию Годинке, редактор «Карпатска Недѣля» лишь снабжает замечательные тексты, написанные живым народным языком, сноской: «На желаня автора сообщаеме из оригинальным правописом»¹⁸.

На качестве языка изданий тех лет, безусловно, сказывались военные трудности — в крае и без того всегда ощущалась острая нехватка редакторских работников. Только этим можно объяснить слабость публикаций газеты «Недѣля», которая на практике не всегда следовала собственным программным заявлениям. Особенно грешили удаленностью от народного языка художественные публикации в газете второй половины периода Второй мировой войны. Нередко те же авторы-украинофилы (а они составляли в создавшейся ситуации большинство на страницах русинских изданий) следовали лишь графическим и орфографическим нормам русинского языка и вполне сознательно не обращали внимания на лексику сочинений. В сочинениях наиболее плодovitого (и, наверное, одного из наиболее талантливых) местного автора научно-популярных и художественных текстов того времени Федора Потушняка можно встретить многие диковинные для местных крестьян слова: вместо обычных для «простаков» *хыжа*, *шваблики*, *шкатулка*, *глядать* автор использует, надо полагать, более высокие в его понимании *хата*, *сѣрники*, *коробка*, *шукае* и т. п. Следуя за грамматикой Гарайды, Федор Потушняк использует не свойственные местным жителям книжные формы местоимений *онь*, *что* и под., встречающиеся только в периферийных диалектах слова типа *мовъ*, *такожъ*, союза *але*¹⁹ и т. п. (Пасѣчникъ 1944).

К особенностям русинских текстов первой половины XX столетия следует отнести и то, что авторы весьма упорно и сознательно уходили от использования народных языковых элементов. Зачастую интуитивно принимая и признавая в качестве «своих» славянские языковые элементы (преимущественно из языков восточных соседей), авторы в силу пробелов в собственном образовании не всегда правильно могли использовать их, к тому же затрудняли при этом доступ к собственным текстам «простых» читателей. О том, что подобный подход был сознательным, свидетельствует практически полное отсутствие мажаризмов в письменном языке тех лет. Лишь сознательным избирательным поведением самих авторов, как правило владеющих венгерским лучше, чем русским или украинским (что заметно часто на синтаксическом уровне), можно объяснить подобное явление, ибо народный язык на всей территории края весьма интенсивно использует до сегодняшнего дня различные венгерские языковые элементы. Несколько парадоксальным выглядит то, что русинские «пуриτανствующие» авторы до середины XX в. избегали венгерских, чужих, на их взгляд, элементов, в то же время не всегда могли адекватно сориентироваться во всех тонкостях украинского или русского литературного языка.

В целом при всех достижениях в культурной сфере Подкарпатья времен Второй мировой войны очередная попытка русинской интеллигенции кодифицировать русинский литературный язык не была завершенной и не стала окончательной как по причине непродолжительного существования благодатного политического строя, так и по причине скорого вхождения в состав СССР, где русинская тематика на протяжении последующих двух поколений была почти стерта из общественного сознания.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ По мнению сторонников противоборствующего лагеря, такая политика чешских властей проводилась сознательно, ср., например, высказывание известного в крае историка о. Иринейя Кондратовича: «Найсмутнѣйшим было то, что велика часть нашей интеллигенції не спостерегла, что она е

только середником чешской политики «*divide et impera*», коли откинувши свой власный материнский язык, ступала за екстремами» (Контратович 1941, 7).

- ² После русофилов к использованию привнесенных извне языковых норм пришли периодические издания украинофилов в период, когда руководство чехословацкой автономии (к тому времени активные сторонники украинофильского направления) переместилось в Хуст (ноябрь 1938 – март 1939 гг.). На собственно украинском языке (правописанием на основе фонетического принципа) вышел сдвоенный (за январь-февраль 1939 г.) номер «Благовістника» под редакцией о. С. Сабола, там же выходила газета «Нова Свобода». Судя по языку изданий, их материалы явно редактировались заезжими специалистами. Для местных изданий тех лет подобная практика была обычным явлением. В изданиях Андрея Бродия активно участвовал инкогнито, например, Е. Недзельский, в газетах Стефана Фенцика под сокращением «Ред. ком.» скрывался Н. Левицкий. Оба белоэмигранта, по причине настороженного отношения к ним властей, не фигурировали в выходных данных русофильских газет.
- ³ В данном случае речь идет о территории, которая практически соответствует нынешним административно-территориальным границам Закарпатской области Украины. Эти земли местные газеты того периода преимущественно называли «Подкарпатье», «Подкарпатска територія» (ср. венг. *Kárpátaljai terület*), или «Угорская Русь».
- ⁴ См.: Botlik 2005, 9.
- ⁵ В срочном порядке было подготовлено учебное пособие в виде разговорника, ср. *Magyarország... 1939*.
- ⁶ Об интенсивности и серьезности этого процесса в условиях нехватки полиграфической базы на месте свидетельствует и тот факт, что многие официальные бланки и формы (например, почтовые, банковские, школьные табеля и т. д.) печатались в Будапеште. Язык этих печатных форм часто приближался к великорусскому, ср., например, фрагмент рекламного текста на обратной стороне почтового чека: «Чековий обороть Почт. Сберегательной Кассы: Безопасный, ибо владѣлец счета освобождается отъ неудобствъ и опасностей манипуляціи грошми, счета и обмѣны грошей, и въ случаѣ надобности въ теченіи трехъ лѣтъ можетъ получить удостовѣреніе...». У нас в семейном архиве находится «Студійное извѣщеніе» (школьный табель в высококачественной полиграфически исполненной тисненной обложке с выходными данными «Кор. Вен. Университетска Типографія Будапешт»), выписанный на имя ученицы гражданской школы подкарпатской глубинки (с. Калник нынешнего Мукачевского района) Марии Шкоба уже 10 июля 1939 г., т. е. на десятый день работы гражданской администрации в крае.

⁷ См.: Botlik 2005, 10–14.

⁸ Характерным для местной элиты было убеждение в том, что литературный язык (resp. господский язык) не может быть приближен к живому языку окрестных сел. Подобное отношения к разговорной речи одного из законодателей местных языковых предпочтений Михаила Лучкая, который в своей грамматике 1830 г. прямо об этом заявляет, оказалось актуальным во многом до середины XX в. Призыв наиболее известного в научном мире первой половины XX в. ученого из русин, академика Венгерской АН Антония Годинки, который сам использовал и пропагандировал воздвижение народного языка на уровень литературного еще с 20-ых гг. прошлого века, оказался практически не услышанным вплоть до 90-ых гг. XX в., периода возрождения русинского национального движения.

⁹ Ср., например, фрагмент публикации самого Юлия Марины в учительском органе «Народна Школа», который начал выходить ежемесячно в январе 1940 г.: «Вѣрною правдою является, что исторія повторяется. Исторія угрорусского народа, а въ томъ числѣ и угрорусского учительства 15-го марта 1939 года повторилася. Угрорусскій народъ и его учительство вернулись въ 1000-лѣтніе свои рамки, въ рамки Короны Св. Стефана. Для водворенія порядка, въ томъ числѣ и школьного, в нашемъ Краю вступило въ силу военное управленіе. Послѣ тяжелой работы сего управленія школьное дѣло и школьное управленіе 1-го іюля 1939 г. Перешло въ руки Школьного Отдѣленія Регентского Комиссаріата Карпатского Края...» (Марина 1940).

¹⁰ На этом языке была издана целая серия школьных учебников, см.: Первый цвѣтъ дѣтской мудрости. Для 1. кл. народной школы. Изданіе Регентского Комиссаріата въ Унгварѣ. Унгварь, 1939; Другое изданіе, 1940, 112 с.; Другій цвѣтъ дѣтской мудрости. Для II. класса народной школы. Изданіе Регентского Комиссаріата въ Унгварѣ. Унгварь: Типографія оо. Василіанъ въ Унгварѣ (Szent Bazil Rend könyvnyomdája Ungvárott), 1939, 120 с.; Третій цвѣтъ дѣтской мудрости. Для III–IV. класса народной школы. Изданіе Регентского Комиссаріата въ Унгварѣ. Унгварь, 1939, 176 с.; Четвертый цвѣтъ дѣтской мудрости. Для V–VI класса народной школы. Изданіе Регентского Комиссаріата въ Унгварѣ. Унгварь, 1939, 264 с.; Пятый цвѣтъ дѣтской мудрости. Для VII–VIII класса народной школы. Изданіе Регентского Комиссаріата въ Унгварѣ. Унгварь, 1939, 248 с. [140×200 мм].

¹¹ Огоньки. Художественный сборникъ, составленный группой писателей. Изданіе Комитета Р. О. Краснаго Креста. За изданіе отвѣчаетъ: О. С. Лосіевская. Ужгородъ, 1940; 12. Сборникъ молодыхъ угрорусскихъ поэтовъ. Подъ редакціей ГИК-а. Ужгородъ, 1940; Будеть день. Сборникъ хустской литературной школы подъ редакціей ГИК-а. Хусть, 1941; Ша-

ги. Альманах мукач. лит. школы. За издание отвѣчает: Е. Данкулинец. Обложку и иллюстрації пригот. худ.: А. Петер. Мукачево, 1941; Наканунѣ. Сборникъ стиховъ и прозы Ужгородской литературной школы. Ужгородъ, 1941; Литературный Альманахъ. Матеріаль собралъ и проредактировалъ: И. Г. Керча. Обложка И. Ромбергъ. Унгварь-Ужгородъ, 1943.

- ¹² См., например: Ю. Русакъ. Прогулки (разказы). Ужгородъ, 1941; Й. Ивановъ. Съ полетомъ дней. Ужгородъ, 1941; И. А. Сильвай (Уріиль Метеоръ). Собрание сочиненій. Книга первая. Ужгородъ, 1941; И. Комлошій. Въ корчмѣ. Весела сцена въ одномъ дѣйствіи. Унгварь-Ужгородъ, 1942; П. Линтуръ. Угро-русскія коляды. Ужгородъ, 1942; А. А. Митракъ. Избранныя сочиненія. Стихи и проза. Унгварь-Ужгородъ, 1942; А. И. Павловичъ. Избранныя сочиненія. Стихи и проза. Унгварь-Ужгородъ, 1942; П. Проданъ. Яблоня (избранныя стихотворенія). Ужгородъ, 1942; И. Горянинъ. Страна простака. Стихи. Унгварь-Ужгородъ, 1942; Д. В. Лазарь, В. В. Діяничъ, Г.Ю. Качій. Тройка. Стихи. Унгварь-Ужгородъ, 1942; Г. Карпатскій. Жива ясин . Стихи. Унгварь-Ужгородъ, 1943; В. Боржавинъ. Горы и доля. Стихи. Унгварь-Ужгородъ, 1943 и т. д.

- ¹³ Подробнее о русофильских газетах тех лет, см.: Káprály 2001, 60–67; Káprály 2003, 121–131.

- ¹⁴ О «Подкарпатскомъ Обществѣ Наукъ» и его изданиях см. Капраль 2002.

- ¹⁵ О языке грамматики подробнее: Дзендзелівський 1998, 144–167.

- ¹⁶ Нова Недѣля, 9 апрѣля 1939 г.

- ¹⁷ См. Капраль 2006, 233–247.

- ¹⁸ Карпатска Недѣля, 21 януара 1940 г.

- ¹⁹ Характерно, что этих слов нет в наиболее полном и качественном современном русинском словаре, см. Керча 2007.

ЛИТЕРАТУРА

Гарайда 1941 — И. Гарайда. *Грамматика руського языка*. Выдана Подкарпатского Общества Наукъ. Унгварь: Книгопечатня Юлія Фельдешія, 1941, 143 с.

Геровскій 1939 — Г. Геровскій. *Русская грамматика для народныхъ школъ. Часть I. Для второго года обученія*. Унгварь-Ужгородъ: Школьная помощь, 1939, VI, 72 с.

Грамматика угорорусского языка для середнихъ учебныхъ заведеній. Изданіе Регентского Комиссарского Управленія въ Унгварѣ. Унгварь, 1940, 114 с.

- Дзендзелівський 1998 — Й. О. Дзендзелівський. *Гарайда як філолог*. Acta Hungarica 1996–1997, VII–VIII роки видання, Ужгород/ Дебрецен, 1998, с. 144–167.
- Капраль 1999 — М. Капраль. *Издания Иоанна Кутки в истории русинского литературного языка*. Studia Russica, Budapest, 1999, XVII, с. 284–290.
- Капраль 2002 — М. Капраль. *Подкарпатское Общество Наук. Публикации. 1941–1944*. Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyháziensia, Nyiregyháza, 2002, вып. 10, 172 с.
- Капраль 2006 — М. Капраль. *Карпаторусинські мас-медіа 1938–1944 гг.: новинка «Карпатська Неділя»*. Carpatho-Rusyns and their Neighbors. Essays in Honor of Paul Robert Magocsi. Eds. B. Horbal, P. A. Krafcik, E. Rusinko. Fairfax: Eastern Christian Publications, 2006, p. 233–247.
- Керча 2007 — И. Керча. *Русинско-русский словарь. В двух томах, свыше 58000 слов*. Т. I. А–Н; т. II. О–Я. Ужгород: ПоліПрінт, 2007, 608 с.; 608 с.
- Контратович 1941 — И. Контратович. *Чи треба заосновати на Подкарпатю Наукове Товариство?* Карпатска Неділя, 2 фебруаря 1941, с. 7.
- Марина 1941 — Ю. Марина. *Къ культурнымъ работникамъ родного края*. Народна Школа, 1939/ 40, № 1, Унгварь, 1941, с. 1.
- Пасъчникъ 1944 — Ф. Пасъчникъ. *Бабина смерть*. Неділя, 17 септембра 1944, с. 3.
- Botlik 2005 — J. Botlik. *Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján II. A Magyarországhoz történő visszatérés után 1939–1945*. Dimensiones Culturales et Urbanales Regni Hungariae, Nyiregyháza, 2005, t. 9, 445 old.
- Káprály 2001 — М. Káprály. *Русскоязычная периодика Венгрии: газеты Андрея Бродия (1938–1944)*. Studia Russica XIX. Budapest, 2001, с. 60–67.
- Káprály 2003 — М. Káprály. *Русскоязычная периодика Венгрии: «Карпаторусский Голосъ»*. Slavica Szegediensia, Szeged, 2003, с. 121–131.
- Magyarorosz nyelvgyakorló könyv*. Kiadja: A Kárpátaljai terület Kormányzói biztosi Hivatal Tanügyi osztálya. Ungvár, 1939, 205 old.

Keelesituatsioon Podkarpatska Rus'is 1938.–1944. aastatel Mihály Káprály

Artiklis uuritakse keelepoliitika eellugu ja eripära valdavalt russiini elanikkonnaga piirkonnas selle ala teistkordselt Ungari koosseisu kuulumise perioodil. Seda lühikest ajalõiku iseloomustab keelekorraldusprotsesside ebaharilik rikkalikkus

ja intensiivsus. Tunduvad muudatused tegi läbi XX sajandi kolmekümnendate aastate kesksajaks väljakujunenud keelepilt, kui moodustus kolm ühiskondlike jõudude voolu: russofiilne, ukrainofiilne ja russiinimeelne. Pärast Ungari armee ja Ukraina kasakate otsest sõjalist vastasseisu 1939. aasta märtsis langesid ukrainofiilse orientatsiooni pooldajad tagakiusamise alla, ukraina keel keelati; tunduvalt kaotasid oma mõju piirkonna ühiskondlikus ja kultuurielus domineerinud russofiilid. Ungari võimud andsid oma eelistuse seni kõige nõrgema leeri arendamisele ja täiustamisele, russiini etnose identiteedi arengu pooldajatele. Märgatavaid pingutusi tehti russiini iseseisva kirjakeele arendamiseks, mis tipnesid 1941. aasta alguses rahvusakadeemia eelkäija, Podkarpatská Rus'i teadusühingu rajamisega ja russiini kirjakeele kodifitseerimisega selle institutsiooni direktorikorraldaja Ivan Harajda grammatika põhjal. Vaatamata kõigile saavutustele Podkarpatska Rus'i kultuurisfääris Teise maailmasõja ajal jäi russiini haritlaskonna järjekordne katse kodifitseerida russiini kirjakeel lõpule viimata, nii soodsa poliitilise korra lühiajalisuse tõttu kui ka peatse lülitumise tõttu NSV Liidu koosseisu, kus russiini temaatika järgneva kahe põlvkonna jooksul pühiti ühiskonna teadvusest peaaegu jäljetult.

*Славянское языкознание: покидая XX век...
К XIV Международному съезду славистов.
Охрид, 10–16.09.2008.
(Slavica Tartuensia VIII). Tartu, 2008*

Artur Czesak

Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków

**SYTUACJA JĘZYKOWO-POLITYCZNA
ETNOLEKTÓW GÓRNOŚLĄSKIEGO I PODHALAŃSKIEGO
WŚRÓD (OBOK)
SŁOWIAŃSKICH MIKROJĘZYKÓW LITERACKICH**

Językoznawstwo slawistyczne – słowiańskie języki literackie – etnolekty górnośląski i podhalański w Polsce – próba stworzenia mikrojęzyków literackich

W polskich publikacjach minionego trzydziestolecia obserwuje się i opisuje postępującą dekompozycję, wycofywanie się dialektów i ich integrację z językiem ogólnym. Obok tych procesów zachodzą jednak i inne, na które patrzeć należy z perspektywy «postdialektologicznej»: przechodzenie dialektów (wiejskich) do miast i nowych warstw społecznych, rozwój literatury pisanej kodami dotychczas niemal wyłącznie mówionymi, wchodzenie «gwar» w nowe role i gatunki tekstów, a wśród ich użytkowników: powrót do mowy dzieciństwa, odradzanie się tożsamości regionalnych i próby ich zorganizowanego odbudowywania, a nawet procesy paralelne do narodotwórczego fermentu w Słowiańszczyźnie roku 1848.

Tematem sporu w polskiej publicystyce językowej i językoznawstwie od ponad stu lat była «kwestia kaszubska». Z mniejszym lub większym natężeniem przedmiotem sporu propagandowego, mniej zaś ściśle językoznawczego był status mowy Ślązaków, Mazurów i Górali (Podhalan). Antagonistami Polaków byli Niemcy, a polemiki nasilały się w związku z plebiscytami na temat przynależności państwowej po Pierwszej Wojnie Światowej (Górny Śląsk, Warmia, Mazury) i w czasie drugiej wojny światowej (wtedy nacyści wyodrębnili *Goralenvolk*).

Język kaszubski na mocy Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r. ma w Rzeczypospolitej Polskiej status języka regionalnego. Tym samym uznano, iż nie jest on dialektem języka polskiego¹, choć w podręcznikach i pracach popularyzatorskich często wciąż się pisze o «gwarach kaszubskich» (np. Foland-Kugler 2006, 107), a kaszubski materiał leksykalny ujmowany jest w *Słowniku gwar polskich* PAN.

Spółeczność mazurska została rozproszona w wyniku ucieczki z Prus Wschodnich przed nadciągającą Armią Czerwoną, powojennych wysiedleń (lokalnymi decyzjami uznawani za Niemców, wbrew oficjalnej linii propagandowej), i kolejnych powojennych fal emigracji do Niemiec. Próby mazurskiej literatury były nieliczne i rozproszone, w starciu z XX-wiecznymi totalitaryzmami nie było szans na swobodną ekspresję literacką i językową. Obecnie zaś brak już potencjału demograficznego dla zaistnienia języka mazurskiego (Hentschel 2002; Obitz 2007 [1937]).

Pozostaje zatem obserwacja wyraźnie wyróżniających się systemów językowych, przez niejęzykoznawców często określanych mianem języków, mianowicie (górn)śląskiego i góralskiego (podhalańskiego).

Niniejszy tekst jest próbą zarysowania socjolingwistycznej sytuacji etnolektów góralskiego i górnośląskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Republice Czeskiej i Republice Słowackiej wobec języków dominujących, państwowych, urzędowych, a także próbą analizy porównawczej stanu i perspektyw obu etnolektów i stosunku do nich ich użytkowników. Zastrzec bowiem należy, iż wciąż adekwatne jest określenie śląskiego i podhalańskiego jako słowiańskich mikrojęzyków literackich *in statu nascendi* (por. Czesak 2006).

Należy rozważyć, w jaki sposób owe etnolekty mogłyby być prezentowane w typologii języków *Microslavii* (por. Дуличенко 2003).

Metodą obiektywizującego przedstawienia sfer używania dialektów/języków śląskiego i podhalańskiego jest zastosowanie kryteriów przyjętych do opisu słowiańskich mikrojęzyków literackich (Дуличенко 1998).

1. Liczba użytkowników

Brak wiarygodnych danych dotyczących liczby mówiących po śląsku i podhalańsku. Podczas spisu powszechnego śląski jako język używany w domu podało 56.643 osób, przy czym nie ma informacji, jaki procent

tych deklaracji złożyły osoby jednocześnie deklarujące śląską narodowość (było ich 173.153; Nijakowski 2006, 152). Szacunki dotyczące liczebności ludności śląskiej wahają się między 1,5 a 3 mln (z uwzględnieniem emigrantów głównie w Niemczech). Głównym wyznacznikiem trwania przy śląskiej kulturze jest język².

Podhalan jest być może ok. 100 tys. szerzej pojmowanych Górali (ludności odmiennej kulturowo || wpływ kolonizacji wołoskiej) może być od 300 do 700 tys. (z uwzględnieniem diaspory w Stanach Zjednoczonych i ludności góralskiej w Republice Czeskiej i w Republice Słowackiej)³.

2. Przekonania etnogenetyczne i potoczne sądy o języku

W niniejszym opisie należy zwrócić uwagę, że istotniejsze od niedobrze zresztą upowszechnianych danych naukowych na temat historii osadnictwa i faktycznego składu etnicznego są potoczne, powszechne przekonania: na Śląsku głównie o mieszanym typie kultury, skomponowanym z elementów niemieckich, polskich i morawskich (czeskich), będącym syntezą słowiańskiego ducha i niemieckiego porządku, krainy «myślącego rozumu i kochającego serca» (Nossol 2007, 172, trawestując A. Gryphusa) i mieszanej genezie języka postrzeganego przez pryzmat leksyki (Kleszcz 2001, 37). O mowie Górali jako pogranicznej polsko-słowackiej pisano już w XIX w.⁴, współcześnie potocznie często uchodzi ona za osobny język, choć wśród użytkowników z centrum Polski — w przeciwieństwie do mowy Ślązaków — nie towarzyszy jej podejrzenie o separatyzm.

W naukowych opracowaniach owe potocznie postrzegane odmienności są uznawane za niewiele znaczące, w narodowocentrycznym ujęciu obie grupy stoją na tym samym (niższym) poziomie, kwalifikowane jako grupy etnograficzne narodu polskiego. Co do języka zaś, na plan pierwszy wybija się zdanie, że dialekt śląski nie posiada żadnych cech istotnie odróżniających go od innych polskich dialektów, Podhale zaś jest częścią dialektu małopolskiego, wyróżniającą się tylko tzw. archaizmem podhalańskim i specyficznym słownictwem.

Niemniej jednak silniejsze jest potoczne przekonanie o poważnych trudnościach w komunikacji, co potęguje wrażenie odrębności językowej rodowitych mieszkańców Górnego Śląska i Podhala. Swoją rolę odgrywa

też «lokalna polityka językowa»: nauczyciele pochodzący spoza regionu, zwłaszcza w l. 60.–70. XX w., uważali za słuszne «tępienie» dialektu. Praktyki dyskryminacyjne były specyficznym potwierdzeniem psychologicznej bariery między polskim językiem standardowym a «polskimi gwarami» Górnego Śląska i Podhala.

3. Kontakty językowe

Do końca pierwszej wojny światowej zarówno Górny Śląsk, jak i Podhale były sferami licznych kontaktów językowych.

Tablica № 1

język region	polski stand.	niemiecki	węgierski	słowacki	rusiński	morawski	czeski	jidysz	romski	ukraiński
Podhale 1914	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	–	–	(+)	(+)	–
Podhale 2008	+	–	–	(+)	–	–	–	–	(+)	–
Górny Śląsk 1914	(+)	+	–	(+) ⁵	–	(+)	(+)	–	–	–
Górny Śląsk 2008	+	(+)	–	(+)	–	(+)	(+)	–	(+)	(+)

(+) oznacza, że kontakty dotyczyły części terytorium, były ograniczone czasowo i środowiskowo.

Na Górnym Śląsku bilingwizm polsko-niemiecki do 1914 r. był zjawiskiem bardzo częstym, jego skala zmniejszyła się na terytorium, które weszło w skład Polski (1922–1939), w czasie wojny (G. Śląsk włączony do Rzeszy) publiczne używanie niemieckiego wzrosło, ponieważ było wymuszane administracyjnie. Po 1945 r. z kolei zakazywano używania języka niemieckiego (szykany dotyczyły także ludności śląskiej nie znającej polszczyzny standardowej), *gros* jego użytkowników uciekło lub zostało wysiedlonych, nie uczono go w szkołach. Współcześnie tylko najstarsze pokolenie (urodzeni przed 1943 r.) na Śląsku zna język niemiecki.

Sfery kontaktu z językami czeskim, morawskim i słowackim to regiony pograniczne i mieszane, kilka miejscowości w okolicach Raciborza i część dawnego Księstwa Cieszyńskiego.

Na Podhalu sytuacja w stosunku do czasów przynależności Galicji do monarchii austro-węgierskiej zmieniła się radykalnie. Zanikły kontakty handlowe, zmieniły się kierunki migracji zarobkowej; zamknięcie granic, wycofanie się fali madziaryzacyjnej z sąsiednich Spisza i Orawy, przyłączenie części ww. krain do Polski, wysiedlenie Niemców ze Spisza i Sądecczyzny, wysiedlenie Rusinów ze wschodniego sąsiedztwa Podhala, zagłada Żydów — wszystko to spowodowało znaczną zmianę sytuacji językowej. O ile aktywna wielojęzyczność mogła nie być zjawiskiem powszechnym, o tyle zanik polifonicznego językowo *milieu* i ofensywa polszczyzny ogólnej nie mogły nie wpłynąć na sytuację mowy Podhalań.

Podsumowując, w omawianych regionach sytuacja językowa w ciągu XX w. uległa radykalnym zmianom.

4. Ewentualne miejsce w klasyfikacji

a. W klasyfikacji słowiańskich mikrojęzyków literackich (omawiane etnolekty są słowiańskie, niewielkie i tworzona jest w nich literatura) zarówno język śląski, jak i język podhalański⁶ zaliczyć by można do peryferyjnych (regionalnych, autochtonicznych). Geograficznie przylegają do swojego etnojęzykowego rdzenia, to jest do najbliższego dużego narodu słowiańskiego i jego języka, z którym łączą je więzi genetyczne, lecz ich odrębność przejawia się na poziomie kulturowo-językowym (kultura, której tworzywem są lokalne gwary i dialekty). Jest to grupa najmniej znormalizowana (w porównaniu z autonomicznymi, wyspowymi i peryferyjno-wyspowymi słowiańskimi mikrojęzykami literackimi). Z powodu posługiwania się przez pisarzy przede wszystkim rodzimymi gwarami i dialektami, mogą być nazywane polinormatywnymi językami literackimi (powyższy opis za Дуличенко 2006, 33).

b. W klasyfikacji europejskich języków «mniej używanych» (*lesser used languages*) omawiane etnolekty w pełni odpowiadają kryteriom, według których wyróżnia się języki regionalne:

«— są blisko spokrewnione genetycznie z językiem większości swojego terytorium/ państwa;

- pod względem historycznym rozwijały się z nim wspólnie przez dłuższy okres⁷;
- u ich użytkowników nie ma wykształconego poczucia odrębności narodowościowej⁸, jest za to silne poczucie odrębności etnicznej i/lub regionalnej;
- charakteryzują się stosunkowo dużym zróżnicowaniem dialektalnym na swoim terytorium;
- przedstawiają sobą często typ języka, zwany <...> ‘dialect cluster’ lub ‘L-complex’ (za Ch. Hockettem i A. F. Majewiczem — *A. C.*);
- brak ujednoliconego standardu lub normy literackiej; ewentualnie norma taka nie jest dostatecznie upowszechniona;
- istnienie bogatej, często bardzo dawnej tradycji literackiej⁹;
- stosunkowo niski prestiż społeczny języka, często niższy niż w przeszłości;
- wewnętrzny, często paradoksalny opór przeciwko ‘byciu mniejszością’ w rozumieniu mniejszości narodowej» (Wicherkiewicz 2003, 76–77).

5. Sfery publicznego funkcjonowania mowy Ślązaków i Górali

Piśmiennictwo podhalańskie i śląskie przedstawione zostało panoramicznie, choć skrótowo w naszej poprzedniej tartuskiej publikacji (Czesak 2006, 364–370). Obecnie należałoby podjąć próbę ujęcia nieco bardziej uogólniającego, które pozwoli na porównanie sytuacji etnolektów górnośląskiego i podhalańskiego z pozycją słowiańskich mikrojęzyków literackich opisywanych już w literaturze, szerzej znanych i uznawanych.

W stosunku do tabeli zaprezentowanej przez A. Duliczenkę (1998, 33), na której się wzoruję, proponuję uzupełnienie o nowy środek komunikacji, jakim jest Internet. Jest to medium tanie i «demokratyczne», może mniej prestiżowe niż np. miesięczniki literackie, lecz mogące dobrze służyć nie tylko rozwojowi kontaktów między użytkownikami mniejszościowych kodów językowych, lecz także proponowaniu i upowszechnianiu standardów kodyfikacyjnych.

W omawianych regionach religia odgrywa istotną rolę, dlatego też i w tej sferze warto pokazać dynamikę współczesnych działań na rzecz promocji języka wernakularnego zwłaszcza w Kościele Rzymskokatolickim.

Tablica № 2

			Śląsk «Katowicki»	Śląsk Opolski	Śląsk Cieszyński	Podhale
Literatura piękna	liryka opowiadanie powieść		+ + +	+ (+) ¹⁰ -	+ + -	+ + -
Środki masowego przekazu	czasopiśmiennictwo	dzienniki tygodniki inne	- (+) ¹¹ + ¹²	- (+) +	- (+) + ¹³	- (+) +
	radio telewizja		+ (+) ¹⁴	+ (-) ¹⁵	- (-)	(+) (-)
	Internet	fora dyskusyjne strony gmin Wikipedia	+ (+) +	(+) - -	+ - -	(-) - -
Edukacja	szkoły	podstawowa gimnazjum średnia	(-) (-) -	(-) (-) -	(-) (-) -	(-) (-) -
	klasy		-	-	-	-
	wszystkie przedmioty niektóre przedmioty ¹⁶ uniwersytet		- (-) -	- (-) -	- (-) -	- (-) -
Administracja			-	-	-	-
Nauka			(-)	-	(-)	-
Działalność gospodarcza			(-) ¹⁷	(-)	(-)	(-)
Życie religijne	Liturgia		-	-	-	-
	Kaznodziejstwo		(+)	-	-	(+)
	Pieśni przekład Biblii		- (+)	- -	- (-) ¹⁸	+ +
Teatr			(+) ¹⁹	(-) ²⁰	(+) ²¹	(+) ²²
Nazwy geograficzne			-	-	-	-
Korespondencja prywatna			+	+	+	+

W sferze publicznej i w sferze różnego rodzaju publikacji produkcja wciąż jest niewielka, można więc sformułować tezę, że śląski i podhalański są funkcjonalnie słabe (por. Дуличенко 1998, 32), przy czym Podhale w mniejszym stopniu korzysta z nowoczesnych mediów, przoduje zaś faktem dysponowania przekładem Nowego Testamentu.

6. Organizacje społeczne i działania polityczne w sprawie statusu prawnego «nowych» języków regionalnych

Główną sferą działań społecznych organizacji regionalnych: Związku Podhalań i Związku Górnośląskiego, jest folklor i promocja walorów historycznych i turystycznych regionów. Na Śląsku kulturę lokalną promują ponadto: Młodzież Górnośląska, Ruch Autonomii Śląska i organizacje mniejszości niemieckiej (DFK).

W ostatnich latach (2006–2008) działania na rzecz promocji własnych etnolektów na Górnym Śląsku nabrały większego tempa i rozmachu. Świadectwem tego jest wydanie w ciągu półtora roku trzech nowych, różnych, dość obszernych słowników (Czajkowski, Kallus, Rocznik).

Odnosić należy również powstanie dwu organizacji, których głównym celem są działania w dziedzinie historii języka, kultury języka, edukacji językowej i promocji używania śląskiego. Są to: Towarzystwo Kultuwowania i Promowania Śląskiej Mowy «Pro Loquela Silesiana» i Towarzystwo Piastowaniô Ślónskij Môwy «Danga».

Sukcesem i *sui generis* przełomem psychologicznym było pomyślnie zatwierdzenie wniosku m. in. A. Rocznika i T. Kamuselli o uzyskanie 18.07.2007 r. międzynarodowego kodu ISO 639-3 dla oznaczenia «języka śląskiego» (*szl* — od ang. *Szlonzokian*)²³. W ślad za tym poszła rezolucja grupy posłów, aby Sejm zmienił *Ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym* i uznał śląski za kolejny, obok kaszubskiego, język regionalny w Polsce. Z powodu skrócenia kadencji Sejmu i tzw. zasady dyskontynuacji odpowiedni projekt zmiany ustawy musi być wniesiony powtórnie. W ramach kroków ku temu zmierzających odbyła się 30.06.2008 r. w Katowicach konferencja o charakterze publicznej debaty pt. *Śląsko godka — jeszcze gwara czy jednak już język?* z udziałem przedstawicieli parlamentu, władz państwowych, pod egidą Uniwersytetu Śląskiego i Rady Języka Polskiego. W dyskusji wypowiedzieli się przedstawiciele rozmaitych środowisk. Prawdopodobnie

powstanie komisja kodyfikacyjna, zmierzająca do wypracowania szerzej akceptowanego standardu ortograficznego. Obecnie bowiem używa się ok. 10 sposobów zapisu, co stwarza wrażenie chaosu i uniemożliwia skoordynowane rozwijanie literatury, współcześnie reedycje klasyki itp., jak to było np. na Kaszubach po opracowaniu i zaakceptowaniu nowej pisowni.

Trudno orzec, jakie będzie zainteresowanie społeczne i czy wspólnotowa energia zostanie przetworzona w jakieś trwalsze dzieła.

Na Podhalu dynamika takich działań promocyjnych jest znacznie mniejsza. Obok amatorskiego słownika (Hodorowicz 2005) powstaje duży słownik naukowy (prof. J. Kąś). Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu włącza wiedzę o języku (gwarze) do programów studiów polonistycznych i euroregionalistycznych. Elity góralskie nie wydają się jednak zainteresowane rozszerzaniem zakresu używania gwary podhalańskiej. Z drugiej zaś strony wszelkie tego rodzaju idee skutecznie blokowane są w zarodku obawą bycia poświadczonym o separatyzm.

7. Podsumowanie

Jak widać, sytuacja śląskiego i podhalańskiego, mimo podobieństw na poziomie etnogenetycznym i kulturowym, jest różna, nie z powodu zewnętrznych ograniczeń, ale ze względu na stosunek do nich ich użytkowników.

Czy konstytuujące się mikrojęzyki literackie wygrają wojnę z czasem, czy uda się naraz przeprowadzić modernizację, standaryzację i rewitalizację w tych środowiskach, gdzie międzypokoleniowa więź przekazywania języka została mocno nadszarpnięta, jeśli nie zerwana? Obserwacja tych nowych zjawisk, mających jednak paralele w innych miejscach Słowiańszczyzny i Europy, z całą pewnością jest potrzebna. Ma ona wymiar naukowy, ale także i «ekologiczny».

PRZYPISY

- ¹ Art. 19. 1. «Za język regionalny w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, uważa się język, który:
1) jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywa-

teli, którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa; 2) różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka państwa, ani języków migrantów.

2. Językiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski <...>».

² «<...> tendencja do zachowania własnego języka jest jedną z cech kulturowych społeczności śląskiej, co różni ją od napływowych grup ludności. Wynika ona między innymi z silnie zakorzenionej świadomości własnej odrębności etnicznej ukształtowanej na pograniczu dwóch narodów, polskiego i niemieckiego, dwóch kultur i języków. W społeczności śląskiej gwara pełniła i nadal pełni nie tylko funkcję komunikatywną, właściwą językowi jako narzędziu komunikacji, ale również funkcję prezentatywną, ujawniającą przynależność grupową i odzwierciedlającą więź społeczną» (Wyderka 2003, 424)

³ Na podstawie konsultacji z M. Skawińskim, etnografem, badaczem społeczności góralskiej.

⁴ «Mowa Podhalań stojąc na przejściu języka polskiego do słowackiego, stanowi ogniwo pośrednie pomiędzy obydwojema, w którym polski język ma zwroty słowackie» (Zejszner 1852, 126).

⁵ Część Księstwa Cieszyńskiego, która po I wojnie światowej weszła w skład Czechosłowacji (obecnie w Republice Czeskiej), zwana z polskiej perspektywy Zaolziem, była i jest strefą kontaktów z językiem czeskim (w różnych odmianach, zob. Damborsky 1992; Bogocz 2003), morawskim (jeśli takowy istnieje, zob. Šustek 1998; Krčmová 2007) i słowackim.

⁶ Terminy wciąż o charakterze postulatywnym, dyskusyjnym, z różnych względów unikane przez użytkowników i twórców literatury.

⁷ W przypadku Śląska rozumienie tej wspólnoty jest problemem dyskusyjnym.

⁸ Na Górnym Śląsku być może mamy do czynienia z procesami narodotwórczymi.

⁹ Do śląskiej tradycji można by włączać utwory powstałe od XVII w. Literatura podhalańska ma nowszą (koniec XIX w.) i złożoną genezę (udział twórców spoza Podhala).

¹⁰ Najczęściej krótkie formy historyczne, proza wspomnieniowa itp.

¹¹ Felietonistyka, bardzo rzadko listy do redakcji, polemiki itp.

¹² Wyróżnia się miesięcznik *Ślůnsko Nacyjo*.

¹³ Zwłaszcza kalendarze regionalne o charakterze almanachów.

¹⁴ W audycjach Telewizji Polskiej, a od 2008 r. w nowo powstałej prywatnej TVS — Silesia.

¹⁵ Wypowiedzi rzadkie, zwykle w kontekście ludycznym, wykorzystanie w reklamie.

¹⁶ Obecność w szkole tzw. edukacji regionalnej pozwala na animowanie lokalnego języka.

- ¹⁷ Ograniczony zakres, np. karty dań w gastronomii, nazwy niektórych imprez i wyrobów regionalnych.
- ¹⁸ Długofalowy wpływ XVIII-wiecznego piśmiennictwa religijnego, ewangelickiego i katolickiego (polszczyzna z elementami regionalnymi).
- ¹⁹ Najpierw jako ludyczny element stylizacyjny w scenicznej adaptacji tłumaczenia powieści Janoscha Cholongek; w 2008 r. napisana po śląsku sztuka S. Mutza *Polterabend*.
- ²⁰ Nie wystawiono dramatu A. Bartylli-Blankego *Ród*.
- ²¹ Repertuar z I poł. XX w., np. sztuki W. Krzyszczaka (1886–1959).
- ²² Teatr amatorski, lecz z bogatym repertuarem, w tym adaptacjami klasyki komediowej (Molier, Fredro).
- ²³ http://www.sil.org/ISO639-3/cr_files/2006-106_szl.pdf

LITERATURA

- Bogocz 2003 — I. Bogocz. *Polszczyzna zaolziańska w kontekście gwarowym i czeskim*. Języki mniejszości i języki regionalne. Pod red. E. Wrocławskiej i J. Zieniukowej. Warszawa, s. 345–354.
- Czajkowski 2007 — A. Czajkowski. *Wielki słownik śląsko-angielsko-niemiecki*. Katowice, 2007.
- Czesak 2006 — A. Czesak. *Podhalański i śląski — mikrojęzyki literackie in statu nascendi?* Slavica Tartuensia VII: Славянские литературные микроязыки и языковые контакты. Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Международном Комитете славистов, Тарту, 15–17 сентября 2005 г. Под ред. А. Д. Дуличенко и С. Густавссона (при участии Дж. Данна). Тарту, 2006, с. 360–385.
- Damborsky 1992 — J. Damborsky. *Gwara czesko-cieszyńska*. Z badań porównawczych języków oraz dialektów słowiańskich i niesłowiańskich na ziemiach nadodrzańskich. Pod red. J. Brzezińskiego. Zielona Góra, s. 71–75.
- Дуличенко 1981 — А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки*. (Вопросы формирования и развития). Таллин, 1981.
- Дуличенко 1998 — А. Д. Дуличенко. *Языки малых этнических групп: статус, развитие, проблемы выживания*. Slavica Tartuensia IV: Языки малые и большие... In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1998, с. 26–36.
- Дуличенко 2003 — А. Д. Дуличенко. *Языки этнических меньшинств и языки региональные (региолекты): некоторые методологические аспек-*

- кты. Języki mniejszości i języki regionalne. Pod red. E. Wrocławskiej i J. Zieniukowej. Warszawa, s. 27–39.
- Дуличенко 2006 — А. Д. Дуличенко. *Современное славянское языкознание и славянские литературные микроязыки*. Slavica Tartuensia VII: Славянские литературные микроязыки и языковые контакты. Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Международном Комитете славистов, Тарту, 15–17 сентября 2005 г. Под ред. А. Д. Дуличенко и С. Густавссона (при участии Дж. Данна). Тарту, с. 22–46.
- Foland-Kugler 2006 — M. Foland-Kugler. *W gaju słów*. Warszawa, 2006.
- Hentschel 2002a — G. Hentschel. [a] *Masurisch*, [b] *Podhalisch*, [c] *Schlesisch*. Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens. Bd. 10: Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens. Klagenfurt, S. [a] 313–314, [b] 359–362, [c] 437–442 (<http://www.uni-klu.ac.at/eeo/>).
- Hentschel 2002b — G. Hentschel. *Czy mogą powstać śląski, kaszubski albo góralski język nieliteracki?* Język w przestrzeni społecznej. Red. nauk. S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk. Opole, s. 83–91.
- Hodorowicz 2005 — A. Hodorowicz. *Słownik gwary górali Skalnego Podhala*. Wyd. 2. Nowy Targ, 2005.
- Kallus 2007 — B. Kallus. *Słownik górnośląskiej godki. Słownik górnośląsko-ogólnopolski. Skrócony słownik ogólnopolsko-górnośląski. Nowa propozycja zapisu «szkryft ślōnski»*. Katowice, 2007.
- Kamusella 2005–2006 — T. Kamusella. *Schlonszka mowa. Język, Górny Śląsk i nacjonalizm/ The Schlonszokian Language. Language, Upper Silesia and Nationalism*. I–II. Zabrze, 2005–2006.
- Kleszcz 2001 — K. Kleszcz. *Unifikacja języka mieszkańców wsi okolic Brzegu na Śląsku Opolskim. Studium socjolingwistyczne*. Opole, 2001.
- Krčmová 2007 — M. Krčmová. *Existuje moravština? Přednášky a besedy ze XL. běhu LŠSS*. Brno, 2007, s. 93–100.
- Nossol 2007 — A. Nossol. *Miałem szczęście w miłości. Z biskupem opolskim rozmawiają K. Zyzik i K. Ogiółda*. Opole, 2007.
- Obitz 2007 (1937) — K. Obitz. *Dzieje ludu mazurskiego*. Dąbrówno, 2007 (1937).
- Obracht-Prondzyński 2007 — C. Obracht-Prondzyński. *Kaszubi dzisiaj. Kultura – język – tożsamość*. Gdańsk, 2007.
- Nijakowski 2006 — L. M. Nijakowski. *Status grup etnicznych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku. Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku*. Pod red. L. Adamczuka i S. Łodzińskiego. Warszawa, 2006, s. 143–170.

- Rocznik 2007–2008 — A. Rocznik. *Słownik polsko-śląski. Zbornik polsko-śląński*, I: A–K, II: L–P. Zabrze, 2007–2008.
- Šustek 1998 — Z. Šustek. *Otázka kodifikace spisovného moravského jazyka*. Slavic Tartuensia IV: Языки малые и большие... In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1998, c. 128–142.
- Tambor 2006 — J. Tambor. *Mowa Górnolązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna*. Katowice, 2006.
- Wicherkiewicz 2003 — T. Wicherkiewicz. *Języki mniejszościowe i regionalne w Europie — problemy typologii*. Języki mniejszości i języki regionalne. Pod red. E. Wrocławskiej i J. Zieniukowej. Warszawa, 2003, s. 73–78.
- Wyderka 2003 — B. Wyderka. *Gwary śląskie w XX w. Słowa jak mosty nad wiekami*. Red. U. Sokólska, P. Wróblewski. Białystok, 2003, s. 417–425.
- Zejszner 1852 — L. Zejszner. *Podhale i północna pochyłość Tatrów czyli Tatry polskie*. Biblioteka Warszawska, 1852, s. 116–130.

Ülemsileesia ja podhalia etnolektide lingvopoliitiline situatsioon slaavi mikrokirjakeelte seas

Artur Czesak

Artiklis vaadeldakse situatsiooni ülemsileesia ja podhalia etnolektidega tänapäeva Poolas. Antakse vastavate etnolektide kõnelejate üldisloomustus, kirjeldatakse esimesi katseid luua nimetatud dialektide alusel kirjasüsteem ja kirjakeeled, nende kasutussfääre. Erilist tähelepanu pöörab autor kaht etnolekti emakeelena kõnelejate endi suhtumisele vastavate kirjakeelte loomise ideesse.

Федор Данилович Климчук
Институт мовазнаўства АН Беларусі

СЛАВЯНСКИЕ ЭТНО-ЯЗЫКОВЫЕ ПОГРАНИЧЬЯ

Славянский этно-языковой мир – переходные диалектные зоны – потенциальные речевые массивы для создания микроязыков

Пограничья бывают разными. Наиболее известны широкому кругу общественности политические и политико-административные пограничья. Это местности, прилегающие к границам между государствами, к границам автономий и административных единиц.

Но есть и этно-языковые пограничья. От пограничий политических они отличаются существенно. Границы государственные и административные – четкие. Пограничья этно-языковые между родственными народами имеют более сложный характер. В одних случаях они почти такие же четкие, как и политические пограничья. В других случаях в пределах этно-языковых пограничий существуют контактные зоны с неоднородным населением. В третьих случаях в регионах такого типа существуют контактные этно-языковые группы, характеризующиеся определенной степенью переходности между двумя этносами и их языками.

В конце XX – начале XXI вв. обострились всякого рода этно-языковые отношения. Возникающие в связи с этим проблемы, естественно, требуют своего решения. Но прежде, чем принимать какие-либо решения и действия, необходимо очень глубоко и детально изучить предмет. В данный контекст вписываются ситуации, существующие на этно-языковых пограничьях.

Мы остановимся на этно-языковых пограничьях в славянском мире. Будет идти речь о границах одних славянских народов с другими народами, тоже славянскими, и о территориях, примыкающих к этим границам. Большинство этих пограничий существует ныне, некоторые теперь не существуют, но существовали в прошлом.

Ныне существуют следующие основные этно-языковые общности славян: русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи, словаки, лужичане, болгары, македонцы, словенцы и носители сербско-хорватской этно-языковой общности.

Остановимся на этно-языковых пограничьях каждого из указанных народов или общностей.

Русские: граничат с украинцами и белорусами.

Русско-украинская этническая граница довольно поздняя. Сформировалась она в основном в XVII–XIX вв. Исключение составляет небольшой ее участок в пределах северо-восточной части Сумской области Украины и прилегающей территории России.

На Украине проживает 8.334,1 тыс. русских (2001 г.). Среди сельского населения наибольшие анклавы русских в областях Луганской, Запорожской и Харьковской, меньшие анклавы в областях Сумской, Херсонской, Одесской, Николаевской. Есть русские сельские поселения в других областях. Переписью 2001 г. на Украине зарегистрировано 5.544,7 тыс. русскоязычных украинцев.

В России переписью 2002 г. зарегистрировано 2.943 тыс. украинцев. Украинские этно-языковые массивы и острова в России встречаются от границы с Украиной до Тихого океана.

Существует довольно значительная контактная русско-украинская этническая группа. Назовем ее условно «украинцы по народности — русские по национальности». Так, на территории нынешних Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев переписью 1926 г. зарегистрировано 4.419.853 украинца¹. На той же территории в 1989 г. зарегистрирован 615.271 украинец. Разница составляет 3.804.582 человека. Это 86% от численности лиц, зарегистрированных в 1926 г. украинцами на указанной территории. Одна из причин приведенного несоответствия следующая. В основу разных переписей зачастую положены

разные принципы. Так, в основу всероссийской переписи 1897 г. положен языковой принцип, в основу советской переписи 1926 г. положен принцип принадлежности опрашиваемых к определенной народности, в основу остальных советских переписей, начиная с переписи 1937 г., положен принцип принадлежности к определенной национальности. Мы не будем касаться сложных вопросов, что такое «народность», «национальность», «нация». Нашей целью являлось отметить факт существования указанной этно-языковой группы: украинцы по народности — русские по национальности.

Русско-белорусская этническая граница древняя, нечеткая. По переписи 1999 г. в Белоруссии зарегистрировано 1.141.731 русских (11,4%), а также 1.166.346 русскоязычных белорусов. По переписи 2002 г. в России зарегистрировано 808 тыс. белорусов. На территории Белоруссии встречаются русские села, почти исключительно старообрядческие. Белорусские села, острова и небольшие массивы встречаются в разных регионах России — вплоть до Приморского края.

Существуют контактные русско-белорусские этнические группы. Самая значительная из них — это *смоляне*, жители центрально-западной части исторической Смоленщины. Ученые XIX–XX вв. Народные говоры этой территории относили к белорусским². По данным 1866 г.³, 42,41% населения Смоленской губернии составляли великороссияне, 46,69% — белорусы и 10,55% определялась как «смесь великороссиян с белорусами». Около трех месяцев (январь — март 1919 г.) центрально-западная Смоленщина входила в состав Советской Социалистической Республики Белоруссии. А вот что пишется о Смоленщине в новом энциклопедическом российском издании за 1998 г.⁴:

«Смоленщина не является чисто великорусской территорией. Западная часть области в историко-этнографическом отношении — белорусская земля. В Смоленской губернии в XIX веке белорусов насчитывалось больше, чем великороссов. Однако к XX в. соотношение изменилось в пользу русских. Вместе с тем именно Смоленск, а не официальная белорусская столица Минск, стал родиной Белоруссии как государства. В конце 1918 г. в Смоленске была проведена партийная конференция Западных губерний, провозгласившая образова-

ние Белорусской Республики. Короткий период (1918–1919 гг.) Смоленск официально ‘прожил’ в составе Белоруссии».

Отдельную этнографическую группу образует коренное население западной части Брянской области. В прошлом эта территория входила в состав Черниговской губернии. Традиционные говоры жителей этих мест близки к среднебелорусским говорам⁵.

Нынешняя узкая пограничная полоса Псковской и Смоленской областей с Беларусью ранее входила в состав Витебской и Могилевской губерний. Коренное население этой территории по говору, менталитету и этнографическим особенностям мало отличается от населения сопредельных территорий Республики Беларусь.

Упомянем этн(ограф)ическую группу – *горюны*. Живут в нескольких населенных пунктах Путивльского и частично Белопольского районов Сумской области на Украине. В их говоре сочетаются черты русские, белорусские, частично украинские⁶.

Крайний юго-восток Латвии — это старая контактная зона латышей, белорусов и русских.

У к р а и н ц ы: граничат с р у с с к и м и, б е л о р у с а м и, п о л я к а м и, с л о в а к а м и. В прошлом граничили еще с с е р б а м и и б о л г а р а м и.

О русско-украинской границе речь шла выше.

Украинско-белорусская этническая граница различается на разных отрезках.

- а) Средняя часть этой границы — между реками Днепр на востоке и Горынь на западе. Это участок нынешней границы между Белоруссией и Украиной. По обе стороны этой границы, как с белорусской, так и с украинской стороны распространены говоры со значительной степенью переходности.
- б) Северные окраины Черниговской и северо-западные окраины Сумской области Украины: здесь бытуют говоры с белорусской основой. В то же время переписи регистрирует население этих микрорегионов украинцами.
- в) Южная часть Брестской области Белоруссии. Коренное население этой территории представляет отдельную этн(ограф)ическую группу. Интерпретация народных говоров этой группы в научной литературе неоднозначная. До вхождения этой территории в со-

став БССР (1939 г.) большинство ученых относили эти говоры к украинским⁷. Пожалуй, впервые иную точку зрения высказал украинский ученый Ф. Т. Жилко. Эти говоры он отнес частью к белорусским, частью к переходным белорусско-украинским⁸. В дальнейшем украинские диалектологи часть брестско-пинских говоров относили к украинским⁹. Но северную их границу определяли условно: по р. Мухавец, по Днепровско-Бугскому каналу, по административной границе Кобринского района с Дрогичинским, по р. Ясельде. Т. е. этой границе не придавалось никакого значения, ее устанавливали не на основании языковых факторов, а условно. Скорее всего украинские диалектологи ориентировались на положение Ф. Т. Жилко о переходном характере брестско-пинских говоров¹⁰. Вероятно, полагалось, что в южной части ареала украинских черт должно быть чуть больше, нежели в северной. Вот и относили южную часть говоров брестско-пинского ареала к украинским говорам. Изменился взгляд на интерпретацию характера брестско-пинских говоров у украинского ученого А. И. Скопненко. Первоначально украинскую языковую границу на Брестщине он соотносил с границей Кобринского района с Дрогичинским¹¹, впоследствии все брестско-пинские говоры он отнес к украинским¹².

Белорусские диалектологи долго воздерживались от языковой интерпретации брестско-пинских говоров. Прошло 8 лет после того, как украинскими диалектологами было заявлено, что «чисто» украинских говор на Брестщине нет. Но вышел «Диялекталагічны атлас беларускай мовы» (Мінск, 1963). В атласе брестско-пинские говоры отнесены к говорам белорусского языка. И снова не так все просто. В белорусской диалектологии различают понятия «говоры белорусского языка» и «белорусские говоры». Белорусские говоры — это говоры, которые являются белорусскими генетически. К ним относятся не только говоры на территории Республики Белоруссии, но и за ее пределами, например, на Смоленщине. К говорам белорусского языка относятся говоры на территории Республики Белоруссии, которые входят в сферу влияния белорусского литературного языка. Часть из них, в частности, брестско-пинские говоры, гене-

тически составляли единство с говорами северо-западной части Украины.

Заметим также, что в 1980–1990-е гг. существовало движение за создание на основе брестско-пинских говоров отдельного литературного языка (западнополесского).

Украинско-польская этническая граница характеризуется определенной сложностью. На территории нынешней Польши существует несколько исторических областей, которые представляли собой контактные зоны украинцев и поляков. Это Южное Подляшье, Холмщина, Надсянье, Северная Лемковщина. После переселений 1940–50-х гг. украинцев здесь осталось немного. Северное Подляшье представляет собой контактную украинско-белорусско-польскую зону.

На территории нынешней Украины в прошлом поляки составляли наиболее высокий процент в Галиции (Галичине)¹³. Ныне это Львовская, Ивано-Франковская и большая часть Тернопольской области. Эта территория входила в состав Польши с 1349 по 1772 гг., затем — в 1919–1939 гг. Процент поляков здесь постепенно увеличивался (см. таблицу).

Таблица №1

Территория Галиции, входящая теперь в состав Украины*

Год переписи, исчисления	Всего населения (тысяч человек)	Украинцы: численность (тысяч человек), процент	Поляки: численность (тысяч человек), процент
1795	1.996,5	1.487,9 – 74,5%	341,6 – 17,1%
1846	2.638,2	1.940,0 – 73,5%	462,9 – 17,6%
1900	4.163,2	2.696,2 – 64,8%	868,1 – 20,9%
1910	4.623,0	2.952,6 – 63,9%	1.060,9 – 23,0%
1921	4.214,0	2.652,5 – 62,9%	1.066,9 – 25,3%
1931	4.742,7	2.854,3 – 60,2%	1.353,6 – 28, %
1959	4.288,1	3.886,2 – 90,6%	93,1 – 2,2%
1970	4.830,8	4.428,2 – 91,7%	62,7 – 1,3%
1979	5.058,2	4.685,4 – 92,6%	...
1989	5.304,6	4.934,0 – 93,0%	...
2001	5.178,7	4.955,7 – 95,7%	24.568 – 0,47%

Так, если в 1795 г. поляки здесь составляли 17,1%, то в 1931 г. — 28,5%. В результате репатриаций 1945–1946, 1955–1958 гг. и других переселений основная масса поляков той части Галиции, которая входит в состав Украины, переселилась в Польшу. Западные окраины исторической Галиции (район Перемышля, Ярослава, Санока) остались в составе Польши. В настоящее время процент украинцев в этом регионе невелик.

Украинско-словацкая этническая граница проходит в основном на территории Словакии и лишь частично на территории Закарпатской области Украины. В «Атласе украинских говоров Восточной Словакии» содержится материал из 267 восточнославянских или восточнославянско-словацких населенных пунктов¹⁴. Восточнославянские говоры Словакии заметно отличаются от украинского литературного языка. В связи с этим и по некоторым иным причинам в Словакии существует движение за создание отдельного восточнославянского литературного языка — (карпато)русинского.

В отдаленном прошлом население нынешней Венгрии было неоднородным. Кроме венгров, здесь повсеместно жили и славяне. Славянское население Венгрии относилось к нескольким этносам. Назовем их условно праукраинцами, прасловаками, прачехами, прасербохорватами, прасловенцами. На этой территории праукраинцы граничили с прасербохорватами, словаки — с прасербохорватами и, вероятно, прасловенцами, прачехи — с прасловенцами.

В середине XVIII в. на территории Украины созданы административные области Ново-Сербия и Славяно-Сербия. Сербь, проживавшие в этих областях, впоследствии ассимилировались с окружающим населением, преимущественно с украинцами.

До 1940 г. на территории Добруджи, болгарской и румынской, жили болгары и румыны. Ареал расселения болгар продолжался на северо-восток, на территорию южной Бессарабии (ныне юго-западная часть Одесской области Украины). Здесь ареал расселения болгар соприкасался с ареалом расселения украинцев. Впоследствии румыны из болгарской Добруджи (110 тыс.) переселены в румынскую Добруджу, а болгары из румынской Добруджи (62 тыс.) переселены в болгарскую Добруджу¹⁵. Таким образом, район расселения болгар

в южной Бессарабии был оторван от основного болгарского массива и преобразовался в анклав. По переписи 2001 г. в украинской части Бессарабии (находится между низовьями Дуная и низовьями Днестра, входит в состав Одесской области) проживало 617,2 тыс. чел., из них украинцы составляли 40,2%, болгары 20,9%, русские 20,2%, молдаване 12,7%, гагаузы 4,0%.

Болгарские анклавы есть также в Запорожской области.

Белорусы: граничат с русскими, украинцами, поляками.

О белорусско-русской и белорусско-украинской границе речь шла выше.

Белорусско-польская этно-языковая граница проходит к западу от г. Белостока, центра воеводства Подлясье (Подляшье)¹⁶. На территории Польши происходит постепенная ассимиляция белорусов со стороны поляков.

Согласно переписи 1999 г., в Республике Белоруссии проживало 395.712 поляков. Из них указали родными языками: белорусский 67,1%, польский 16,5%, русский 16,2%.

Район г. Вильнюса (столица Литвы) и его окрестностей — это старая контактная зона литовцев, белорусов и поляков.

Самый немногочисленный славянский народ — лужичане, или лужицкие сербы, или, в немецкой огласовке, — сорбы. Живут в Германии. Ареал их расселения окружен населенными пунктами с немецким населением. В прошлом, несколько столетий назад, ареал расселения лужичан граничил с ареалами поляков (на востоке) и чехов (на юге).

Поляки: граничат с белорусами, украинцами, словаками, чехами, в прошлом граничили с лужичанами.

О польско-белорусской, польско-украинской, польско-лужицкой границах речь шла выше.

По обе стороны польско-словацкой государственной границы проживают так называемые *górali* (горцы). Говор их польский, но довольно специфический. Принято считать, что представители этой группы, проживающие на территории Польши, считают себя поляками, а проживающие на территории Словакии — словаками.

Польско-чешская этно-языковая граница в настоящее время в основном совпадает с границей государственной. В округе Фридек-Мистек Северноморавской области Чехии поляки составляют около четверти населения. Это пограничье с Силезским воеводством Польши, часть так называемой Тешинской (Цешинской) Силезии. Есть чешские села в Нижнесилезском воеводстве Польши (на границе с Чехией).

Ляшское наречие чешского языка, распространенное в северо-восточной Чехии, характеризуется значительной степенью переходности к польскому языку¹⁷.

Чехи: граничат со словаками и поляками, в прошлом граничили с лужичанами и южными славянами.

О чешско-польской, чешско-лужицкой и чешско-южнославянской границах речь шла выше.

Чешско-словацкая языковая граница характеризуется значительной степенью переходности. Восточноморавское наречие чешского языка характеризуется определенной степенью переходности к словацкому языку, в то же время западнословацкому наречию словацкого языка характерна определенная степень переходности к чешскому языку. Польский ученый З. Штибер основную часть восточноморавских говоров, бытующих на юго-востоке Чехии, считает говорами словацкого языка¹⁸.

Словаки: граничат с чехами, поляками, украинцами, в прошлом граничили с южными славянами.

О всех этнических пограничьях словаков с другими славянскими народами (чехами, поляками, украинцами, южными славянами) речь шла выше.

Говоря о западнославянских этносах, нельзя не коснуться кашубов и полабов. Кашубы проживают в Польше, в низовьях Вислы. Их говоры одни исследователи считают диалектом польского языка, другие — отдельным языком. Полабы жили в северо-восточной части нынешней Германии. Последние носители полабского языка умерли к середине XVIII в.

Болгары: граничат с македонцами и сербами, в прошлом граничили с украинцами.

О болгарско-украинской границе речь шла выше.

Болгарско-сербская этно-языковая граница характеризуется значительными признаками переходности¹⁹. На границе с Сербией имеется полоса болгарских говоров, отличающаяся определенной степенью переходности к сербскому языку. В то же время торлакская диалектная группа сербского языка, расположенная в юго-восточной Сербии, характеризуется признаками переходности к болгарскому языку. На крайнем юго-востоке Сербии есть говоры с болгарской основой.

Болгарский и македонский языки образуют отдельную подгруппу в системе южнославянских языков. Некоторые ученые считают македонские говоры диалектом болгарского языка. Часть этнической Македонии (Пиринская Македония) входит в состав Болгарии. Коренное население этого края переписями 1946 и 1956 гг. регистрировалось как македонцы, другими переписями — как болгары. Некоторые исследователи македонские говоры на территории Болгарии интерпретируют как переходные²⁰.

На севере Македонии есть македонские говоры, для которых характерна определенная степень переходности к сербскому языку²¹.

Сербско-хорватский диалектный ареал делится на три наречия: штокавское, чакавское и кайкавское²². На штокавском наречии говорят сербы, черногорцы, босняки-мусульмане и большинство (до 60%) хорватов. На чакавском наречии говорит часть хорватов (ок. 15%). Чакавское наречие — это, скорее всего, реликт средневекового хорватского языка. На кайкавском наречии говорит часть хорватов (ок. 25%). Кайкавское наречие, по одной из точек зрения, — это по существу диалект словенского языка, испытавший влияние штокавского наречия.

Деление носителей сербско-хорватской диалектной общности на сербов, черногорцев, хорватов и босняков-мусульман не этно-языковое, а религиозно-политическое. Сербы (в том числе сербы-боснийцы) и черногорцы — православные, хорваты — римо-католики, босняки, или боснийцы, — мусульмане.

Население Боснии и Герцеговины однородно в языковом отношении, неоднородно по религиозному составу. До середины XX в. наиболее многочисленной конфессиональной группой в этой области были православные сербы. В результате геноцида сербов в годы

Второй мировой войны²³ их численность сократилась. Наиболее многочисленной группой в Боснии и Герцеговине стали мусульмане. Так, по официальной турецкой переписи населения 1851–1852 гг. в Боснийском пашалыке насчитывалось 1.077.956 жителей. По вероисповеданиям они распределялись следующим образом: православные — 44,9%, мусульмане — 37,3%, католики — 16,5%, другие — 1,3%²⁴. В 1982 г. в Боснии и Герцеговине проживало 4.181.000 человек. В 1981 г. по национальности они распределялись следующим образом: мусульман 39,5%, сербов 32,0%, хорватов 18,4%, так называемых югославов 7,9%, других ок. 2,2%²⁵.

Хорваты современные и хорваты средневековые различаются весьма существенно. Основной признак, по которому выделяются нынешние хорваты на фоне других носителей сербско-хорватских говоров, — это их римо-католическое вероисповедание. Но ведь официальное разделение христианской церкви на православную и католическую произошло только в середине XI в. (в 1054 г.). А первые письменные сведения о хорватах относятся к VII в. При этом первоначально хорваты являлись язычниками. Таким образом, до середины XI в. римо-католическое вероисповедание не могло быть основным этноопределяющим признаком хорватов. Между тем источники VII–XI вв. четко выделяют хорватов как этнос, т. е. хорватам были присущи другие этноопределяющие признаки, в том числе язык. Что же представлял собой средневековый хорватский язык? Если наложить зону расселения хорватов после их поселения на Балканах²⁶ на зону распространения чакавских говоров в прошлом²⁷, то обнаружится их значительное совпадение. Отсюда напрашивается вывод о том, что чакавское наречие является остатком средневекового хорватского языка. Чакавский диалект с XII по XVI вв. являлся литературным языком хорватов²⁸.

В конце XX в. усложнилась интерпретация политиками и учеными национальной и языковой ситуации в сербско-хорватском диалектном ареале. В бытовой практике югославские события конца XX в. очень часто называют религиозными войнами. Делается аналогия из мировой истории, в частности, с религиозными войнами в Германии в XVI в.

С л о в е н ц ы граничат с хорватами, преимущественно с носителями кайкавских и чакавских говоров. Об отношении кайкавских говоров к словенскому языку речь шла выше.

В прошлом прасловенцы граничили с прачеками и, возможно, прасловаками.

Говоря о славянских этно-языковых пограничьях, нельзя не коснуться литературных микроязыков. Фундаментальные исследования по славянским литературным микроязыкам принадлежат известному ученому слависту А. Д. Дуличенко²⁹.

Основные признаки литературных микроязыков следующие:

- 1) в основу литературных микроязыков положены народные говоры, которые существенно отличаются от общенациональных литературных языков;
- 2) литературный микроязык обычно является достоянием не всей нации, а отдельной ее части или какой-либо этн(ограф)ической группы;
- 3) публикация художественных произведений на народных говорах — явление обычное. Для литературного микроязыка этого недостаточно — нужен литературно-языковой процесс. К литературному микроязыку можно отнести такую языковую систему, на которой существует богатая разножанровая литература.

Специфические говоры часто формируются на этно-языковых пограничьях. А существование специфических диалектов является базой появления на этих диалектно-языковых системах литературы, а впоследствии и формирования литературных микроязыков. На славянских этно-языковых пограничьях сформировались следующие литературные микроязыки:

- 1) варианты (карпато)русинского³⁰;
- 2) югославо-русинский (южнорусинский; Сербия и Хорватия; создатели — потомки выходцев из Карпат)³¹;
- 3) чакавский (Хорватия)³²;
- 4) кайкавский (Хорватия)³³;
- 5) ляшский (Чехия)³⁴;
- 6) западнополесский (Брестско-Пинское Полесье, Белоруссия)³⁵;
- 7) восточнословацкий (Словакия)³⁶.

Славянские этно-языковые пограничья, таким образом, оказываются потенциальными источниками, способствующими усложнению и вместе с тем обогащению социолингвистической составляющей современного славянского мира: именно здесь прежде всего и предпринимаются попытки создания новых славянских литературных микроязыков.

ЛИТЕРАТУРА И ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Рассчитано по: *Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 года*. Т. 3: *Центрально-Черноземный район. Средневолжский район. Нижне-Волжский район. Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность*; Т. 5. *Крымская АССР. Северо-Кавказский край. Дагестанская АССР. Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность*. Москва: Изд. ЦСУ СССР, 1927.
- ² С. В. Максимов. *Очерк IX. Белорусская Смоленщина с соседями*. Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении: Литовское и Белорусское Полесье. Москва, 1882, с. 429–473; Е. Ф. Карский. *Белоруссы*. Том 1. *Введение в изучение языка и народной словесности. С приложением двух карт*. Варшава, 1903, с. 41–52, 168–169; карты: Е. Ф. Карский. *Этнографическая карта белорусского племени*. Труды Комиссии по изучению племенного состава населения России. 2. Петроград, с. 17–23; Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков. *Диалектологическая карта русского языка в Европе*. Петроград, 1914; они же. *Опыт диалектологической карты русского языка в Европе. С приложением русской диалектологии*. Труды Московской диалектологической комиссии. Вып. 5. Москва, 1915, с. 11–12, 27, 47–48, 123; П. А. Расторгуев. *Говоры на территории Смоленщины*. Москва: Изд-во АН СССР, 1960.
- ³ XL. *Смоленская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года*. Издан Центральным статистическим комитетом Министерства Внутренних дел. Обработан членом Статистического Совета Н. Штиглицом. С.-Петербург, 1868, с. XLVIII (48)–L (50).
- ⁴ *Энциклопедия для детей*. Том 12. *Россия: природа, население, экономика*. Москва: Аванта +, 1998, с. 496.
- ⁵ П. А. Расторгуев. *Северско-белорусский говор*. Ленинград: Издание Института белорусской культуры, 1927.

- ⁶ Горюны: история, язык, культура. Материалы международной научной конференции (Институт языкознания РАН, 13 февраля 2004 г.). Сумы, 2005.
- ⁷ Е. Ф. Карский. Белоруссы. Том 1. Введение в изучение языка..., с. 38–40, 167; карты: Е. Ф. Карский. Этнографическая карта..., с. 11–14; карта: Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков. Дialectологическая карта..., они же. Опыт dialectологической карты..., с. 11–12, 27, 47–48, 123.
- ⁸ Ф. Т. Жилко. Карта говорів української мови. Ф. Т. Жилко. Нариси з dialectології української мови. Київ: Радянська школа, 1955; Ф. Т. Жилко. Деякі питання класифікації говорів української мови в світлі даних лінгвістичної географії. Філологічний збірник (Вид-во АН УРСР), Київ, 1958, с. 84–86.
- ⁹ Ф. Т. Жилко. Говори української мови. Київ: Радянська школа, 1958 (Карта говорів української мови); Ф. Т. Жилко. Нариси з dialectології української мови. Київ: Радянська школа, 1966 (Карта говорів української мови); С. П. Бевзенко. Українська dialectологія. Київ: Вища школа, 1980, с. 204 (карта); О. Скопненко. Берестейщина. Берестейський край (газета), Брест, 1996, № 2 (2), с. 5.
- ¹⁰ Ф. Т. Жилко. Деякі питання..., с. 84–86.
- ¹¹ О. Скопненко. Берестейщина..., с. 5.
- ¹² О. І. Скопненко. Берестейсько-пинські говірки: генеза і сучасний стан. Київ, 2001.
- ¹³ С. И. Брук, М. В. Кабузан. Численность и расселение украинского этноса в XVIII – начале XX в. Советская этнография, Москва, 1981, № 5, с. 15–31; H. Stupnicki. Galicya pod względem geograficzno-topograficzno-historycznym. Lwów, 1849; E. Czyński. Etnograficzno-statystyczny zarys liczebności i rozszedlenia ludności polskiej. Warszawa, 1909; С. Чорний. Національний склад населення України в XX сторіччі. Київ, 2001. Існують також офіційні дані польських переписів 1921 і 1931 гг., советських переписів 1959, 1970, 1979, 1989 гг., української переписи 2001 г.
- ¹⁴ Василь Латта. Атлас українських говорів Східної Словаччини. Братислава/ Пряшів, 1991.
- ¹⁵ A. Maryański. Współczesne wędrówki ludów. Zarys geografii migracji. Wrocław/ Warszawa/ Kraków: Ossolineum, 1966, s. 125.
- ¹⁶ Е. Ф. Карский. Белорусы. Том 1. Введение в изучение языка..., с. 37–38; карты: Е. Ф. Карский. Этнографическая карта..., с. 9–11; Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколов, Д. Н. Ушаков. Дialectологическая карта..., они же. Опыт dialectологической карты..., с. 11–12, 27, 47–48, 123; Atlas gwar

- wschodniosłowiańskich Białostocczyzny*. Tom I (Prace slawistyczne, № 14). Wrocław / Warszawa / Kraków / Gdańsk, 1980.
- ¹⁷ Z. Stieber. *Zarys dialektologii języków zachodnio-słowiańskich z wyborem tekstów gwarowych*. Warszawa: PAN, 1956, s. 77–79; *České nářeční texty*. Praha, 1976, s. 283–328.
- ¹⁸ Z. Stieber. *Zarys dialektologii języków zachodnio-słowiańskich...*, s. 77–79.
- ¹⁹ F. Sławski. *Zarys dialektologii języków południowosłowiańskich z wyborem tekstów gwarowych*. Warszawa: PAN, 1962, s. 115–116, 133, Mapy 1, 3; П. Ивић. *Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје*. Нови Сад: Матица Српска, 1985; Карта: *Славянские древности. Этнолингвистический словарь*. Под ред. Н. И. Толстого. Том 1. Москва: Международные отношения, 1995, с. 74 (Карта 8. Дialeктное членение сербскохорватского ареала), 79 (Дialeкты болгарского языка).
- ²⁰ F. Sławski. *Zarys dialektologii języków południowosłowiańskich...*, s. 127–129.
- ²¹ F. Sławski. *Zarys dialektologii języków południowosłowiańskich...*, s. 117–119, 133, Mapy 1, 3; П. Ивић. *Дијалектологија српскохрватског језика...*, карта.
- ²² П. Ивић. *Дијалектологија српскохрватског језика...*, с. 21–23; *Славянские древности. Этнолингвистический словарь*, с. 74 (Карта 8: Дialeктное членение сербскохорватского ареала); F. Sławski. *Zarys dialektologii języków południowosłowiańskich...*, s. 82–116, Mapy 1, 3.
- ²³ Интернет: К. Вртанесян, А. Палян. *Акты геноцида в истории человечества. 11. Геноцид сербов*. Геноцид; taragir@genocide.ru [неоднократный просмотр 2006–2007].
- ²⁴ *История Югославии*. Т. I. Москва: Изд-во АН СССР, 1963, с. 356.
- ²⁵ B. Ćirlić. *Przewodnik po Jugosławii*. Warszawa: Sport i turystyka, 1974, s. 430.
- ²⁶ К. Грот. *Известия Константина Багрянородного о сербах и хорватах и их расселении на Балканском полуострове*. С.-Петербург, 1880, с. 18–147.
- ²⁷ П. Ивић. *Дијалектологија српскохрватског језика...*, с. 29; F. Sławski. *Zarys dialektologii języków południowosłowiańskich...*, s. 89–90.
- ²⁸ F. Sławski. *Zarys dialektologii języków południowosłowiańskich...*, s. 89.
- ²⁹ А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. (Вопросы формирования и развития)*. Таллин: Валгус, 1981, 324 с.; он же. *Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов*. Т. I–II. Тарту: Изд-во Тартуского университета, I, 2003, 419 с.; II, 2004, 398 с.; он же. *Языки малых этнических групп: функциональный статус и проблемы развития словаря (на славянском материале)*. *Modernisierung des Wortschatzes europäischer Regional- und Minderheitensprachen* [Zweigstelle für Nieder-

sorbische Forschungen des Sorbischen Institut]. Hrsg. von G. Spieß. Tübingen: Narr, 1999, S. 29–43; он же. *Языки этнических меньшинств и языки региональные (региолекты): некоторые методологические аспекты*. Języki mniejszości i języki regionalne. Pod red. E. Wrocławskiej i J. Zieniukowej. (Język na pograniczach 24). Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2003, s. 27–39.

Александр Дмитриевич Дуличенко – доктор филологических наук, ординарный профессор славянской филологии Тартуского университета (Эстония); родился в поселке Высокий Новоалексеевского сельсовета Курганинского района Краснодарского края (Россия).

- ³⁰ См. об этом: А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов...* Т. I, с. 309–419.
- ³¹ А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов...* Т. I, с. 11–84.
- ³² А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов...* Т. II, с. 69–99.
- ³³ А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов...* Т. II, с. 100–142.
- ³⁴ А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов...* Т. II, с. 165–195.
- ³⁵ А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов...* Т. II, с. 227–281.
- ³⁶ А. Д. Дуличенко. *Славянские литературные микроязыки. Образцы текстов...* Т. II, с. 196–226.

Slaavi etnilis-keelelised siirdealad

Fjodor D. Klimtšuk

Artiklis esitatakse sünteesülevaade slaavi etnilis-keelelistest siirdealadest, kõigepealt idaslaavi, edasi lääneslaavi ja lõpuks lõunaslaavi aladest. Autor pöörab tähelepanu etnilis-keeleliste areaalide kokkupuudete erinevale iseloomule, sealhulgas ühtede kõnemassiivide üleminekule teisteks. Autori arvamus on, et perifeersus- ja üleminekusituatsioonid slaavi siirdealadel loovad eeldusi potentsiaalseks lokaalsete mikrokirjakeelte loomise katseteks, millega ongi kõigis kolmes Slaavia osas juba tegeldud.

Дамина Дисенгалиевна Шайбакова
Казахский университет
международных отношений и мировых языков
имени Абылай хана, Алма-Ата

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РУССКОЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КАЗАХСТАНА

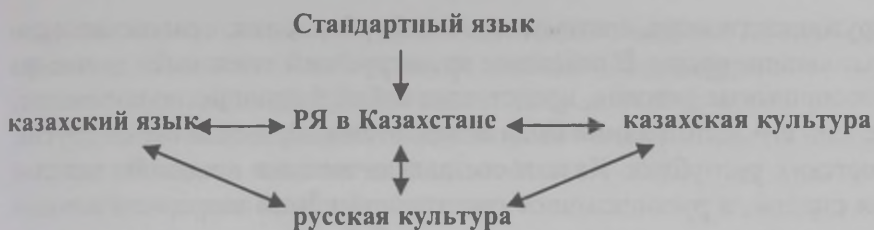
Межкультурная коммуникация – вариант языка – язык социализации – тип речи – смешанный культурный код – концепты, символы

Функциональные разновидности русского языка на чужой территории рассматриваются в оппозиции по отношению к стандартному языку метрополии как вариант – инвариант. Географическая распространенность русского языка, использование в качестве средства межнационального общения и официального языка являются условием его вариативности. Экспликация вариантных черт производится по отношению к норме. Здесь будут уместны аналогии с английским языком. По отношению к нормопорождению рассматривает английский язык в разных регионах индийский ученый Б. Качри. Нормопорождающая разновидность английского языка формируется в странах, традиционно его использующих. Норморазвивающая — в странах, где он является государственным, но в неродном окружении. Нормозависимыми признаются разновидности английского языка в случаях его использования как языка международного, когда он изучается как иностранный (В. Kachry. *English as a World Language*. Ann Arbor, 1983. Цит. по: Григорьева, Хруслов 1990, 26). Данный подход вполне применим и к русскому языку. В этом случае целесообразно видеть три разновидности языка:

- 1) русский язык России как идиоэтнический и стандартный, общенародный, нормообразующий язык;
- 2) русский язык в постсоветских странах, не столь заметно дистанцировавшийся от стандарта — языка метрополии, — но имеющий свои нормы в употреблении и корректирующий систему, приспособлявая ее к функционированию в инокультурных условиях (норморазвивающий язык);
- 3) русский язык диаспоры в дальнем зарубежье.

Во второй разновидности русского языка развиваются нормы стандартного языка, что обусловлено его широким (в отличие от третьего типа) функционированием в иной социокультурной среде. Насколько активен русский язык в новых геосоциополитических условиях, зависит от его статуса. Функциональная нагрузка русского языка определяется во многом направлениями языковой политики соответствующего государства. Статус государственного или официального языка создает более благоприятные возможности функционирования и развития языка, так как он употребляется в высших, престижных сферах, приспособляется к отражению концептов инонациональной культуры не только в устной речи, но и в речи печатной. В Казахстане русский язык является официальным, функционирует во всех сферах. Это создает условия для расширения кода, корректировки сочетаемости, меняет прагматические характеристики.

Прагматика русской речи за пределами метрополии, расширение кода за счет иноязычного и инокультурного воздействия позволяет в таком случае квалифицировать русский язык как функциональный вариант. Специфика существования русского языка в Казахстане определяется гетерогенностью социального субстрата, социально-экономическими и политическими условиями, формированием черт, отличных от языка России. Русский язык в Казахстане не только сохранил средства стандартного языка, но и приобрел новые субстанциональные (системные) и функциональные признаки, что обусловлено контактами языков и культур. Он находится здесь в эпицентре потоков влияния:



Степень дистанцированности от инварианта — языка метрополии — определяется изменениями относительно трех измерений: в системе языка, в его употреблении (в речи), в прагматике, т. е. ситуативном употреблении.

На уровне системы адаптация выражается в заимствованиях, новых парадигматических и синтагматических связях. Но влияние чужого языка и чужой культуры разнообразит прежде всего функциональные характеристики русского языка. Анализ собственно лингвистический уже не может обойтись без дифференциации явлений языка и речи, стандарта и употребления, варианта и инварианта, статики и динамики. Решению этих задач способствует обращение к речевому материалу различных социальных и этнических групп, понимание роли языка как средства коммуникации и как символа идентичности.

Межкультурную коммуникацию следует рассматривать как взаимонаправленное влияние. Участие фактора «чужой» и «своей» культуры, «чужого» и «своего» языка является критерием разграничения типов речи в неисконной среде. Среди русскоязычных коммуникантов в Казахстане различают две основные группы:

- 1) коммуниканты, чья социализация происходила при помощи русского языка;
- 2) коммуниканты, чья социализация происходила при помощи иного языка, в частности, казахского.

Русские, конечно же, относятся к *первой группе*, лишь небольшой процент русских владеет казахским языком. Но в новых условиях происходит смена мировоззренческой ориентации русского этноса в Казахстане. Мировоззрение является наиболее важным когнитивным механизмом, влияющим на процесс общения. Мировоззрение мы рассматриваем как осмысление индивидом или сообществом

окружающего мира, систему ценностей, убеждения, отношение к составляющим среды. В советское время русский этнос имел довольно благоприятные условия, представлял собой большинство населения, степень его ассимиляции была незначительной, в отличие от других советских республик. Казахи составляли меньше половины населения страны, и русскоязычное пространство было шире, чем казахоязычное, во всяком случае, в городах. Сейчас семиотичность казахстанской культуры усиливается, этническая культура казахов возрождается, что сказывается на организации социокультурного пространства государства в целом. Среда, составляющими которой являются социальные и культурные сущности, религия, обряды, символы, расширяет вербальный и культурный код русскоязычной коммуникации. В группе русскоязычных коммуникантов, не владеющих казахским языком, соответственно различаются «централы» и маргиналы. Первые реализуют фатическую функцию языка и используют казахские элементы — как вербальные, так и невербальные, в ситуациях приветствия, поздравления и пр., т. е. в стандартных, ритуализованных ситуациях. Вторые в меньшей степени подвержены воздействию казахской культуры.

Во второй группе русскоязычных коммуникантов есть билингвы координативные и субординативные, т. е. с доминированием своего, в нашем случае казахского, языка. Русская речь координативных билингвов не отмечена языковой интерференцией (трансференцией), но имеет интерференцию культурную. Речь субординативных билингвов квалифицируется как неисконная, и речевая, и культурная интерференция там занимает заметное место. Особую функциональную разновидность в ней составляет билингвистическое просторечие. Билингвистическое просторечие интересно тем, что калькируются казахские коммуникативные модели в речи на русском языке. Примером могут служить обращения *братишка*, *брат*, *сестра*, *сестренка*, адресованные незнакомым людям.

С учетом того, что среди русских в Казахстане лишь небольшой процент владеет казахским языком, проводниками иноязычных элементов чаще являются казахи-билингвы. Поэтому восприятие русскими иноязычного, инокультурного производится сквозь призму своего опыта: на базе средств чужого языка формируются концепты,

носящие печать своей культуры. В целом в коммуникативном пространстве Казахстана наблюдается смешение культурного и вербального кода. Культура уже не может быть моноэтнической.

Потребность в адаптации к новым условиям существования при усилении влияния иноэтнического языка и «чужой» культуры приводит к изменению моделей социального поведения русских. Уже не так поляризируется, отталкивается «чужое». Оно должно быть принято во внимание и включено в круг «своего». Это уважение, проявляемое к культуре народа, на земле которого они живут.

«Условием самого существования человека является примирение с двойственностью мира» (Зинченко, Зусман, Кирнозе 2007, 67).

Сама жизнь направляет эту коррекцию — изменение предшествующих состояний под влиянием новых.

В общении люди используют три вида знаний, проявляют три вида компетенции: когнитивную — знание данного фрагмента мира; лингвистическую — знание языковых средств, ими используемых; интерактивную — знание правил коммуникативного обмена, умение применять стратегии и тактики общения (Богданов 1990, 26–31). Соответственно, можно выделить три составляющих коммуникации: когнитивная база, язык, культурное пространство. Когнитивная база — структурированная совокупность обязательных знаний того или иного лингвокультурного сообщества, которыми обладают все говорящие на данном языке (Маслова 2005, 15). Когнитивная база связана с ментальной сферой и в большей степени индивидуализирована. Она составлена из концептов, культурно обусловленных. В меньшей степени члены коммуникативного сообщества свободны от культуры, так как она регламентирует их поведение. Культура связана с этничностью.

«Национальное культурное пространство — информационно-эмоциональное поле, виртуальное и в то же время реальное пространство, в котором человек существует и функционирует и которое становится осознаваемым при столкновении с явлениями иной культуры» (Маслова 2005, 15).

Культура в известной мере клиширована, она содержит эталоны и стереотипы. Высшим выражением концентрированного культурного содержания являются символы. В языке находят отражение и кон-

цепты, и символы. При усвоении «чужого» через призму «своего» как в ментальной сфере, так и в языковой происходят стереотипизация и гиперкоррекция. Национально-культурные концепты осваиваются теми, кто существует в данной среде, но это освоенное содержание не адекватно исконному, эталонному.

В когнитивной базе русскоязычного казахстанца закрепляются константы казахской культуры, на базе которых формируются концепты, символы, с ними связаны прецедентные феномены, что в целом влияет на мировоззрение и коммуникативную культуру. Доминирующими признаками традиционной казахской культуры являются те, которые определены:

- 1) влиянием тенгрианства — религиозно-философского учения прошлого;
- 2) влиянием ислама, в большей степени утверждающегося в последние годы;
- 3) историческим делением этноса на жузы, тем, что получило обозначение «жузовский трайбализм».

Современная культура казахов не имеет четкой этнической направленности, но все же удерживает важнейшие ее признаки:

1. Многое в этнической культуре казахов объясняется **тенгрианством**. Согласно этой религиозной философии, божественное начало у казахов олицетворяется в предках, их духов называют *аруахами*. Считается, что именно они из хаоса создают жизнь. С этими представлениями связаны почитание старших, культ предков, аруахов, почтительное отношение к могилам и в целом отношение к прошлому. Вообще казахская культура в значительной мере обращена к прошлому, память о нем — неотъемлемая составляющая культурного опыта казахов.

Уважительное отношение к старшим, к людям, занимающим высокое социальное положение, определяет коммуникативное поведение. Когда такие гости приходят в дом, их приглашают на *тор* (вариант в русской речи — *торе*). В казахской юрте *тор* — это верхний мир, мир божеств-предков. С ним связан сложный ассоциативный тезаурус казахов. Для представителей других культур *тор* — это только почетное место. Слово довольно частотное в речи русских (непременная фраза для почетного гостя «проходите на тор»).

Концепт воспринят русскими в казахском вербальном оформлении, но имеет не в полной мере совпадающее с казахским культурное и когнитивное наполнение, в случае, если у русскоязычного коммуниканта нет определенной когнитивной базы, если он не знает культурного контекста.

2. Ислам в Казахстане не имеет столь серьезного влияния, как в других мусульманских сообществах. Например, нет сильного иерархического противопоставления мужчины и женщины. Женщины так же (если не более) социально активны, как и мужчины. Но в речевом поведении влияние этой религии проявляется в смиренном или сдержанном отношении к происходящему: *Богу (Аллаху) угодно; Бог (Аллах) дал, Бог (Аллах) взял.*

В организации русскоязычного дискурса тех коммуникантов, чья социализация проходила на казахском языке, это проявляется в отсутствии прямой критики, а несогласие выражается в виде пожелания. Пожелание в коммуникативной культуре казахов имеет глубокий подтекст: помимо общих формул вежливости, это может быть и то, что вам нужно в себе изменить, что не нравится, с чем не согласен партнер по общению, что подсказывает вам возможные перспективы и т. д. Нельзя критиковать кого-либо, можно пожелать ему то, чего у него нет. С такими партнерами по общению, которые избегают прямой критики, агрессивного дискурса, и собеседник становится сдержанным в проявлении негативных эмоций. Казахстанские русские принимают подобные тактики в перлокутивных целях. Пожелание — это не комплимент. Считается, что высказанное на торе (праздничном застолье) дойдет до Бога. Характерное пожелание у казахов — *увидеть правнуков*. Это не только пожелание долголетия, но и пожелание попасть в рай — у казахов считается, что человек, имеющий правнуков, попадает в рай. Знание данных правил поведения отличает коммуникативные тактики русскоязычных казахов, такого рода пожелания высказывают и они.

3. Историческое деление на жузы имеет важное значение для казаха. Существует деление на старший, средний и младший жузы. Старший ассоциируется с властью, финансами, средний — с творчеством, литературой, искусством, младший — это воины, это защита

отечества. Внутри жуза множество родов, название каждого для казаха — объемная информация.

«Любые кадровые рокировки сразу же становятся объектом пристального внимания со стороны всех, кто следит за политикой. Круг дискуссий обычно один и тот же: кто он, какого жуза?» (газ. «Свобода слова»).

Это определяет организацию дискурса казахов в ряде ситуаций общения, так как вопрос о принадлежности к жузу важен для отношений между коммуникантами.

Есть и другой аспект. Кровосмешение для казахов недопустимо. По генеалогии выверяется, нет ли у пары общих родственников до седьмого колена. Вот рассуждения писателя, музыканта Т. Асемкулова:

«Трайбализм чем хорош? У Гумилева каждому народу отпускается на свете 2600–3000 лет — потом пассионарный накал спадает, температура снижается, и народ становится гумусом для других этносов. А мы прожили 16 тысяч лет — этому есть доказательство. <...> Почему мы не исчезли? <...> У нас как минимум до седьмого колена нельзя вступать в брак» (газ. «Время», 27. 12. 2007).

Трайбализм оценивается казахами как явление положительное, а русскими коммуникантами (или неказахами) понимается не всегда так. Русские коммуниканты нечасто используют семантику, проявляющуюся в жузовских оппозициях. Как правило, это деление упрощается до противопоставления: юг (старший жуз) и остальные регионы. С югом ассоциируются коррупция, продвижение к власти, отдельные негативные явления. Столь сложное родовое деление казахов русские восприняли в сочетании «*жузовский трайбализм*», имея в виду межродовые отношения, противостояние казахов — представителей разных жузов. В данном случае мы говорим о неискوشенном русскоязычном коммуниканте, не имеющем соответствующей когнитивной базы. Но большая часть образованных русских вникает в историю жузов.

Помимо феноменов традиционной культуры, существует и множество других, среди них и такие, которые не имеют этнической маркированности. Особенно это относится к современным реалиям.

«Культурные элементы, человеческие группы и системы символов — вот три составляющих культурного процесса» (Лурье 1998, 17).

Во взаимодействии с ними рассматривается язык. Новая эпоха демонстрирует новые культурные предпочтения. Прав В. фон Гумбольдт, утверждая, что язык отражает в себе каждую стадию культуры (Гумбольдт 1984, 48).

Как закрепляется культура в языке? В. А. Маслова считает, что это связано с:

- 1) энциклопедическими знаниями о свойствах личности;
- 2) национальными стереотипами;
- 3) символами, эталонами (Маслова 2005, 64–65).

Ядро когнитивной и культурной базы сообщества составляют концепты и символы. Они имеют как вербальное, так и невербальное выражение. Слова, которыми они обозначаются, переходя из языка в язык, подчиняются новому лингвокультурному порядку — номосу данной системы, который управляет смыслом языковых выражений (Борботько 2007, 237).

Концепт и символ не идентичны. Общим у них является то, что оба относятся к области познания и связаны с когнитивной функцией языка. И концепт, и символ создают смысловую перспективу. Но концепт — это логическое обобщение, а символ есть свернутая метафора или метонимия. Концепт разворачивает, а символ сворачивает. Символ основывается на концепте, но он образен, и образ этот формируется в процессе творческого (художественного) освоения мира. Концепт знака связан с прагматикой речи, а символ не инструментален. Символ имеет неотчетливые смыслы, может обозначать то, что не поддается концептуализации. В нем схематизируется означающее. Становясь символом, слово и образ входят в личную или социальную сферу. Образ становится символом в силу приобретаемой им функции в жизни общности или индивида.

Концепты. Смысловая конвергенция для коммуникантов разных культур происходит благодаря константам и концептам, интерпретируемым участниками коммуникации на основе общих смысловых кодов (Зинченко, Зусман, Кирнозе 2007, 78). Концепт понимается как единица мышления, квант знаний, представление о фрагменте мира. Это не только то, что связано с высшими духовными сущностями. Концепты могут иметь и эмпирический характер (Попова, Стернин 2007, 34–35). Однако концепты — это не любые понятия, а

лишь наиболее сложные и важные из них, без которых трудно представить себе данную культуру, как этническую, так и социальную (Маслова 2005, 27). Зона пересечения пространств двух лингвокультурных общностей образует общее знание. Это социумная пресуппозиция, в которой корректируются этнические концепты (Гудков 2000, 49).

Концепты представляют ключевые явления жизни:

1. **Мир.** Он измеряется в пространстве и во времени. Отношение к пространству у казахов особое. Тенгриане не строили храмов, все обряды совершались на открытом воздухе, в горах и лесах. Для них сама природа была храмом. Они почитали духов, приносили жертвы небу, земле, солнцу, луне, звездам и покойным старейшинам, которые прославились своими подвигами. Жизнь в гармонии с природой подразумевает любовь и уважение ко всему живому, принцип достаточности, который не позволил бы на корню уничтожить природные запасы. В казахском языке для пастбища летнего, зимнего, осеннего существуют отдельные названия, что объясняется прежним кочевым образом жизни народа. Но только слово *джайляу* усвоено русским языком Казахстана. *Джайляу* (летовка) 'летнее пастбище, летняя стоянка кочевников' у городских жителей ассоциируется с отдыхом на природе, в степи; слово *кстау* 'зимнее место жилья, зимнее пастбище' не употребляется, так как данный феномен никак не входит в жизнь неказахов.

С пространством связано понимание **порога**. Суеверное отношение к порогу также объясняется тюркскими верованиями. У казахов и сейчас удерживается запрет задевать порог ногами. Считалось, что счастье и благополучие направляются в юрту, как река течет по руслу, и через порог вливаются в жилище. Потревожив порог, можно перебить, прервать русло, и счастье потечет мимо юрты. С порогом связано и представление о счастье у русских. Существует обычай вешать подкову над порогом дома. Подкова стала символом по двум причинам: 1) злые духи боятся металла; 2) используется подкова лошади, которая, по поверью, отгоняет злых духов. Это знак, обращенный к нечистой силе. В народе говорят: *на счастье*. Тюркская символика и русская фразеология соединяются здесь органично, не дифференцируются и активно используются нашими современниками.

Подкова на счастье — общее поверье для казахов и русских. Но фраза «переступить порог» для казаха наполняется иным содержанием.

Характерным концептом, представляющим время, является *мушель* 'двенадцатилетний цикл календаря кочевников'. В 12-летнем цикле каждый год назван именем животного. *Мушель жас* — 'опасный переход между мушелями'. Человек, достигший *мушель жас*, старается этот год прожить праведно, осторожно, дабы благополучно миновать опасный временной рубеж. Календарь воспринят и другими этносами Казахстана, в том числе и русскими. Каждый русский знает, что такое *мушель жас*, также остерегается его испытаний. Сочетание является частотным в казахстанском русскоязычном дискурсе. Например: *На Востоке говорят, что в жизни каждого человека есть так называемые 'рискованные даты', и наступают они через каждые 12 лет — 'мушель жас' («Время»); 22 марта алматинец Байсултан Макаев отмечал не только Наурыз. В этот день ему исполнилось 120 лет! Десятый мушель жас («Время»).*

А вот высказывание немца с казахским менталитетом, известного в стране писателя Герольда Бельгера:

«Правы казахи о роковой меже «мушель жас». Моему земляку-курдасу, академику А. Кошанову оставалось два дня до 73-х лет, инфаркт подкараулил-таки его. Я благополучно одолел было рубеж 73-летия, но через три дня и меня инфаркт — цап-карап! — достал. Да, айналайын казахи все знают. 'Не только казахи, — поправили врачи. — Факт известный: 49, 61, 73 — опасная межа'» («Тасжарган», 29.11.07).

Концепт *степь* в регионе приобрел особую актуальность. Он имеет не только географическое содержание, но и геополитическое. В текстах встречается лаконичное обозначение словом «степь» территории, этноса, общественного устройства: *Казахский язык получил долгожданный приоритет, победив в борьбе с татарским языком на территории Степи в начале XX столетия; недопущение возможности развития большевизма в Степи; Советы принесли в Степь рабскую психологию низших слоев населения («Тасжарган»).*

Есть сочетания «*степной кодекс*», «*степная этика*». Сейчас маркируется оппозиция «*степь — горы*», т. е. Астана — новая столица Казахстана и Алма-Ата — прежняя столица Казахстана.

2. Человек, возрастные и связанные с ним качественные характеристики личности.

Типовые характеристики личности в русскоязычном дискурсе часто имеют казахские вербальные знаки. Приведем некоторые примеры:

Аксакал — ‘пожилой, уважаемый человек’. Но в последние годы это слово применяется и в ироническом контексте: *академические аксакалы* — о косных, не восприимчивых к новому.

Бастык — ‘глава, руководитель’. Слово обрastaет многочисленными негативными коннотациями.

Барымтач — новое образование, используемое в речи билингвов для обозначения угонщика автомобилей. Слово происходит от *барымта* (первоначальное значение ‘скотокрадство’). Происходит расширение значения слова. Приведем пример из речи охранника уличной ночной автостоянки: *«Ночью барымтачи на двух машинах приезжали. Я из будки вышел, они испугались и уехали»*. Данного слова в таком значении мы не обнаружили в коммуникации русских. Здесь отмечается влияние этнической культуры и быта на русскую речь казахов. Однако слово создано по русской словообразовательной модели (ср. *щипач, ловкач, рвач*).

Бешара — не только о бедном материально человеке, но и о неудачнике. В речи русских актуализируется только второе значение.

Ага — обращение к старшему. Это слово и производные от него также перемещаются в иронический контекст: *страна развитого агаизма* (телепередача «Время»).

Значительно реже используются в текстах на русском языке казахские выражения для обозначения женщины. Частотны слова *аже, апа* — почтительное обращение к пожилой женщине, — которые не приобрели негативных коннотаций.

Происходит аккумуляция разноязычных апеллятивов, смешанное культурное пространство расширяется.

3. Нравственные концепты.

Одним из важных культурных концептов казахов является *асап* — помощь всем миром. Вышедшее на какое-то время из употребления слово вернулось и стало употребительным в русской речи как неисконной, так и в исконной. Примером может служить следующий контекст: *В прошлом номере наша редакция выступила с призывом объединить усилия политических,*

общественных организаций, коммерческих и строительных компаний, чтобы помочь этим людям по доброй национальной традиции *асар* («Свобода слова»).

В казахской вербальной оболочке усвоен русскими концепт *бата* 'благословение'. Такие слова часто становятся названиями партий, общественных движений, печатных периодических изданий. Например, партия «Асар», существовавшая до президентских выборов в Казахстане; газета «СолДат» ('так говорю'; *дат* — возможность говорить правду в лицо).

4. Социальные понятия и отношения. Широкое значение приобретает слово *национальный*. В России национальный — это свой. Здесь, в Казахстане, в соответствии с новым пониманием нации (казахстанская нация) должно быть то же (национальный университет, национальное агентство, национальная библиотека, национальная идея), но *национальный* русскими в Казахстане воспринимается как 'принадлежащий титульному этносу', например, *национальные кадры*. В смешанном узусе слово употребляется в значении 'государственный': *Система сертификации, стандартизации и качества выпускаемой продукции, на наш взгляд, должна стать национальной идеей* (Г. Оразбаков, министр индустрии и торговли РК; «Время», 31.01.2008).

Для обозначения новых концептов, относящихся к сфере социальной жизни, широко используются деонимные образования. В политическом дискурсе явления, чаще негативные, обозначаются суффиксальными деонимными образованиями. Впервые было использовано слово *кажегельдинизм* в значении 'криминализация на государственном уровне' (от фамилии бывшего премьер-министра А. Кажегельдина). Сейчас политические ассоциации стали причиной образования слова *рахатизм* (от имени *Рахат*) 'преступность на государственном уровне'. Например: *Как это верно! И про нелюбовь к людям и стране, и про комплекс власти, ведущий к разрушениям, и про скрытый цинизм. Разве не видим мы это повседневно в эпоху «рахатизма»* (Г. Бельгер. «Тасжарган», 14.02.2008).

Персонаж олицетворяет, определяет явление, становится символом преступных действий.

Еще один прием обозначения нового концепта, трудно поддающегося толкованию, — использование иноязычного компонента *гейт*: После известного скандала в Вашингтоне с попыткой представителей Республиканской партии установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в отеле «Уотергейт» все политические скандалы принято называть «...гейтами» («Тасжарган»).

В Казахстане крупные политические скандалы в высших эшелонах власти называются по аналогии: *казахгейт* — дело о коррупции; *рахатгейт* — от имени Рахата Алиева — экс-посла Республики Казахстан в Австрии, бывшего крупного чиновника, обвиняемого в коррупции, похищении банкиров, принудительном отъеме чужого бизнеса; *нуротангейт* — от названия правящей партии «Нур Отан». Примеры из газеты «Время»: В стране разразился «*Рахатгейт*»; «*Рахатгейт* не будет обсуждаться на Евразийском медиафоруме».

5. Эмоциональные концепты также проявляются в апеллиативах: обращение *жаным* ‘милый’, *айналайын* ‘дорогой’. Но в казахском языке *айналайын* — это особый, эндемичный концепт: обращение к дорогому человеку — *айналайын*; ‘кружусь вокруг тебя’ — подстрочный перевод, ‘принимаю твои болезни’ и ‘любовь моя’ — смысловые переводы.

6. Обряды, обычаи, праздники чаще имеют казахское вербальное обозначение. Однако возможно параллельное использование казахских и русских вербальных знаков. Например, *наурыз* и *восточный Новый год*, *ураза* и *пост*, *той* и *вечер*, *застолье*. Есть эндемичные феномены: *суюнши* ‘вознаграждение за радостную весть’, *коремдик* ‘вознаграждение за показ новорожденного, крупной покупки’. Они обозначаются казахскими вербальными знаками.

Многие народы Казахстана переняли обычай заготавливать на зиму мясо. С этой целью в ауле специально откармливают скотину и глубокой осенью этот скот забивают на мясо. Такое заготовленное на зиму мясо называют *согым*. Слово вошло в русский язык Казахстана в силу его частотности и распространенности самого явления, обозначаемого данным словом. В газетной заметке «*Согымом по коррупции*» в русскоязычном тексте этим словом представлен из-

вестный феномен: *За помощью в борьбе против коррупции Актюбинский филиал партии «Нур Отан» намерен обратиться к многодетным матерям, ветеранам и инвалидам, чтобы те запоминали на поминках и тоях, а также на согымах имена тех, кто преступает закон»* («Время»).

Слова чужого языка поначалу воспринимаются с нечетким значением, но в процессе социализации наполняются содержанием. Материалом, в котором обнаруживается инородное влияние, являются тексты СМИ, повседневная коммуникация. Эти тексты сейчас становятся прецедентными в отличие от недавнего прошлого, когда таковыми были тексты художественной литературы. В целом актуализация этнопроясняющей лексики — это поиск определений для обозначения жизненных принципов современного казахстанского общества.

Символы. Если концепт — единица мышления, то символ — это свернутая метафора. Всякий символ есть некоторого рода обобщение, и он создает смысловую перспективу. Значение символа развивается из этимологического начала, оно имеет культурные и национальные признаки, является порождением абстрагирующей мысли, для его понимания необходимы фоновые знания. Символ тоже рождается как результат проявления когнитивной функции языка, он относится к области познания. Но, по утверждению Э. Кассирера, символ формируется особым типом мышления — метафорическим. Данный тип мышления противопоставляется дискурсивно-логическому:

«Понятия логически-дискурсивные берут свое начало в индивидуальном восприятии, которое, углубляясь и вступая во все новые отношения, выходит за пределы первоначальных границ. В этом можно видеть интеллектуальный процесс синтетической дополнительности, объединения отдельного и общего, с последующим растворением отдельного в общем»; «между тем как во втором случае мы сталкиваемся с противоположным явлением: представление не расширяется, а спрессовывается, сводится в одну точку. В этом процессе отфильтровывается некая сущность, некий экстракт, который и выводится в 'значение'» (Кассирер 1990, 37).

О сжатости символического смысла пишет В. Г. Борботько:

«Слово-символ эндотропно, оно свертывает в себе смысл тех контекстов, в которых оно употребляется» (Борботько 2007, 234).

Символы казахской культуры в числе прочего связаны с традиционным бытом. Каждый казах считает главным свойством этноса гостеприимство. Оно ассоциируется с домом, застольем. Поэтому символами казахской культуры являются *дастархан* и *шанырак*.

Слово *дастархан* в казахском языке означает 'скатерть'. Расширение значения привело к формированию символа. *Дастархан* — это и скатерть (первичное значение), и стол, и угощение, и застолье, и гостеприимный дом («*хозяйка дастархана*» — Г. Бельгер). Появились сочетания: *дастарханные соблазны* (Г. Бельгер), *дастарханное изобилие*, *богатый дастархан* и даже рекламное «*Дастархан «Юбилейный»* (о гастрономе); ср. стереотипное начало тостов как в речи казахов, так и в речи русских: «*Мы собрались за этим дастарханом...*». Слово стало символом гостеприимного дома.

Самым важным казахским символом является *шанырак*. Исконное значение это слова — 'верхний свод юрты'. Для казахов *шанырак* — символ продолжения рода. Он передавался по наследству и являлся семейной ценностью. Для русских — это дом. Пожелание того, чтобы счастье было в доме, казахи выражают фразой: «*Пусть будет крепким ваш шанырак*». В последние годы появилось деонимное образование *шанырак* от названия района в Алматы, жители которого выступили против сноса их домов, произошло рождение второго символа в прежней вербальной оболочке: *шанырак* — символ борьбы бедноты за свои права.

Символом новой столицы стал *Байтерек*. В очерке о новой столице Казахстана Байтерек сопровождается обозначением «Символ страны»: *Общепризнанным символом новой казахстанской столицы стал комплекс «Астана-Байтерек»*; «*Во многих тюркских легендах фигурирует образ древа жизни, на вершине которого волшебная птица Самрук приносит золотое яйцо — солнце. Тополь — байтерек, символ новой жизни в казахской степи, знак расцвета и обновления...*» (газ. «Экспресс К»).

Символом-хрононимом в Казахстане является *желтоксан* 'декабрь', с которым ассоциируются события 1986 г., когда произошло массовое выступление народа против назначения первым секретаря

рем компартии Казахстана никому не известного ульяновского чиновника В. Колбина. Были жертвы среди демонстрантов. В понимании русских — это хроним, но для казахов *желтоксан* — это символ борьбы за независимость.

Прецедентные имена обращаются в символы в силу обобщения. Приведем примеры:

1. Новым ироническим обозначением невежества как явления стало собственное имя *Борат*, стремительно ворвавшееся в казахстанскую коммуникацию с легкой руки известного английского комика Саша Козна. *Борат* — это и страна (*Борат* *завлекает туристов* — газета «Время»), и типовая характеристика личности: *Марат Бисингалиев готов распустить Уральский симфонический оркестр. По его словам, местные бораты препятствуют развитию культуры в Казахстане* («Время»). *Борат* воспринимается как символ всего неприглядного в данной стране.

2. Влияние русской культуры заключается в том, что ее знаки и символы функционируют как свои. Возможной причиной такого положения дел может быть отсутствие подобного феномена в иноэтнической, иносоциальной культуре. Символы русской культуры принимаются казахами, и формируется корпус прецедентных феноменов: текстов, имен. Таким прецедентным именем для обозначения милицейского работника (в Казахстане — полицейского) стало *Анискин*. Например, заголовок газетной заметки: «*Такие анискины нам не нужны*». Прецедентное с советских времен имя продолжает оставаться актуальным, перерастая в символ, становится нарицательным. Культурный код советского прошлого является общим для всех. В данном случае нет казахского имени для сравнения с работником полиции, хотя можно предположить, что на сельском сходе на юге страны, где находится Жамбылская (Джамбульская) область, население по преимуществу казахское, для которого привычнее были бы свои национальные образы. Однако в казахской культуре такого прецедента нет.

Русские слова используются как символы, если обозначение какого-либо предмета, феномена имеется в русском языке. В качестве этнолингвистического материала часто привлекаются названия животных. Приведем один пример. К *козе* у казахов отношение отрица-

тельное, считается, что у нее нет прародителей: «кто пасет меня, того я и скотина». *Коза* может не реагировать на действия других субъектов, нет у нее почтения к другим. Поэтому, когда банальное и обидное обозначение этим именем женщины за рулем ничего не говорит представителям других культур, в языковом сознании казахов оно ассоциируется с архетипом казахской этнической культуры. Считается, что действия женщины-водителя продиктованы только соображениями собственного удобства, при этом она не очень реагирует на других участников дорожного движения. Таким образом, метафора *коза* становится негативным символом непредсказуемого поведения на дороге женщины-водителя. Но *коза* — это не концепт, это символ.

Специфика этнических культур заключается в особом системном сочетании составляющих опыта. Когда они накладываются на другую культуру, образуется смешанный социокультурный код, инвариантной частью которого остается национально-обусловленная система концептов, символов, ассоциаций и смыслов. Образующиеся концепты и символы приобретают лингвосоциальную актуальность.

ЛИТЕРАТУРА

- Богданов 1990 — В. В. Богданов. *Коммуникативная компетенция и коммуникативное лидерство*. Язык, дискурс и личность. Тверь, 1990, с. 26–31.
- Борботько 2007 — В. Г. Борботько. *Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к лингвосинергетике*. Издание 2-е, стереотипное. Москва: Комкнига, 2007, 288 с.
- Григорьева, Хруслов 1990 — Л. Н. Григорьева, Г. В. Хруслов. *Общественные функции языка и функционирование русского языка за рубежом*. Москва, 1990, 46 с.
- Гудков 2000 — Д. Б. Гудков. *Межкультурная коммуникация: проблемы обучения*. Москва: Изд. Московского университета, 2000, 120 с.
- Гумбольдт 1984 — В. фон Гумбольдт. *Избранные труды по языкознанию*. Москва: Прогресс, 1984, 397 с.
- Зинченко, Зусман, Кирнозе 2007 — В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. *Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме*. Москва: Флинта, 2007, 222 с.

- Кассирер 1990 — Э. Кассирер. *Сила метафоры*. Теория метафоры. Москва: Прогресс, 1990, с. 33–43.
- Лурье 1998 — С. В. Лурье. *Историческая этнология*. Москва: Аспект-Пресс, 1998, 446 с.
- Маслова 2005 — В. А. Маслова. *Когнитивная лингвистика*. Минск: Тетра Системс, 2005, 255 с.
- Попова, Стернин 2007 — З. Д. Попова, И. А. Стернин. *Когнитивная лингвистика*. Москва: АСТ: Восток-Запад, 2007, 314 с.

Kultuuridevaheline koosmõju Kasahstani venekeelses ruumis

Damira D. Šaibakova

Venekeelse kõne pragmaatika metropoli piiride taga, koodi avarustumine võõrkeele ja -kultuuri mõjul lubab Kasahstani vene keelt kvalifitseerida funktsionaalseks variandiks. Vene keele eksisteerimise spetsiifika Kasahstanis määravad sotsiaalse substraadi heterogeensus, sotsiaalmajanduslikud ja poliitilised tingimused, Venemaal räägitavast keelest erinevate joonte kujunemine. Kuna Kasahstani venelastest valdab kasahhi keelt vaid väike protsent, on teise keele elementide sissetoojateks sagedamini kakskeelsed kasahhid. Seetõttu tajuvad venelased võõrkeelset ja -kultuurset läbi oma kogemuse prisma: võõra keele vahendite baasil formeeruvad kontseptid, mis kannavad omakultuuri pitserit. Asjaolud, mis määravad traditsioonilise kasahhi kultuuri domineerivad tunnused, on: 1) tengriaanluse — ajaloolise religioosse-filosoofilise õpetuse mõju; 2) islami mõju, mis on olulisemalt kinnistumas viimastel aastatel; 3) etnose ajalooline jagunemine žuzideks (hõimudeks), mida on hakatud nimetama *žuz-tribalismiks*. Kasahhide kultuuril puudub tänapäeval selgelt väljendunud etniline suundumus, kuid selle olulisimad tunnused on olemas. Etniliste kultuuride spetsiifika seisneb kogemuse elementide erilises süsteemses kombinatsioonis. Kui need asetuvad teise kultuuri peale, moodustub sotsiokultuuri segakood, mille invariantseks osaks jääb rahvuslikult determineeritud kontseptide, sümbolite, assotsiatsioonide ja tähenduste süsteem. Kujunevad kontseptid ja sümbolid omandavad lingvosotsiaalse aktuaalsuse.

Олег Викторович Никитин

Московский государственный областной университет

**ДЕЛОВАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ
В ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРАДИЦИЙ XVII–XVIII ВВ.
(К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ
РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА)**

Деловая письменность – традиции приказного языка – источники и жанры – лексика делового языка – стилистический рисунок текста – демократическая сатира – карнавализация языка – «деловой» стандарт – канцеляризмы

«<...> филология нисколько не выступает из пределов своих, когда при объяснении древних памятников берет в соображение быт юридический, ибо он, как одна из главнейших стихий жизни народной, входит не только в произведения красноречия, но и в поэзию и кладет свой отпечаток на язык особенными выражениями»

Ф. И. Буслаев (1992, 308).

В истории русской письменной культуры в течение длительного времени происходили многочисленные изменения как в содержательном, так и в формальном отношениях. Это коснулось не только литературных жанров и стилей, но и самой *традиции*, где особенно с периода русского Средневековья стали заметны взаимовлияния разноплановых языковых, художественных и иных мотивов, находившихся на перекрестке традиций делового языка, отчасти вышедших из его «культурного плена» и продолжавших развиваться уже в иных жанрово-стилистических условиях. Элементы деловой речи

проявлялись, конечно же, в самой структуре произведения, заимствовавшего характерные свойства и сходные языковые сюжеты из обширной литературы того времени.

Деловая письменность как раз и явилась тем связующим звеном в цепи языковых и культурных «превращений», которые позволяли смешивать светские и духовные традиции, бытовое и историческое миропонимание. Все это существовало в реальном мире и со временем переносилось на страницы памятников художественной литературы.

Заметим, что приказная (деловая) письменность на протяжении долгой истории развития своих форм и жанров функционировала в единой системе языка, занимая в ней определенную нишу. Причем их положение было достаточно стабильным в течение длительного периода. Происходило это из-за характерных свойств письменной деловой традиции, которые, будучи консервативными, не допускали коренной ломки остова приказной культуры. Она, в силу нормализованности и обработанности, имела свои правила текстового оформления и языкового выражения. С XV в. отмечается значительный рост как самих приказных актов, так и их разновидностей, и деловой язык получает все большее распространение в разных сферах деятельности человека — от обиходно-бытовой до государственной (судебники, грамоты и др.). И хотя в Древней Руси существовала сильная юридическая традиция, основанная на заимствованиях из греческого и византийского канонического и гражданского судопроизводства, в Московской Руси, с установлением другого порядка государственного устройства, иной социокультурной обстановки и объединения земель вокруг единого центра — Москвы, деловой язык получает значительно бóльшие функции, а его общенациональная основа складывается на базе московской речи. Но рост деловых связей и развитие самой письменности происходили в тесном взаимодействии с другими разновидностями культур — книжной и диалектной (кроме того, деловой язык повлиял и на формирование жанров устно-поэтического творчества). И та, и другая находились в определенной связи с приказной словесностью, а она, в свою очередь, ощущала на себе влияние местных традиций и церковнославянского языка, религиозной риторики.

По своему положению деловой язык был ближе к народно-разговорной речи, чем к книжной, находясь при этом в известной оппозиции к славянскому слогу:

«<...> этот язык противопоставлен не только книжному церковно-славянскому, но и в значительной мере и языку местных деловых письменностей, отражавших диалектную раздробленность языка феодальной Руси. Наличие мощного централизованного государства, даже при отсутствии еще подлинных национальных связей, обусловило победу московской нормы делового языка над местными, областными тенденциями в письменности: это сказалось в постепенном вытеснении в деловой письменности других городов диалектных черт, что свидетельствует о том, что примерно к XVI в. московский приказный язык 'становится единым общегосударственным языком Московского царства' [В. В. Виноградов]» (Левин 1958, 68–69).

Примечательно, что в период русского Средневековья деловой язык выступал как заметное связующее звено между традиционными жанрами книжно-славянской письменности, зарождающейся новой литературой и народным творчеством (устной речевой культурой). При этом его противопоставление церковному языку уже не происходило только на уровне «условности» и часто совмещало элементы той и другой стихий, вырабатывая тем самым механизм грамматической, семантической, стилистической и художественно-изобразительной контаминации средств.

Деловая письменность, подобно книжным жанрам, обладала устойчивым вектором развития и эволюционировала вместе со всей языковой системой, сохраняя свои внешние и внутренние характеристики. Перефразируя мысль Е. М. Верещагина (2003, 10), заметим, что приказный язык имел *ментальную преемственность на протяжении тысячи лет* и тесно связан с современным русским литературным языком *отношением прямого преемства*. Он до сих пор сохраняет в нем свою *кумулятивную природу* и продолжает жить в *литературе* своего времени.

Итак, с XV–XVI в. расширились связи московского делового языка: с одной стороны, он притягивал к себе местные традиции, заставляя их подчиниться *единым* нормам, с другой — искал контактов с мощной книжно-литературной стихией, занимавшей ведущие пози-

ции в формировании художественно-эстетических и языковых вкусов эпохи. Вторая тенденция выразилась и в заимствованиях церковных элементов в приказном языке, и более всего — в естественном вливании деловой струи во многие повествовательные и стихотворные литературные формы, которые под влиянием приказной традиции приобретали светско-деловой оттенок.

Наиболее интересным периодом для анализа проявления языковых средств деловой письменности в нетрадиционных для нее текстах являются, по нашему мнению, XV–XVIII вв., когда, с одной стороны, происходил рост утилитарных отношений в обществе и одновременно с ними и письменной культуры, выражавшей деловые связи людей, а с другой, — формирование основ русского литературного языка. Кроме того (и это также принципиальный вопрос для обозначения границ исследуемого периода), увеличивается влияние региональной письменности на устои приказной традиции, а само диалектное многообразие форм бытования русского языка начинает активно воздействовать как на книжную, так и на приказную культуры [см., например, работы Е. Н. Поляковой (2002), Л. А. Глинкиной (2001), И. А. Малышевой (2002), данные СОРЯ (2003) и др.]. Заслуживает внимания в этой связи высказывание В. В. Колесова:

«На Руси все слои литературных текстов создавались на одном языке — славянском. До начала XV в. диалектные отличия были несущественны и не влияли на расхождение в текстах. Поэтому создавшееся положение — два уровня текстов — создало не два литературных языка, как на Западе, а *два стиля одного языка*. Их взаимное влияние друг на друга впоследствии обеспечило развитие художественных средств литературного текста» (Колесов 2001, 2).

Заимствования из деловой письменности в произведениях книжно-славянского цикла могли иметь троякий характер: во-первых, это происходило на уровне формуляра текста, его общих границ; во-вторых, при обработке приказного языка и его включении в ткань литературного произведения возникало переосмысление на семантическом уровне (текст как объект деловой или церковной системы); и в-третьих, лексические и грамматические заимствования (это могли быть буквальные переносы слов и их форм и создаваемые по принципам делового письма *новые*, «гибридные» образцы). Большую

роль в процессе взаимодействия двух стихий играло содержание произведения и заложенный в нем реальный или выдуманный сюжет, позволявший экспериментировать с разными формами словесного материала и смешивать контексты, а также преобладавшая уже в XVIII в. тенденция к русификации литературного церковнославянского языка и его участия в таком статусе в административно-правовой сфере (см. об этом: Unbegaun 1969a; 1969b).

Именно в это время начинает особо звучать проблема *делового языка и литературных текстов* и традиций первого в древнерусском художественном творчестве, которая затем ярко выразилась в эпоху Петра I и позднее, когда сформированные рамки национального литературного языка определили степень доминирования тех или иных стилей, в том числе и делового. Его функционирование в системе общерусских языковых и художественно-изобразительных средств, приспособление к меняющимся ориентирам словесной практики способствовали сближению книжно-славянского типа с народно-литературным и проникновению традиционных элементов одного в другой. Но об этом можно говорить, по мнению А. И. Горшкова (1969, 125), лишь тогда, «когда в пределах одного произведения мы наблюдаем чередование и переплетение контекстов <...>». Сложный процесс контаминации разных систем показывает в значительной мере панораму культурно-языкового развития *литературы*.

Что касается более позднего периода (вторая половина – конец XVIII в.), то деловой язык и тогда был популярен в литературной среде, а его тексты использовались для оформления *новой* словесной традиции.

В русле изучаемой проблемы актуально звучит высказывание В. В. Виноградова, который весьма корректно определил состав национального языка и его деление на разные *социально-бытовые системы*, сложившиеся к концу XVIII в. и претендовавшие на «общее, надклассовое господство», находясь при этом «в тесном соотношении и взаимодействии, внедряясь одна в другую». Это —

«<...> разговорный язык господствующего класса и интеллигенции с его социально-групповыми и стилистическими расслоениями, национальный письменный язык с его жанрами и стилистическими контекстами и язык литературы с его художественными делениями. Соотношение этих систем *исторически* (курсив наш. — О. Н.) меняет-

ся. Язык литературы бывает письменным, но может быть только писанным, так как его связи с разговорно-бытовой речью обусловлены культурно-исторически и социологически» (Виноградов 2000, 11).

Из этого следует, что и деловой слог как выразитель *своей системы* функционировал в пределах национального языка и во многом развивался в *литературном процессе* своего времени, подпитывая традиционным укладом текстов новые жанры и виды художественной словесности. Поэтому изучение языка деловой письменности, форм и способов его реализации в литературном творчестве в разные эпохи имеет и принципиальное значение для решения проблемы границ официально-бытового употребления и литературного обихода и перехода слов и контекстов из одной системы в другую.

Несколько особняком стоит проблема взаимодействия жанров устного народного творчества, былинного эпоса с *письменностью*. И хотя мы не считаем целесообразным отождествлять эти формы словесного выражения (каждая из них все же имеет существенные отличительные особенности), но полагаем, что анализ их жанровых и языковых смещений также важен для понимания литературно-языковой эволюции.

Проблема *деловой письменности и художественного текста* — одна из центральных в культурно-языковой истории XVIII в. Она значительно сложнее и шире рамок нашей работы и, пожалуй, потребует основательных раздумий, а главное, привлечения *новых фактов*. Для нас важно подчеркнуть, что тексты этого времени, особенно деловые, находились на перекрестке лингвистических традиций как на внешнем уровне, так и на языковом, активно взаимодействовали с книжно-славянской стихией, трансформировали ее по-своему, но и были вовлечены в новую языковую игру, где в целом «деловая словесность» находилась на подъеме вплоть до конца XVIII в.

Одним из таких перекрестков стали приемы стилизации деловой культуры в литературных текстах, которые оказались востребованными в новое время. «Персонажи» старого приказного языка не нуждались в объяснении: они как бы были взяты из реальной жизни и переносили на литературное полотно свои неповторимые образы. Доступность и достоверность такого «делового» сюжета снискали

популярность в народе в виде «шутливых челобитных», «сказок» и иных произведений, где пародировались язык, стиль, а нередко и почти вся орнаментика приказной культуры.

Одним из ярких примеров ее проникновения в художественное творчество XVII в. стала «Калязинская челобитная», пародирующая целый комплекс языковых и конфессиональных особенностей провинциального монастырского быта того времени. Не случайно сюжет этого произведения разворачивается внутри одноименного монастыря, действительно находившегося в Тверской губернии. Так что даже в том случае, когда, по мнению исследователей, мы не имеем документальных свидетельств описанных в челобитной событий, уже этот географический факт наводит читателя на мысль о подлинном сюжете и его возможных прототипах-героях — архимандрите Гаврииле и архиепископе Тверском и Кашинском Симеоне, опекавшем монастырь. Поэтому художественное время происходивших событий можно отнести к концу 1670-х годов, т. е. к последнему периоду православного Средневековья в России, когда монастырь занимал особое положение и в обществе, и при царском дворе. Сама обитель не была случайно выбрана повествователем-челобитчиком:

«Уже в XVI веке этот монастырь не пользовался особым почетом: Вассиан Патрикеев-Косой, по словам обличавшего его митрополита Даниила, так отозвался об основателе монастыря, только что перед этим канонизированном: 'Господи, что ся за чудотворцы, сказывают, в Калязине Макар чудеса творит, а мужик был сельской'» (цит. по изд.: Адрианова-Перетц 1937, 101; см. также: Жмакин 1881, 216).

Данная характеристика, по мнению ее автора, свидетельствует о необразованности основателя монастыря Макария, его «мужицком» происхождении. Среди других исторических мест, упоминаемых в челобитной, описывается и такой сюжет, несколько расширяющий биографию и географию сношений монастыря, как бы переносящий его события на общероссийский фон:

«Пьянымъ скоро по всѣмъ монастырямъ и по кружаломъ смотрѣ учинили, а послѣ смотрѣ остальныхъ старыхъ бражниковъ сыскали: пѣвчаго Лукьяна, да старого лутчаго подъячаго Селуяна, да съ Покровки безграмотнаго попа Колотила, и для образца наскоро въ Калязинъ послали, чтобъ они дѣломъ не плошали, кафтаны бы лутчіе

съ плечь сложили и монастырскаго чина не теряли, а своего бѣ ремесла не теривали и иныхъ бы пить научали» (Каляз. [I], 1777–1778)¹.

Объяснение этому находим и в документальных сочинениях, и в фольклоре. В XVII в. в Москве у церкви Покрова богородицы располагалась так называемая «поповская изба», где распределяли безместных попов, не имевших грамоты о поставлении. «Собираясь у Спасского моста, эти попы затевали драки и всякого рода ‘бесчинства великие’, распространяли ‘укоризны скарედные и смехотворные’» (цит. по изд.: Русская дем. 1977, 203; см. также: Забелин 1905, 630–634). Ср. пословицу: *Живи Колотило за рекою, а к нам не ногою* (Симони, № 1005), сохранившуюся в разных источниках. Любопытно, что отмеченное имя «Колотило» уже для 1860-х годов, а может быть, и ранее было нарицательным. Например, в источниках XVII в. (1682 г.) указана кличка коня в таком фрагменте: *Мерин пѣз грива направо во лбу звѣзда белоног прозванием Белокрыл. Мѣрин гнѣд грива налѣво Колотило* (СлРЯ XI–XVII (7) 1980, 252). Там же со ссылкой на П. К. Симони «колотило» объясняется так: «Тот, кто колотит, стучит — о сварливом человеке». Смысловая основа слова, выраженная в его корне, также многозначна и показательна для раскрытия метафорического смысла сюжета «Калязинской челобитной». Так, В. И. Даль отмечает в одном синонимическом ряду следующие значения глагола *колотить* и близких к нему генетических основ: «Пустословить, молоть; || скупо торговаться, мозжить. || *Колотѣть* зубом, зябнуть; || врать пустяки. <...> *Колотьба́* <...> || мерзлая грязь по дороге; || свара, брань. Колотѣла об. кто стучит, колотит; || пустобай, пустоплет. <...> *Колотлѣвый*, о человеке: беспокойный, вздорный <...> Колотѣло, ср. чем колотят; клепало, железная доска, в которую бьют, стучат сторожа́. Колотѣла об. кто колотит, стучит; || сварливый. *Живи колотила, за рекою, да к нам (сюда) ни ногою!* <...> Колотникъ [-ника] м. драчун, буян, вздорный, сварливый человек (жен. *колотовка*)» (Даль-II 1994, 357–358). Современный «Словарь русских народных говоров» определяет *колотило* так: «Болтун, пустомеля» (со ссылкой на пословицы В. И. Даля) (СРНГ-14 1978, 180), а также отмечает еще одно однокоренное слово с ха-

рактерным значением (одно из них): «Колóтик, а. м. О человеке, которого часто бьют» (там же, с. 179).

Еще одним документальным свидетельством, говорящем о подлинности челобитной, является своеобразный экскурс в прошлое, имеющий снова реальную подоплеку:

«А въ Колязинѣ обитель не малая, казна большая, послѣ мору старыхъ лѣтъ въ запасѣ осталось, въ хлѣбнѣ по подлавицѣю стулья да чеши валяются...» (стлб. 1780).

В этом отрывке содержится указание на моровую язву 1654 г., когда царская семья, спасаясь от жестокой болезни, уехала из Москвы и временно поселилась в Калязинском монастыре (Ровинский 1881, 282).

Из имен предполагаемых исторических прототипов «Калязинской челобитной» в ней, кроме архиепископа Симеона, фигурирует еще и архимандрит Гавриил — поборник веры и монастырского устава и объект недовольства монахов обители. До сих пор не установлено, какую роль он мог сыграть в деятельности монастыря в 1681 г. (а именно тогда он был настоятелем). В. П. Адрианова-Перетц (1937, 102) пишет:

«Соответствует ли в действительности образ архимандрита Гавриила, ревнителя строгих порядков в монастыре, каким он рисуется в челобитной, или автор, не рискуя прямо говорить о распущенности монастырского начальства, обычной в его время, намеренно переносит свое осуждение на младшую братию, этого мы сказать не можем».

Заслуживает внимания личный ономастикон «Калязинской челобитной», где отдельные из упомянутых имен имеют *свой* сокровенный смысл, а собранные вместе ее «писатели», облеченные в рифмованную модель русского фольклора, создают символический образ автора этого произведения: «А подлинную челобитную писали и складывали Лука Мазаевъ, да Антонъ Дроздовъ, Кирилла Мельникъ, да Романъ Бердникъ, да Ѳома Веретенникъ» (стлб. 1782). Две последних фамилии как раз показательны. *Бердник*, по данным «Словаря» Н. Тупикова, — болховской крестьянин (Тупиков 1903, 47); она могла иметь и другие оттенки смысла, зафиксированные, в частности, в диалектных словарях: *бёрдник* — ‘мастер, делающий берда’ (СРНГ

(2) 1966: 243). Существовали в обиходе также сходные слова с указанным значением: *бердовяз, бердовщик, бердечник*, зафиксированные в живой речи разных регионов России (в Смоленской, Архангельской, Рязанской губерниях) (там же, с. 243). *Веретенник*, отмеченное В. И. Далем в псковских говорах как «веретеник», обозначало скупца, скрягу (Даль-1 1994, 441). Примечательно, что производящий глагол «веретенить» существовал и в тверских говорах, т. е., возможно, и в районе художественного местодействия «Калязинской челобитной», и имел значение ‘вертеть, сверлить’; здесь же Даль добавляет: ‘Неотступно, докучливо просить, приставать, канючить; надоедать все одним и тем же’ (там же, с. 442).

Из других исторических реалий, получивших художественную стилизацию в нашем произведении, выделяется топонимическая линия. Так, кроме Твери, Калязина, неоднократно упоминается город Кашин, действительно находившийся неподалеку от монастыря:

«А еслибы (так в тексте. — О. Н.) намъ богомольцамъ твоимъ власти не мешали, и мы бы не пожалѣли, и колокола бы отвязали, да въ Кашинъ сослали и на вино бѣ промѣняли: и такъ они намъ много зла учинили, всѣхъ насъ переглушили» (стлб. 1778); «И онъ архимандритъ родиную Поморець, а нравомъ Ростовець, а умомъ Кашинець...» (стлб. 1780); «...а на деньги вина прикупимъ, начнемъ крестьянами наряжать, прикажемъ колокола отвязать, велимъ въ Кашинъ сослать и на вино промѣнять...» (стлб. 1781).

Наличие подобных историко-культурных свидетельств, умело введенных анонимным автором в художественную ткань произведения, способствовало созданию реального образа происходящего. Языковая орнаментика «Калязинской челобитной» со своей стороны удачно дополняла такой характерный исторический портрет сюжета и почти не отступала от традиционных канонов деловых документов, широко распространенных на Руси в XVII в.

I. Текстовая стилистика делового документа

Прежде всего мы обратили внимание на заголовок нашего варианта текста «Списокъ с челобитной Колязина монастыря», представляющий собой типичный зачин приказных документов того времени,

полностью копируемый автором этого сочинения с соблюдением текстовой стилистики «делового» подлинника». В дальнейшем этот же прием сохраняется не только в передаче формальных компонентов структуры челобитной как жанра XVII в., но и в последовательности расположения ее частей и их соразмерности. Так, первый абзац начинается словами:

«Великому господину, преосвященному Симеону, архіепископу Тверскому и Кашинскому, бьютъ челомъ богомольцы твои: Колязина монастыря крылошаня, діяконъ Дамаскъ-чернецъ съ товарищи. Жалоба, государь, намъ, богомольцемъ твоимъ тогожь Колязина монастыря на архимандрита на Гавріила: живеть онъ не гораздо, забывъ страхъ Божій и монашеское обѣщаніе, досаждаеть намъ богомольцемъ твоимъ вельми. Научиль онъ архимандрить понамарей плутовъ не вовремя въ колокола звонить, въ доски колотить, и они понамари плуты изъ колоколовъ много мѣди вызвонили, железные языки перебили, три доски исколотили, ни въ день, въ ни ночь намъ богомольцемъ твоимъ покою не даютъ» (стлб. 1776).

В этом фрагменте отчетливо выделяются характерные для монашеских приказных документов и вообще челобитных того времени устойчивые текстовые наименования: *великому господину, бьютъ челомъ, богомольцы твои, жалоба, государь, нам, ... на...* Причем в процессе стилизации для придания бóльшей реалистичности событиям введены и собственные имена их участников: *крылошаня, діяконъ Дамаскъ-чернецъ съ товарищи*. Далее следует контекстуальное расширение жалобы, достигаемое перечислением фактов, также представленных в типичной для челобитной манере: *... живеть онъ не гораздо..., ... досаждаеть намъ..., научиль онъ..., ... покою не даютъ*. Вообще изложение событийной стороны в таких документах было своего рода приказным мастерством — искусством, которое оттачивалось годами письменной, профессионально-канцелярской и житейской практики. Поэтому следование данной традиции является и неотъемлемым атрибутом пародийных произведений — прежде всего с целью воссоздания колорита приказной культуры, ее лаконизма. Во всей этой текстовой орнаментике даже в художественном сатирическом сочинении есть неперенные формулярные клише. Одним из таких стало наличие так называемых переходных слов и выражений, с помощью которых происходит как бы нанизывание

фактов, перечисление событий. Это своеобразная связка, объединяющая группы содержательных блоков текста, не дающая им распастся и организующая таким образом последовательное изложение в систему фактов. Вот как этот естественный деловой прием используется в изобразительных целях (обратимся снова к контексту, выделяя эти словесные «переходы»):

«Да онъ же архимандритъ приказалъ старцу со...ру въ полночь подѣ келей съ дубиною ходить, въ келейныя двери колотить, нашу братью будить; велить намъ скоро въ церковь ходить и насъ богомольцовъ твоихъ томить; а мы богомольцы твои кругъ ведра безъ портокъ, въ однихъ свиткахъ, въ кельяхъ сидимъ, не поспѣтъ намъ ночью въ девять ковшей келейнаго правила исправить и взваръ съ пивомъ въ ведра испорознить, чтобы сверху до дна сдуть пѣнку, — и мы все то покидаемъ, да вонъ изъ келей выбѣгаемъ. Да онъ же архимандритъ казны не бережетъ, ладану и свѣч много жжетъ, и тѣмъ онъ архимандритъ церковь запылилъ, кадилы закоптилъ, а намъ богомольцемъ твоимъ выѣло очи, засадило горлы. Да по его жъ архимандритову приказу у монастырскихъ воротъ поставленъ съ шелепомъ кривой фалалей, насъ богомольцовъ твоихъ за ворота не пускаетъ, въ слободы ходить не велить, — скотья двора посмотришь, чтобы телятъ въ станъ загнать, куръ въ подполь посадить, коровницамъ благословенья подать.

Да онъ же архимандритъ приѣхалъ въ Колязинъ монастырь, почалъ монастырской чинъ разорять, старыхъ пьяныхъ всѣхъ разогналъ. Дошло до того, чуть и монастырь не запустилъ: некому стало впредь заводу заводить, чтобы пива наварить, да медомъ подсытитъ, а на деньги вина прикупить, — помянуть умершихъ старыхъ пьяныхъ» (стлб. 1776–1777).

Из приведенного фрагмента отчетливо видны обозначенные нами словесные «переходы»: как правило, в одних случаях — это начальные строки предложений, начинающиеся с союза *да* с прикреплением к нему действующего лица (*он*). Примеры такого «объектного» перехода встречаются чаще всего и на всем текстовом полотне:

«Да онъ же архимандритъ въ великій постъ завелъ въ новъ чинъ земные поклоны; а въ нашемъ крылосскомъ уставѣ того не написано, а по нашему уставу съ утра бы рано до дни часа за три въ чесноковникъ звонить, а за бдюдомъ надъ старыми остатки часы говорить; а ‘блаженны’ въ ведрахъ надъ вчерашнимъ пивомъ поемъ на шесть ковшей, ‘слава и нынѣ’ говоримъ, а къ свѣту на печь и спать ляжемъ.

Да онъ же архимандрить намъ богомольцемъ твоимъ изгоню чинить: когда намъ ясти прикажетъ, и намъ на столъ ставить рѣпу пареную да рѣдку вяленую...»; «И ѱ него архимандрита на то смыслу не стало...» (стлб. 1780).

В других на первый план выступают пространственные, обстоятельственные отношения:

«А въ Колязинѣ онъ архимандрить просторно живетъ, нашей братьи въ праздники и въ будни на шеи большія чеи кладесть, да объ насъ же батоги приломаль и шелепы прирваль, и тѣмъ въ казнѣ поруху учиниль, а себѣ добытку мало получилъ»; «Да въ прошломъ, государь, году весна была красна, пенька росла толста. И мы богомольцы твои, радѣвъ мѣсту святому...» (стлб. 1778).

Что же касается заключительных строк «Калязинской челобитной», то в нашем списке, кроме имен, венчающих данное произведение, есть еще по крайней мере три характерных текстовых элемента: обращение к вышестоящей духовной власти и подписи, выдержанные в стилистике челобитных XVII в., и рифмованное назидание, завершающее художественной экспрессией приказную орнаментiku текста:

«Милостивый государь, преосвященный Семеонъ, архіепископъ Тверскій и Кашинскій, пожалуй насъ богомольцевъ своихъ, вели государь его архимандрита счесть, колокола да чеи вѣсомъ, а уголья мѣрою, доски и колоточки числомъ, а въ утерной убыточной казнѣ отчетъ бы намъ даль: крылоскіе люди живутъ небогато, нажитку не имѣють, только у насъ плошки да лошаки. А будетъ ему архимандриту и перемѣны не будетъ, и мы богомольцы твои ударимъ объ уголь плошки да лошаки, а въ руки возьмемъ по сошкѣ, да ступимъ по дорожкѣ въ иной монастырь, а гдѣ пиво да вино найдемъ, тутъ и поживемъ; а когда тутъ допьемъ, въ иной монастырь пойдемъ. А съ похмѣлья да съ тоски, да съ третьей бродни, да съ великія кручины назадъ въ Колязинъ пойдемъ и въ житницахъ и въ анбарахъ все пересмотримъ. Господинъ, смилуйся! А подлинную челобитную писали и складывали Лука Мазаевъ, да Антонъ Дроздовъ, Кирилла Мельникъ, да Романъ Бердникъ, да Ѳома Веретенникъ.

Зри очима, слушай ушима, внимай сердцемъ, пиши рукою, сиди крѣпко; у Бога милости проси, да и молися, не плоши» (стлб. 1782).

В более поздних «статейных» списках заключительная часть несколько теряет свой бытовой колорит, но зато приобретает сказоч-

ный, «прибауточный», идущий от народных небылиц и скоморошьего фольклора XVII в. литературный фон. Так, «Калязинская челобитная» из собрания Тихонравова заканчивается следующими словами:

«Подана сия челобитная лета утряса, месяца китовраса, в шестопятый день, в серой четверток, в соловую пятницу, а читателю предражайшему за работу великой огурец и сей челобитной конец» (Русская дем. 1977, 199).

В близкой манере, стилизующей подписи челобитных того времени, выдержан список из собрания Барсова: «...а писал сию челобитную сяк и так Исак, пометил дьяк — морской рак, месяца осеннего, а числа последнего нынешнего года» (там же, 199). «Все эти и некоторые другие текстовые детали соотносят сатирическое начало с реальным и позволяют говорить о 'Калязинской челобитной' как о «'серьезной' пародии» (Адрианова-Перетц 1937, 114), до тонкостей передающей трафаретный формуляр подлинного прототипа челобитной XVII в.

II. Художественная стилистика делового документа

Она определяется ярким сатирическим фоном, выразительной образностью, ироничными эпитетами, метафорами и другими изобразительными средствами, наличием элементов рифмованного текста, «скоморошьего языка». Под пером умелого автора обыденный монастырский быт предстает в обобщенно-сатирическом плане, но с показом конкретных сторон жизни монашеской братии. Причем основа данного произведения — чисто русская, не заимствованная из иных источников, а возникшая на родной почве. Причиной тому послужили многочисленные реальные социотипы, тяжбы и следствия, участниками и «героями» которых являлись монастырские служители. Но если подлинные документы неуставного жития, как правило, не выходили за пределы «письмохранилищ» и судебных органов, то здесь был создан прецедент, показавший реальную подоплеку монастырского существования. Говоря об этой части филологических достоинств нашего произведения, следует отметить, что его

автор, по-видимому, одинаково хорошо владел и приемами создания реальной исторической ситуации, и способами ее художественного выражения *разными языковыми средствами*, и неоднородной стилистикой, присущей жанрам устного народного творчества (песни, прибаутки, пословицы), и в то же время — приказной традицией. При этом синтезе «манер» не возникает впечатления об искусственном нанизывании приемов одного на другой — они как бы идут своим естественным чередом, образуя цельный художественный образ, в создании которого принимают участие *все языковые средства*. Этим достигается известная *литературность* повествования *делового сюжета*.

На фоне художественно оформленной приказной традиции особенно показательна рифмованная манера «Калязинской челобитной» — от «простых» совпадений до сказочно-лубочных сюжетов. Вот один из характерных фрагментов:

«Научилъ онъ архимандрить понамарей плутовъ не вовремя въ колокола звонить, въ доски колотить, и они понамари плуты изъ колоколовъ много мѣди вызвонили, железные языки перебили, три доски исколотили, ни въ день, въ ни ночь намъ богомольцемъ твоимъ покою не даютъ» (стлб. 1776).

Такие «стихи» могут складываться с помощью противопоставления: *звонить — колотить* (глагольная оппозиция), *ни въ день — ни въ ночь* (именная оппозиция); перечисления: *ходить — колотить — будить* (Да онъ же архимандрить приказалъ старцу со...ру въ полночь подлѣ келей съ дубиною *ходить*, въ келейныя двери *колотить*, нашу братью *будить*... (стлб. 1776–1777). Своеобразен метафорический подтекст таких рифм: лаконичен, остр, звучен; здесь же используются нетипичные для приказного документа выражения, но слившиеся в данном контексте с повествовательно-сатирической стихией содержания: ...*выѣло* очи, *засадило* горлы (стлб. 1777).

Экспрессия в сравнениях достигается с помощью оригинальных иронических параллелей, например, «старых бражников» певчего Лукьяна, подьячего Силуяна и безграмотного попа Колотила называют «мастерами» — «старыми питухами»:

«И въ Колязинѣ наша братья крылошаня съ любовію ихъ приняли, такихъ мастеровъ, старыхъ питуховъ, стали бы купно за одно смы-

шлять, какъ бы монастырской казнѣ прибыль учинить, а себѣ въ мошнѣ не копить» (стлб. 1778).

Здесь *питух* — производная форма от глагола *пить* с характерным «хмельным» намеком; она широко встречается в разных формах в подлинных деловых документах XVI–XVII вв. В юридическом тексте 1622 г. читаем: *Собрано заповѣдныхъ денегъ на питухахъ, которые по кустамъ продажное питье пили* (СлРЯ XI–XVII-15 1989, 62). Так, по данным «Словаря русского языка XI–XVII вв.» в обиходно-приказном языке были зафиксированы следующие варианты: *питухъ* — ‘человек, пристрастный к чрезмерному употреблению хмельных напитков’; *питуха* — ‘пирушка с обильным употреблением хмельных напитков; пьянка’; *питушка* — ‘ковш, черпак для хмельных напитков’ (там же, с. 62). Этот же сюжет колоритно обыгрывается и в русском фольклоре, лубочных картинках. В. И. Даль называл «пѣтухомъ» ‘здорного, драчуна, забияку’ (Даль-3 1994, 1446), а также отмечал способность слова к употреблению в иносказательном смысле: такая, например, присловица *Дерется пет, с орлом, прилетел коршун с хвостом, разнимать пета с Орлом* означает на языке мошенников ‘вода с огнем в чугуне’ (там же, с. 1446), и др.

Стоит сказать и о лексической основе «Калязинской челобитной», подчиненной и законам жанра сатирической повести, и одновременно выдержанной в традициях разговорно-бытового и приказного языка, причем, как мы смогли заметить, здесь одинаково сильны позиции и устной, и письменной речи. Они как бы переплетаются друг с другом, наслаиваются. В итоге получается причудливое сотворчество общенародного языка в его бытовой и деловой формах с лаконизмом и красочностью пословиц и эпитетов. Такие сюжеты многочисленны: *...а мы богомольцы твои кругъ ведра безъ портокъ, въ однихъ свиткахъ, въ кельяхъ сидимъ, не поспѣтъ намъ ночью въ девять ковшей келейнаго правила исправить и взваръ съ пивомъ въ ведра испорознить...* (стлб. 1777); *...стали бы купно за одно смышлять, какъ бы монастырской казнѣ прибыль учинить, а себѣ въ мошнѣ не копить. А еслибы намъ богомольцамъ твоимъ власти не мешали, и мы бы не пожалѣли, и колокола бы отвязали, да въ Ка-*

шинъ сослали и на вино бѣ промѣняли: и такъ они намъ много зла учинили, всѣхъ насъ переглушили (стлб. 1778);

А въ Колязинѣ онъ архимандритъ просторно живетъ, нашей братѣ въ праздники и въ будни на шеи большія чепи кладетъ, да обѣ насъ же батоги приломалъ и шелепы прирвалъ, и тѣмъ въ казнѣ поруху учинилъ, а себѣ добытку мало получилъ (стлб. 1778).

В последнем фрагменте выступает еще одна деталь: отголосок диалектной формы *чепи*, как сообщающей народный колорит речи сочинителей этого произведения.

Говоря о специфике художественного оформления словесного материала «Калязинской челобитной», В. В. Колесов верно заметил:

«Скоморошина видна и в рифмовке, и в повторениях глаголов, и в краткости синтагм, и в характере глагольных форм (инфинитив и презенс). Действие происходит в монастыре, и пародийное переосмысление традиционных формул является единственным средством создания комического эффекта; все основано на языке» (Колесов 1989, 174).

Наивысшего художественного мастерства рифмованная речь достигает в тех контекстах, где используются фрагменты *живого* говора, бытового, народного просторечия. Вот лишь некоторые примеры: *А намъ богомольцемъ твоимъ и такъ не сытно: рѣна да хрѣнъ, да черный чашиникъ Ефремъ...* (стлб. 1779); *...самъ во нравѣ своемъ одинъ живетъ, да съ горя сухой хлѣбъ жуетъ, медъ весь перекисъ, и онъ воду пьетъ* (стлб. 1779); *...крылосскіе люди живутъ небогато, нажитку не имѣютъ, только у насъ **плошки да лошки**. А будетъ ему архимандриту и перемѣны не будетъ, и мы богомольцы твои ударимъ обѣ уголь **плошки да лошки**, а въ руки возьмемъ по сошкѣ, да ступимъ по дорожкѣ въ иной монастырь...* (стлб. 1782).

Некоторые из отмеченных выражений указаны собирателем пословиц П. К. Симони. Первую можно сравнить с записью XVII в.: «Ефрем любит хрен» (Симони 1899, 99), а вторую с такой: «разорение монастырю — квас густ, а игумен воду пьет» (там же, № 620). В. П. Адрианова-Перетц справедливо полагала, исследуя рифмованные формы сатирических повестей XVII в., что

«это не та виршевая манера, которую культивируют в это же время на верхах московского литературного мира: рифмованная речь 'Ка-

лязинской челобитной' скорее ведет нас к остаткам скоморошьяго языка, сохранившимся в устной традиции — в 'скоморошьем ясаке' сказок, прибаутках, свадебных приговорах дружек и, наконец, в пословицах» (Адрианова-Перетц 1937, 116).

Приведем еще характерные примеры из «Калязинской челобитной»: *Да въ прошломъ, государь, году весна была красна, пенька росла толста. И мы богомольцы твои, радѣвъ мѣсту святому, межъ себя присовѣтовали, чтобъ изъ той пеньки веревки долги да толсты повить, чѣмъ бы изъ погреба бочки съ пивомъ волочить, да по крылосскимъ кельямъ возить, чтобы у келей двери завалить, будильниковъ бы въ кельи не пустить, — не мешали бы намъ пива испить. И онъ архимандритъ догадался, а отъ насъ челобитья убоился: приказалъ онъ архимандритъ той пеньку въ веревки свивать да въ четверо сгибать, да на короткія палки вязать, да вздумалъ ихъ шелепами называть, а слугамъ приказалъ высоко подымать, а на насъ богомольцовъ твоихъ тяжело опускать, а самъ стоя училъ канонъ орать (стлб. 1778); И намъ богомольцемъ твоимъ лежа и успѣвать не поспѣтъ, потому что за плечами тѣло нужно, а подъ шелепами лежатъ душно (стлб. 1778–1779); А въ Колязинѣ обитель не малая, казна большая, послѣ мору старыхъ лѣтъ въ запасъ осталось, въ хлѣбнѣ по подлавичью стулья да чепи валяются, въ мукошѣйнѣ по спицамъ шелепы да плети висятъ, въ караульни по подлавичью снопы батоговъ лежатъ, и у насъ богомольцевъ твоихъ отъ того страху очи не видятъ, а у малодушныхъ за плечами кожа вертится, отъ того и ночью не спится (стлб. 1780); Честь намъ у него была добра, во всю спину ровна, что и кожа съ плечъ сползла (стлб. 1780); А буде ему, архимариту, впредь мы надобны не будем, и мы, богомольцы твои, ударимъ объ угол плоску да покладемъ въ мешокъ лошкы, да возьмемъ въ руки посошкы, пойдемъ изъ монастыря по дорожке въ иной монастырь, где вино да пиво найдемъ, тут и жить начнемъ, пиво да вино допьемъ, и въ иной монастырь пойдемъ и проживемъ по разсмотрению с похмелья да с тоски да с третьей брани и великия кручины... (Каляз [II], 214).*

Очевиден «пословичный», сказочный облик отмеченных фраз. «Прибалуточный» эпос русского фольклора, бытовавшего в разных видах и формах, с их красочным языком выразился и в тексте наше-

го памятника. Шутливо-фарсовое начало этих мини-небылиц и скороговорок не могло быть отображено в их естественной, бытовой метафоричности, а перерабатывалось согласно приказным «условиям» текста и обретало свой «деловой» колорит. Характерные соответствия находим и в позднейшей сказочной традиции, для которой были обычны такая языковая манера и стилистические приемы, приближенные к живому фону народной речи. Приведем и некоторые из сходных фрагментов, заимствованных из «Северных сказок» Н. Е. Ончукова и получивших словесную «гравировку» в тексте «Калязинской челобитной» (выделяем рифмованные части подчеркиванием):

Прибалутка. Бываль да живаль, на босу ногу топор надѣваль, топоричемъ подпоясывалса, кушакомъ дрова рубиль. Дрова нарубиль, по дорожкѣ пошолъ; шолъ, подошол, заблудылса, до избушки добылса. «Избушка, избушка, на кърѣй ножкѣ, на веретѣнной пяткѣ, повернись къ лѣсу глазами, ко мнѣ воротами, ко мнѣ тынцомъ, ко мнѣ крыльцомъ». Избушка повернулась, зашолъ въ избушку, сидитъ чеснѣ квашня, женщину мѣситъ. Онъ былъ поркахъ, у порковъ гѣсникъ, онъ черезъ гѣсникъ скочилъ, порогъ-отъ и сорвалса, онъ на печку забралса, да тутъ и поколѣлъ. (Ончуков 1909, 508).

Прибалутка. Жилъ былъ старикъ съ мужомъ, да старуха с женой; дѣтей у нихъ не было, а полна изба робѣтокъ, жили они богато, денѣгъ скласть нѣ во што и кошелька купить нѣ на што. Домъ былъ у нихъ новой, окѣленки двойны, только рамы однѣ. Жона была роскрасавица, изъ лохани брана, помеломъ наресѣвана, за окошко зглянѣтъ, дакъ три дня собаки лають, прочь не отходятъ <...> (там же, 508).

Прибалутка-скороговорка. Бываль бывалко, живаль живалко, насралъ на горку, спустилъ подъ горку, катись, моѣ чадо, катись, моѣ мило, катись не ушибись, не о пень, не о догору, не о косую огороду. Бываль да живаль, трои лыжи подъ поясъ подтыкаль, самъ пошолъ дорогой, ноги стороной <...> (там же, 507).

Скороговорка. Начинается, починается, сказка добрая, повѣсть долгая, отъ добраго коня иноходца, отъ молодецкаго посвисту, отъ бабѣго поперду, отъ наступчиваго поросѣнка. <...> (там же, 143).

Небылица. Бываль да живаль, на босу ногу топоръ надѣваль, трои лыжи за поесь затыкаль; пошолъ возлѣ лыко гору драть, увидѣлъ озеро на уткѣ сидитъ; высѣкъ я три палки, перву бросилъ — недо-

бросиль, втору бросиль — перебросиль, третью бросиль — попалъ; утка стрепенулась, а озеро полетѣло, да на сухой лѣсъ сѣло, ну и сказки конецъ (там же, 73).

Для авторов таких произведений было важно показать в сатирическом ключе «деловой сюжет», обыграть его средствами языковой и стилистической орнаментики, что свидетельствует о том, что такой контаминированный жанр был очень удобен для строительства и совершенствования литературного процесса XVIII в. На его основе проверялись и собственно художественные достоинства сатирической повести, и ее возможные связи с другими жанрами и типами повествования. Языковые контакты и переплетения в ткани такого произведения также были своего рода ареной для формирования и моделирования художественного вкуса эпохи, который складывался, как мы видим, из очень разных компонентов, вкуче отображавших интересы, а отчасти и филологическое лицо поколения писателей и читателей XVII–XVIII вв.

Симптоматично, что прием художественной стилизации делового орнамента нередко как раз под влиянием разных «прибалудок» приобретает особую тональность в многочисленных челобитных-шутках, где присутствует подобное «нагромождение невероятностей» (выражение В. П. Адриановой-Перетц) в сочетании с метафорическим сюжетом, представленным в рифмованной форме. Вот некоторые из известных нам пародий на челобитные:

Список с челобитной (по списку первой четверти XVIII в.)

Господину моему свинье бьет челом и плачетца и за печь прячетца. Ис поля вышел, из лесу выполз, из болота выбрел, а неведомо кто. Жалоба нам господам на такова же человека, каков ты сам. Ни ниже, ни выше, в твой же образ нос, на рожу сполс. Глаза нависли, во лбу звезда, борода у нево в три волоса широка и окладиста, кавтан...ной, пуговицы тверския, в три молота збиты. Господарь судья свинья, возми на колачи, а делом не волочи (Адрианова-Перетц 1937, 113).

Шутливая челобитная (по списку первой четверти XVIII в.), помещенная в «Исторической хрестоматии...» Ф. И. Буслаева

Господа бояря, судите рядите в божию правду в крестное цѣлованіе: дѣло у васъ в мѣсице саврасе в серую субботу в соловой четверкъ в желтой пятокъ день. шель де я Сергунка в судне по подледью въ зиме на свинье <...> по четыре чяса на день, а руки держаль за пазу-

хою а ногами правиль а головою в седле сидѣль. какъ буду де я Сергунка противъ Симонова лицомъ Воробьева задомъ. тутъ де мои недруги стоять. ниже меня ростомъ и глупея меня разумомъ <...> и тутъ де они меня били и грабили однорятку сняли <...> возьми на колачи а дѣломъ не волочи. (Шутл. чел. 1861, 1447–1448).

Ф. И. Буслаев, публикатор последней, справедливо заметил, что «из этих произведений явствует, что преследованию подъячих в литературе XVIII в. предшествовал в XVII в. целый ряд шутливых и сатирических народных произведений» (там же, с. 1448).

Эти «смехотворные сюжеты» закрепляли в своей основе и новые художественные принципы стилизации текста. Как один из приемов использовался — приказный формуляр. Причем мы заметили, что своеобразной языковой пародии подвергались не только отдельные части делового документа, но и весь текстовой материал. Активной стилистической обработке подвергалась та часть утилитарной письменной традиции, где возможны были описательные характеристики. Переделанный художественный формуляр подобных фрагментов особенно изобилует парадоксальными словесными наслоениями (см. выше: *Ни ниже, ни выше, в твой же образ нос, на рожу сполс. Глаза нависли, во лбу звезда...*). «Приказное шутовство» вызвало к литературной жизни ранее несовместимые в таких контекстах образы и обороты типа *господину моему свинье бьет челом* и подобные.

Популярность этого жанра была столь велика, что и в XIX в. находились умельцы, которые успешно использовали основу делового документа для создания пародии. Такова, например, «Просьба о разрешении жениться [Писано цесаревичу Константину Павловичу]», датированная 1805 г. и найденная, как сообщалось в «Русской старине», в рукописном сборнике «начала текущего (т. е. XIX. — О. Н.) столетия» (Прошение 1880, 436). Вот ее текст:

«Ваше Императорское Высочество! Будучи всегда благодѣтельствовавъ вашимъ высочествомъ, предпринимаю смѣлость просить у васъ благословенія; я нынѣ собрался съ умкомъ, чтобъ завестись домкомъ; по сіе время не имѣю денегъ ни полушки, хлѣба ни краюшки, ни кола ни двора, и для того я думаю жениться пора; у Бога недолго, а у насъ тотъ-часъ, мѣсяца черезъ два и свадьба на заказъ. — Дѣвица именемъ Констансъ; которую..... не нахожу за нужное описывать ея здѣсь совершенства — коротко сказать: она мнѣ противна, какъ ни-

щему гривна; ваше высочество изволили ее видѣть у графини Платеровой на балѣ; не безъизвѣстно вамъ, что одинъ изъ ея обожателей, будучи терзаемъ любовію, предался вѣчному покою, другому вышла отставка, третьему — отказъ, а мнѣ, напротивъ, милостивый указъ. На бѣду мою, не тутъ то было; а какъ дѣла то къ вѣнцу, такъ и я къ концу, былъ бы у мужа съ женою ладъ, не надо въ дому и кладъ, слава Богу, что я ей по нутру. Говорять, что служивому жена есть въ тягость, ни чуть не бывало: гдѣ чортъ не сможетъ, тамъ добрая жена поможетъ; бракъ безъ благословенія, какъ церковь безъ колокольной; а при немъ просимъ удѣлить намъ по пригоршни свѣтлой пыли, мы бы съ вашей легкой руки по смерти спокойны были. Вашего Императорскаго Высочества всеподданнѣйшій Садовниковъ.

Изъ Дубна. 11-го мая 1805-го года».

(Прошение 1880, 436).

Здесь также соблюдается приказная стилистика изложения просьбы, в которую введены черты рифмованной театральности и пословичного лаконизма: *...предпринимаю смѣлость просить у васъ благословенія; я нынѣ собрался съ умкомъ, чтобъ завестись домкомъ; по сіе время не имѣю денегъ ни полушки, хлѣба ни краюшки, ни кола ни двора, и для того я думаю жениться пора; у Бога недолго, а у насъ тотъ-часъ, мѣсяца черезъ два и свадьба на заказъ; о будущей невесте: ...она мнѣ противна, какъ нищему гривна...*

Иронический оттенок ощущается и в других эпизодах этого прошения, которое можно признать блистательным образцом подделки, выразившей в тексте с помощью «делового» сюжета и характерной образности пародийную манеру подобных документов. Как кажется, представленный сюжет вобрал в свою канву все известные приемы стилизации, причем, что важно, они естественно вплетаются в ткань произведения, создают своеобразный приказный художественный орнамент, удивительно красочный, с выразительными языковыми находками: *...какъ дѣла то къ вѣнцу, такъ и я къ концу, былъ бы у мужа съ женою ладъ, не надо въ дому и кладъ...; ...гдѣ чортъ не сможетъ, тамъ добрая жена поможетъ; бракъ безъ благословенія, какъ церковь безъ колокольной; а при немъ просимъ удѣлить намъ по пригоршни свѣтлой пыли, мы бы съ вашей легкой руки по смерти спокойны были.*

Характерной особенностью этой пародии является ее обращение к высшему сановнику цесаревичу Константину Павловичу. До сих

пор известны были сюжеты, не имеющие конкретной направленности и столь яркого пословичного «темперамента». Здесь, напротив, избыточная фразеологизация текста: пословицы как бы нанизываются одна на другую, следуя без необходимых смысловых соединений.

В «Русской старине» в 1880 г. были опубликованы и позднейшие (XIX в.) авторские подделки, во многом следовавшие приказной традиции XVII в. и последующего времени и отражавшие те функциональные и формальные изменения, которые произошли в XVIII столетии. Их сочинитель И. Ф. Горбунов мастерски ориентировался в древнем «подьяческом наречии» и новом деловом слогое, но не создавал художественного текста со своим сюжетом, а лишь подделывал типовые образцы документов, их язык и стиль, не преследуя сатирических целей. Но и в таком виде их можно оценить как лингвокультурный факт, который задержал в памяти потомков приказные схемы прошлого и заставлял их (может быть, просто ради шутки) вновь и вновь обращаться к «деловому» наследию Отечества. Вот эти образцы:

І. Челобитная XVII ст. [По титулѣ].

Бьетъ челомъ и плачется сиротишка твой Государевъ разбойнаго приказа писчикъ Павликъ. Въ прошлых-годѣхъ велѣно мнѣ сидѣть въ разбойномъ приказѣ безотступно и всякія разбойныя и татинныя дѣла списывати. А жалованье мнѣ противъ другихъ подъячихъ вполы, да сапоги, да однорядка, да шапка. И я, сирота, сидючи въ разбойномъ приказѣ, о твоємъ Великаго Государя дѣлѣ радѣлѣ. А нынѣ та однорядка износилаь и сапоженки поистлѣли — въ приказѣ ходить нудно: пальцы прихватываетъ и пяткамъ тягота великая. Царь Государь! смилуйся для своего многолѣтняго здравія и всемірныя радости царевича (имя рекъ) вели меня, сиротишку, обуть.

Помѣ та: Объявлено Государево жалованье: дать однорядку, да сапоги, да шапку.

ІІ. Челобитная XVII ст. [По титулѣ].

Его сіятельство генераль-аншефъ, генераль-адъютантъ, преображенскаго полку бригадиръ приказалъ мнѣ, нижайшему, быть в юстицъ-коллегіи у письменныхъ дѣлѣ безъ срока. И я, будучи въ юстицъ-коллегіи, Ея Императорскаго Величества интересу служилъ. А нынѣ мнѣ, нижайшему, отъ юстицъ-коллегіи резолюція: отъ юстицъ-коллегіи отставить, на основаніи указовъ Ея Императорскаго Величе-

ства. А мнѣ, нижайшему, при холодной атмосферѣ, жить въ резиденціи Ея Императорскаго Величества невозможно. А посему...

Резолюція: Определить Ея Императорскаго Величества на молочный дворъ для смотренія, а кормъ оттуда-же натурою.

III. Прошение XIX ст.

Прослуживъ безпорочно тридцать лѣтъ и не имѣя возможности при настоящей дороговизнѣ хлѣба и мяса...

Резолюція. По непредставленію марокъ, оставить безъ послѣдствій. (Горбунов 1880, 796).

В основе этих «художественных» челобитных лежат деловые документы XVII и XVIII вв. Как видно из довольно разнообразного текстового массива подобных подделок, деловая письменность была объектом создания на ее базе *литературного* произведения, причем на формах челобитных опробовались разные по направленности и генетике жанры — от устной народной поэзии до пословиц и сказок, бытового просторечия. Кажется, что всю гамму литературного полотна в известных анонимным авторам этих сочинений формах могла вместить челобитная, которая под пером умелых экспериментаторов рождала оригинальные художественные полотна. Такое языковое, стилевое, текстовое сотворчество делового и неделовых жанров есть, как мы думаем, и своеобразная форма поиска нового, более совершенного *литературного* языка. Путем обработки и словесной игры с ветвями различных традиций происходило прощупывание реальной языковой стихии и ее потенциальных возможностей.

Наши наблюдения еще раз свидетельствуют о том, что в современной проблематике традиционного диахронного языкознания необходима «реанимация» взглядов на историю русского литературного языка с точки зрения придания большей роли *деловой* традиции и — что объективно — ее участию в литературно-языковом процессе того времени. Речь, разумеется, не идет о некоем лингвистическом соревновании, но наш анализ позволил с достаточной долей уверенности говорить о том, что стиль и язык, обслуживавшие приказную письменную культуру, особенно в XVII–XVIII вв., и составил в измененных и приспособленных к новым общественным установкам формах неотъемлемую часть зарождавшегося современного русского литературного языка. Если в целом церковная книжность

довольно скупо подвергалась «опрощению», то деловая словесность уже выступала в роли гражданского посредственного наречия и активно впитывала новые веяния реформ. Кроме того, возросшее количество научно-технических, исторических, даже художественных произведений в XVIII в. своими ориентирами уже не избирали старую «славянскую» традицию, а искали пути взаимодействия с европейскими стилями речи. В этом резком толчке вперед, который произошел в Петровское время, самую активную позицию заняла деловая письменность и стили «светско-деловой» (выражение В. В. Виноградова) речи, как наиболее приспособленные к гражданским переменам и в какой-то мере подготавливавшие их ходом своего исторического развития. Деловая письменность в период смешения «языковых миров» и распада системы церковнославянской книжности выступала своеобразным сдерживающим фактором, нейтрализующим литературно-языковые перегибы времени. При этом настоящий всплеск гражданского приказного творчества и установление новых порядков в сфере административного производства выдвинул деловую письменность на одно из первых мест в историко-культурной «табели о рангах» и надолго закрепил ее приоритеты в системе письменных стилей литературного языка. Таким образом, приказная словесность получила признание в совершенно иной лингвоэстетической атмосфере, сохранив свое утилитарное предназначение в более высокой степени, чем ранее.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Здесь и далее при цитировании в круглых скобках указываются только столбец цитируемого фрагмента: (Каляз. [I]). Примеры, используемые из (Каляз. [II]), даются с полным обозначением.

ЛИТЕРАТУРА

Адрианова-Перетц 1937 — В. П. Адрианова-Перетц. *Очерки по истории русской сатирической литературы XVII в.* Москва/ Ленинград, 1937.

- Верещагин 2003 — Е. М. Верещагин. *Ментальная преемственность на протяжении тысячи лет: Кирилло-Мефодиевское Свщ. Писание в современном языковом сознании*. Древняя Русь. Вопросы медиевистики, Москва, 2003, № 4 (14).
- Виноградов 2000 — В. В. Виноградов. *Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка*. Москва, 2000.
- Глинкина 2001 — Л. А. Глинкина. *Лингвистическое краеведение на Южном Урале. Ч. III. Очерки по языку деловой письменности XVIII века*. Под общ. ред. Л. А. Глинкиной. Челябинск, 2001.
- Горшков 1969 — А. И. Горшков. *История русского литературного языка: [Учеб. пособие для студентов филологических факультетов]*. Москва, 1969.
- Жмакин 1881 — В. Жмакин. *Митрополит Даниил и его сочинения. Исследование Василия Жмакина*. Москва, 1881.
- Забелин 1905 — И. Е. Забелин. *История города Москвы. Ч. I*. Москва, 1905.
- Колесов 2001 — В. В. Колесов. *Источники древнерусской культуры и истоки русской ментальности*. Древняя Русь. Вопросы медиевистики, Москва, 2001, № 1 (3), с. 1–9.
- Колесов 1985 — В. В. Колесов. *Литературные слова в диалектной речи: (4. Вещь)*. Диалектная лексика. 1982. Сборник научных трудов. Отв. ред. Ф. П. Сороколетов, Ф. П. Филин. Ленинград, 1985, с. 55–67.
- Левин 1958 — В. Д. Левин. *Краткий очерк истории русского литературного языка*. Москва, 1958.
- Малышева 2002 — И. А. Малышева. *О картотеке языка памятников деловой письменности первой половины XVIII в. Восточнославянская историческая лексикография на современном этапе. К 75-летию Древнерусской рукописной картотеки XI–XVII вв.* Москва, 2002, с. 216–223.
- Полякова 2002 — Е. Н. Полякова. *Лексика и ономастика в памятниках письменности и в живой речи Прикамья*. Е. Н. Полякова. Избранные труды. Пермь, 2002.
- Ровинский 1881 — Д. А. Ровинский. *Русские народные картинки. Кн. I. Собрал и описал Д. Ровинский*. Санкт-Петербург, 1881.

ИСТОЧНИКИ И СЛОВАРИ

- Горбунов 1880 — [Шутки-подделки И. Ф. Горбунова]. *Русская старина*. Ежемесячное историческое издание, год одиннадцатый, Санкт-Петербург, т. XXIX, Ноябрь [№ 11], 1880, с. 796.

- Даль I–IV, 1994 — В. И. Даль. *Толковый словарь живого великорусского языка. В 4-х т.* Москва, 1994.
- Каляз. [I] — Л. П. Два памятника древнерусского монастырского быта (XVIII века). Русский архив, издаваемый Петром Бартевым, год одиннадцатый (1873), Москва, 1873, книга вторая, [№ 9], стлб. 1777–1778.
- Каляз. [II] — Список с челобитные, какова подана въ 185 (1677) году Калязина манастиря от крылошан на архимандрита Гавриила въ его не исправном житии слово в слово преосвященному Симеону, архиепископу Тверскому и Кашинскому. Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга вторая. Сост. и общая ред. Л. Дмитриева, Д. Лихачева. Москва, 1989, с. 211–214.
- Ончуков 1909 — *Съверныя сказки. (Архангельская и Олонецкая гг.). Сборникъ Н. Е. Ончукова.* Санкт-Петербург, 1909.
- Прошение 1880 — *Просьба о разрешении жениться [Писано цесаревичу Константину Павловичу].* Русская старина. Ежемесячное историческое издание, год одиннадцатый, Санкт-Петербург, 1880, т. XXIX, Октябрь [№ 10], с. 436.
- Русская дем. 1977 — *Русская демократическая сатира XVII века.* Москва, 1977.
- Симони 1899 — П. К. Симони. *Старинные сборники русских пословиц и поговорок, загадок и проч. XVII–XIX ст. Вып. 1–2.* Санкт-Петербург, 1899.
- СРНГ-2, 14 — *Словарь русских народных говоров. Вып. 2; 14.* Ленинград, 1966; 1978.
- СлРЯ XI–XVII 1–26–, 1975– — *Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–26.* Москва, 1975–2002–. (Издание продолжается).
- СОРЯ 2003 — *Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–XVII вв. Пробный выпуск.* Под ред. О. С. Мжельской. Санкт-Петербург, 2003.
- Тупиков Н. 1903 — Н. Тупиков. *Словарь древнерусских личных собственных имен.* Санкт-Петербург, 1903.
- Шутл. чел. 1861 — [Шутливая челобитная]. Историческая хрестоматия церковно-славянскаго и древне-русскаго языковъ. Составлено, на основаніи наставленія для образованія воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній, высочайше утвержденнаго 24-го декабря 1848 года, Ѳ. Буслаевымъ. Москва, 1861, стлб. 1447–1448.

**Ametlikud tekstid XVII–XVIII saj. traditsioonide ristumiskohal
(vene kirjakeele rahvusliku põhialuse formeerumisest)**

Oleg V. Nikitin

Vene kirjakeele ajaloos on erilist osa mänginud ametlikud tekstid ja kantseleikeele traditsioonid, eriti märgatavalt XVII–XVIII sajandil. Artiklis vaadeldakse rikkaliku materjali põhjal ametlike tekstide žanre, mis on vene rahvuskeele kirjakeeleks kujunemisele kaasa aidanud, uuritakse ametliku keele leksikat ja stilistikat kui komponente, millel on olnud aktiivne osa üldvene normide väljatöötamisel. Autor on arvamusel, et ajalooline russistika peab arvestama ametliku keele kirjaliku traditsiooni rolli ja kaalukust kirjakeele kujunemise protsessis, mille tulemuseks on uuele ajale vastavate vene kirjakeele aluste formeerumine.

Александр Дмитриевич Дуличенко
Тартуский университет

ОТ «КНИЖНОЙ СПРАВЫ» К «ТИПОЛОГИИ РЕФЛЕКСИИ», ИЛИ ОБ ОБЩЕМ СЛАВЯНСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ

История письменности – общеславянский (всеславянский) язык – церковно-славянский язык – «книжная справа» – полемика

Мне пришлось долго раздумывать над тем, писать ли отклик на книгу Н. Н. Запольской или же не стоит этого делать по той причине, что эта работа производит весьма противоречивое, если не сказать — странное, впечатление (Запольская 2003). Книгу нужно было прочесть по меньшей мере дважды, так как с большим трудом пробираешься сквозь джунгли ультрамодернистской терминологии, которая без всяких оговорок как сетями накидывается на исторический материал, материал уже далеких от нас эпох; без конца наталкиваешься на проявления фрагментарных знаний, на содержательные и стилистические неряшливости, а от манеры цитировать и документировать литературу приходишь просто в оцепенение. Что же это такое? Симптом грядущего «нового», «свободного» и «раскованного» времени, когда на первом плане автор, а материал, его документирование и принципы анализа — нечто второстепенное? Об этом можно только догадываться или строить предположения. Впрочем, не только можно, но и — нужно. Уже сейчас. Пока не поздно...

И все же несмотря на то, что со времени появления книги прошло пять лет, я решаюсь высказаться о ней, поскольку давно и с интересом занимаюсь проблематикой «общих славянских литературных языков» (или всеславянских языков) в истории славян, а в 2002/

2003-м академическом году даже прочитал для студентов и докторантов Тартуского университета семестровый спецкурс «Идея всеславянского языка и славянской взаимности в истории славян» (см. программу этого курса, опубликованную в изд.: *Slavica Tartuensia VI: Славянские языки: от прошлого к настоящему*. Tartu, 2003, с. 282–285). Кроме того, мне бы не хотелось, чтобы «революции» совершались там, где им, как говорят, по определению нет места. Сразу же замечу, что пишу этот текст с большим сожалением, однако... истина всего дороже.

Уже «Введение» (с. 9–11) настораживает хаотичностью своих заявок. Возьмем хотя бы первое его предложение:

«Традиционные концепции ‘общего’ славянского литературного языка рассматриваются в рамках двух разделов языкознания — истории славянских литературных языков и интерлингвистики» (с. 9).

То, что интерлингвистика является разделом языкознания, в этом уже можно не сомневаться. А вот что касается раздела языкознания (!) «история славянских литературных языков», то до сих пор эта дисциплина была разделом славянского языкознания. Далее. На протяжении всей книги, начиная с ее названия на обложке и на внутреннем титульном листе, в терминологическом сочетании *общий славянский литературный язык* слово *общий* берется в кавычки: этим как бы подчеркивается ироничность предмета исследования. Но тогда как быть с тем непреложным фактом, что старославянско-церковнославянский язык был на протяжении ряда веков действительно общим, в другой терминологии — международным, литературно-культурным языком не только славянского православного, но и части католического (хорваты), а также части православного романского (молдаване, румыны) мира? В таком случае возникает вопрос: зачем же тогда браться за заявленную тему?!

Вслед за этим автор отмечает рассмотрение проблемы общего славянского литературного языка в рамках интерлингвистики, в которой, по ее убеждению,

«несмотря на ‘удвоенное’ внимание (позвольте спросить: к чему или к кому?! — А. Д.), изучение опытов ‘общего’ славянского литературного языка сводится к атомарному анализу элементов тех языков, в

рамках которых мыслился тот или иной вариант нового 'общего' литературного языка славян» (с. 9).

«Атомарный анализ элементов» приписывается нескольким, конкретно — шести авторам: от И. Первольфа (1874) и А. Маркевича (1876), оставивших основательные для своего времени труды об идее славянской взаимности и о Ю. Крижаниче в частности, до автора настоящего текста, о работах которого по славянской интерлингвистике молодая исследовательница не имеет ни малейшего представления (см., например: Duličenko 1989, 71–90; Duličenko 1992, 431–444 и др.; также: Brozović 1990, 71–76). Но, даже указав на работы этих шести авторов, она их ни разу не цитирует, ни разу не полемизирует с ними: она просто показала, что ей случайно попались такие работы, но что они — не для нее. Правда, Н. Б. Мечковскую она вспомнила еще однажды на с. 148, да и то только для того, чтобы сказать, как та «была неправа» в трактовке языка Ю. Крижанича — потому что З. думает об этом иначе!...

Однако... все еще не имею возможности перейти к основной части книги.

«Расправившись» двумя предложениями (в буквальном смысле двумя!) с теми, кто не так думает и вообще «атомарно» мыслит, автор разъясняет, что она понимает под «типологией лингвистической рефлексии» (с. 9). Словами цитируемого ею здесь автора — это, якобы, «упорядоченное отображение языкового материала». Между тем в книге, откуда выдернута фраза, речь идет не о «рефлексии», но о «метаязыковых моделях», которые, по мнению цитируемого автора, призваны создавать «упорядоченное отображение языкового материала», притом в этой части книги нет ни слова о славянском материале (см. Гаспаров 1996, 44). А как же быть, если под рефлексией традиционно понимается размышление со всеми его сомнениями и колебаниями или просто склонность анализировать свои переживания? Ну, да пусть с нею, с традицией... Но тогда как быть с таким сомнением, которое обуревают вами: разве «упорядоченное отображение языкового материала» можно считать типологией?! Разве типология не есть нечто иное?!...

Тут же автор книги заявляет о своем «интегративном анализе, позволяющем рассмотреть в одном научном контексте представле-

ния» — о новом 'общем' языке, о церковнославянском и о народном литературных языках (с. 9–10). Но разве все эти разновидности одного и того же объекта — литературного языка — не должны рассматриваться в *историческом контексте* прежде всего? Ведь объекты — языки Ю. Крижанича (XVII в.) и М. Маяра (XIX в.) и язык некоторых трудов и переводов XVII–XVIII (и даже XIX) вв. — все это история, и потому они должны рассматриваться в контексте своей эпохи, а не в искусственно созданном «одном научном контексте»!

Заслуживает внимания то, как З. строит (во «Введении») «проблематизированную иерархию», а попросту выражаясь, какие задачи она ставит перед собой? Таких задач пять, и все они представлены в виде «(неорганизованного) набора» — чего сто́ит, например, постановка на самое первое место сначала глобальной задачи «построения типологической модели лингвистической рефлексии», а потом уже без всякой логики и последовательности — конкретных задач в виде «зон манифестирующего типа рефлексии», «параметров, репрезентирующих рефлексия», «процессов реплицирования» и под. Почему же все поставлено с ног на голову? Да потому, что все заранее решено: готова она, эта «типологическая модель лингвистической рефлексии», — ее только нужно как-то накинуть на разношерстный и разновременный материал...

И, наконец, «Введение» завершается ссылкой на авторитетного М. М. Бахтина о том, что «хорошо изученное явление..., представляющееся частным и второстепенным, может иметь принципиальное значение для науки» (причастный оборот в цитате запятыми выделил я). Так если явление уже «хорошо изучено», то, собственно, для чего сама затея?!... И тут, дочитав до указанного места, вас охватывает уныние — от того, что стало модным (и это не сегодня!) втискивать в свой текст громкие и «почти беспроегрышные» имена, используя их для защиты своих «концепций» и подчеркивая тем самым свою мнимую значимость, — не со «всякой мелочью имеее дело»!...

Вот после такого, на двух с половиной страницах, введения вы приступаете к осмыслению предлагаемых как из рога изобилия «рефлексий». «Рефлексии», «рефлексии», «рефлексии» — куда ни глянь... Ни контекста эпохи (resp. эпох), ни об условиях и факторах

появления предложений и опытов создания общеславянских (всеславянских) литературных языков, ни о наличии ~ отсутствии преемственности в лингвокреативном процессе — об этом нет по существу ни слова. Сразу, уже в первой главе «Типология славянской лингвистической рефлексии» (с. 13–44), — быка за рога:

«Тип культуры создает тип словесной культуры (ну и ну! — А. Д.), который может быть описан через систему иерархически организованных типологических характеристик ...» (с. 13).

И далее перечисляются разношерстные «типы», но никакой их «иерархии» мы так здесь и не находим! Сами «типы лингвистической рефлексии» уже готовы — они «бывают» структурные, функциональные и телеологические, при этом «идея правильности языка» относится к «структурному типу рефлексий», а «идея 'исправления' языка» — к «телеологическому».

И далее идут как из рога изобилия: где-то уже слышанные ранее *богодухновенные истины и тварный мир*, затем *функционально-генетическая иерархия языков, концепция духовного изоляционизма, институт книжной sprawy, синтетическая кодификация ~ аналитическая кодификация, мотивированная концепция православного универсализма, стереоскопическая мотивация, книги, порожденные посредством нового механизма грамматического подобия, калькирующая оппозиция латыни и польского языка, наличие императивного польского участия, объем метаязыковой компетенции, концептуализирующая лингвистическая мысль, парадигма несекулярной культуры, процесс культурно-языкового реплицирования и реально и потенциально культурно-языкового реплицирования, концепция субстанционального различия и т. д. и т. п.*

Но на всем протяжении книги господствует «рефлексия». Какой только она ни бывает и с чем она только не связывается — судите сами: *доминанты славянской лингвистической рефлексии, направления лингвистической рефлексии, усиление лингвистической рефлексии над церковнославянским языком, рефлексия «греко-славянского» мира, напряженная рефлексия над церковнославянским языком, рефлексия над понятностью литературного языка, маркирующая лингвистическая рефлексия «латино-славянского» мира, этнически мотивированная лингвистическая рефлексия, западноевропейский ис-*

точник русской лингвистической рефлексии, рефлексивные опыты, корректирующая лингвистическая рефлексия, креативная рефлексия, структурно-формальная (и формально-семантическая) рефлексия над церковнославянским языком и т. д. и т. п.

Все это взято также и из последующих глав книги: во второй (с. 45–96) рассматриваются грамматика Мелетия Смотрицкого и другие труды, книжные справки XVII–XVIII вв.; в третьей (с. 97–148) — Граматично изказанје об рѣском језику Ю. Крижанича, в четвертой (с. 149–182) автор касается «взаимного славянского языка» Матии Маяра и снова книжных справ и, наконец, в пятой главе (с. 183–219) автор переходит к «славянской лингвистической рефлексии».

Хотелось бы задать в общем-то риторический вопрос: как относиться к исследованию, автор которого так и не усвоил точного наименования главных для себя исторических источников-объектов или же, возможно, преднамеренно «варьирует» их названия по своему усмотрению (непонятно только, с какой целью)? Ср. название труда Ю. Крижанича:

на с. 183 и др.: Граматично изказанје об рѣском језику

на с. 228 и 237: Граматично исказанје об рѣском језику

А вот название сочинения М. Маяра:

Узајемни правопис славјански, то је *Uzajemna Slovnica ali Mluvnica Slavjanska* (1865 г.)

Узајемни правопис славјански[,] то је *Uzajemna Slovnica ali mluvnica Slavjanska* 1865 г.

Узајемни правопис славјански, то је *Uzajemna Slovnica ali Mluvnica Slavjanska* 1865 г.

Узајемни правопис славјански[,] то је *Uzajemna Slovnica ali mluvnica Slavjanska*. *Praha*. 1865 г. (соответственно со с. 11 – 42 – 149 – 223 – 228).

А вот как в действительности называется труд Маяра, а также где он издан и в каких годах:

Узајемни правопис славјански, то је *uzajemna slovnica ali mluvnica slavjanska*. — V zlatnom Pragu, 1863–1865.

Как быть? Или просто закрыть на все это глаза? Пусть идет по нарастающей такое отношение к источникам? Но это могут позволить

себе, например, рецензенты книги (см. оборот внутреннего титульного листа, с. 3), которые никогда не занимались этой проблематикой (разве что кто-то из них и писал — так не более чем о «справах»!). Им простительно. А что делать специалисту, знакомому и с контекстом эпохи (resp. эпох), и с первоисточниками, и с литературой по рассматриваемой проблеме?

Без основательного знания исторической эпохи, к которой обращаешься, нет надежды убедить читателя в своей полной правоте. Не скажу, что автор книги не знакома с историческим контекстом вообще: З. Бойко применяет заранее построенную схему и ее составляющие к переводам Библии и к другим религиозным текстам, сравнивает различные их редакции и сами издания вообще. Все это делается на уровне универсальной «книжной справки», т. е. исправлений — обычно в виде изменений отдельных звукобукв, форм, словосочетаний и под. «Справа» — она кругом: за нее берутся книжники, свободно манипулирующие ее теоретическими аспектами:

«Федор Поликарпов сформулировал задачи <...>» (с. 64);
он же «отдал предпочтение принципу вариативности» (с. 67);
«Фирсов определял дистанцию между ‘словенским’ языком и ‘простым словенским языком’ в категориях ‘недоступности’ — ‘доступности’ и ‘непонятности’ — ‘понятности’» (с. 93);
Крижанич в основу склонения имен положил «три иерархически заданных критерия» (с. 104);
«формальная избыточность книжного ‘русского’ языка определялась, по мнению Крижанича, флексиями, оппозиция которых была обусловлена исходом основы, а также нестандартными флексиями» (с. 110);
«оба грамматиста [Смотрицкий и Крижанич] стремились снять омонимию, что отражало установку конфессиональной культуры на достижение ‘прозрачности’ богодухновенных текстов» (с. 199);
«сферу разногласий московских книжников и Крижанича определяли прежде всего синтаксические конструкции» и т. д. и т. п.

Словом, сидят книжники за чашкой чая или кофе и вырабатывают концепции, при этом споря друг с другом. В Москве — «точно», а вот что касается Тобольска, где в XVII в. Крижанич просидел целых 15 лет?!...

Вообще все тогдашнее общество жило в условиях строгих правил и четко сформулированных концепций, ср.:

«проникновение ‘простого’ русского языка в сферы церкви было строго регламентировано» (с. 20) — цензоры-то тогда были еще те!;

в XVII в. Московская Русь по плану переходила от «концепции духовного изоляционизма к концепции духовного универсализма» (с. 20) — заранее знала, что путь один — на Запад;

«проста мова» была сформулирована и существовала, как «терминологическая модель» (с. 20);

в оппозициях проявляли себя «латынь// польский язык – церковнославянский// ‘проста мова’» —

между ними только водораздел, никаких переходов, никаких отклонений или нарушений и т. д.

«Строгая научность» не приемлет органически переплетенного и переливающегося из одного вида в другой материала... Оперировать четкими фигурами в виде строго накладываемых друг на друга или легко разбираемых кирпичиков — это высшее достижение теоретической мысли...

Но я не только об этом. Касаясь языкотворческой деятельности Крижанича и Маяра, З., к сожалению, редко вспоминает об идее славянской взаимности, которая одухотворяла их деятельность. Она хорошо, во всех тонкостях знает лишь «справу», а вот об идее славянской взаимности? Если это «утопическая идея» — нужно ли в нее вникать?! Поэтому она называет Я. Геркеля, автора проекта всеславянского языка *lingua slavica universalis* словацким «ученым» (с. 41), в «ученые» возведен также словенец Ф. Подгорник (с. 37) и др. А на с. 40 пишется: «Сторонники ‘теории литературно-языковой взаимности’ (словацкий ученый [!] Я. Коллар, чешский публицист В. Риглер) считали <...>» — между тем «теория» была создана именно Колларом (зачем же создателя превращать в сторонники?!), и называлась она «идеей литературной взаимности», а не «теорией литературно-языковой взаимности», так как речь в ней шла о культурно-литературном сближении славян (хотя и со знанием четырех «основных славянских языков»).

А что сказать по поводу таких утверждений: «Русские ученые В. Ламанский, А. Добрянский [!] рассматривали свои концепции в рамках общеевропейской языковой ситуации <...>» (с. 37)? Упаси Бог! «Русский ученый» Адольф Иванович Добрянский родился в северо-восточной Словакии и был всего лишь горным инженером по образованию и, правда, общественным деятелем и политиком Подкарпатской Руси, а также хорошим зятем проф. А. С. Будиловича (как зятем, последний был им очень доволен). Добрянский действительно ратовал за русский язык как межславянское средство общения, кое-что писал об этом, хотя говорил по-русски плохо, с ярким украинско-руси́нским акцентом. И тесть поддерживал его в своей книге «Общеславя́нский языкъ въ ряду другихъ общихъ языковъ древней и новой Европы» (Будилович 1892) — и не только в ней. Но о каких там «рамках общеевропейской языковой ситуации» он мог думать или знать?! (Впрочем, почти то же самое — в отношении пресловутых «рамок» — относится и к известному русскому историку-слависту В. И. Ламанскому).

Приписывание тексту оригинала того, чего в нем нет, — не самый лучший способ для анализа. Но ведь прежде всего важны «константы и переменные», «реплики» (сквозь века! — оригинально!) и «реплицирования», «иерархии» и «калькирующие оппозиции» и т. д. и т. п. модернистская заумь. На с. 101 пишется, что

«осмысление исходных функционально-генетических и собственно лингвистических параметров 'русского' языка позволило Крижаничу построить иерархическую схему славянских языков».

В чем же состоит эта «иерархическая схема»? А просто приводится отрывок из сочинения Крижанича о том, что «Рѹско плѣ́ме и́ ѿ́мѣ́ст ѿста́лнимъ всѣ́мъ верші́на и корені́ка...» и указываются «отмѣни» — «словинский», чешский и лешский/ляшский (= польский) языки. Да, какая-то иерархия: от одного — все остальные. Но зачем же далее в подкреплении пресловутой «иерархии» приводить на целую страницу фрагменты, в которых говорится, например, о том, где у себя на Балканах сербы и хорваты «чисто говорят», почему в ляшском половина слов является смесью со словами из других языков, и т. д.? Это тоже «иерархическая схема»? Или же поросту не понимается текст источника?

Объединение ранее опубликованных статей в нечто единое требует, конечно, учета определенной логики и последовательности. Четвертая глава, названная «'Общий' славянский литературный язык в секулярной культуре: проблема понятности языка», состоит из невзаимосвязанных параграфов: в одном на 10 страницах (всего-то!) речь идет о «взаимном славянском языке» М. Маяра (с. 149–158), в последующих — только о «справах», которыми то и дело занимались в течение трех веков — XVIII, XIX и XX. И каков же итог этой главы?

«<...> в рамках секулярной культуры развивалась рефлексия, направленная на создание 'своих' понятных славянских литературных языков, и на создание нового понятного 'общего' славянского литературного языка. Соответственно, лингвистическая рефлексия носила семантический, дивергентный или конвергентный, креативный характер и реализовалась в 'зоне грамматических категорий и средств выражения': понятность 'своего' литературного языка достигалась посредством снятия формально-семантической дистанции между книжным и некнижным языком, а понятность нового 'общего' славянского литературного языка достигалась посредством снятия формально-семантической дистанции между отдельными славянскими языками» (с. 182).

Во-первых, то, что сказано об 'общем' славянском языке, механически повторяет текст на с. 158; во-вторых, о создании каких 'своих' понятных славянских литературных языках речь, если в тексте автор касается лишь церковнославянского, «простой мовы» и русского («российского») литературного языка? Так широко обобщать? Зачем же такой размах?! А «размах» (вновь и вновь приходится повторять) диктуется глобальной сетью-схемой, которая накидывается на исторический материал.

Попробуйте вникнуть в такой пассаж:

«Лингвистический рефлексивный опыт, представленный как культурно-языковая реплика, требует исследования в диалогизированном тексте, задающем ретроспективу и перспективу мыслей о языке: мотивирующий рефлексивный опыт < данный рефлексивный опыт < мотивированный рефлексивный опыт» (с. 183).

Есть большие сомнения в том, что к «рефлексиям» и «рефлексивным опытам» можно свести все проявления сложного литературно-

языкового процесса (resp. процессов) рассматриваемых эпох. Но: важно разложить все «по полочкам», раз и навсегда «решить» то, что не смогли сделать другие исследователи в течение по крайней мере двух веков, ср.:

«Сходство лингвистических установок московских книжников и Крижанича проявлялось только в зоне формальной недостаточности, поскольку снятие омонимии было общим стремлением книжников к однозначному соответствию плана содержания и плана выражения. Зону совпадения правильного 'славянского' языка и понятного книжного 'русского' языка определяли позиции *Р. ед.*, *И.-В. мн.* (= *И. ед.*) для существительных женского рода и *В. мн.* (= *Р. ед.*) для существительных мужского рода с исходом на мягкий согласный, шипящий и -ц: московские книжники и Крижанич заменяли у имен в этих позициях флексию -а на флексию -И, снимавшую омонимию» (с. 209).

Вот, оказывается, где была «зарыта» лингвистическая стратегия, — в «падежных справках» да и то только у существительных женского рода и мужского рода с исходом на мягкий согласный, шипящий и -ц! Конечно, в узком и тесном кругу единомышленников из школы «справоведов» все эти рассуждения, может быть, и вызывают понимание и даже восторг, но все время тебя не оставляет мысль: а так ли строго-четко все было? Так ли легко и логично манипулировали языковыми элементами даже в те, далеко отстоящие уже от нас, времена?!...

Из той же самой «справоведческой» школы тянется и идя пере-
веса чужих влияний на все славянское и русское в частности. Тут:

и «вхождение России в европейское культурно-языковое пространство» (с. 32),

и «новая эпоха вхождения России в европейский контекст» (с. 36) — как это?

Вхождение без своей культуры и без своего языка? «Голой» войти и в чужой «одежде» выйти?;

далее: ориентация 'простого словенского языка' на польский литературный язык, просто польское влияние (с. 88),

ориентация на польский синтаксис (с. 89, далее также на с. 113, 124),

«наличие императивного польского участия» (с. 90),

«греческое и инославянское влияние на 'русский'» (с. 102) и т. д.

Впрочем, не только влияния, а целые «трансляции» одного языка в другой, ср.:

«формально-семантическая трансляция греческого языка в церковнославянский язык» (с. 26; также с. 79, 108 и др.);

транслируется в 'русский' язык из хорватского флексия -е (с. 108); а вот Ф. Скорина отказался «от греческого языка, транслированного в церковнославянский», и стал ориентироваться на чешский литературный язык (с. 79) и т. д.

А хотелось бы подробнее почитать о том, как именно, какими элементами и какими этапами проходила «трансляция греческого в церковнославянский»! Однако, кроме «оригинальных деклараций», практически ничто не подтверждает этот громкий «тезис». Да и как можно подтвердить «трансляцию», если греческий материал, т. е. «транслятор», вообще не приводится...

Греческий и латинский языки совершенно «закружили» церковнославянский! Оказывается, «отрицание греческой числовой модели проходило (в нем) через признание латинской числовой модели» (с. 105–106). И приводится пример, где попросту к церковнославянским словам Крижанич приводит их латинский перевод. И не более того.

А хотелось бы видеть, каков же вес прежде всего славяно-русского материала и «модельных подходов» в литературно-языковых процессах XVII–XX вв. (!).

Не могу не указать на некоторые странные лингвистические рассуждения автора, слабо вписывающиеся в общепринятые представления. На с. 41 утверждается, что сравнительно-исторический анализ (метод) призван раскрыть «специфичность каждого конкретного языка» — а разве не реконструировать прежде всего праязык?

Попробуйте поймите, о чем идет речь в фразе:

«<...> Мефодий Терлецкий, помогая Леваковичу, настаивал на устранении из хорватских богослужебных книг 'чужих далматинских слов' для достижения их понятности» (с. 29).

Терлецкий не мог на этом настаивать уже хотя бы потому, что «далматинские слова» как раз и были хорватскими (ну, не идет же у

них речь о пастушеском далматинском романском по происхождению языке адриатического побережья, который исчез чуть позже, в XIX в.?!). Это просто невнимательное прочтение литературы или же непонимание хорватского текста.

Говоря о Ф. Скорине, его переводе Библии и о его ориентации на чешский литературный язык, автор пишет:

«Наряду с ведущими (!) аналитическими формами, в роли допустимых вариантов употреблялись синтетические формы аориста и имперфекта <...>» (с. 80).

Оппозиция «ведущие» – «синтетические»? Не правда ли, странная «оппозиция»? Но даже если признать аналитический перфект «ведущей» формой прошедшего времени (хотя это похоже на конкурс прошедших времен), то как быть с плюсквамперфектом, тоже аналитической формой? Он тоже «ведущий» или все же периферийный — потому со временем и утратился во многих славянских языках?!

Церковнославянский мешал «концепции (!) ‘простых’ литературных языков» (с. 87 и др.). Может быть, «концепции» и мешал, но ведь мы говорим о языковой реальности! Конечно, как авторитетный и понятный, скажем, для всех восточных славян, этот язык стремился к универсализации в употреблении. В некотором смысле сдерживающим фактором он был. Однако и при этом народный язык находил свое применение: как же тогда быть с народной языковой струей на Руси в виде языка деловой (resp. административной) письменности, светских текстов и т. д.? Или же до XVIII в. русского литературного языка «не существовало», а русское общество обслуживалось только церковнославянским языком? Куда же тогда деть огромный пласт письменной культуры на народной основе? Его «не было», и он не имеет отношения к литературному языку только потому, что не регулировался «современными строгими терминами и понятиями нормы»?!...

В «компарацию» 3. почему-то включает не только формы сравнительной и превосходной степеней, но также и «положительную степень» (с. 104). Странно выглядит «оппозиция» *ед. ч.// дв. ч.// мн. ч.*, «представлявшая градуированную множественность» (с. 105). Каким же это образом компонент «оппозиции» *ед. ч.* входит во множе-

ственность? Разве речь здесь не должна идти о градуированной категории числа?

На с. 43 приведены слова Н. С. Трубецкого о том, что русский язык фактически стал орудием культурного, политического и делового общения между народами Евразии. Автор книги решительно восстает против такого убеждения классика:

«Однако реальная история XX века опровергла идею ‘естественного’ функционирования русского литературного языка как ‘общего’ ‘евразийского’ языка».

Устремив свой взор на Запад — ведь оттуда все «благотворные» влияния и веяния, исследовательница рано поет реквием по русскому языку: он не только был со времен Н. С. Трубецкого евразийским языком, но и остается таковым даже после развала Советского Союза, активно используя до сих пор на территориях всех бывших советских республик, а это и европейская часть, и Закавказье, и Средняя Азия, и Сибирь, и Дальний Восток — до Тихого океана. Разве на смену ему пришел на указанные пространства какой-то другой язык? Напрасны подобные ожидания. И все же Н. С. Трубецкой оказался прав.

О том, что книга построена по заранее заданной схеме и по той же схеме разбирается исторический материал, видно не только по приведенным мною ранее иллюстрациям: каждая глава книги завершается как заклинанием — перечислением одних и тех же видов «рефлексии», правда, в разных их соотношениях, с разным акцентированием и т. д. (см. с. 43, 96, 148, 182).

Что касается библиографического и вообще технического оформления книги, то оно приводит в полное уныние: не может так составляться научное исследование да еще в академических сферах. Для иллюстрации тех или иных особенностей приводятся церковным письмом фрагменты из сочинений Крижанича, а также из некоторых переводов Библии и других текстов. Иногда эти фрагменты занимают четверть, треть, половину и даже целую страницу. Однако практически нигде не выделяются искомые единицы: автор как бы заставляет читателя самому разыскивать нужное. А имеет ли он на это право?

В таблицах склонения по Крижаничу (с. 123, 126, 157) представлены просто буквы, например, Р. п. а, но не флексия -а — и так везде. На с. 156 приводится краткий — в одно предложение — отрывок из книги Маяра, а документируется все так, будто это предложение расположено на страницах 113–117. Таким же способом документируется пример в несколько строк из работы Гольдберга за 1960 г., но оказывается, что он, якобы, расположен на страницах 117–130 (т. е. указывается полный объем статьи); то Авраамий (с. 87), то Аврамий (с. 227); флексия польского глагола -s вместо -ś и др. (с. 91, 155, 214).

Раздела «Сокращения» нет вообще. Поэтому чересполосица просто дезориентирует вас, ср.: на с. 48 для грамматики Мелетия Смотрицкого предлагается сокращение ГС, а на с. 59 — Г48; в одной из таблиц ГК — это «Грамматика Крижанича», а под примерами тут же — ГИ (т. е. Граматично изказанје ов рѣском језику) (с. 190); «Обясньенје виводно о писмѣ Словѣнскомъ» Крижанича сокращено, как Об. (с. 99); то СПб., то СПб. и т. д. Полное пренебрежение к последовательности и логике!

Перечисляя старые издания (книги) на с. 47, автор так обозначает места их издания: ... *Львів* (!), 1592; ... *Милан* (!), 1476, но — ... *Basel*, 1585 г.! Указания на статью часто вообще подаются без страниц, поэтому, если читатель не знает литературы, для него неясно, идет ли речь о монографии или же собственно о статье. Но так не только в тексте книги — этим «подходом» пронизан весь раздел «Литература» (с. 229–238): те статьи, с которыми автор как-то ознакомилась, сопровождаются страницами «от и до» (и то неряшливо: например, моя статья за 2000 г., явно так и непрочитанная, подается со страницами 25–35, на самом деле — 25–36); те же, которые попались по цитированию в работах других авторов, остались, естественно, без указания страниц (так как там ведь указываются лишь цитируемые страницы, а не весь их объем!). Это не единичные случаи — их десятки... Само библиографирование приводит в смятение, ср.:

Данилевский [без инициалов]. *Россия и Европа*. М. 1871 [как это: М. 1871?].

Николаевский П. Ф. *Московский печатный двор при патриархе Никоне. Христианское чтение*. 1890–1891 [что это? как разобраться?].

Пиккио Р. Церковнославянский// Вестник Московского Университета (!). Сер. 9. Филология. 1995. N 6. С. 135–170.

А что касается литературы на «иностранных языках» (примерно полтора десятка названий), то от «знакомства» с нею просто берет оторопь (с. 237–238). Автор не владеет, видимо, латиницей, так как с массой опечаток передает названия очень многих работ на других языках. Впрочем, даже издания на таких близкородственных языках, как, например, белорусский, передаются таким образом: *Анічэнка У. В. Моуныя асаблівасці выданняу Ф. Скорины і рукапісных спісау В. Жугаева*// *Весці АН БССР. Сер. грамэд. навук. 1966. N 1* — т. е. вместо: *Моўныя, выданняў, Скарыны, спісаў, грамадскіх*.

Переиздание О. Страховой перевода Мелетием Смотрицким евангелия подается в «Источниках» — как *Новый Завет 2002* и как *Страхова 2002* — в «Литературе», причем в одном случае это *Facsimile Ausgabe*, в другом — *Facsimile-Ausgabe*, при этом имя и фамилия издательницы постоянно разделены точкой: *Olga. B. Strakhov*. Далее: то *Dell'agatta*, то *Dell'agata* — вместо *Dell'Agata*; в названии работы О. А. Белобровой пишется *П. В. Посников*, а в своей статье о нем З. пишет *Постников*. Масса изданий подается без места и без года.

Вызывает удивление, что автор, занимаясь историческим материалом, не владеет, к сожалению, старым правописанием, ср. в «Источниках»: *Апполодора грамматика афинеяского библиотеки или о богах* — уж коль *афинеяского*, то тогда нужно идти до конца — и *библіотеки*, и о *богахъ* (тем более, что речь идет о старой рукописи!).

Вторичность приводимых исторических сведений и теоретических данных просто поражает. Так, от страницы 37 и далее автор бесчисленно раз приводит огромные цитаты из монографии А. С. Будиловича «Общеславянскій языкъ въ ряду другихъ общихъ языковъ древней и новой Европы», не потрудившись ознакомиться с оригинальными текстами южно- и западнославянских деятелей, служивших идее славянской взаимности и всеславянского языка. Это и неудивительно. Ведь все и вся — в «книжной справе». И Крижанич — только в «книжной справе». Да, он действительно исправлял Мелетия, особенно там, где ему виделся греческий налет. Но нетрудно

ведь и заметить, что Крижанич стремился введением элементов славянских языков как можно более «всеславянизировать» русско-церковнославянский язык — и все с одной целью: сделать его более эффективным общим средством коммуникации между славянами.

В книге Крижанич по существу не имеет отношения к 'общему' славянскому литературному языку. Вряд ли автор знает, что до поездки в Россию Крижанич интересовался проблемой общего языка специально. Он был знаком с некоторыми интерлингвистическими опытами, в частности, с универсальным проектом Афанасия Кирхнера, с которым (с Афанасием) встречался во время своего пребывания в Риме. Там же он познакомился с епископом Йоханном Карамуэлем Лобковицем, чехом по матери, который еще в 30-е гг. XVII в. задумывался над проблемой всеобщего языка; известно, что и с ним Крижанич обсуждал вопросы такого языка (см., например: Дуличенко 2007, 66 и далее).

В этой связи уместно задать вопрос: а как быть с сочинением Крижанича «Политика», которое написано латиницей и являет собою попытку синтезировать материал славянских языков — кстати, тех же русско-церковнославянского, хорватского и некоторых других, чтобы быть «понятным всем»? Это тоже «книжная справа»? Тогда почему она исполнена латиницей? И почему не принята во внимание автором книги? А, может, лучше было бы не перешагивать из XVII в. сразу в XIX в. (М. Майр) и даже в XX в., а попробовать «справу» рассмотреть в сравнении с языком «Политики»? Может, тогда бы картина вырисовалась иной?

Жаль, что подобными наскоками, без знания литературы вопроса, с готовой схемой и «набором» ее составляющих пытаются «решать» сложные вопросы славянской культурно-языковой истории. Можно, конечно, выступать на конференциях, бойко оперируя ультрамодернистской терминологией, — не все ведь способны быстро ее воспринять, да и при самом чтении непросто вникнуть в нее. Все было бы куда проще, если бы за всем этим терминологическим налетом не скрывался поверхностный и, я бы сказал, прямолинейно-схематичный взгляд на важнейшие для нас проблемы нашей давней культурно-языковой истории.

ЛИТЕРАТУРА

- Будиловичъ 1892 — А. С. Будиловичъ. *Общеславянскій языкъ въ ряду другихъ общихъ языковъ древней и новой Европы*. Т. 2. Варшава, 1892.
- Гаспаров 1996 — Б. М. Гаспаров. *Язык. Память. Образ*. Москва, 1996.
- Дуличенко 2007 — А. Д. Дуличенко. *История интерлингвистики*. Москва, 2007.
- Запольская 2003 — Н. Н. Запольская. 'Общий' славянский литературный язык: типология лингвистической рефлексии. Москва, 2003, 238 с.
- Brozović 1990 — D. Brozović. *Juraj Križanić — jedan od pionira interlingvistike*. Križanićev doprinos slavenskoj filologiji. Znanstveni skup u povodu 300. obletnice smrti Jurja Križanića (1683–1983). Zbornik radova. III. dio. Zagreb, 1990, s. 71–76.
- Duličenko 1989 — A. D. Duličenko. *Sveslovenski jezik Juraja Križanića u kontekstu slovenske interlingvistike*. Јужнословенски филолог, Београд, 1989, св. XLV, с. 71–90.
- Duličenko 1992 — A. D. Duličenko. *Фран Миколошич и Матия Маяр Зильский: от языка праславянского к языку всеславянскому*. Miklošičev zbornik. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991. (Obdobja 13). Ljubljana, 1992, s. 431–444.
- Duličenko 2007 — A. D. Duličenko. *Slovenska in slovanska interlingvistika ter problemi lingvokonstruiranja v zgodovini slovenskega knjižnega jezika*. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Mednarodni znanstveni simpozij. Ljubljana, 17.–19. november 2005. (Obdobja 24). Ljubljana, 2007, s. 13–27.

**«Книжная справа»st «refleksioontüpoologiani»
ehk slaavi ühiskirjakeelest
Aleksandr D. Dulitšenko**

Poleemilises stiilis kirjutatud artiklis vaadeldakse N. N. Zapolskaja raamatut «'Общий' славянский литературный язык: типология лингвистической рефлексии» (Москва, 2003). Rõhutatud tähelepanu all on artiklis asjaolu, et monograafia autor on materjalile lähenenud valmis skeemi põhjal ja kasutab ajalooliste tekstide puhul ultramodernistlikku terminoloogiat, mis ei võimalda avada probleemi olemust. Enamgi, autor ei tunne piisavalt teemakohast kirjandust, slaavi kultuurilis-keelelise ja vaimse ühtsuse ideed (slaavi ideed) ning slaavi ühiskirjakeele ideed ning taandab kogu probleemi «книжная справа»le, st esma-

joones kirikuslaavi keele täiustamisele (Smotritski, Križanić jt.). Nii materjali kui allikaid on kasutatud hooletult, esineb rohkesti trüki- ja muid vigu, mis samuti kahandab töö usaldusväärsust.

Валентина Петровна Щаднева
Тартуский университет

К ВОПРОСУ О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ПОНЯТИЯ «ИНТЕНСИВНОСТЬ»

Коннотативное и денотативное содержание языковых единиц – интенсивность – эмоциональность – оценочность – экспрессивность – средства выражения интенсивности на разных уровнях языка

Введение

Проблема выразительности (экспрессивности) языковых средств привлекала внимание исследователей еще со времен Аристотеля. На сегодняшний день в языкознании накоплен большой опыт исследования экспрессивного потенциала единиц разных языков, продолжается описание разнообразных средств и способов выразительности в тексте, однако понятийный аппарат в данной филологической области до сих пор нуждается в уточнении и унификации.

Воплощаясь в дискурсе как инструмент языкового воздействия одного индивидуума на сознание другого, связанные с выразительностью лингвистические понятия *экспрессивности, оценочности, эмоциональности, интенсивности* представляют собой сложнейшие феномены. Данные феномены обусловлены обязательным проявлением субъективного (личностного) начала в языке, которое неизменно сопровождает познание объективной действительности и при этом отражает содержание национального и индивидуального сознания носителей того или иного языка. Этим объясняется необходимость изучения разнообразных проявлений выразительности и их теоретического осмысления. Сказанное наиболее актуально для

успешной переводческой и журналистской деятельности, а также для оптимизации процесса обучения.

В настоящее время осознана необходимость разграничения а) *ингерентных* (внутрисистемных парадигматических и синтагматических) и б) *адгерентных* (дискурсивных и контекстуальных, т. е. констатиивно синтагматических) средств и способов выразительности. Результатом разноплановых практических разработок стало осознание того, что теоретическое осмысление таких основополагающих понятий, как *коннотация*, *экспрессивность* и ряд других, оказывается неоднозначным и лишенным четко сформулированного понятийного содержания. Устранение аморфности, размытости границ этих терминов, на наш взгляд, невозможно как без инвентаризации и дальнейшей систематизации выразительных (экспрессивных) языковых единиц, так и без уточнения логико-понятийного содержания самих терминов.

Под экспрессивностью (от лат. *expressio* 'выражение') обычно понимают такое свойство языковых феноменов, которое обеспечивает их способность передавать субъективное отношение говорящего¹ к содержанию или адресату речи (Гридин 1998, 591). При этом понятие экспрессивности распространяется не только на отдельные единицы разных уровней, но и на качества речи (текста) в целом, которые организуются, в первую очередь, посредством стилистически маркированных языковых единиц. Именно разноуровневые системно-экспрессивные единицы составляют лингвистическую основу экспрессивности. Закрепляясь в качестве носителей экспрессии в самой системе языка, они обладают ингерентным (внутренне присущим единице) зарядом выразительности, достаточно четко осознаваемым на фоне системно-нейтральных слов и выражений. Разумеется, нейтральные единицы разных уровней в условиях определенного контекста или определенной коммуникативной ситуации тоже способны выявлять свой скрытый потенциал выразительности, который реализуется через особые способы и приемы организации текста.

Однако выделение в языковой единице семы, некоего материализованного компонента собственно экспрессивности оказывается проблематичным. Возможно, это и является одной из причин того, что с точки зрения лингвистической теории статус экспрессивности

до сих пор нельзя признать четко определенным. Анализ весьма обширной научной литературы, в которой представлены разные подходы к экспрессивности, свидетельствует о том, что эта неопределенность отражается в трактовке таких смежных с ней терминов, как оценочность, эмоциональность, интенсивность.

Поэтому их интерпретация относится к спектру важных лингвистических проблем, как и постановка вопроса о специфике взаимосвязи названных феноменов, об их иерархии. Поскольку в справочных изданиях термин *интенсивность* нередко просто игнорируется (см., напр.: БЭС 1998), то особо актуальным представляется уточнение места интенсивности в ряду перечисленных выше терминов и выяснение ее соотношения с понятиями денотативное ~ коннотативное значение.

Проблемы интерпретации понятия *коннотация*

Причиной отсутствия однозначного определения самого коннотативного семантического компонента является повышенная сложность состава коннотации, что приводит к ее разным трактовкам, см., напр.: Филиппов 1978, 57–63; Шаховский 1979, 39–48 и др. Очевидно, что последняя в самом общем виде включает в себе важную информацию об отношении говорящего к номинируемому объекту (номинируемой реалии объективного мира). Однако признание значимости коннотативного компонента еще не означает его дефиниции, в которой в полной мере отражалось бы понятийное содержание термина.

Лингвисты до сих пор расходятся в оценке того, какое место занимает коннотативный компонент в семантической структуре языковой единицы, насколько обязательно его наличие для каждой единицы языка, какие отношения устанавливаются между элементами коннотации. Иначе говоря, проблема интерпретации коннотативного компонента связана с вопросом о том, как в целом организуется семантическая структура языкового знака.

Денотативный и коннотативный компоненты традиционно выделяют в семантической структуре такой языковой единицы, как слово. Тем самым данные термины обычно применяются к уровню лексики и (реже) фразеологии. Вопрос об аналогичных составных ча-

стях значения языковых единиц иных уровней обычно не рассматривается, хотя наличие таких элементов коннотации, как оценочность, эмоциональность, очевидно и у многих словообразовательных, и у ряда синтаксических единиц. Морфологию же (как уровень строевой) с подобных позиций обсуждать тем более не принято, несмотря на то, что в лингвистике существуют расхождения, например, в осмыслении степеней сравнения прилагательных. Особенно это касается словоформ, имеющих комбинацию приставки и суффикса: *поумнее; наилегчайший, предобрейший* (Белошапкова 1989, 444–455).

Следует напомнить, что *денотативный* параметр однозначно трактуется исследователями как область семантики, которая ориентирована на отражение определенного фрагмента объективной действительности. Следовательно, денотативный компонент рассматривается как облигаторная логико-предметная часть значения. В то же время *коннотативный* компонент лексемы в концепциях разных авторов представлен крайне противоречиво. Остается невыясненным ряд ключевых вопросов: что входит в структуру коннотации, каков статус коннотативного компонента в семантической структуре слова, насколько обязательно его наличие для каждой единицы языка, какие отношения устанавливаются между элементами коннотации?

Большинство исследователей признают, что информация, которую несут коннотативно заряженные семы, является дополнительной, второстепенной и, следовательно, факультативной. Тем самым такая информация как бы накладывается на обязательную предметно-логическую информацию. Подобного подхода придерживается И. В. Арнольд (Арнольд 1973, 105–117).

Вместе с тем существует и иная точка зрения, согласно которой «коннотативный компонент семантики языковой единицы является равноправным компонентом ее семантической структуры» (Булдаков 1982, 2). Еще Ш. Балли писал:

«Человеческая мысль постоянно колеблется между логическим восприятием и эмоциональным, мы или понимаем, или чувствуем, чаще наша мысль складывается одновременно из логической идеи и чувства. Эти два элемента соединяются в разных пропорциях, поэтому одно всегда преобладает. Наша мысль всегда стремится к тому или

иному полюсу, но никогда его не достигает, следовательно, можно говорить о логической или эмоциональной доминанте» (Балли 1961, 71).

Мнения о равноценности коннотативного и денотативного компонентов придерживается и В. И. Шаховский, который, как и Ш. Балли, исходит из того, что «мы понимаем и чувствуем одновременно, так как оцениваем и переживаем одновременно с называнием объекта оценки» (Шаховский 1983, 17). Приведенные утверждения иллюстрируют сомнительность тезиса о вторичности коннотации, что не снимает вопроса об обязательности ~ факультативности ее наличия в языковой единице.

Данная точка зрения подкрепляется сравнением соотношения денотативных и коннотативных сем в значениях слов и фразеологических единиц. В частности, Н. Ф. Алефиренко и Л. Г. Золотых полагают, что высокий прагматический потенциал фразеологических единиц объясняется преобладанием в их семантической структуре именно коннотации (Алефиренко, Золотых 2000, 167). С этим трудно не согласиться: напр., фразеологизм *ворона в павлиньих перьях* содержит в себе и отрицательную оценку, и эмоцию презрения, и интенсификацию тщетности усилий оцениваемого субъекта казаться более значимым, чем есть на самом деле. В этом плане заслуживает внимания утверждение В. М. Мокиенко о том, что

«... у фразеологизма номинативное растворено в экспрессивном, подчинено ему. Эти две стороны языкового знака во фразеологизме синкретичны, тогда как в лексике (особенно неэкспрессивной) — дифференцированы, разъединены» (Мокиенко 1989, 211).

Следовательно, в любом случае возникает проблема установления границы между денотативным и коннотативным компонентами.

Важно подчеркнуть дискуссионность вопроса о понятийном составе коннотации: в ее структуре исследователи до сих пор выделяют разное количество компонентов, а в качестве основного рассматривают разные феномены. И. В. Арнольд отмечает четыре компонента в структуре коннотации: *эмотивный* (эмоциональный), *оценочный*, *экспрессивный* и *стилистический*. (Арнольд 1973, 105; и др.). Последний компонент называют также функционально-стилистическим ~ функционально-стилевым или совсем исключают из со-

става коннотаций, как поступает, например, в своих поздних работах (в отличие от ранних) И. А. Стернин — на том основании, что такой компонент якобы «не характеризует предмет, а несет информацию о ситуации, в которой протекает речевой акт (формальная, неформальная, устная, официальная и др.)» (Стернин 1985, 73).

Следует напомнить, что эмоциональность (эмотивность, аффективность) тоже далеко не сразу стала рассматриваться как часть системного значения языковой единицы. Причиной этого является отнесение эмоционального к сфере психологии, поэтому при рассмотрении «связанных со словом экспрессивно-эмоциональных моментов как элементов значения слова происходит смешение субъективных и объективных планов» (Звегинцев 1957, 170).

Современная лингвистика, однако, исходит из того, что нельзя игнорировать неразрывную связь языка с его творцом — человеком. Напротив, необходимо учитывать, что эмоции представляют одну из форм отражения, познания и оценки объективной действительности. Сейчас на широком языковом материале показано, что язык отражает не только картину объективного мира, но и наши эмоции, оценки, желания, т. е. личностную окраску объективного мира.

С другой стороны, признание значимости субъективного в языке порой приводит к радикальному подходу, при котором субъективное, по сути дела, абсолютизируется. Так, В. И. Шаховский связывает содержание коннотативного компонента только с эмотивностью, а экспрессивность и оценочность вообще относит к денотативной сфере. Не исключая связь эмотивности с экспрессией и оценкой, Шаховский даже предлагает новое направление языкознания — эмотиологию (лингвистику эмоций) и даже предлагает ввести в научный обиход понятие т. н. эмосемы (Шаховский 1987).

Несмотря на важность эмотивности, вынесение за пределы лингвистической коннотации всех остальных компонентов вряд ли можно признать правомерным. Ведь не случайно многие лингвисты исходят из многоплановости ее структуры, включающей ряд взаимосвязанных составляющих. Более того, в коннотативную структуру, как нам представляется, необходимо ввести и такой компонент, имеющий непосредственное отношение к экспрессивности, как интенсивность.

Взаимодействие и разграничение компонентов коннотации

По мнению многих исследователей, основную часть коннотативного значения языковых единиц составляет экспрессивность совместно с эмоциональностью и оценочностью. Как пишет И. А. Стернин, «эмоциональный, оценочный и экспрессивный компоненты значения часто переплетаются и взаимодействуют в значении слова» (Стернин 1979, 107). Однако осознание взаимосвязи, взаимообусловленности компонентов коннотации не означает их равноценности. Наибольшую сложность представляет разграничение по двум направлениям: экспрессивность ~ эмотивность и эмотивность ~ оценочность. Разногласия по поводу соотношения эмотивности и оценочности базируются на том, что посредством эмоций говорящий ~ пишущий выражает свое отношение к объекту речи, а такое отношение, как правило, предполагает и оценку. На этом основании некоторые ученые делают вывод о том, что эмоция и оценка представляют собой нерасторжимое единство. Так, Е. М. Вольф отождествляет понятия эмотивность и оценочность, употребляя термин *эмотивность* в значении «собственно оценочность» (Вольф 1985, 37–38). Однако то, что эмотивность и оценочность часто предполагают друг друга, еще не означает их полного совпадения (Голуб 1986, 102–103).

Расхождения во взглядах прослеживаются и при обсуждении соотношения экспрессивности и эмотивности. В некоторых работах обнаруживается тенденция к значительному сближению данных понятий, но такое понимание многими исследователями все-таки опровергается. В частности, В. М. Мокиенко считает, что «любое проявление эмоциональной семантики экспрессивно, но не все экспрессивное эмоционально» (Мокиенко 1989, 209).

Наличие в сфере коннотации нескольких элементов, естественно, ставит ряд вопросов и о характере их организации: в равноценных или иерархических отношениях находятся между собой компоненты коннотации, какой из них является ведущим? В. А. Булдаков рассматривает коннотацию как совокупность иерархически организованных частей (Булдаков 1982, 8–9) и выделяет в качестве доминанты стилистический (функционально-стилевой) компонент, который некоторые авторы, как уже говорилось ранее, исключают из структуры коннотативного компонента.

В свою очередь, Ю. П. Солодуб и Ф. Б. Альбрехт считают, что коннотация представляет собой многоуровневую суперструктуру, компоненты которой синтезируются, располагаясь в иерархиях с переменными вершинами: пиком любой иерархии может быть экспрессивность, эмотивность или оценочность (Солодуб, Альбрехт 2002, 223). Данный подход можно расценивать как достаточно гибкий, поскольку он позволяет вычленить определенные группы языковых единиц в зависимости от доминирующего компонента.

Вопрос о месте интенсивности в ряду смежных понятий

Итак, в структуру коннотации лингвисты включают разные составляющие, однако интенсивность остается здесь неучтенной по той причине, что вопрос о ней является спорным. Его решение затрагивает как эксплицитные, так и имплицитные смыслы, как денотативный, так и коннотативный компоненты.

Осмысление интенсивности в современных лингвистических работах обычно основывается на том, что она априори включается в структуру денотата, поэтому одна из трактовок интенсивности рассматривает ее как особую семантическую категорию, в основе которой лежит понятие градации количества признака. Такое осмысление оставляет нерешенные вопросы: 1) каково отношение интенсивности к выразительной стороне языка; 2) какое место занимает интенсивность в структуре коннотации; 3) не подменяет ли включение в коннотацию экспрессивности понятие интенсивности?

Напомним, что признак *интенсивность* давно и активно используется в исследованиях, посвященных и вопросам экспрессивной стилистики, эмоциональности ~ оценочности языковых средств, и вопросам фонетики, интонации, хотя, как уже упоминалось выше, автономно этот термин в справочной литературе обычно не представлен (БЭС 1998 и др.). Но использование этого понятия как чисто описательного, комментирующего, делает его уязвимым в теоретическом плане.

При изучении интенсивности в семантическом (семасиологическом) аспекте тоже наблюдается отсутствие общепризнанного взгляда на данную категорию, что проявляется в наличии таких вопросов, как соотношение объективного и субъективного элементов в поня-

тийном содержании интенсивности; вхождение/ невхождение в состав коннотации; границы понятия интенсивности; связь последней со смежными категориями двух рядов: с одной стороны, с количественностью, качественностью, градуальностью, с другой стороны, с эмоциональностью, оценочностью, экспрессивностью и др. Соотношение членов второго ряда является наиболее сложным и неоднозначным.

В работах, ориентированных на изучение семантики языковых единиц, интенсивность обычно рассматривается в качестве компонента лексической семантики слова, обладающего определенной градуальной характеристикой. В работах же стилистической направленности интенсивность по отношению к экспрессивности, эмоциональности, оценочности интерпретируется, по сути дела, как явление второго порядка, всего лишь как мера экспрессивности, хотя при обсуждении вопросов экспрессивной стилистики, эмоциональных и оценочных характеристик предмета речи и текста в целом обойтись без обращения к понятиям *интенсивность*, *интенсификация* крайне сложно. Ведь последние как бы материализуются в сознании коммуникантов посредством количественных параметров, заложенных в языковой единице, а эти количественно-качественные параметры, как показывает практика, составляют суть именно интенсивности.

В основе интенсивности лежит градация качества, проявляющаяся в его количестве. Интенсивность становится показателем количественной меры оценки, силы эмоции того или иного качества, и тем самым — меры эмоциональности, оценочности, сигнализирующей градуальность, ср.: Туранский 1990, 7. Градуированные семантические признаки степени интенсивности — как количественной характеристики качества — можно представить в виде шкалы, строящейся относительно нормы какого-либо качества, эта норма соединяет два полюса: «+» и «-». Тем самым возможна не только интенсификация (усиление), но и деинтенсификация (ослабление). Процесс, отражающий движение вниз по шкале интенсивности, есть процесс деинтенсификации (ослабления). Средства, обеспечивающие этот процесс, который порой не учитывается, логично называть деинтенсифицирующими.

Очевидно, что для уточнения логико-понятийного содержания термина *интенсивность* актуально сопоставление разноуровневых языковых средств с целью выявления механизмов создания интенсивных единиц, прежде всего, в системе языка². Поскольку в единицах разных уровней языка интенсивность проявляется по-разному, то через описание этих механизмов можно, как представляется, уточнить и само понятие *интенсивность*.

Интенсивность и уровни языка

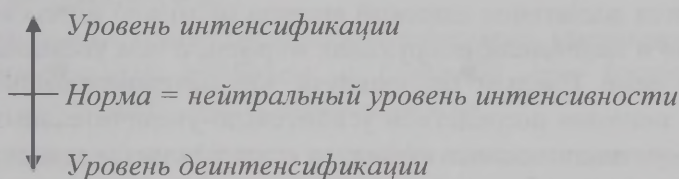
Единицы языка можно разделить на системно-языковые носители интенсивности и системно-нейтральные единицы (т. е. слова и выражения, которые сами по себе не являются носителями интенсивности, но могут брать на себя эту функцию при определенных условиях в зависимости от конситуации). Границы между названными типами, по всей вероятности, не являются жесткими.

Лингвистическим механизмом интенсивности, как уже упоминалось, является отклонение от нейтрального проявления нормы, т. е. меры признака. При этом интенсификация содержания в общем случае предполагает противопоставление нейтральной нормы интенсивности (своего рода нулевого ее проявления, т. е. обычной меры количества, силы, энергии) и отступления от этой нормы. Языковые факты свидетельствуют о том, что отступления от нейтральной нормы интенсивности могут осуществляться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения силы, динамики признака. Тем самым следует учитывать не только интенсивность саму по себе, но и оппозицию интенсификация ~ деинтенсификация, что отвечает требованию системности научного описания.

Механизм интенсивности и особенности ее проявления следует изучать с учетом фактов разных языковых уровней. Системно-языковые (парадигматические) средства выражения интенсивности имеются на всех уровнях языка в зависимости от формально-структурной принадлежности, их можно подразделить на фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические и синтаксические, однако рассмотрение словообразовательных и морфологических аффиксов целесообразно объединить в рубрике «морфемика».

Несмотря на то, что многие языковые феномены, относящиеся к интересующей нас сфере, уже подвергались изучению, емкого и четкого обобщения практических данных об интенсивности языковая теория пока что не имеет. Более того, хотя интенсификация языкового выражения реализуется посредством разноуровневых единиц, значительно активнее к понятию интенсивности обращаются при изучении вопросов фонетики и лексической семантики, чем при обсуждении синтаксиса, и тем более — морфологии.

Следует напомнить, что термин *интенсивность* заимствован лингвистикой из физики. Несмотря на специфику разных областей физики, интенсивность в данной науке осмысливается градационно, т. е. как количественная степень силы, энергии, эффективности, скорости того или иного физического процесса или явления. Перечисленные понятия актуальны и для лингвистики. Иными словами, в плане раскрытия лингвистической сути интенсивности также важно градационное осмысление ее содержания, которое схематически можно представить следующим образом:



В лингвистике к такому пониманию интересующего нас термина ближе всего стоит *фонетика*. В области фонетики исследователь прежде всего наблюдает разную степень усиления или ослабления выдыхания, т. е. речь идет о собственно физических параметрах интенсивности, свойственных произношению. К просодическим средствам достижения интенсивности относятся, в частности, длительность звука в устной речи: *Что-о-о это? Куда-а-а это вы?* Что касается произносительной стороны синтаксических единиц, то следует упомянуть специальные ритмико-интонационные конструкции, отличающиеся друг от друга и по степени интенсивности. Использование подобных средств может разными способами отражаться и на письме.

В ряде языков имеются и разные типы фонем, различающихся по степени интенсивности, например, долгие и краткие гласные фонемы эстонского языка: *таа* 'земля' и *та* 'я'. Сопоставление разных случаев проявления интенсивности на фонетическом уровне свидетельствует о том, что здесь мы имеем дело с двумя ипостасями интенсивности: а) как с системно-языковым явлением, зависящим от особенностей того или иного языка, и б) как с нацеленным на экспрессию стилистическим проявлением.

О выражении интенсивности средствами *морфемки* вспоминают реже, хотя аффиксация наглядно и отчетливо демонстрирует приращение значения к корню слова: уменьшение или увеличение объёма признака, силы качества, оценочной характеристики. В области морфемки обнаруживаются уже давно описанные специфические аффиксы, достаточно четко маркирующие степень проявления признака, названного в корне слова. Интенсивность чаще фиксируется суффиксами, реже — префиксами (как русскими, так и заимствованными). В целом же к числу средств внутриязыковой интенсивности относится достаточно широкий арсенал не только интенсифицирующих, но и деинтенсифицирующих морфем, о чем упоминают значительно реже. Следует подчеркнуть, что материализованное приращение значения посредством усилительно-увеличительных и усилительно-уменьшительных аффиксов осуществляется и словообразующими, и формообразующими формантами разных знаменательных частей речи.

В качестве наиболее частотных *интенсифицирующих* формантов, усиливающих основное значение лексемы в русском языке, выступают, в частности,

- словообразующие аугментативные (увеличительные) приставки *архи-* (*архиважный*), *наи-* (*наилучший*, *наимнейший*), *пре-* (*преувеличивать*), *сверх-* (*сверхприбыль*, *сверхдальний*), *супер-* (*суперцемент*, *суперэластичный*), *экстра-* (*экстраординарный*);
- словообразующие аугментативные (увеличительные и огрубляющие) суффиксы *-аг-* (*работяга*), *-уг-* (*зверюга*); *-уц-* (*злющий*), *-иц-* (*пылица*) и др.;
- формообразующие суффиксы сравнительной степени прилагательных и качественных наречий *-ее/ -ей* (*медленнее ~ медлен-*

ней); суффиксы превосходной степени прилагательных *-айш/-ейш-* (величайший, умнейший).

Повышенная интенсивность может маркироваться и посредством безаффиксного (нулевого) способа словообразования, например, в отглагольных существительных типа *прыг, хлоп*:

1. ...легче тени Татьяна **прыг** в другие сени. (А. С. Пушкин, «Евгений Онегин»)
2. И тут кто-то **хлоп** его по плечу!

К числу *деинтенсифицирующих* формантов, т. е. ослабляющих основное значение лексемы и сигнализирующих отметку ниже нейтрального уровня на шкале интенсивности, относятся

- диминутивные (уменьшительные) префиксы *недо-* (*недочеловек, недоедать*) и др.;
- диминутивные (уменьшительные) суффиксы прилагательных и наречий;
- *-оват/-еват-* (*желтоватый, синеватый; рановато, душиновато*), *-ик-* (*столик*) и др.;
- диминутивные (уменьшительно-ласкательные, уменьшительно-уничижительные) суффиксы *-к-* (*собачка*), *-ечк-* (*скамеечка*), *-инк-* (*горюшinka*), *-ишк-* (*городишко*) и др.

Все приведенные выше аффиксы маркируют степень интенсивности. Однако, хотя «среди аффиксов явно преобладают такие, которые, кроме словообразовательной, не несут никакой другой нагрузки» (Современный русский... 1981: 144), даже этот краткий обзор аффиксов показывает, что в ряде случаев материализуются и такие коннотативные значения, как оценочность, эмоциональность, что в совокупности с коннотацией интенсивности обеспечивает экспрессивный эффект³.

Наиболее сложно интенсифицирующий/ деинтенсифицирующий компонент проявляется в области **лексики**, поскольку в лексических средствах эти компоненты семантики представлены в корне слова как семы, а не формализованы в отдельных специализированных формантах, т. е. выступают в слове синкретично с основным значением корня в качестве внутреннего лексического созначения, особой семы.

Интенсификация ~ деинтенсификация на лексическом уровне, как правило, реализуется в сфере лексико-семантической парадигматики, т. е. в синонимической парадигме слов различных частей речи (прилагательных, наречий, глаголов, существительных). При этом интенсивный компонент может выступать и в качестве чисто денотативного, например, в неоценочных и неэмоциональных единицах типа *буря* → *ураган* ~ *шторм* (на море), и в качестве коннотативного, например, в лексеме *очи* (*глаза* → *очи*), в которой наблюдается синкретизм оценочного, эмоционального и интенсивного компонентов. Этот синкретизм проявляется и в ряду существительных, обозначающих сенсорно воспринимаемые явления и эмоциональные состояния, эти лексемы еще более наглядно свидетельствуют о связи оценочности и эмоциональности с интенсивностью. В частности, в тематической группе «запах» само слово *запах* с точки зрения эмоционально-экспрессивной окраски является нейтральным, а вокруг него располагаются синонимы с разной коннотативной нагрузкой, что демонстрирует приводимая в таблице синонимическая парадигма:

Таблица №1

Синонимическая парадигма лексемы *запах*

Степень интенсификации ~ деинтенсификации		Оценка	Эмоциональность	Лексемы
	Высокая	Положительная оценка	Восторг	<i>благоухание</i>
	Средняя		Удовольствие	<i>аромат</i>
	Слабая		—	—
	НОРМА (точка отсчета)	Нейтральная оценка	—	<i>запах</i>
	Слабая	Отрицательная оценка	Недовольство	<i>душок</i>
	Средняя		Сильное недовольство	<i>вонь (разг.), смрад</i>
	Высокая		Отвращение	<i>зловоние</i>

Впрочем, подобное распределение интенсивного и неинтенсивного, а также положительного ~ отрицательного, разных эмоциональных

компонентов у каждой синонимической парадигмы чрезвычайно своеобразно, но ряды типа «норма — высокая степень интенсивности» или «норма — низкая степень интенсивности» для стилистической парадигматики являются достаточно типичными, например, количественная (градуальная) характеристика проявляется и в парах *любить* → *обожать*, *добиваться* → *домогаться*⁴ и многих других. В таких случаях единицам свойствен и разный функционально-стилевой компонент.

Многочисленные группы синонимов (разных с точки зрения частей речи), объединяются внутри синонимического ряда по возрастанию или убыванию степени свойства, качества или силы признака, действия и т. п. При этом в рамках синонимических парадигм, по сути дела, закрепляется иерархическое строение группы, поскольку внутри нее синонимы могут быть расположены в порядке убывания или возрастания степени интенсивности а) психического состояния: *боязнь* ← *страх* → *ужас*; б) размера, объема: *большой* → *громадный* → *огромный* → *колоссальный* → *гигантский* → *исполинский* → *грандиозный* → *циклопический*; в) оценки внешности: *приятный* ← *симпатичный* ← *миловидный* ← *привлекательный* ← *красивый*; г) оценки качеств умственной деятельности: *неглупый* ← *сообразительный* ← *толковый* ← *умный*; д) процессуального состояния: *замереть* ← *застыть* → *оцепенеть* → *окаменеть*; е) начала процесса: *заняться* ← *загореться* → *вспыхнуть* → *запылать*; ж) действия: *бежать* → *мчаться* → *нестись* → *лететь*; з) перформативного действия: *просить* → *молить* → *заклинать* и т. д.

Смысловые количественно-качественные отличия между синонимами достаточно легко усматриваются носителями языка и отражаются в синонимических словарях, см., напр. (Словарь синонимов... 1977), но могут оказаться проблемными в процессе обучения неродному языку или в процессе перевода.

Следует подчеркнуть, что по отношению к интенсивности в лексической системе языка имеются разные типы единиц. Одни семантически самодостаточны (автосемантически) с точки зрения формирования (де)интенсифицирующего смысла, поскольку последний ингрентен, т. е. заключается в содержании самой лексемы, которая спо-

собна в рамках предложения самостоятельно маркировать интенсивный смысл. Такие лексические единицы могут быть названы системно-языковыми *интенсивами*. В процессе обучения и перевода интенсивы оказываются наиболее сложными единицами в силу комплексности их семантического содержания и того, что количественный и качественный состав синонимических парадигм разных языков обычно не совпадает.

Другие лексемы функционируют в речи в роли особых системно-языковых *интенсификаторов*, т. е. средств, специально предназначенных для (де)интенсификации значения других (соседних) словоформ в синтагматической цепи. Создание номенклатуры подобных средств и описание особенностей их сочетаемости — отдельная задача. Здесь же ограничимся лишь некоторыми примерами: *еле* (*живой*), *чуть-чуть*, *немного* (*бледный*); *очень*, *слишком*, *чрезмерно*, *чрезвычайно* (*трудный*) и т. п.

К системно-языковым средствам относятся также словообразовательные и формообразовательные *аффиксы*, о которых говорилось выше. Они могут быть названы *интенсификантами* и включены в системно-языковые средства интенсивности:

Таблица №2

Системно-языковые типы проявления интенсивности

Системно-языковые типы проявления интенсивности		
1. Интенсивы	2. Интенсификанты	3. Интенсификаторы

Системность и регулярность отличает системно-языковые средства языка от речевых единиц, которые становятся интенсифицирующими лишь в рамках речи; такие средства значимы с точки зрения синтаксиса высказывания и текста, однако они окказиональны как речевые проявления. В то же время в области *синтаксиса* также наблюдаются системно-языковые интенсивные единицы. Это особые модели предложений, называемых экспрессивными синтаксическими конструкциями. Однако следует подчеркнуть, что экспрессивными они становятся и благодаря наличию в их значении компонента интенсивности, синкретично входящего в семантику предложения. Например, модели эмоциональных предложений с облигаторными ини-

циальными лексемами *Как...*, *Какой...* не только выражают эмоции, но и обязательно интенсифицируют содержание предиката: 'очень хороший, свежий и т. п.' или 'очень сильно я молил, берег и т. п.':

1. *Какие песни пел я ей про Север дальний!*
Я думал: вот чуть-чуть — и будем мы на «ты».
Но я напрасно пел о полосе нейтральной —
Ей глубоко плевать, какие там цветы (В. Высоцкий, «Она была в Париже»)
2. *Какой чудесный день!*
Какой чудесный пенек!
Какой чудесный я
И песенка моя! (Мультфильм «Песенка Мышонка»)
3. *Как хороши, как свежи были розы*
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодной рукой!
Как я берег, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих... (Иван Мятлев, «Розы»).

Кроме предложений приведенного типа, в сфере русского синтаксиса представлены и структурно более жесткие модели т. н. Синтаксических фразеологизмов (Щаднева 2001, 90–94). Это целый ряд обладающих семантическим компонентом интенсивности моделей, которые с формальной точки зрения относятся к инфинитивному типу предложений с дательным падежом субъекта. В дискурсе такой субъект обычно выражен личными и лично-указательными местоимениями, замещающими имена существительные, или же нулевым знаком. В качестве облигаторного компонента эти предложения-фразеологизмы имеют лексемы *Куда...* или *Где...*, которые выступают здесь не в качестве местоименного вопросительного наречия, а в функции формально обязательной частицы. Последняя всегда занимает инициальную позицию и не допускает элиминации, что отличает ее от других составляющих, которые в дискурсе могут быть представлены синтаксическим нулем.

Тем самым именная и глагольная словоформы здесь являются переменными величинами, т. е. морфологическая заданность схемы не

означает лексической скованности. Такие фразеологизированные модели характеризуются не только закрепленностью позиции *куда* и *где*, но и жестким порядком следования других словоформ, входящих в инвариантную структурную схему:

Куда/ Где + Сущ./ Мест. ^{Дат. пад.} + **Инф.**

Приведем некоторые иллюстрации, свидетельствующие о том, что в условиях конкретного дискурса эта общая модель реализуется не только в ряде речевых вариантов с нулевым замещением, но и вариантов с факультативными интенсификаторами-частицами *уж/ же (ж)/ тут/ там/ уж там*:

4. *Куда мне кружить чужие головы? Дай бог свою сносить на плечах!* (И. С. Тургенев, «Рудин»)
5. *Родители Родриго умерли. Куда же ему справиться с громадным делом!* (К. С. Станиславский, «Работа над ролью»)
6. *Скоро осень, польют дожди, тут будет непролазная грязь. Да и обстановка мрачноватая, куда тут работать! Переезжайте ко мне* (К. Г. Паустовский, «Золотая роза»).
7. *Наверно, я погиб. Глаза закрою — вижу
Наверно, я погиб: робею, а потом —
Куда мне до нее! Она была в Париже,
И я вчера узнал — не только в нем одном* (В. Высоцкий, «Она была в Париже»).

В случае элиминации субъектного и глагольного членов конструкции типично использование усилительных частиц, которые также интенсифицируют содержание предложения. Разумеется, с точки зрения семантики синтаксические фразеологизмы с *куда* и *где* многослойны, поскольку на лексическое (номинативное) и морфологическое значение компонентов накладываются прагматические смыслы: а) семантика невозможности действия дополняется б) значением сомнения в способности лица осуществить действие, в) эмоцией недовольства высказанным в предтексте предположением о действии, а также г) значением интенсивности. Кстати, хотя в письменной речи подобные единицы порой оформляются и вопросительным знаком, прямого вопроса они не означают и осмысляются как рито-

рические вопросы, выражающие эмоциональную реакцию говорящего.

Как показывает наш краткий обзор, проблема интенсивности имеет отношение к любому языковому уровню. Однако то, что сейчас лингвистический статус интенсивности нельзя признать четко определенным, объясняется и трудностью выявления общего начала интенсивности у языковых единиц различных уровней, и отношениями пересечения понятия *интенсивность* с целым рядом лингвистических феноменов.

Заключение

Обобщая концепции разных авторов, мы можем констатировать, что интенсивность — явление многоуровневой природы. Процесс протекания (де)интенсификации на разных уровнях языка весьма специфичен. Даже беглый анализ языковых средств разных уровней свидетельствует о том, что интенсивность характеризуется двойственной природой: как *ономасиологическая* категория она имеет внеязыковой референт; как *семасиологическое* явление она связана с коннотативными значениями самих языковых единиц⁵. При этом интенсивным может быть и само представляемое в тексте (дискурсе) явление, и отношение к нему.

Такие системно закреплённые антропоцентрически значимые показатели языковых единиц, как оценочность, эмоциональность и интенсивность, объединяются в единице в самых разных пропорциях и в совокупности придают речи экспрессию, субъективно реализуясь в процессе выбора языковых единиц. Иными словами, термин *экспрессивность* целесообразно рассматривать как обобщающий по отношению к другим смежным терминам, за которыми стоит частное, т. е. более конкретное содержание:

Таблица №3

Экспрессивность —		
<i>обобщающий термин, обозначающий способность языковых единиц содержать антропоцентрически значимые субъективные показатели.</i>		
Оценочность —	Эмоциональность —	Интенсивность —
<i>способность языковых единиц выражать по-</i>	<i>способность языковых единиц выражать эмо-</i>	<i>Способность языковых единиц указывать на ме-</i>

ложительное или отрицательное отношение говорящего к предмету сообщения.	циональное отношение говорящего к предмету сообщения.	ру, степень проявления того или иного признака.
--	---	---

В лингвистических единицах компоненты экспрессивности отражаются как созначения в виде сем и имплицитной (в корнях слов, в значении синтаксической конструкции), и эксплицитной (в специальных морфемах, вспомогательных словах) природы. Границы между составляющими экспрессивности не являются жесткими, поскольку все эти понятия находятся в отношении пересечения. Их объединяет телеологически обусловленное функционирование языковых единиц, а типичное употребление, закрепляемое в системе языка, связывает интенсивность с другими лингвистическими категориями столь же сложной и многоуровневой природы, как и она сама.

Интенсификация приводит к акцентированию оценочного и эмоционального компонента и, как результат, к способности языкового выражения оказывать воздействие на читателя или слушателя, т. е. к экспрессивности (выразительности).

Нередко интенсивность — явно или неявно — приравнивают к экспрессивности, что, по сути дела, свидетельствует об избыточности одного из терминов. Между тем эти два понятия соотносятся как общее и частное, поскольку содержание экспрессивности составляет широкий спектр интенсивно-эмоциональной оценки. Чем больше разных компонентов взаимодействует и чем выше степень их проявления, тем выше способность языкового выражения оказывать воздействие на читателя ~ слушателя. А облигаторной сферой в языковой единице оказываются отдельные компоненты денотативного содержания.

Попытка найти общую инвариантную составляющую приводит к выводу о том, что правомерно говорить о языковой категории интенсивности, которая базируется как на собственно семантическом (денотативно-семантическом), так и на семантико-стилистическом (коннотативном) компонентах интенсивности.

Резюмируя сказанное, отметим, что дискуссионный характер всех затронутых в статье вопросов делает актуальным их дальней-

шее детальное рассмотрение с целью поиска объективного решения проблемы языковой коннотации, ее состава и иерархии ее частей.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Иллюстрацией размытости содержания терминов является уже тот факт, что смежные с экспрессивностью понятия эмоциональности и оценочности нередко также объясняются как способность передавать субъективное отношение говорящего к содержанию или адресату речи.
- ² Механизмы создания интенсивности в дискурсе (тексте) в данной статье не затрагиваются.
- ³ В работе приводятся лишь некоторые примеры интенсифицирующих ~ деинтенсифицирующих языковых групп, каждая из которых заслуживает автономного описания.
- ⁴ Здесь и далее направление стрелок показывает уменьшение или увеличение степени проявления признака. Разумеется, приведенные примеры синонимических парадигм носят иллюстративный характер и не исчерпывают всех типов смысловых отношений между словами-синонимами. В трактовке единиц функционально-стилевой аспект также не затрагивается.
- ⁵ В рамках данной статьи собственно дискурсивные коннотации, возможные в речи, отдельно не рассматривались.

ЛИТЕРАТУРА

- Алефиренко, Золотых 2000 — Н. Ф. Алефиренко, Л. Г. Золотых. *Проблемы фразеологического значения и смысла (в аспекте межуровневого взаимодействия языковых единиц)*. Астрахань, 2000.
- Арнольд 1973 — И. В. Арнольд. *Стилистика современного английского языка*. Ленинград: Просвещение, 1973.
- Балли 1961 — Ш. Балли. *Французская стилистика*. Москва: Изд-во. иностр. лит-ры, 1961.
- Белошапкова 1989 — В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская и др. *Современный русский язык*. Москва: Высшая школа, 1989.
- Булдаков 1982 — В. А. Булдаков. *Стилистически сниженная фразеология и методы ее идентификации (на материале современного немецкого языка)*. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Калинин, 1982.

- БЭС 1998 — *Большой энциклопедический словарь. «Языкознание»*. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1998.
- Вольф 1985 — Е. М. Вольф. *Функциональная семантика оценки*. Москва, 1985.
- Голуб 1986 — И. Б. Голуб. *Стилистика современного русского языка*. Ленинград, 1986.
- Гридин 1998 — В. Н. Гридин. *Экспрессивность*. Большой энциклопедический словарь «Языкознание». Москва: Большая Российская энциклопедия, 1998.
- Звегинцев 1957 — В. А. Звегинцев. *Семасиология*. Москва: Изд. МГУ, 1957.
- Лукьянова 1986 — Н. А. Лукьянова. *Экспрессивная лексика разговорного употребления. Проблемы семантики*. Новосибирск: Наука, 1986.
- Мокиенко 1989 — В. М. Мокиенко. *Славянская фразеология*. Москва: Высшая школа, 1989.
- Словарь синонимов... 1977 — *Словарь синонимов русского языка*. Ленинград: Наука, 1977.
- Современный русский... 1981 — *Современный русский литературный язык*. Под ред. Н. М. Шанского. Ленинград: Просвещение, 1981.
- Солодуб, Альбрехт — Ю. П. Солодуб, Ф. Б. Альбрехт. *Современный русский язык (лексика и фразеология)*. Москва: Флинта, 2002.
- Стернин 1979 — И. А. Стернин. *Проблемы анализа структуры значения слова*. Воронеж, 1979.
- Стернин 1985 — И. А. Стернин. *Лексическое значение слова в речи*. Воронеж, 1985.
- Туранский 1990 — И. И. Туранский. *Семантическая категория интенсивности в английском языке*. Москва, 1990.
- Филиппов 1978 — А. В. Филиппов. *К проблеме коннотации*. Вопросы языкознания, Москва, 1978, № 1, с. 57–63.
- Шаховский 1979 — В. И. Шаховский. *О лингвистике коннотации*. Семантико-системные отношения в лексике германских и романских языков. Исследования по романо-германскому языкознанию. Вып. 9. Волгоград, 1979, с. 39–48.
- Шаховский 1983 — В. И. Шаховский. *Эмотивный компонент значения и методы его описания*. Волгоград, 1983.
- Шаховский 1987 — В. И. Шаховский. *Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка*. Воронеж, 1987.
- Щаднева 2001 — В. П. Щаднева. *О специфике синтаксических фразеологизмов с начальной частицей куда*. Valoda-2001. Humanitārās fakultātes XI zinātniskie lasījumi (90–94). Daugavpils: Saule, 2001, s. 90–94.

Mõiste «intensiivsus» keeleteaduslikust staatusest**Valentina Štšadneva**

Artiklis arutatakse mõiste «intensiivsus» keeleteaduslikku staatust. Keelematerjali analüüs lubab nentida, et keeleline intensiivsus on mitmetasandiline nähtus. Intensiivistamise ja deintensiivistamise protsessid erinevatel keeletasanditel on üsna eripärased. Keelevahendite ainuüksi põgus analüüs tõendab, et keelelist intensiivsust iseloomustab duaalsus: onomasioloogilise kategooriana omab see keelevälist referenti, semasioloogilise nähtusena on keeleline intensiivsus seotud keeleliste üksuste konnotatiivsete tähendustega.

Intensiivsust vahetevahel peetakse võrdseks ekspressiivsusega. Samal ajal need kaks mõistet korreleeruvad kui üksik ja üldine, sellepärast et ekspressiivsuse sisu moodustub ulatuslikust intensiiv-emotsionaalse hinnangu spektrist. Keeleline hinnang, emotsionaalsus ja intensiivsus ühinevad keeleüksuse tähenduses väga erinevates proportsioonides. Sellel põhjusel on terminit «ekspressiivsus» otstarbekas käsitleda kui üldistavat teiste nimetatud terminite jaoks, mille taga on konkreetne sisu.

Ekspressiivsuse koostisosade vahelised piirid ei ole jäigad, kuna kõik mainitud mõisted on ristuvad. Neid ühendab keeleühikute funktsioneerimine: intensiivistamine viib hindamiskomponendi ja emotsionaalse värvingu tugevnemisele. Selle tulemuseks on keelendite võime lugejat ja kuulajat tõhusalt mõjutama. Katse leida üldelementi viib järeldusele, et on õiguspärane rääkida keelelise intensiivsuse kategooriast, mis tugineb nii denotatiiv-, kui ka konnotatiiv-semantilisel intensiivsuse komponendil.

Валерий Михайлович Мокиенко
Грайфсвальдский/ Санкт-Петербургский университеты

ИЗ ИСТОРИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ГЕРМАНИЗМОВ
В ЧЕШСКОМ ЯЗЫКЕ
(КУЛЬТУРОЛОГЕМА *POVĚSIT CO NA HŘEBÍK*)

Pověším všecku filologii na hře...
— A již zase! Prokletý rarach... (tj. germanismus)
Svatopluk Čech.

Славянские языки – чешский язык – фразеология – немецко-чешские фразеологические связи

Многовековые экономические, политические и культурные контакты славян и немцев, как известно, нашли своё отражение практически во всех языках Славии и в каждом из них имели свою специфику.

Чешский язык, испытавший особо мощное влияние немецкого, не смог от этого влияния освободиться даже в периоды обострённой его «национализации», особенно в эпоху чешского Возрождения, когда усилиями Й. Юнгмана и его окружения многие германизмы коренным образом славянизировались, вызывая в жизни даже столь уродливые замены псевдонемецких слов типа *Klavír*, как знаменитый *Klapkobrnkodrnkostroj*. Чешский язык после *obrozenecké* «purifikace» стал действительно самым славянским. Но — только по корнеслову, где славянскими эквивалентами было заменено большинство лексических германизмов и даже латинизмов. По синтаксической же структуре, как и многим другим системным показателям, немецкая

плоть чешского языка проступает довольно отчётливо. Особенно заметно это во фразеологии, где кальки типа *mít rád* (*haben gern*), *mít smůlu* (*haben Pech*), *mít kliku* (*haben Glück*) прозрачны для каждого, кто хоть немного владеет немецким языком. А в *obecné češtině* и диалектах, где пуристические тенденции не тормозили взаимодействия с немецким языком, такие кальки имели и ещё более германский вид — ср. известный дублет к *mít smůlu* — *mít pecha*.

За каждым фразеологическим германизмом стоит своя история, собственные пути проникновения в тот или иной стиль речи, свои особенности языковой адаптации. Некоторые из них давно уже унесены временем и не сохранились в чешском языке, хотя некогда были весьма активны. Таково, например, др.-чеш. *v dlúhú truhlu klásti*, скалькированное с нем. *etwas in die lange Truhe legen* и весьма известное в XVI в. Сейчас и немецкий, и чешский обороты унесены в небытие временем, а в немецком языке остался лишь его след в современном варианте *auf die lange Bank schieben* (Röhrich 1994, 140). В русском же языке это выражение до сих пор живёт именно как точная калька с устаревшего немецкого — *отложить в долгий ящик что* (Mokienko 1993).

В наши дни фразеологические германизмы чешского языка продолжают активно жить, нередко энергетически подпитываясь различными дополнительными обстоятельствами и обогащаясь современной семантикой. Такова и судьба выражения *pověsit co na hřebík*, которое относится к активной части чешской фразеологической системы. Лучший фразеологический словарь современного чешского языка даёт этому выражению полифоническое определение: «Člověk obzvlášť ve vztahu ke svému původnímu povolání, popř. zálibě ap.: trvale něčeho zanechat nebo se vzdát; úplně přestat něco dělat. *Ve čtyřiceti pověsil svou úřednickou kariéru na hřebík, vystudoval se a stal se hudebník kritikem*» (SČF 3, 1994, 257). При этом составители словаря органично монтируют семантику выражения в рамки синонимии и антонимии: (синон.) *přestat s něčím, zanechat něčeho, dát něčemu kvinde (vale) hodit něco přes palubu, nechat všechno plavat*; (антон.) *věnovat něčemu stálou pozornost, nepouštět něco ze zřetele*.

Показательна здесь и попытка проецировать чешское выражение в европейский фразеологический контекст — оно эквивалентуруется

Фр. Чермаком и его соавторами англ. *hang up one's boots*; нем. *etw. an den Nagel hängen*; фр. *mettre quch au placard* и рус. *забросить что*. Английский и французский эквиваленты несколько сужают семантический диапазон чешского фразеологизма, а русский оставляет его, собственно, безэквивалентным, хотя в современных русских средствах массовой информации давно популярен прямой «двойник» английского *hang up one's boots* – *повесить бутсы на гвоздь* ‘перестать играть в футбол’, имеющий массу близких «спортивных» вариаций: *повесить [теннисную] ракетку на гвоздь* ‘перестать играть в теннис’, *повесить перчатки на гвоздь* ‘перестать боксировать’, *повесить шлем на гвоздь* ‘перестать заниматься автомобильным спортом’ и т. п.

Английский и русский эквиваленты к чешскому *pověsit co na hřebík* создают впечатление «модерности», яркой актуальности последнего. Но немецкий эквивалент *etw. an den Nagel hängen* убеждает, что это не так, поскольку спектр его значений столь же широк, как и очерченный составителями чешского фразеологического словаря: ‘бросать, оставлять что-л. (профессию, дело, учёбу)’; ‘прекращать, свёртывать что-л. (работу, дело)’; *die Uniform an den Nagel hängen* ‘оставить военную службу, снять военную форму’. В контекстах повесить на немецкий гвоздь (*an den Nagel hängen*) можно также *den Beruf, die Karriere, die Politik, die Philosophie, den Assessor* (НРФС 1975, 409; НУФС 2, 1981, 69; RSR 1992, 504). В немецких пословицах подобная семантика также весьма велика: *Man soll nicht alles an einen Nagel henken* (Simrock 2003, 375); *Fremde Sorgen hängt man an den Nagel*; *Es liegt nicht immer am Nagel, wenn die Wand nicht hält* (Beyer 1989, 185). О семантической широте и активности немецкого выражения свидетельствуют и его варианты, напр.: *etw. an einen hohen Nagel hängen* ‘откладывать какое-л. дело для обдумывания’, *alles an einen Nagel hängen* ‘всё переворачивать, приводить в беспорядок’, ‘рисковать всем своим имуществом’, *nicht alles an einen Nagel henken* ‘не рисковать всем сразу’, *von einem Nagel an einen anderen hängen* ‘оплачивать старые долги, деля новые, не вылезать из долгов’ и др.

Сопоставление показывает, что спектр значений немецкого и чешского фразеологизмов почти полностью идентичен. Так, и сло-

варь поговорок Я. Заоралека, и недавно опубликованный «Чешско-русский фразеологический словарь» отражают масштабную семантику оборота *pověsit co na hřebík (hřebíček)* ‘бросить, забросить что; бросить заниматься чем; пустить по боку что (букв.: повесить что на гвоздик)’ (Mokienko, Wurm 2002, 185); *pověsit na hřebíček co* ‘nechat toho, uputit od toho’; *školní kapsu na hřebíček pověsit* ‘zanechat učení’; *může si pověsit hubu na hřebíček* ‘nemá co jíst’; *viset na hřebíčku* ‘býti po ruce, snadno dosažitelný’; *mít na hřebíčku, být na hřebíčku* ‘po ruce býti nebo mítí’; *pověsit na hřebík* ‘zanechat toho, upustit od toho’; *dát dobytek na hřebík* ‘prodat na porážku’ (Zaorálek 1963, 125).

Ещё ближе чешский и немецкий оборот смотрятся в диахронической ретроспективе. Монументальный двухтомный сборник древнечешских пословиц и поговорок В. Флайшганса (Flajšhans 1911–1912, I, 344) для выражения *na hřebík pověsiti* фиксирует материалы литературного употребления фразеологизма от первых его фиксаций в XVI в. до начала XX в.:

«sicet’ to ledakdes *na hřebík pověsíme* a od svého povolání utečeme» (1561 REŠEL 10b); «protož zavěs blázna i s cepem jeho *na hřebík* (REŠEL 39a G. t.); *školní kapsu na hřebík pověsiti* ‘nechat učení’ (XVI в., VELESLAVIN); *pověsiv tedy grammatiku na hřebík* (XIX в., RUBEŠ 48a); «že by mnohý ženidlo na věky *na hřebík pověsil*» (RUBEŠ 84a); «že svůj vdovský šat pověsila obratně *na hřebík*» (KUNĚTICKÁ, Drobn. povídky 56); «aby pověsil dosavadní svůj život *na hřebík*» (KUNĚTICKÁ, Nové pov. 68); *pověsil poesii na hřebík* (ČECH SS X VIII, 10y); *spisovatelství musil pověsiti na hřebík* (ČECH SS XX, 246); «že pověsí spisovatelské řemeslo *na hřebík*» (ČECH, Pestré cesty, II, 183); *pověsím své varito na hřebík* (ČECH. Ikaros, KVĚTV. 1885, XV, 728); *Lloyd jsem pověsil na hřebík* (ČECH, 55 XIV, 31); *já jsem je pověsil dávno na hřebík* (ČECH 55 XVIII, 212); *pověsil jsem to neklidné zaměstnání na hřebík* (ČECH, 55 XVIII, 288); *pověsil vdovství na hřebík* (ČECH 55 XIV, 200) и др. к этому ряду.

Как видим, диапазон того, что можно «повесить на чешский гвоздь», чрезвычайно широк:

1. Различные предметы: (*varito* — несуществующий древнечешский музыкальный инструмент, подобный арфе, вдовье платье).
2. Различные профессии, занятия (неспокойное занятие, писательское ремесло, поэзия, филология и даже шутовство-blázna).

3. Атрибуты профессий и занятий (школьная сумка, грамматика).
4. Социальный статус или его атрибуты (*ženidlo* — желание жениться, вдовство).
5. Существование вообще (жизнь).

Семантической доминантой при этом и в немецком, и в чешском языках остаются обозначения либо предметов одежды, либо профессиональных занятий.

Сопоставление убедительно свидетельствует, что чешское выражение — классическая калька с немецкого. Такую объективную констатацию делает В. Флайшганс (Flajšhans 1911–1912, I, 344), прямо указывая, что чешский оборот заимствован «*z německého etwas an den Nagel hängen*», зафиксированного в разных вариантах в монументальном собрании немецкой паремиологии К. F. W. Wander'a (1867–1889).

За языковым тождеством скрывается и тождество культурологическое. Немецкое выражение связано с бытом старой Германии. Раньше разные инструменты, одежда (особенно рабочая или военная) и т. п. развешивались на гвоздях в стене, если эти предметы были в данный момент не нужны. В переносном значении оборот известен уже с XV в. (Müller 1994, 428). Иногда историки немецкого языка уточняют обстоятельства возникновения оборота тем, что инструменты и рабочая одежда развешивались на гвоздях в стенах строящихся зданий, барачных после окончания работы (RSR 1992, 504; Hessky, Ettinger 1997, 154).

Важные детали семантического развития немецкого выражения сообщаются авторитетным этнографом и фольклористом Л. Рёрихом (Röhrich 1994, 1071–1072). Им подчёркивается, что гвозди (*Nageln*), на которых развешивались инструменты и одежды, были первоначально деревянными и прибивались высоко. В военном обиходе, как свидетельствует старая солдатская песня, на такие гвозди вешалось также оружие (напр., мечи и копья), конская сбруя или мундиры. Постепенно значение оборота концентрировалось на характеристике оставляемых кем-л. профессий и занятий — именно тех, что свойственны и современному употреблению немецкого и чешского оборотов.

Таким образом, сопоставительный и этимологический анализ вскрывает культурологическую подоплёку общего немецкого и чешского выражений. Тем самым чеш. *pověsit co na hřebík* соотносится с англ. *hang up one's boots* и рус. *повесить бутсы на гвоздь* лишь типологически, а на генетически, т. е. по близкой образной основе, но лишь в суженном семантическом объёме. Генетическую же общность он сохраняет именно с немецким выражением.

Описанная процедура семантического анализа позволяет ставить подобный диагноз и в определении фразеологических германизмов в других славянских языках. Так, аналогичную серию оборотов, сопрягаемых с немецкими, имеет болгарская фразеология: *закачвам (закачам)/ закача [окачвам (окачам)/ окача] на гвоздея (гвоздей) нещо; закачвам (закачам)/ закача на клечка[та] нещо; закачвам (закачам)/ закача [окачвам (окачам)/ окача] на кука[та] нещо; закачвам (закачам)/ закача на пирона нещо [окачвам (окачам)/ окача]; закачвам (закачам)/ закача на стената нещо* 'оставить какую-л. начатую работу, деятельность, прекращать заниматься чем-л.; отказаться от чего-л. (напр. — по приведённым контекстам, адвокатскую деятельность, учёбу, изучение иностранных языков, музыку, поэзию, борьбу, принципы, проблемы и т. п.)'. (ФРБЕ 1, 341; 2, 21–22). И здесь «ассортимент» профессий и занятий тех, кто характеризуется выражениями о «гвозде», столь же широк, как в чешском и немецком языках. За такими германизмами кроются глубокие, постоянные и мирные взаимоотношения славян и немцев на всей территории Европы. И одной из актуальных задач современной славистики является объективное и последовательное выявление языковых и культурных следов такого взаимодействия. Взаимодействия, жизненно важного и для современной объединённой Европы.

ЛИТЕРАТУРА

- НТФС 1975 — Бинович Л. Э., Гришин Н. Н. *Немецко-русский фразеологический словарь*. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: Русский язык, 1975, 656 с.

- НУФС 1981 — *Німецько-український фразеологічний словник*. Уклали В. І. Гавриш, О. П. Пророченко. Т. 1–2. Київ: Радянська школа, 1981, 416 с., 382 с.
- ФРБЕ 1974 — Ничева К., Спасова-Михайлова С., Чолакова Кр. *Фразеологичен речник на българския език*. Т 1–2. София, 1974–1975.
- Beyer 1989 — Beyer Horst und Annelies. *Sprichwörterlexikon. Sprichwörter und sprichwörtliche Ausdrücke aus deutschen Sammlungen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart*. Leipzig, 1989.
- Flajšhans 1911–1912 — Flajšhans Václav. *Česká přísloví. Sbirka přísloví, přípo-videk a pořekadel lidu Českého v echách, na Moravě a v Slezsku*. Díl I. Přísloví staročeská. Díl I (A–N), díl II (O–Ru). Praha, 1911–1912.
- Hessky, Ettinger 1997 — Hessky Regina, Ettinger Stefan. *Deutsche Redewendungen. Ein Wörter- und Übungsbuch für Fortgeschrittene*. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1997, 327 S.
- Mokienko 1993 — Mokienko V. *Phraseologische Germanismen im Russischen*. Zeitschrift für Slawistik, 1993, № 3 (38), S. 346–360.
- Mokienko, Wurm 2002 — Mokienko Valerij M., Wurm Alfréd. *Česko-ruský frazeologický slovník*. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 659 s.
- Müller 1994 — Müller Klaus. *Lexikon der Redensarten*. Herausgegeben, zusammengestellt und erläutert von Klaus Müller. München: Lexikographisches Institut/ Gütersloch: Bettelsmann Lexikon Verlag, 1994, 781 S.
- Röhrich 1994 — Röhrich Lutz. *Das große Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten*. Bd. 1–V. Feiburg/ Basel/ Wien, 1994, 1910 S.
- RSR 1992 — *Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der deutschen Idiomatik*. Bearbeitet von Günther Drosdowski und Werner Scholze-Stubenrecht. Duden Bd. 11. Mannheim/ Leipzig/ Wien/ Zürich, 1992, 864 S.
- SCF 1983–1994 — *Slovník české frazeologie a idiomatiky*. Díl 1–4. Red. Fr. Čermák, J. Holub, J. Hronek, J. Machač, M. Šára. Praha: Academia, 1983–1994.
- Simrock 2003 — Simrock Karl. *Die deutschen Sprichwörter*. Einleitung von Wolfgang Mieder. Düsseldorf: Patmos Verlag GmbH, Albatros Verlag, 2003, 631 S.
- Wander 1867–1889 u. a. — Wander Karl Friedrich Wilhelm. *Deutsches Sprichwörterlexikon. Ein Hausschatz für das deutsche Volk*. 5 Bde. Leipzig, 1867–1889; Nachdruck: Darmstadt, 1964; Nachdruck: Kettwig, 1987.
- Zaorálek 1963 — Zaorálek Jaroslav. *Lidová rčení*. Vyd. 2-é. Praha, 1963, 779 s.

**Fraseoloogiliste germanismide ajaloost tšehhi keeles
(kultuuroloogcem pověsit co na hřebík)**

Valeri M. Mokijenko

Artikkel on pühendatud slaavi-germaani kultuuri- ja keeleteadlastele. Tšehhi keele materjali varal näitab autor saksa keele süvamõju tšehhi fraseoloogia valdkonnas, tehes seda tšehhi fraseologismi *pověsit co na hřebík* näitel, mis on tõlkeliselt saksa väljendist *etw. an den Nagel hängen* 'midagi naela otsa riputama'. Kõrvutamine näitab, et saksa ja tšehhi fraseologismi tähendusspekter on peaaegu täiesti identne. Veel lähedasemana paistavad tšehhi ja saksa väljend diakroonilises retrospektiivis. Keelelise samasuse taga on varjul ka kultuurilooline samasus. Saksa väljend on seotud vana Saksamaa olmega, kus tööriistad, riided jms. Riputati seinale naela otsa. Kirjeldatud semantilise analüüsi protseduur lubab sama diagnoosi panna fraseoloogiliste germanismide määramisel teisteski slaavi keeltes.

Ирина Валерьевна Абисогомян
Тартуский университет

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВЫХ СЛОВАРЕЙ ЭПОХИ ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И РОЛЬ ИХ АВТОРОВ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕШСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Национального Возрождение у чехов – история создания первых немецко-чешских и чешско-немецких словарей – причины малой изученности проблемы — полемика Й. Добровского и К. И. Тама – ее значение для формирования чешской лексикографической теории и практики — издательская конкуренция как фактор воздействия на процесс создания словарей.

История чешской лексикографии периода национального Возрождения (далее НВ) берет свое начало с 80-ых гг. XVIII в. Первым лексикографом эпохи НВ по времени появления словаря можно считать К. И. Тама, поскольку именно он в 1788 г. издал свой немецко-чешский словарь «Deutsch-bohmisches Nationallexikon <...>» (Tham 1788). Первым чешско-немецко-латинским словарем, изданным через три года, стал «Vollständiges Wörterbuch der böhmisch-deutsch-und lateinischen Sprache <...>» Ф. Я. Томсы (Tomsa 1791). Самым же знаменитым и авторитетным по праву считается «Česko-německý slovník» Й. Юнгманна (Jungmann 1835–1839)¹.

Первые возрожденческие словари и их авторы

К. И. Там известен прежде всего как создатель первой «Защиты чешского языка» (1783), написанной на чешском же языке, и как автор большого количества учебников чешского языка² и двуязычных немецко-чешских и чешско-немецких словарей³. Особое и далеко не

однозначное отношение, в первую очередь у современников и прежде всего у Й. Добровского, вызывали лексикографические труды Тама (см. далее). Не имея возможности в рамках данной статьи представить полный обзор творческого наследия Тама, отметим лишь, что, на наш взгляд, все его основные работы были подчинены однажды выбранной главной цели, заключающейся в воспитании и просвещении нового, по-чешски думающего и говорящего поколения жителей Чехии, что проводилось Тамом на фоне отношения к родному языку как к истинной ценности. Таким образом, вполне справедливым является отношение к трудам Тама как к практическим пособиям по изучению чешского языка *того периода*, а не как к теоретическим сочинениям, направленным на обоснование и формирование норм чешского литературного языка *нового времени*, тем более что прагматическая направленность основных работ Тама (в основном это учебная и развлекательная литература) свидетельствует об отсутствии целевой установки на создание какой-либо теории. Можно с полной уверенностью утверждать, что при всех возможных недочетах в его работе, касающихся прежде всего теоретических основ его научно-просветительской деятельности, с поставленной задачей Там вполне успешно справился, о чем свидетельствовал, в частности, спрос на его учебники и учебные словари и их многочисленные переиздания (см., напр.: Knihopis 1965, 271–280).

Ф. Я. Томса, так же, как и его коллега и оппонент Там, являлся первопроходцем во многих областях зарождающегося чешского языкознания. Прежде всего он известен как автор первой грамматики чешского языка (*Böhmische Sprachlehre*. Prag, 1782) и первого чешско-немецкого словаря (Tomsa 1791) эпохи НВ, а также как переводчик и составитель текстов развлекательно-просветительского и учебного характера, предназначенных для школьников и молодежи. Общим местом практически всех упоминаний о Томсе является факт его сотрудничества с Добровским, в рамках которого Томсе, как правило, отводится лишь роль транслятора идей его великого учителя, что во многом предопределило исследовательскую «судьбу» его научных работ. В данной связи приведем характерную цитату:

«Солидные работы Томсы возвышаются над более ранними и современными сочинениями такого рода (имеются в виду словари и рабо-

ты по грамматике. — И. А.) главным образом из-за влияния Добровского, с которым он находился вплоть до смерти в дружеских отношениях. <...> Томса стал практическим и популярным толкователем идей Добровского <...>»⁴ (Tomsa. Ottova encyklopedie <1888–1909>).

Таким образом, известную оценку деятельности Томсы обусловили два ключевых момента: 1) тесное сотрудничество Томсы с Добровским и 2) особо акцентируемый тем же Добровским, а в последствии и другими учеными факт владения Томсой «правильным» чешским языком. В духе концепции Добровского нередко подчеркивается факт происхождения Томсы из деревенской среды, что предопределило владение им «нетронутого» или в гораздо меньшей степени подвергнутого отрицательному воздействию эволюции чешского языка. Нередко об этом упоминается в контексте, связанном со знанием чешского языка Тамом, который был уроженцем Праги, а значит, владел далеким от первоначальной «чистоты» родным языком (см., напр.: Havránek 1974, 196; Havránek 1979, 88; Šmilauer 1974, 43; ср. также: Průcha 1963, 59). При этом, по нашему мнению, именно указанные обстоятельства повлияли на в целом позитивное отношение современников и последующих исследователей к трудам Томсы, как к лингвистическим работам довольно высокого научного уровня, и одновременно, как это ни парадоксально звучит, на «низкий» уровень исследовательского интереса к его работам. Основопологающим фактором такого положения дел — с другими акцентами, но по существу так же, как и в случае с Тамом, — послужил авторитет Добровского, поскольку, как уже отмечалось, факт длительных и тесных научных контактов Добровского и Томсы практически всегда воспринимался исследователями односторонне — как отношения между учителем и его верным учеником. Как пытался (правда, весьма фрагментарно) показать Я. Пруха, многие работы Томсы на самом деле отличались самостоятельным подходом к тем или иным языковым явлениям (Průcha 1963, 60–61). Тем не менее, говоря, например, о его лексикографических трудах, прежде всего отмечается факт сотрудничества Томсы с Добровским в этой работе, который априори воспринимается как следование всем указаниям Добровского, при этом особое внимание уделяют предисловию к «Чешско-немецкому словарю» Томсы 1791 г., написанному Й. Добровским и

имеющему по сути значение отдельного от данной лексикографической работы научного труда по чешскому словообразованию и морфологии. Несомненно, эта работа Добровского (Dobrowsky 1791b, 11–32) вошла в корпус основополагающих и ставших классическими работ по чешской грамматике, однако, как это нередко бывает, «затмила собой» первоначальную задачу данного издания — сам чешско-немецко-латинский словарь Томсы, а в дальнейшем, как нам представляется, и все его научное наследие.

Изучение материалов по истории чешской лексикографии начальной фазы НВ показало, что в основном исследователи ограничиваются лишь констатацией факта создания К. И. Тамом и Ф. Я. Томсой первых немецко-чешского и чешско-немецко-латинского словарей эпохи НВ, ставших предшественниками знаменитого «Чешско-немецкого словаря» Й. Юнгманна (см, напр.: Páta 1911, 200; Šmilauer 1974, 43; Hauser 1980, 178; Tyl 1983, 113–114; Petr 1989, 10). В данной связи, по крайней мере на первый взгляд, возникает некоторое недоумение по поводу лаконичности и прямолинейности суждений о первых лексикографических работах эпохи НВ, сводящихся к двум полюсам: Там составил «плохой» словарь, а Томса — более качественный, поэтому его использовали последующие авторы словарей⁵. Впервые таким образом акценты при оценке трудов Тама и Томсы были расставлены Добровским, вслед за которым исследователи чаще всего указывали на то, что Там придерживался при создании своих словарей пуристических приемов, характерных для предшествующей эпохи барокко, и не исключал неологизмы (см., напр.: Dobrowsky 1798a; Dobrowsky 1798b; Dobrowsky 1798c; Dobrowsky 1802, <5–12>; Páta 1911, 200; Bělič 1953, 194; Šmilauer 1974, 43, 49; Hauser 1980, 178; Cuřín 1985, 79). Такой метод был признан (прежде всего Добровским) устаревшим и неперспективным. При этом из поля зрения исследователей вышел тот немаловажный факт, что первое издание немецко-чешского словаря Тама (Tham 1788) было встречено в целом весьма положительно и, кстати, прежде всего самим Добровским. Разногласия между Добровским и Тамом возникли гораздо позже — лишь через десять лет при публикации и активном обсуждении второго издания немецко-чешского словаря Тама (Tham 1799a).

При этом, как нам кажется, нет особой необходимости противопоставлять лексикографические труды Тама и Томсы, поскольку словарь Томсы на тот момент был единственным двуязычным словарем с опорным чешским языком, что и послужило вполне естественной причиной обращения к этому лексикографическому источнику авторов, намеревающихся создать также чешско-немецкий словарь. Второй (а по значимости, скорее, первой) причиной особого отношения к словарю Томсы стали, как уже отмечалось, написанное самым авторитетным филологом того времени Добровским предисловие (Dobrowsky 1791b, 11–32), а также сам факт сотрудничества составителя словаря с Добровским.

Вполне обоснованно, таким образом, полагать, что словари Тама и Томсы были важны как отправная точка для дальнейшей более совершенной работы по созданию словарей чешской лексики, поэтому они, собственно говоря, и стали первыми словарями периода НВ. Один (словарь Тама) методом от противного стимулировал работу по созданию «хорошего», качественного словаря, а второй (словарь Томсы) являлся исходным пунктом этой работы. При этом, еще раз подчеркнем, что несмотря на практически диаметрально противоположную оценку работ Томсы и Тама, исследовательский интерес к этим двум представителям первой фазы чешского НВ, ставшим также и первыми лексикографами нового времени, одинаково мал⁶.

Начальный этап становления чешской лексикографии в эпоху национального Возрождения

С учетом факта параллельного прохождения процессов языкового преобразования и возникновения лингвистической теории, в том числе и лексикографической (как ее теоретических предпосылок, так и принципов непосредственного написания словарей), далее будет предпринята попытка реконструкции истории становления чешской лексикографии на начальном этапе НВ.

Известно, что Добровский уже с конца 1770-ых гг. активно занимался сбором лексического материала для будущего словаря: собирал и изучал памятники древнечешской письменности, в том числе и словари, и создал команду собственных корреспондентов, которые

также производили выписки. Как отмечает В. Фляйшханс, первоначально эта работа носила спонтанный характер. Добровский еще не определился с тем, кто и каким образом начнет обработку собранного материала и написание словаря, поскольку основной сферой его научной деятельности была в то время грамматика. Однако Добровский активно помогал (и советами, и материалами) участникам возникшего в 1784 г. общества студентов, которые начали работу по созданию словаря чешского языка (Flajšhans 1986, 4). Как уже отмечалось, в 1788 г. один из членов этого общества Тама издал первый немецко-чешский словарь (Tham 1788), а еще через три года, в 1791 г., другой участник общества — Томса — опубликовал первый чешско-немецко-латинский словарь (Tomsa 1791). Появление этих лексикографических изданий знаменовало начальный этап становления чешской лексикографии нового времени.

Немецко-чешский словарь К. И. Тама (1788)

Словари Тама, как уже упоминалось, вызвали острую дискуссию с самым авторитетным языковедом той эпохи Добровским. Главным «виновником» этих споров стало второе издание «Немецко-чешского словаря», осуществленное в 1799 г. (Tham 1799a). Первое издание вышло десятилетием раньше, в 1788 г. (Tham 1788), и было встречено знатоками, в том числе и Добровским, весьма благосклонно. Так, например, с одобрения этой лексикографической работы Тама начинается предисловие к словарю Томсы 1791 г., написанное Добровским:

«Целесообразно построенный словарь должен являться средством для лучшей оценки богатства языка и, особенно, в качестве вспомогательного средства, как для изучения языка, так и для его лучшего и досконального понимания. Создан ли таковой, если первым или вторым таким считать вышедший уже в 1788 г. Немецко-чешский национальный лексикон госп<одина> Карла Тама, так это решение надо оставить на суд осведомленных читателей. По моему мнению, если таковому, как беспристрастному, согласны доверять, заслуживает он <словарь К. И. Тама. — И. А.> со всеми своими преимуществами, чтобы его рекомендовать взамен всем другим уже существующим» (Dobrowsky 1791a, 3).

О целях и принципах, которых придерживался Там при создании своего первого словаря, а также о трудностях, с которыми он столкнулся, можно судить по Введению (resp. предисловию) к словарю, датированному 26 сентября 1787 г. Обосновывая необходимость в новом словаре чешской лексики, Там избрал одновременно и идеологическое, и прагматическое объяснение, отмечая, с одной стороны, необходимость знания чешского языка для представителей состоятельных сословий, для судей, юристов и чиновников, для лиц духовного сана, для военных, полковых врачей, торговцев по всей Австрийской империи и подчеркивая заинтересованность в изучении чешского языка, проявляемую правителями государства, — Марией Терезией и позже Йосифом II, при содействии которых уже с середины XVIII в. началось изучение чешского языка в различных учебных заведениях Вены (Tham 1805a, <LXV–LXVI>). С другой стороны, Там объясняет значимость своего словаря для чехов, изучающих немецкий язык, поскольку

«для чеха, который старается говорить на немецком языке, тем более что теперь на нем, как на единственном государственном языке, производится все в школах, а также в канцеляриях, данный <словарь> будет очень полезным и практически необходимым справочником» (Tham 1805a, <LXVII>).

Далее в кратком представлении лексикографических трудов своих предшественников Там перечисляет самых известных авторов от Я. Воднянского и Д. А. Велеславина⁷ до К. Вусина⁸, критикуя последнего за недостаточность и неполноту, за ошибки в толковании и отсутствие разграничения значений у многозначных слов. Также Там обращает внимание на существенный для пользователей факт создания словарей в основном с исходным латинским языком, которые, по определению Тама, «для немца или для чеха, изучающего немецкий и не владеющего латынью, не годятся» (Tham 1805a, <LXVI>). Впрочем, и немецкие соответствия в словарях того же Вусина не всегда являются, по его мнению, соответствующими и верными. Подобную оценку словарям Вусина дал и Добровский, в частности, в предисловии к словарю Томсы 1791 г., отмечая при этом весьма существенный для выяснения причин, побуждающих к созданию новых (в том числе и созданных на новых теоретических

основах) словарей, факт неудовлетворенного потребительского спроса на словари, где в качестве одной из языковых параллелей выступает чешская лексика:

«В книжных магазинах уже невозможно найти ни одного экземпляра даже самого нового третьего издания словаря Вусина <...>» (Dobrowsky 1791a, 3).

При этом Там пытается выяснить причину отсутствия «основательного совершенного немецко-чешского лексикона» (вернее, причину невозможности издания такового, поскольку к тому времени так и не были изданы, по мнению Тама, «действительно хорошие уже существующие словари» В. Розы и И. Зеберера⁹), в качестве которой он называет прежде всего отсутствие финансовой поддержки со стороны «активных и успешных людей и издателей» (Tham 1805a, <LXVII>).

Также из этого предисловия становится ясным, что Там посвятил семь лет работе по сбору, упорядочению лексического материала и подготовке словаря к изданию (Tham 1805a, <LXVII–LXVIII>). Таким образом, о создании словаря Там задумывался уже с начала 1780-х гг., во время обучения в Пражском университете. Есть все основания полагать, что основной лексический материал был им собран в 1783–1785 гг. во время работы над каталогом старых чешских книг в университетской библиотеке¹⁰. Перечень основных источников, из которых черпался чешский лексический материал¹¹, также является свидетельством достаточно серьезной подготовительной работы, которую можно было провести только в университетской библиотеке, о чем пишет и сам Там:

«Пражская и <императорская> <королевская> библиотека стала в 1783 году богатейшим источником, настоящей золотой сокровищницей для моей работы, потому что <...> я использовал хорошую возможность и находил время делать выписки из редчайших и старейших как печатных, так и неизданных чешских произведений и рукописей, для моего собственного пользования, чтобы теперь они стали полезными и другим» (Tham 1805a, <LXVII>).

Необходимо отметить ряд заявленных Тамом аспектов, которые в дальнейшем стали одними из важнейших принципов в работе чешских языковедов эпохи НВ при поиске и/или создании наиболее аде-

кватных чешских лексических эквивалентов. Так, говоря о переводах, Там поясняет, что наряду с чешским вариантом он всегда для сравнения привлекал и оригинальный текст (например, при рассмотрении переводов на чешский язык произведений Эзопа¹², Петрарки и других) (Tham 1805a, <LXVIII>). Типологически сопоставимый подход к переводу был характерен, в частности, для Юнгманна, который, занимаясь переводами классических произведений западноевропейской литературы на чешский язык, рассматривал наряду с оригиналом переводы на другие, прежде всего славянские языки и таким образом подбирал наиболее приемлемый для чешского языка вариант (см., напр.: Filipcs 1974, 157–168; Orloš 1998, 47). Также важно отметить стремление Тама приводить в словаре устаревшие, «но хорошие слова», «чтобы освободить их от забвения, а со временем возобновить их лучшее (resp. новое — И. А.) использование» (Tham 1805a, <LXVIII>). Как известно, подобное отношение к устаревшей лексике было характерно и для Добровского, и позднее для Юнгманна.

При обработке немецкой части словаря Там пользовался советами ставшего впоследствии автором предисловия к его словарю (см.: Adelung 1788), создателя одного из самых известных словарей немецкого языка Й. Х. Аделунга¹³, а также ряда других словарей немецкого языка (см.: Tham 1805a, <LXIX>). Факт сотрудничества с Аделунгом, несомненно, должен был повысить статус словаря Тама, поскольку лингвистические труды немецкого ученого высоко ценились, в том числе и ведущими языковедами Чехии. Так, например, Добровский опирался при создании своих трудов по чешской морфологии и словообразованию на работы Аделунга, а также Ф. Фулды¹⁴, правда, во многом их переосмыслив (см., напр.: Jedlička 1953, 174; Hauser 1959, 51–53).

Важно отметить, что в заключении вводной статьи Там определяет статус своего «Немецко-чешского словаря» как «минимум первого полного немецко-чешского лексикона» и традиционно призывает к поддержке своего издания дополнениями и исправлениями, обещая в дальнейшем после проверки все исправления и дополнения издать отдельным приложением к своему словарю (Tham 1805a, <LXIX>).

Словари Ф. Я. Томсы

Первый небольшой «Немецко-чешский словарь» — *Malý německý a český slovník* (Praha, 1789) — вышел через год после первого и большего по объему «Немецко-чешского словаря» эпохи НВ, автором которого был Там, поэтому выход словаря Томсы оказался несколько в тени. Однако осуществленное уже через два года издание «Чешско-немецко-латинского словаря» с чешским языком в качестве опорного (Tomsa 1791) вновь, как и в случае с его грамматикой чешского языка, дало Томсе статус первооткрывателя. Более того, выход этого словаря был воспринят как значимое событие, поскольку было хорошо известно, что создавался он в тесном сотрудничестве с Добровским, написавшим, как уже отмечалось, предисловие к данному лексикографическому изданию (Dobrowsky 1791a, 3–10) и знаменитое теоретическое введение (Dobrowsky 1791b, 11–32). Помимо всего прочего, Добровский делился с Томсой языковым материалом (Tomsa. *Ottova encyklopedie* <1888–1909>), а также выступил в определенной степени и в качестве редактора словаря Томсы. Я. Пруха, например, отмечает, что особенно ценной была помощь Добровского при работе по уточнению значений древнечешских слов (Průcha 1963, 60). Более того, в планах Добровского на 1797 г. значилось так и не осуществленное издание исправлений и дополнений к словарю Томсы (Flajšhans 1896, 5).

Казалось, что после такой поддержки Добровского, тесного сотрудничества с ним в работе над созданием первого чешско-немецкого словаря эпохи НВ, вызвавшего в целом положительный отклик, и тем более после начавшейся в 1798 г. острой публичной дискуссии между Добровским и Тамом по поводу издаваемого в то время второго издания немецко-чешского словаря Тама (см. далее), Томса имел все шансы стать ведущим лексикографом первой фазы НВ. Однако этого не произошло. Главенствующие позиции, а соответственно и реальную возможность издавать и переиздавать свои лексикографические работы, вопреки противодействию, в том числе и со стороны Добровского, получил Там. И, несмотря на то, что автором первого чешско-немецкого словаря эпохи НВ был Томса, и, что вполне естественно, именно этот словарь, правда, без латинской ча-

сти готовился к новому изданию, возглавил работу по переизданию чешско-немецкого словаря опять-таки Там, который к тому же вышел под именем последнего (Tham, <Tomsa> 1805–1807).

В целом следует подчеркнуть, что лексикографическая деятельность Томсы стала для него настоящим испытанием и привела, как соратника и сотрудника Добровского, с одной стороны, к «молчаливому» конфликту с Тамом¹⁵, с которым они вместе начинали работу над словарем чешского языка еще в 1784 г. (Flajšhans 1896, 4), а с другой стороны, к столь же «молчаливому» сотрудничеству при работе над вторым изданием «Чешско-немецкого словаря», вышедшем в 1805–1807 гг. (см. далее).

Период активных дискуссий

Итак, вначале особую поддержку Добровского получили Там за немецко-чешский словарь 1788 г. и Томса за чешско-немецко-латинский словарь 1791 г. Именно на этих лексикографов возлагал надежды Добровский в деле создания словаря, соответствующего его требованиям (Flajšhans 1896, 4–5; ср. также: Dobrowsky 1791a, 6).

Однако в дальнейшем пути Добровского и Тама разошлись. И связано это было, по нашему мнению, не только с разницей в подходах к лексикографической работе, но и с причинами совсем иного порядка: влиятельный книготорговец М. Нойройтер скупил издательские права на оба словаря (и Тама, и Томсы), поручив Таму основную работу над новыми их изданиями. Издатель, по вполне понятным причинам, был в большей степени заинтересован в скорейших сроках публикации нового словаря и соответственно в меньших затратах. У Добровского были несколько иные планы, связанные прежде всего с доскональной проверкой собранного материала, а также с его пополнением, на что требовалось время и дополнительные ресурсы. При этом, зная об авторитете Добровского, в том числе и в области лексикографии, Нойройтер отправил к нему на экспертизу рукопись словаря Тама. Добровский, ознакомившись с рукописью, дал труду Тама оценку, далекую от доброжелательной, и рекомендовать к изданию этот словарь не стал. Взамен Добровский предложил издателю нанять профессиональных сотрудников для рабо-

ты над словарем, а в качестве редактора назначить Ш. Лешку¹⁶. Такой поворот событий никак не входил в планы издателя, о которых говорилось выше. Несомненно, оскорбленным почувствовал себя и Там. Таким образом закончилось сотрудничество издательства Нойройтера и, в первую очередь, Тама с Добровским (Flajšhans 1896, 5).

Необходимо отметить, что издательство, согласное с требованиями Добровского, все же было найдено. Другой пражский издатель Й. Херль по рекомендации Добровского купил права на издание словаря И. Зеберера, в качестве редактора будущего словаря назначил Лешку, а главными сотрудниками по сбору материала и подготовке к изданию нового сначала немецко-чешского, а затем и чешско-немецкого словаря стали А. Пухмайер, Ф. Я. Томса, Я. Нейедлы, Ф. Пельцль. Такова была ситуация к концу 1797 г., когда второе издание словаря Тама было фактически готово к публикации, и об этом было хорошо известно команде Добровского (Flajšhans 1896, 5–6).

Издательство Нойройтера 20 марта 1798 г. опубликовало извещение о начале публикации второго исправленного и дополненного издания «Немецко-чешского словаря» Тама. Там также знал об идущей параллельно работе Добровского и его сотрудников над аналогичным словарем, но, тем не менее, отказался от намерения своего издателя каким бы ни было образом упоминать об этом обстоятельстве в данном извещении (Flajšhans 1896, 6). А сразу после выхода первых листов второго издания «Немецко-чешского словаря» Тама уже 6 апреля 1798 г. появился первый критический отзыв Добровского, который положил начало публичной полемике между Добровским и Тамом, а соответственно и между двумя издательствами — Нойройтера и Херля и в котором, помимо всего прочего, было заявлено о том, что нет надежды на второе издание словаря Тама, поэтому «несколько знатоков чешского языка решились составить новый словарь, несколько меньший по объему, но, тем не менее, полный» (Dobrovský 1798a; Flajšhans 1896, 6).

Суть и значение полемики Й. Добровского с К. И. Тамом

Как уже отмечалось выше, изданный в 1788 г. «Немецко-чешский словарь» Тама вызвал в целом положительные отклики и позитивно

воспринятую автором словаря критику (т. е. потребованные самим Тамом дополнения и исправления), о чем он не без гордости сообщал в «Извещении о новом полном немецко-чешском национальном лексиконе», изданном еще в 1792 г.¹⁷ и позже, в 1799 г., уже в предисловии ко второму изданию своего словаря (см.: Tham 1805b, <LXX>).

Однако переработанное и дополненное через десять лет издание этого словаря, в частности, Добровского удовлетворить уже не могло по ряду весьма существенных причин. Те методологические недочеты и ошибки, которые можно было бы «простить» первому изданию (хотя бы потому, что оно в принципе первое, а быть первым и совершенным, как известно, практически невозможно), теперь являлись для Добровского, по всей видимости, сознательным упущением, связанным с несогласием Тама с лексикографической и словообразовательной концепцией Добровского, высказанной к тому времени, в частности, в предисловии к «Чешско-немецко-латинскому словарю» Томсы. Зная о негативной оценке своего словаря, Там и его издатель начинают публикацию второго издания, а Добровский (правда, анонимно¹⁸) издает критические отзывы на публикуемый словарь, которые не оставались без ответа со стороны Тама (см.: Dobrowsky 1798a; Dobrowsky 1798b; Dobrowsky 1798c; Tham 1798a; Tham 1798b; Tham 1798c). Данные публичные дебаты получили свое продолжение и в других работах, в том числе и в не опубликованном после цензурного запрета «Послании <...> к К. И. Таму о непригодности его словарей» Добровского, а также, например, в его «Bildsamkeit der slawischen Sprache <...>» (Dobrowsky 1799) и в предисловии к «Немецко-чешскому словарю» (Dobrowsky 1802, <3–12>), бо́льшая часть которого «посвящена» критике лексикографической работы Тама. Там также не оставался в стороне: в частности, в связи с продолжающейся критикой Добровского в конце второго тома словаря 1799 г. он поместил «Дополнение» (Tham 1799b), где пытался ответить на замечания своего оппонента (подробнее см.: Flajšhans 1896, 14–21). История этой полемики представлена в статье В. Фляйшханса «Споры Добровского с Тамом» (Flajšhans 1896, 3–21). Оставив в стороне излишне эмоционально-негативный тон как «Критика»

Добровского, так и «Антикритика» Тама, необходимо выделить два аспекта:

1) Свою, по крайней мере, первую полемическую заметку Добровский опубликовал прежде всего с целью рекламы также вскоре начавшегося издания своего словаря (Dobrowsky 1802–1821), избрав в данной связи тактику весьма эмоционального, а поэтому не всегда справедливого обличения конкурента и указав на ошибки, а значит и низкое качество словаря Тама. Там не остался в долгу и ответил Добровскому не менее, если не более эмоционально, пытаясь при этом защитить свое детище, т. е. обосновать выбор того или иного чешского слова, являющийся, по мнению Добровского, ошибочным.

2) Выбор и разбор Добровским самих ошибок.

На этом пункте стоит остановиться подробнее. Уже в первом отзыве Добровский заявляет о большом количестве ошибок в словаре Тама¹⁹, при этом весьма показательными являются как выбор в качестве примеров таких ошибок, так и возможные причины подобного выбора. При ознакомлении с полемическими текстами Добровского, касающимися лексикографической работы Тама, может создаться впечатление, что выбор ошибок для разбора не всегда оказывался убедительным для потенциального покупателя словаря. Как представитель конкурирующей стороны, Добровский должен был своими выступлениями повлиять на выбор пользователей (resp. покупателей) и склонить их на свою сторону²⁰. Однако не это было для него самым главным. Несмотря на язвительный тон своей критики, Добровскому, как нам представляется, важнее было апробировать свой подход к выбору лексики для словаря, к возможности или невозможности создания новых слов, а значит и утвердить свою концепцию «правильного» чешского языка. Конкретная работа по созданию словаря его интересовала в меньшей степени. Во многом именно по этой причине он не смог довести начатое дело до конца, понадеявшись на своих помощников, которые также по ряду обстоятельств прекращали работу в данном проекте Й. Добровского²¹.

Следует отметить, что в основном в разряд «неправильных» чешских слов или неверных переводов с немецкого на чешский попали названия из области ботаники и зоологии. Так, например, в рамках

первой полемической статьи Добровский разбирает следующие 10 ошибок неправильного перевода:

- 1) *Bachbungen* 'ибунка, поточник (*Veronica beccabunga*)' — как *břıza* 'береза'; 2) *Grundforelle* 'форель озерная' — как *kapr* 'каrp'; 3) *Grünfinke*, *Grünitz*, *Grünling* 'зеленушка (*Chloris chloris*)' — как *zelenohlávek* <?>, *čížek* 'чижик'; 4) *Kiefer* 'сосна' — как *smrk* 'ель'; 5) *mähen* 'косить' — как *žiti* 'жить'; 6) *Meerrettich* 'хрен' — как *mořské zeli* 'морская капуста'; 7) *Möhre* 'морковь' — как *cvikla* 'свекла'; 8) *Mundfäule* 'цинга' — как *vřed v hrdle* 'язва, нарыв в горле'; 9) *Schafbock* 'баран' — как *býk* 'бык'; 10) *Schnepfe* 'бекас' — как *cvrčala*, *dlask* <?> (Dobrowsky 1798a; Flajšhans 1896, 6).

Подобное тематическое соотношение примеров ошибок, допущенных Тамом, демонстрируют и следующие «Критики» Добровского (Dobrowsky 1798b; Dobrowsky 1798c; см. также: Flajšhans 1896, 10–11), а также вышедшие чуть позже «Bildsamkeit der slawischen Sprache <...>» и Предисловие к «Немецко-чешскому словарю» (Dobrowsky 1799; Dobrowsky 1802, <3–12>; см. также: Flajšhans 1896, 14–21). Данный факт можно объяснить, в частности, и тем обстоятельством, что в этот же период Добровский увлекся естествознанием, в частности, ботаникой²² — возможно, поэтому его внимание и привлекли данные термины. Однако из-за такого количественного «перевеса» ошибок из одной лексико-семантической группы могло возникнуть впечатление, что Там просто не так хорошо, как Добровский, разбирался в этих областях знаний и соответствующей терминологии, что являлось бы более серьезным упущением, если бы речь шла о специализированном словаре данной лексики. Кроме того, такой набор рассматриваемых неправильных вариантов перевода с немецкого на чешский мог также ошибочно повлиять на восприятие пользователей остальной лексики в словаре Тама, как в основном правильной. Оба обстоятельства, на наш взгляд, давали в глазах пользователей преимущество словарю Тама.

Однако суть рассуждений и лингвистическая аргументация Добровского, несомненно, свидетельствовала о его правоте в подавляющем большинстве случаев. Приведем некоторые примеры:

- (1) Согласно заявленной в предисловии к словарю задаче показать «превосходство» чешских языковых возможностей над немецкими,

Там очень часто приводит для одного немецкого слова несколько чешских соответствий, которые он называет синонимами. Этот же принцип, кстати, в дальнейшем возьмет на вооружение и Юнгманн, полагая, что со временем получат распространение наиболее приемлемые варианты либо подобные лексемы будут использоваться действительно как синонимы. Однако Там нередко в качестве синонимов приводил слова, таковыми не являющиеся, — скорее это были примеры из одной лексико-семантической группы или однокоренные лексемы (зачастую новообразования) с разными суффиксами и нередко с разными значениями. Это одно из существенных свидетельств ошибочного подхода не только к переводу, но и к лингвистической теории и терминологии. В данной связи Добровский совершенно справедливо отмечал, что, например:

а) значение слова *jabloň* никак нельзя объяснять словом *hrušní*, так же как ошибочно принимать эти лексемы за синонимы (Dobrowsky 1798c; Flajšhans 1896, 12);

б) также нельзя приводить к слову *Ahorn* 'клен' в качестве синонимов *břek* 'берека (*Sorbus torminalis*)' и *javor* 'клен' (кроме того, слово *břek* представлено в словаре Тама еще и как соответствие к *Maßholder* '1. калина обыкновенная (*Viburnum opulus*); 2. клен полевой (*Acer campestre*)') (Dobrowsky 1798c; Dobrowsky 1802, <9–10>; Flajšhans 1896, 11 и 19);

в) или, что слова *slovan*, *slovář* и *slovárna* не могут являться синонимами к немецкому *Wörterbuch*. Как иронично замечает Й. Добровский, «*slovárna* для Тама может быть и значит *Wörterbuch*, однако так можно только с насмешкой сказать о неверном словаре (словаре с ошибками. — И. А.), в котором и куются новые слова» (Dobrowsky 1799, XXXI–XXXII; см. также: Flajšhans 1896, 16).

(2) Во многом благодаря именно начавшейся полемике с Тамом, вызвавшей у Добровского потребность обосновать свой подход к фиксации лексики в словаре, а в данной связи и к формированию принципов чешского словообразования, он стал активно заниматься разработкой словообразовательной теории. Известно, что Добровский отрицательно относился к возможности вмешиваться в языковую эволюцию, созданием, в частности, новых слов, поэтому особое нареkanie вызывали у Добровского различные ошибки Тама, связан-

ные как с неправильным переводом немецкого слова на чешский, так и с разного рода словообразовательными неологизмами (причем новообразованиями как самого Тама, так и приводимыми им неологизмами предшественников). Так, на протяжении всего спора Добровский и Там нередко возвращались к обсуждению одних тех же случаев, подчеркивая тем самым не только непримиримые позиции оппонентов по поводу явных ошибок Тама (см. далее примеры б и в), но и в некоторых случаях демонстрируя различную интерпретацию тех или иных языковых фактов — реальных или потенциальных словообразовательных возможностей чешского языка (примеры а, г, д). Приведем несколько примеров:

а) Уже упомянутое выше новообразование *zelenohlávek* как соответствие немецкому *Grünfinke*. Там аргументировал свой выбор наличием этой лексемы в словарях Кропфа и Рона²³ (т. е. фиксацией в словарях предшественников²⁴), отрицая собственную причастность к созданию такой формы слова (Tham 1798a; Flajšhans 1896, 8). На это Добровский вполне резонно замечает, что ошибки других не могут быть оправданием, а слово «*zelenohlávek* выдуманно и неважно кем — Вами (К. И. Тамом. — И. А.) или другими» (Dobrowsky 1798b; Flajšhans 1896, 10). Там в продолжение этой дискуссии прибегает к принципу аналогии, объявленному опять-таки Добровским одним из основополагающих для чешского словообразования, заявляя, что форма «*zelenohlávek* не является ошибочной, ср. *zlatohlávek*, *bělo-*, *černo-* и т. д.» (Tham 1798b; Flajšhans 1896, 10). Добровский не отступает, приводя в качестве доказательства своей правоты принцип невмешательства в языковое развитие, в частности, в процесс пополнения словарного запаса и, кстати, вновь констатируя ошибку перевода:

«*Goldfinke* (птица семейства вьюрковых. — И. А.) — *zlatohlávek* <жук 'бронзовка золотистая (*Cetonia aurata*)'. Хотя само слово является хорошим (resp. правильным. — И. А.) и *zelenohlávek* бы был хорошим, если бы была потребность в новых названиях» (Dobrowsky 1798c; Flajšhans 1896, 11).

б) Если приведенный выше пример свидетельствует о вполне аргументированной с обеих сторон полемике, то многие другие случаи в основном демонстрируют неопровержимость оценки Добров-

ского. Так, например, велись споры по поводу перевода немецкого выражения *Halb Mensch halb Pferd*. Там предложил в качестве чешского эквивалента форму *konibodce*, построенную на основе словосложения, чему Добровский дал весьма ироничную оценку: «Так загадочно!» (Dobrowsky 1802, <11>; Flajšhans 1896, 15 и 20).

в) Вполне понятен и сарказм Добровского относительно перевода слова *Halstuch* как *krkonoš*, *krkotoč*:

«*Krkonoš* — это высокая гора в Крконошах, от которой и произошло чешское название этих гор (*Krkonoše*. — *И. А.*), но вряд ли хоть кто-нибудь захочет носить ее на шее!» (Flajšhans 1896, 15; ср. также: Dobrowsky 1799, LXVI; Flajšhans 1896, 17).

г) Однако необходимо отметить, что, как показало время, и Добровский мог ошибаться. Так, заявляя, что от абстрактных существительных невозможно образовать существительное с суффиксом *-an*, он назвал ошибочным образование *občan* от *obec* (Dobrowsky 1798c; Flajšhans 1896, 15). Вопреки теоретически обоснованному возражению Добровского данное слово вошло в активный словарный состав чешского языка — *občan* ‘гражданин’, хотя и несколько изменило свое значение по сравнению с предложенным Тамом: *Republik* — *obec*, *Republikaner* — *občan*. Вернее, как указывал сам Там, слова *obec* и *občan* были обнаружены им в текстах Велеславина и Я. А. Коменского, а также у современника Тама и Добровского М. В. Крамериуса (Tham 1798c; Flajšhans 1896, 13–14). Таким образом, в данном случае Там использовал заявленную им в предисловии к словарю возможность актуализации старочешских лексем (Tham 1805a, <LXVIII>).

д) Также Добровский не принял предложенные в словаре Тама соответствия *smutnohra* для *Trauerspiel* ‘трагедия’ и *veselohra* для *Lustspiel* ‘комедия’, полагая, что эти словосложения излишни, поскольку есть правильные соответствия — словосочетания *smutná* или *veselá hra* (Dobrowsky 1799, LXIV; Flajšhans 1896, 17). Однако сегодня слово *veselohra* является неотъемлемой частью чешской лексики, а на смену его антонима пришло образованное по той же модели *truchlohra*.

Однако, к сожалению, Там не всегда мог адекватно ответить на замечания Добровского, а тем более признать свои ошибки. В. Фляйш-

ханс резюмирует по этому поводу, что отмеченные Добровским пропуски слов Там без каких-либо комментариев внес в «Дополнения» ко второму тому словаря (Tham 1799b); в случаях, где он не мог защитить свой выбор того или иного слова, трактовал это как типографский брак; остальные рассматриваемые Добровским ошибки Там «оправдывал» уже существующей фиксацией той или иной лексемы в словарях или иных текстах на чешском языке, из которых он производил эксерпции (Flajšhans 1896, 20). При этом, к чести Тама, нельзя не отметить, что в предисловии ко второму изданию своего «Немецко-чешского словаря», датированном 13 маем 1799 г., т. е. появившимся уже после публикации взаимных критических выпадов, нет ни одного упоминания об этой полемике или об оппоненте (Tham 1805b, <LXX–LXXII>).

В целом данные дебаты приобретают особое значение, если рассматривать их с целью выявления и обоснования заявленной Добровским новой концепции грамматики чешского языка (особенно словообразования) и выработкой лексикографических принципов, соответственно связанных с выбором, обработкой и способом представления лексического материала в словаре.

Нельзя не обратить внимания на еще одно наблюдение, позволяющее в определенной степени судить об особенностях характера автора первого лексикографического труда эпохи НВ, также (и далеко не в последнюю очередь) влияющих на любую деятельность человека и ее восприятие окружающими. Несмотря на весьма жесткую критику со стороны Добровского (а возможно, напротив, именно вопреки этой критике!), во всех своих написанных и опубликованных после 1799 г. работах Там представлял себя в названиях работ прежде всего как составителя первого полного немецко-чешского словаря. Несомненно, во многом это объяснялось тем обстоятельством, что этот словарь для Тама стал самым значительным его трудом, но, как нам представляется, не последнюю роль в этом сыграла именно полемика с Добровским: Там как бы доказывал свою «правоту» высокой издательской активностью, т. е. публикацией большого количества новых словарей и их переизданий²⁵, в то время как Добровскому так и не удалось закончить свой лексикографический труд. Кроме того, складывается впечатление, что Там был очень эмоцио-

нальным, амбициозным, бескомпромиссным и, по всей видимости, тщеславным человеком, для которого был важен успех и признание (как, впрочем, и для любой творческой личности). Видимо, поэтому он всегда подчеркивал, что предисловие к его неоцененному Добровским словарю написал автор одного из известнейших словарей немецкого языка Аделунг, о положительном отзыве которого на первый словарь Тама 1788 г. есть упоминание в предисловии ко второму его изданию, осуществленному в 1799 г.²⁶ и вызвавшему критику Добровского; или в том же предисловии «скромно» в сноске рассказывал об истории преподнесения этого словаря императору Иосифу II²⁷. Конечно, в данной связи весьма показательна зачастую далекая от научной риторики дебатов Добровского и Тама, предшествовавших и сопровождавших все указанные события (подробнее см.: Flajšhans 1896, 3–21). Не могли не вызывать неприятие у общественности и последовавшие случаи откровенного плагиата со стороны Тама, в том числе и работы «*Neues Hilfsmittel, die russische Sprache leichter zu verstehen*» того же Добровского, опубликованной также в 1799 г., чему предшествовала публикация «похожего» текста Тама под названием «*Russischer Dollmäscher*» и последовавшее публичное возражение по этому поводу Добровского. Существуют также свидетельства о распространении Тамом слухов и домыслов о душевном состоянии его оппонента²⁸. Как заключает В. Фляйшханс:

«<К. И.> Там свою научную слабость пытался прикрыть нравственной испорченностью, и тем самым в один момент потерял симпатию со стороны тех, кто, возможно, и думал, что Добровский вначале (имеется в виду начало их полемики. — И. А.) мог бы быть помирительнее и поспокойнее» (Flajšhans 1896, 17).

По всей видимости, данные события далеко не в последнюю очередь способствовали «наложению вето» на изучение трудов Тама²⁹ и выявление их истинного значения, в том числе и для развития чешской лексикографии.

Итак, главное противопоставление лексикографических концепций Добровского и Тама заключалось прежде всего в разных целевых установках. Добровский определял два основных направления деятельности лексикографа при сборе и обработке словарного материала: основательное изучение памятников письменности и совер-

шенное знание современного языкового узуса (ср., напр.: Flajšhans 1896, 3). Там также действовал согласно уже вполне устоявшимся принципам: авторитетами для него были лексикографы старшего периода, кроме того, при составлении словарей он также использовал источники (в основном литературные) XVII и XVIII вв. (Flajšhans 1896, 7); т. е. традицию Там знал и поддерживал, но, в отличие от Добровского, который считал, что современный ему язык находился в состоянии кризиса и не желал воспроизводить его в словаре, Там отражал в своих словарях именно тот материал, который соответствовал его знаниям чешского языка и, видимо, в определенной степени реальному языковому состоянию на тот период.

В данной связи можно предложить следующее объяснение возникших разногласий между Добровским и Тамом. Основная задача Тама — научить чехов чешскому языку (несмотря на все его «недостатки», связанные с происходившими в предыдущие периоды его истории изменениями, негативно оцениваемыми будителями), задача Добровского — сформировать нормы чешского литературного языка нового времени. В. Фляйшханс, определяя отношения Тама и Добровского, противопоставляет их как историка и философа:

«Историк указывал на существующее положение вещей (имеется в виду лексика чешского языка. — *И. А.*) и принимал их как данность, философ указывал на их изъяны и предлагал либо устаревшие слова, либо заимствования (инославянские или иноязычные). Философ в меньшей степени заботился о воплощении своих идей, историк усердно работал. А, следовательно, нет сомнений, что дающими направление для правильного развития чешского языка могли быть только труды Добровского, а работы Тама скорее отвечали потребностям того времени» (Flajšhans 1896, 8).

Произошло неизбежное столкновение, поскольку в качестве приоритетных выдвигались разные, но в той ситуации взаимосвязанные процессы: в целом для дальнейшего продвижения языковых реформ необходимо было практически одновременно изучить чешский язык (пусть и «неправильный») и создать теоретические основы для «правильного» чешского языка. Таким образом, споры Добровского и Тама лежали в основном именно в плоскости «правильный» — «неправильный», и избежать их в подобной ситуации было бы вряд ли возможно.

Конкуренция между авторами и издателями

Также необходимо учитывать условия жесткой конкуренции, существовавшей в издательской среде того времени, одним из свидетельств которой в определенной степени могут служить публичные дебаты между Добровским и Тамом. В дальнейшем К. И. Там, несмотря на свое фатальное невезение в поисках места преподавателя чешского языка (см. об этом напр.: *Thám. Ottova encyklopedie <1888–1909>*; *Knihopis* 1965, 271), получал заказы на издание и переиздание своих словарей и учебников (видимо, и в связи с согласием на условия издателя по срокам сдачи рукописи в печать, а также далеко не последнюю роль в «популярности» словарей Тама сыграла как раз его полемика с Добровским, которая, несомненно, привлекала внимание, а значит и создавала покупательский спрос на работы Тама — тем более, что выход словаря Добровского на тот момент был приостановлен).

Чешско-немецко-латинский словарь Томсы 1791 г. со знаменитым предисловием Добровского также прошел своего рода издательский конкурс. Сам Добровский отмечал в этом предисловии, что, поскольку потенциальные покупатели выступили в пользу словаря Томсы, неизданным остался чешско-латинско-немецкий словарь Зеберера (*Dobrowsky* 1791a, 5). Также не смог опубликовать свой чешско-латинский словарь Я. Прокопиус³⁰. Кстати, рукопись последнего была закончена в 1788 г. (*Dobrowsky* 1791a, 6), т. е. в год выхода первого словаря Тама.

В данной связи нельзя не обратить внимание на один весьма интригующий, на первый взгляд, факт, объяснение которому также сложно было бы найти, если не учитывать фактор конкуренции и предпочтения издателя. Речь идет о работе Томсы и Тама по подготовке ко второму изданию «Чешско-немецкого словаря» (без латинской параллели) Томсы (*Thám, <Tomsa>* 1805–1807). К сожалению, нам не удалось выяснить подробности этой совместной работы двух лексикографов, но многие факты говорят о том, что данная работа была далека от сотрудничества. Известно, что по настоянию издателя ответственным за этот проект был Там (*Flajšhans* 1896, 5), на титульном листе вышедшего в 1805–1807 гг. словаря также стоит имя

только Тама. О том, что в работе над переизданием собственного словаря участвовал и Томса, можно узнать, лишь открыв второй том, где мелкими буквами написано, что вторую часть словаря (от буквы *P* до буквы *Ž*) подготовил Томса. По этим «внешним» показателям можно сделать предположение, что по ряду причин (возможно, даже в большей степени субъективного характера) работали Там и Томса над этим изданием фактически отдельно. Причем Тама не смущало отсутствие имени Томсы на титульном листе, а у Томсы, видимо, не было другой возможности переиздать свой словарь. По всей видимости, о данной неоднозначной ситуации было хорошо известно, поскольку после «громкого» выхода второго издания «Немецко-чешского словаря» Тама на удивление «тихо» и как бы незаметно была осуществлена публикация второй, чешско-немецкой части (Tham, <Tomsa>, 1805–1807). Рискнем сделать предположение, что во многом из-за неоднозначного решения вопроса об авторстве, наглядно проявившемся в отсутствии на титульном листе имени Томсы, данный лексикографический труд на этот раз, в отличие от бурного обсуждения словаря Тама 1799 г., напротив, был показательно «проигнорирован» критиками. Интересно, что исследователи, по всей видимости, пытаются подчеркнуть первостепенное значение Томсы как автора первого издания данного словаря, нередко вовсе перестают упоминать имя Тама, ссылаясь на «Чешско-немецкий словарь» 1805–1807 гг. (см., напр.: Szykowski 1948, 14³¹; Růžička 1957, 139–140), или, как в данной статье, указывают имена обоих, например: (Flajšhans 1896, 4; Tyl 1983, 113; Petr 1989, 10 и 16).

Таким образом, многие обстоятельства становления чешской лексикографии в период НВ могут быть объяснены не только разницей в лексикографических концепциях авторов словарей и в их отношении к дальнейшему языковому развитию, но и реальными условиями и сроками работы. Сопровождавшие же этот процесс дискуссии, несомненно, оказывали весьма благотворное влияние на развитие научной мысли и на преобразовательные процессы в сфере языка. Обратная сторона таких споров заключалась в основном в ухудшении личных отношений или даже полном прекращении контактов между участниками спора, чему чаще всего со временем не придавали особого значения. История с К. И. Тамом в данной связи является

скорее исключением из правил — его дебаты с Й. Добровским по ряду причин (в том числе и далеко не научного характера) не привели к более конструктивному диалогу и более продуктивной деятельности в области лексикографии как одного, так и второго участника полемики, а стали началом «конца» лексикографической деятельности Й. Добровского³², с одной стороны, а, с другой стороны, несмотря на то, что К. И. Тама в дальнейшем удалось издать еще около десятка словарей, лексикографические труды последнего не вошли в перечень наиболее значимых и качественных работ в этой области. Тем не менее необходимо подчеркнуть и неоспоримо положительный аспект этой дискуссии, который заключался, на наш взгляд, в привлечении особого внимания к процессу создания словаря чешской лексики, в активной и даже жесткой стимуляции поиска успешного решения данной проблемы другими чешскими лексикографами, что в конечном итоге и привело к стремительному и успешному развитию чешской лексикографии³³ и появлению знаменитого «Чешско-немецкого словаря» Юнгманна.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ О других словарях, изданных в Чехии в эпоху НВ, см., напр.: Абисогомян 2006, 242–251.

² Самым известным учебником К. И. Тама, выдержавшим 5 переизданий, является *Kurzgefasste böhmische Sprachlehre nebst böhmischen, deutschen und französischen Gesprächen und Auszügen aus den besten böhmischen Schriftstellern*. Prag und Wien, 1785; 2. Aufl., 1798; 3. Aufl., 1800; 4. Aufl., 1801; 5 Aufl., 1804. Указанные переиздания этого учебника выходили под названием «*Böhmische Grammatik zum Gebrauche der Deutschen <...>*» (Knihopis 1965, 273 и 279; Cufin 1985, 75–76). Данное учебное пособие, по всей видимости, действительно пользовалось большой популярностью, поскольку почти через 40 лет после выхода первой версии учебника в 1821 г. вышло еще и шестое издание, подготовленное В. Ганкой: Thám Karel Hynek. *Böhmische Sprachlehre*. Hrsg. von W. Hanka. 6. Aufl. Prag, 1821.

³ Перечень лексикографических трудов Тама см. также в: Абисогомян 2006, 245–247.

⁴ Переводы цитат выполнены автором статьи.

- ⁵ «Чешско-немецко-латинский словарь» Томсы (Tomsa 1791) стал отправной точкой в лексикографической работе таких авторов, как А. Пухмайер, Й. Палкович (см., напр.: Páta 1911, 200; Šmilauer 1974, 43). Также хорошо известно, что именно словарь Томсы начал дополнять и исправлять Й. Юнгманн. С этого в 1799 г. (Šmilauer 1974, 43) или чуть позже в 1800 г. (Petr 1989, 10) фактически и началась работа над созданием его знаменитого «Чешско-немецкого словаря». Позже на поля своего экземпляра второго издания словаря Томсы и Тама (Tham, <Tomsa> 1805–1807), а также на дополнительно вставленные в него листы Юнгманн также вносил замечания и дополнения (см., напр.: Šmilauer 1974, 43; Tyl 1983, 114; Petr 1989, 18; Абисогомян 2003, 105).
- ⁶ В данной связи отметим, что существуют лишь две отдельные публикации, посвященные тем или иным аспектам деятельности Томсы и Тама: В. Фляйшханс восстановил историю полемики Добровского и Тама по поводу второго издания «Немецко-чешского словаря» Тама, вышедшего в 1799 г. (Flajšhans 1896, 3–21), а Я. Пруха представил анализ грамматической концепции Томсы (Průcha 1963, 57–61). Также следует указать на библиографию основных трудов этих двух деятелей чешского НВ, представленную в библиографическом справочнике «Knihopis <...>»: Knihopis 1965, 271–280, 306–310.
- ⁷ J. Vodňanský. *Lactifer* <...>. Plzeň, 1511; D. A. z Veleslavína. *Silva quadrlinguis* <...>. Praga, 1598.
- ⁸ C. Z. Wussin. *Dictionarium von dreyen Sprachen Teutsch, Lateinisch und Böhmisch* <...>. I–III. Prag, 1700–1706. Этот словарь выдержал три переиздания в первой половине XVIII в., см. об этом, напр.: Dobrowsky 1791a, 3.
- ⁹ Имеются в виду известный рукописный словарь В. Я. Розы «*Thesaurus Linguae Bohemicae*» и также оставшийся неопубликованным «Чешско-латинско-немецкий словарь» И. Зеберера.
- ¹⁰ По окончании Карлова университета, в 1783 г., Там получил интересное предложение о работе от директора университетской библиотекой К. Р. Унгара, который поручил молодому специалисту провести опись и каталогизацию старых чешских книг, находящихся в сформированном в 1781 г. чешском отделении этой библиотеки. В этой, продолжавшейся два года работе, К. И. Таму помогал его брат В. Там. 18 мая 1785 г. К. И. Там получил от Унгара специальное свидетельство с благодарностью за проделанный труд (Thám. *Ottova encyklopedie* <1888–1909>; Knihopis 1965, 271). Получив доступ к сокровищнице чешской литературы, Там воочию познакомился с лучшими произведениями чешской литературы, обрел практические навыки исследовательского труда, и, вероятнее всего, именно эта работа дала ему необходимый импульс для дальнейшей творческой, педагогической и научной деятельности.

- ¹¹ Произведения Д. А. Велеславина, Я. А. Коменского, В. Гайека с Либочан, Г. Грубого с Елени, Я. Гуса, Й. Констанца, хроники Пулкавы, Далимила, и многие другие, а также тексты других хроник, анналов, сборники предписаний и юридических прав городов; переводы библейских текстов и произведений античной и более поздней европейской литературы (см.: Tham 1805a, <LXVIII>).
- ¹² Однако по поводу произведений Эзопа Добровский, в частности, отмечал, что Там не мог сослаться на издание произведений Эзопа, датированное 1480 г., поскольку не сохранился ни один экземпляр этого издания (Dobrowsky 1802, <11>; см. также: Flajšhans 1896, 20).
- ¹³ J. Ch. Adelung. *Versuch eines vollständigen grammatisch-kritischen Wörterbuches Der Hochdeutschen Mundart, mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen*. Bd. 1–5. Leipzig, 1774–1786.
- ¹⁴ J. Ch. Adelung. *Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache*. Bd. 1–2. Leipzig, 1782; F. C. Fulda. *Sammlung und Abstammung germanischer Wurzelwörter, nach der Reihe menschlicher Begriffe*. Halle, 1776.
- ¹⁵ В отличие от Добровского (часто, кстати, апеллирующего к словарю Томсы 1791 г. в дискуссии с Тамом), сам Томса публично своего отношения к Таму и его работам не высказывал.
- ¹⁶ Необходимо отметить, что в дальнейшем работа Ш. Лешки над словарем перестала удовлетворять Добровского, о чем свидетельствует, например, письмо Добровского профессору чешского языка Венского университета Й. В. Злобицкому от 2 марта 1799 г. (Paul 1946–1948, 235).
- ¹⁷ *Nachricht von meinem neuen vollständigen deutsch-böhmischen Nationallexikon*. Prag, 1792. Здесь Там благодарит и Добровского за его отклик и замечания, касающиеся первого издания словаря Тама.
- ¹⁸ На самом деле под данным текстом стояла подпись издательства Херля, однако, как убедительно показал В. Фляйшханс, его автором был Добровский (Flajšhans 189, 6), который, кстати, достаточно часто издавал полемические статьи анонимно (см. об этом, напр.: Dobrovský. *Ottova encyklopedie* <1888–1909>).
- ¹⁹ Добровский заявляет о нескольких сотнях таких ошибок (Dobrowsky 1798a; Flajšhans 1896, 6), позднее повторяя это число и в предисловии к своему «Немецко-чешскому словарю» (Dobrowsky 1802, <5>).
- ²⁰ В то время существовала следующая издательская практика: издатель выпускал первые (или пробные) листы того или иного словаря, затем получал отклики на данную работу, а также сведения о количестве подписавшихся на издание словаря и, соответственно, внесших первый денежный взнос. Только после этого решался вопрос о публикации словаря целиком.

- 21 Имеется в виду двухтомный «Немецко-чешский словарь» Й. Добровского (Dobrowsky 1802–1821), первый том которого вышел под редакцией Й. Добровского лишь в 1802 г., т. е. через три года после дискуссий с Тамом. Затем работу по изданию второго тома возглавил Ш. Лешка. После смерти Лешки в 1818 г. дело продолжил А. Пухмайер, который вскоре, в 1820 г., также умер. Издание второго тома «Немецко-чешского словаря» Й. Добровского осуществилось лишь в 1821 г. под окончательной редакцией В. Ганки. Как отмечает В. Фляйшханс, «во второй части (данного словаря. — И. А.) также (resp. так же, как и в словаре Тама. — И. А.) много ошибок — эту работу уже нельзя назвать мастерской. Только теперь в конце 1821 г. дождались подписчики издания, за которое внесли плату еще в начале 1798 г.» (Flajšhans 1896, 21, ср. также: Абисогомян 2003, 105–107).
- 22 Одним из результатов этого увлечения стало издание в 1802 г. работы Добровского «*Entwurf eines Pflanzensystems nach Zahlen und Verhältnissen*». См. также: (Flajšhans 1896, 10).
- 23 F. X. Kropf. *Index locuplex latinarum dictionum pro Germanicis, et bohemicis vocibus delectarum* <...>. Prag, 1753; J. K. Rohn. *Nomenclator, To jest Gmenowatel, Aneb Rozličných Gmen gak w České, Latinské, lub y w Německé Řeči Oznamitel* <...>. I–IV. Prag, 1764–1768.
- 24 Кстати, принцип обязательной письменной фиксации слова в текстах или словарях был одним из основополагающих в лексикографической концепции именно Добровского.
- 25 В частности, первый «Немецко-чешский словарь» Тама, несмотря на острую критику Добровского, был переиздан и в третий раз — в 1814 г. (Tham 1814). См. также: Абисогомян 2006, 245–246.
- 26 «Кстати, я (имеется в виду К. И. Там. — И. А.) могу здесь сослаться <...> и на непредвзятое и для меня очень лестное мнение и свидетельство господина придворного советника Аделунга на последнем листе его превосходного предисловия, которое, несомненно, внушает мне и гордость и смелость, удваивает мое усердие, а также является огромным стимулом для моей дальнейшей работы» (Tham 1805b, <LXXI>).
- 27 «Издатель моего первого национального лексикона 1788 года передал его великому императору Иосифу II. <...>, который (словарь. — И. А.) себя очень хорошо у Его Величества зарекомендовал, а мне, имя которого не было напечатано на титульном листе и осталось по этой причине неизвестным и даже неназванным, пришлось искать утешение в строках Вергилия: *Nos ego versiculos*» (Tham 1805b, <LXXI–LXXII>).
- 28 Обо всех приведенных обстоятельствах весьма сомнительной деятельности Тама также написал В. Фляйшханс (Flajšhans 1896, 17). Видимо, по

- указанным причинам работа «Russischer Dollmäscher», вышедшая под именем Тама, не получила отражение ни в одном библиографическом справочнике.
- ²⁹ Единственное исключение представляет публикация В. Фляйшханса (Flajšhans 1896, 3–21), на которую, кстати, также практически отсутствуют ссылки в дальнейшей исследовательской литературе.
- ³⁰ Кстати, говоря о возможных причинах отказа издателей публиковать лексикографический труд Прокопиуса, Добровский отмечает, в частности, что «трудно найти для него (словаря Прокопиуса. — И. А.) издателя, хотя бы по той причине, что <...> отсутствует немецкий перевод» (Dobrowsky 1791a, 6).
- ³¹ М. Шийковский подошел к данному вопросу наиболее радикально: он пишет о втором издании чешско-немецкого словаря Томсы, вышедшем в 1807 г., а о первой части этого словаря, изданной в 1805 г. под именем Тама, вообще не упоминает (Szyjkowski 1948, 14).
- ³² Добровский желал (скорее даже подсознательно) видеть в словаре лексик «идеального, правильного» чешского языка, но при этом считал недопустимым создание новых слов. Эти факторы, как нам кажется, повлияли на скептическое отношение Добровского к самой возможности появления «качественного» словаря чешского языка и, видимо, косвенно сказались на сроках выхода его «Немецко-чешского словаря» и потере его личной заинтересованности в этом издании. См. также сноску № 21.
- ³³ В период с 1788 по 1839 гг. в Чехии было издано 19 словарей, включая и переиздания (см. также: Абисогомян 2006, 104–111).

ЛИТЕРАТУРА

- Абисогомян 2003 — И. Абисогомян. *Становление чешской лексикографии в эпоху национального Возрождения: борьба концепций*. Slavica Tartuensia VI: Славянские языки: от прошлого к настоящему. К XIII Международному съезду славистов (Любляна, 15–21.08.2003). Tartu, 2003, с. 104–111.
- Абисогомян 2006 — И. Абисогомян. *К вопросу об истории чешской лексикографии эпохи национального Возрождения: опыт хронологии*. Микроязыки. Языки. Интеръязыки. Сборник в честь ординарного профессора А. Д. Дуличенко. Под ред. А. Кюннапа, В. Лефельдта, С. Н. Кузнецова. Tartu, 2006, с. 242–251.
- Adelung 1788 — J. Ch. Adelung. *Vorrede des Herrn Hofraths Adelung*. K. I. Tham. *Neuestes ausführliches und vollständiges deutsch-bohmisches*

- synonymisch-phraseologisches Nationallexikon oder Wörterbuch <...>. 3. Aufl. Prag, 1814, S. <2–15>.
- Bělič 1953 — J. Bělič. *Zákonodárce nové spisovné češtiny. K dvoustému výročí narození Josefa Dobrovského*. Naše řeč, roč. 36, Praha, 1953, č. 7–8, s. 193–201.
- Čuřín 1985 — F. Čuřín. *Vývoj spisovné češtiny*. Praha, 1985.
- Dobrowsky 1791a — J. Dobrowsky. *Vorrede*. Tomsa F. J. Vollständiges Wörterbuch der böhmisch-deutsch- und lateinischen Sprache. Prag, 1791, S. 3–10.
- Dobrowsky 1791b — J. Dobrowsky. *Ueber der Ursprung und die Bildung der slawischen und insbesondere der böhmischen Sprache*. Tomsa F. J. Vollständiges Wörterbuch der böhmisch-deutsch- und lateinischen Sprache. Prag, 1791, S. 11–32.
- Dobrowsky 1798a — <J. Dobrowsky.> *Ankündigung, eines deutsch-böhmischen Lexikons*. <6. dubna 1798. Prag, 1798>.
- Dobrowsky 1798b — <J. Dobrowsky.> *Zweites Zehend zur richtigen Beurtheilung des Themischen deutsch-böhmischen National Lexikons*. <Praha, 1798>.
- Dobrowsky 1798c — <Dobrowsky.> *Drittes, viertes und fünftes Zehend zur richtigen Beurtheilung des Themischen deutsch-böhmischen National Lexikons*. <Praha, 1798>.
- Dobrowsky 1799 — J. Dobrowsky. *Die Bildsamkeit der slawischen Sprache, an der Bildung der Substantive und Adjektive in der böhmischen Sprache dargestellt*. Prag, 1799.
- Dobrowsky 1802 — J. Dobrowsky. *Vorbericht. Ausführliches und vollständiges deutsch-böhmisches synonymisch phraseologisches Wörterbuch*. Bd. 1. Prag, 1802, S. <3–12>.
- Dobrowsky 1802–1821 — J. Dobrowsky. *Ausführliches und vollständiges deutsch-böhmisches synonymisch phraseologisches Wörterbuch*. Bd. 1–2. Prag, 1802–1821.
- Dobrovský. *Ottova encyklopedie <1888–1909>* — <J.> Dobrovský. *Ottova encyklopedie obecných vědomostí: Ottův slovník naučný (1888–1909) a Ottův slovník naučný nové doby (1930–1943)*. URL: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/240436-dobrovsky>.
- Filipec 1974 — J. Filipec. *Překlady Josefa Jungmanna a vývoj spisovné češtiny. Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Sborník věnovaný Universitě Karlovou k 200. výročí narození Josefa Jungmanna*. Praha, 1974, s. 157–168.
- Flajšhans 1896 — V. Flajšhans. *Spory Dobrovského s Themem. Druhá výroční zpráva c. k. Statního gymnasia na Král. Vinohradech za školní rok 1896*. Praha, 1896, s. 3–21.

- Hauser 1959 — P. Hauser. *Dobrovského práce o tvoření slov a domácí mluvnice-ká tradice*. Studie o jazyce a literatuře národního obrození. Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze. Jazyk – literatura I. Praha, 1959, s. 25–54.
- Hauser 1980 — P. Hauser. *České slovníkářství*. Nauka o slovní zásobě. Praha, 1980, s. 176–179.
- Havránek 1974 — B. Havranek. *Jungmannův význam pro nový rozvoj slovní zásoby spisovné češtiny*. Slovanské spisovné jazyky v době obrození. Sborník věnovany Universitou Karlovou k 200. výročí narození Josefa Jungmanna. Praha, 1974, s. 195–203.
- Havránek 1979 — B. Havranek. *Vyvoj českého spisovného jazyka*. Praha, 1979.
- Jedlička 1953 — A. Jedlička. *Jazyková kritika u Josefa Dobrovského*. Slovo a slovesnost, roč. 14, Praha, 1953, s. 167–179.
- Jungmann 1835–1839 — J. Jungmann. *Slownjik česko-německý*. I–V. Praha, 1835–1839.
- Knihopis 1965 — *Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Díl II. Tisky z let 1501–1800. Část VIII*. Praha, 1965.
- Obecní noviny 2006 — *Obecní noviny*. Občasník nezávislý na politických stranách a hnutích — vydává Obecní úřad Všeň., ročník 2006, číslo 12. URL: <http://www.vsen.cz>.
- Páta 1911 — J. Páta. *Česká lexikografie. Stručný nástin dějin českého slovníkářství*. Časopis pro moderní filologii, roč. I, Praha, 1911, s. 6–10, 103–106, 198–202, 296–301.
- Paul 1946–1948 — K. Paul. *Jungmannův Slovník česko-německý a Slovensko*. Linguistica Slovaca, Bratislava, 1946–1948, IV–VI, s. 234–253.
- Petr 1989 — J. Petr. <Předmluva k 2. reprint. vyd. Slovníka česko-německého J. Jungmanna>. Jungmann J. Slownjik Česko-Německy. 2. vyd. Djl I. Praha, 1989, s. 5–31.
- Průcha 1963 — J. Průcha. *K hodnocení Tomsovy kodifikace spisovné češtiny*. Slovo a slovesnost, roč. 24, Praha, č. 1, s. 57–61.
- Růžička 1957 — V. Růžička. *Vědecké zpracování české právní terminologie, zvláště v 19. století*. Právněhistorické studie, Praha, 1957, sv. 3, s. 137–174.
- Szykowski 1948 — M. Szykowski. *Czeskie odrodzenie w XIX wieku*. Łódź, 1948.
- Šmilauer 1974 — V. Šmilauer. *Jungmannův slovník česko-německý*. Josef Jungmann a jeho pokrokový odkaz dnešku (Acta Universitatis Carolinae 1974, Philologica 3–4, Slavica Pragensia 17). Praha, 1974, s. 43–56.
- Tham 1788 — K. I. Tham. *Deutsch-bohmisches Nationallexikon <...>*. Prag und Wien, 1788.

- Tham 1798a — K. I. Tham. *Antikritik oder Rechtfertigung über das in der am 6ten April in Herrlicher Buchhandlung ohne datum erscheinenden Ankündigung eines deutsch-böhmischen Nationallexikon der 1ten Auflage gefällte höchst unbillige Artheil gewisser seyn wollenden Kenner der böhmischen Sprache*. Prag, 1798.
- Tham 1798b — K. I. Tham. *Zwote Antikritik oder Rechtfertigung über das zweyte Dobrowskysche Zehend ec. nebst abermaliger Ankündigung einer zweiten neuen mit sehr vielen zusäßen vermehrten und verbesserten Auflage des Thamischen deutsch-böhmischen Nationallexikons, welches bereits unter der Presse ist*. Prag, 1798.
- Tham 1798c — K. I. Tham. *Dritte und leßte Antikritik und Abfertigung des Joseph Dobrowský mit allen seinen Zehenden ec. zur Beurtheilung unparthenischen Lesern vorgelegt*. Prag, 1798.
- Tham 1799a — K. I. Tham. *Deutsch-bohmisches Nationallexikon oder Wörterbuch <...>*. I–II. 2. Aufl. Prag, 1799.
- Tham 1799b — K. I. Tham. *Nachtrag verschiedener Zusätze und Berichtigungen*. Deutsch-bohmisches Nationallexikon oder Wörterbuch <...>. Bd. II. 2. Aufl. Prag, 1799, S. 651–729.
- Tham 1805a — K. I. Tham. *Einleitung*. K. I. Tham, <F. J. Tomsa>. *Neuestes ausführliches und vollständiges bohmisches-deutsches synonymisch-phraselogisches Nationallexikon oder Worterbuch <...>*. I–II. Prag, 1805–1807, S. <LXV–LXIX>.
- Tham 1805b — K. I. Tham. *Vorrede zur zweiten Auflage*. K. I. Tham, <F. J. Tomsa>. *Neuestes ausführliches und vollständiges bohmisches-deutsches synonymisch-phraselogisches Nationallexikon oder Worterbuch <...>*. I–II. Prag, 1805–1807, S. <LXX–LXXII>.
- Tham 1814 — K. I. Tham. *Neuestes ausführliches und vollständiges deutsch-bohmisches synonymisch-phraselogisches Nationallexikon oder Worterbuch <...>*. I–II. 3. Aufl. Prag, 1814.
- Thám. Ottova encyklopedie <1888–1909> — *Thám Karel Václav Ignác, lexikograf a spis<ovatel> český*. Ottova encyklopedie obecných vědomostí: Ottův slovník naučný (1888–1909) a Ottův slovník naučný nové doby (1930–1943). URL: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/342816-tham-karel-vaclav-ignac-lexikograf-a-spis-cesky>.
- Tham, <Tomsa> 1805–1807 — K. I. Tham, <F. J. Tomsa>. *Neuestes ausführliches und vollständiges bohmisches-deutsches synonymisch-phraselogisches Nationallexikon oder Worterbuch <...>*. I–II. Prag, 1805–1807.
- Tomsa 1791 — F. J. Tomsa. *Vollständiges Wörterbuch der böhmisch-deutsch- und lateinischen Sprache <...>*. Prag, 1791.
- Tomsa. Ottova encyklopedie <1888–1909> — *Tomsa František Jan, lidový buditel a spis<ovatel> český*. Ottova encyklopedie obecných vědomostí:

Ottův slovník naučný (1888–1909) a Ottův slovník naučný nové doby (1930–1943). URL: <http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/344308-tomsa-frantisek-jan-lidovy-buditel-a-spis-cesky>.

Tyl 1983 — Z. Tyl. *K historii vzniku Jungmannova Slovníku česko-německého*. Naše řeč, roč. 66, Praha, 1983, seš. 3, s. 113–119.

Esimeste Tšehhi Rahvusliku Ärkamisaja aegsete sõnaraamatute tähendus ja nende autorite roll tšehhi leksikograafia tekkeprotsessis

Irina Abisogomjan

Artiklis on esitatud esimeste tšehhi rahvusliku ärkamisaja aegsete saksa-tšehhi ja tšehhi-saksa sõnaraamatute loomise ajalugu. Artiklis tuuakse esile esimeste ülalmainitud perioodi tšehhi leksikograafide pärandi ebapiisava uurimise põhjused ning määratletakse J. Dobrovský ja K. I. Tham'i poleemika olemus ja selle tähendus tšehhi leksikograafilise teooria ja praktika edaspidises kujunemises. Arvestatud on ka kirjastamiskonkurentsi faktiga kui sõnaraamatute loomeprotsessi mõjutava faktoriga.

Ирина Юрьевна Табакова
Тартуский университет

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ В ПОЛЬСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ¹

Польский язык – аббревиация – лексические сокращения – лексикография – лексикографическое описание

Аббревиация² в современном мире заняла весьма прочные позиции, и сегодня нам трудно представить, что еще несколько десятилетий назад делались теоретические прогнозы о недолговечности появившихся в результате этого процесса образований. Теперь уже с уверенностью можно сказать, что, несмотря на призывы «очистить» язык от «аббревиатурного мусора» и бытующем мнении о том, что аббревиатуры — это малопонятные или даже совсем непонятные обычному человеку «скучные слова», на сегодняшний день аббревиация является «одним из наиболее мощных источников расширения словарного состава» (Szadyko 2000, 10) современных языков.

В польском языке огромное количество графических сокращений, значительная часть которых находилась в близком к лексикализации состоянии, накопилось к 20–30-м гг. XX в. (Каховская 1977, 168; Онишкевич 1953, 99–106). При этом лексикализация многих сокращений проходила без графического этапа (Szadyko 2000, 16–17)³. В современном польском языке аббревиатуры (или лексические сокращения) встречаются в научном, публицистическом стилях, в деловом общении, в специальной профессионально-технической и научно-популярной литературе. В последние десятилетия аббревиация не только не утратила свою продуктивность, но и остается разви-

вающимся массовым явлением: неуклонно увеличивается количество аббревиатурных неологизмов, частота их употребления и т. д. По данным С. Шадыко, в современном польском языке насчитывается около 60 000 лексических и графических сокращений (Szadyko 2000, 7).

Как правило, аббревиатуры относятся к специальным сферам, а следовательно, не все они являются общеупотребительными и общепонятными⁴. К тому же, лексические сокращения принадлежат к наиболее подвижной части лексики: они легко возникают и быстро отмирают. Однако часть из них продолжает использоваться в средствах массовой информации, в специальной литературе или даже в повседневном общении и после того, как сама обозначаемая ими реалья исчезает. Таковы, например, сокращения советской эпохи:

BSPO [be-es-pe-o] < *Bądź Sprawny do Pracy i Obrony*,
CKK [ce-ka-ka] < *Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki*,
CRZZ [ce-er-zet-zet] < *Centralna Rada Związków Zawodowych*,
CSRS [ce-es-er-es] < *Czechosłowacka Republika Socjalistyczna*,
KRN [ka-er-en] < *Krajowa Rada Narodowa*,
ROAK [er-o-a-ka/roak] < *Ruch Oporu Armii Krajowej* и т. д.

Понятно, что употребление лексических сокращений в современном польском (да и любом другом) языке (к тому же, с учетом омонимии, свойственной аббревиатурам), часто вызывает затруднения не только у изучающего язык, но и у его носителя. Наверное, поэтому эти лексические единицы представлены почти во всех современных словарях польского языка⁵.

Польской лексикографии при подаче лексических сокращений свойственна определенная специфика. Так, обращает на себя внимание тот факт, что аббревиатуры представлены не только в двуязычных, но и в толковых словарях (NSPP, SPP, USJP, WSPP и т. д.). По русской лексикографической традиции, например, толковые словари практически не описывают аббревиатуры (см.: БАС, ТСРЯ, РТС, МТС и т. д.). Исключения есть, но они редки⁶ (БТСРЯ, ТССРЯ, ТСЯС). В толковых словарях современного польского языка аббревиатуры включаются и даются в общем списке лексем (SPP, USJP, WSPP)⁷. В этом отношении наблюдается совпадение с русской лексикографической традицией. Однако в польской лексикографии на-

метилась такая же тенденция в подаче лексических сокращений в двуязычном словаре (WSPR 2005), тогда как для русской традиции это нехарактерно — материал здесь дается отдельным приложением в конце словаря (БНРС, БФРС, НАРС, НБАРС и т. д.). К тому же, по нашим наблюдениям, словари сокращений русского языка (см., например: Фадеев 1997) активно включают в свой состав лексические сокращения специальных сфер — биологической, военной, технической, медицинской и др., а также инициально-цифровые наименования технических средств, что менее характерно для польских лексикографических изданий.

Понятно, что аббревиатуры представлены в толковых словарях в меньшем объеме, чем в словарях сокращений. Для примера, в «Словаре сокращений» Ю. Паруха (Paruch 1992) зафиксировано свыше 21 000 польских аббревиатур, в том числе и графических, тогда как в «Новом словаре польского литературного языка» (NSPP) авторы помещают лишь 1 150 аббревиатур различных типов, включая графические сокращения⁸. Отчасти это объясняется тем, что «Новый словарь польского литературного языка» ставит своей целью показать те перемены, которые произошли в польском языке за последние 25 лет (1973–1998), а «Словарь сокращений» Ю. Паруха имеет более широкие временные границы (с начала XX в. по 1988 г.). К тому же в словарях польского литературного языка представлены наиболее распространенные и общепринятые сокращения, ставшие нормативными, с меньшим количеством заимствований (NSPP, SPP, WSPP), чем в словарях сокращений (Paruch 1992, SiS, SSiS)⁹. Обратите внимание, что во всех словарях при расшифровке заимствованных аббревиатур приводится помета, указывающая на язык-источник, например:

SAS *wym.* *sas odm. a. ndm., lp. m. lub lm., D. SAS-u, Ms. SAS-ie*, Scandinavian Airlines System <ang.> skandynawskie linie lotnicze. Δ Pasażerowie SAS-u (SAS). Reorganizacja w SAS-ie (w SAS). SA zwiększył (zwiększyły) liczbę przewożonych pasażerów (SSiS, 185).

SMS < ang. Short Message Service > (*wym.* *es-em-es*) *m IV, D. SMS-u, pot. SMS-a, B. SMS, pot. SMS-a* «krótka wiadomość tekstowa wysyłana lub odbierana przez telefon komórkowy»: Wysłać SMS, *pot. SMS-a*.
● *Skrót pisany też, rzadko, małymi literami* (WSPP, 1069).

Нельзя также не отметить, что, как правило, основная масса приведенных в словарях аббревиатур употребляется в современном польском языке, в то же время имеется большая группа сокращений-историзмов дореволюционного и советского периодов¹⁰ (см., например: Paruch 1992, SiS, SPP, SSiS, USJP, WSPP). Все чаще в словарях сокращений при аббревиатурах даются хронологические пометы, что особенно ценно, на наш взгляд, в частности, для исследователей аббревиации:

ANS [a-en-es] < Akademia Nauk Społecznych (1984–1990) (SiS, SSiS), BSP [be-es-pe] < Brygada Strzelców Polskich (1915–1917) (Paruch [1992], SiS, SSiS), CKK [ce-ka-ka] < Centralna Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki (1950–1960) (Paruch 1992, SiS, SSiS), KOP [kop] < Korpus Ochrony Pogranicza (до 1939) (Paruch 1992, SiS, SSiS), NIL [nil] < Naczelna Izba Lekarska (1934–1939, 1945–1950) (Paruch 1992, SiS, SSiS) и т. д.

В словарях (NSPP, SiS, SPP, SSiS, USJP, WSPP и др.) представлены различные типы сокращений польского языка¹¹:

- буквенные аббревиатуры (*skrótowce literowe* или *literowce*), которые состоят из первых букв сокращенного описательного словосочетания, типа: PZPR (чум. pe-zet-pe-er), MDK (чум. em-de-ka), WSP (чум. wu-es-pe);
- слоговые аббревиатуры (*skrótowce grupowe (syłabowe)* или *grupowce (syłabowce)*), составленные из комплексов звуков, выбранных из слов, входящих в состав сокращенного словосочетания, типа: Pafawag, żelbet;
- фонетические, или звуковые, аббревиатуры (*skrótowce głoskowe* или *głoskowce*), составленные из начальных звуков сокращенного описательного словосочетания, типа: GUS (чум. gus), MON (чум. mon);
- смешанные аббревиатуры (*skrótowce mieszane*), которые представляют собой комбинацию двух или даже трех вышеуказанных типов, например: Arged, CPLiA или Cepelia;
- единственное исключение составляют частичные аббревиатуры (*skrótowce częściowy* или *ułamkowe*), в которых выступает часть только одного из входящих в словосочетание слов, например:

sam < sklep samoobsługowy¹²; они то включаются в словарь (SiS, SPP, SSIS), то нет (NSPP, Paruch 1992).

Основной тенденцией современной лексикографической практики, на наш взгляд, становится стремление составителей одноязычных словарей установить определенную норму в написании, произношении и употреблении слов. Лексикографы пытаются дать более полную информацию об аббревиатурном слове: его значении, особенностях употребления, сочетаемости, произношении, написании, отаббревиатурных производных¹³, например:

MBP (*wym.* embepe, p. akcent § 6) *n a. z ndm* «Miejska Biblioteka Publiczna»: MBP zakupiło (zakupiła) wiele nowych książek. (SPP, 331).

PKB *urz. ekon.* «product krajowy brutto» *p.* product w zn. 1a. *wym.* pe-ka-be • *m ndm.* (USPP, 158).

ADM *wym.* a-de-em, *ndm a. odm.*, z lub *m*, *D.* ADM-u, *Ms.* ADM-ie, *Administracja Domów Mieszkalnych. Δ Pracowałw ADM (w ADM-ie). Poszedł do ADM (ADM-u). ADM ogłosiła (ogłosił) nowe przepisy* (SiS, 33).

PAGART *a. Pagart* (*wym.* Pagart) *m IV, D.* PAGART-u, Pagartu, *Ms.* Pagarcie (*nie:* PAGART-ie, *nie:* PAGARC-ie), *rzad. z ndm* «Polska Agencja Artystyczna»: Poprzednią imprezę organizował (*rzad.* Organizowała) PAGART. Pracować w Pagarcie (*rzad.* w PAGART). — **PAGART-owski** *a. pagartowski m. os.* pagartowscy (WSPP, 740).

В русской лексикографии словари сокращений, как указывает Г. Н. Складневская, «до сих пор¹⁴ не ставили задачи дать такую разнородную информацию»¹⁵ (СССРЯ, 6). К примеру, «Новый словарь сокращений русского языка» под редакцией Е. Г. Коваленко (НССРЯ), а также «Словарь сокращений современного русского языка» С. В. Фадеева (Фадеев 1997) имеют чисто практическую направленность. В них сведена к минимуму система помет и пояснений: сокращения приводятся без ударения, без грамматических помет и без указания произношения; имеются пометы, указывающие сферу употребления сокращения, а также хронологические, географические и уточняющие или разъяснительные пометы. Из польских лексикографических изданий сюда примыкает «Словарь сокращений» Ю. Паруха, в котором к обязательной словарной статье относятся заголовочное слово и толкование, а к факультативной, обусловленной теми или иными особенностями сокращения, —

хронологическая, географическая и уточняющая, энциклопедическая:

PKKB Państwowy Korespondencyjny Kurs Bibliotekarski

PKKF Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej (1950–60)

PKKO Polski Komitet Kulturalno-Oświatowy (Kanada)

Pkm Personenkilometer (нем.) — pasażerokilometr (Paruch 1992, 412).

Все лексические сокращения располагаются в алфавитном порядке. Сокращения-омонимы даются в одной словарной статье (Paruch 1992, SiS, SPP, SSiS) или в соответствии с алфавитом полного наименования (WSPP):

CK (wym. ceka) *n ndm* 1. *a. ż* «Centralna Komisja»; 2. *a. m* «Centralny Komitet» Δ **CKSD** (wym. ceka esde) «Centralny Komitet Stronnictwa Demokratycznego» (SPP, 82).

I AK (wym. a-ka) *ż ndm, rzad. n ndm* «Akcja Katolicka, organizacja katolików świeckich»: AK została utworzona (*rzad. zostało utworzone*) w 1930 roku (WSPP, 10).

II AK (wym. a-ka) *ż ndm a. n ndm* «Armia Krajowa»: AK została rozwiązana (zostało rozwiązane) w roku 1945. Służyć w AK. — **AK-owiec** *a. akowiec m II, D. AK-owca, akowca, Ms. AK-owcu, akowcu, lm M. AK-owcy, akowcy, D. AK-owców, akowców* — **AK-owski** *a. akowski m. os. akowscy* (WSPP, 10).

Аббревиатуры, обозначаемые строчными буквами, даются после аббревиатур, обозначаемых прописными буквами. Приводятся варианты написания и произношения аббревиатур, например:

PKO, **pekao** «Powszechna Kasa Oszczędności»: PKO zmieniła (zmieniło) oprocentowanie. wym. pe-ka-o • *ż a. n ndm*. (USPP, 158).

AON wym. a-o-en *a. aon, ndm. a. odm., ż. lub m., D. AON-u, Ms. AON-ie, Akademia Obrony Narodowej* (od 1990). Pracownicy naukowci AON (AON-u). Pracować w AON (w AON-ie). AON otrzymała (otrzymał) nową nazwę w 1990 roku. (→ ASG) (SiS, 39).

В заключение следует отметить, что некоторые издания не свободны от недочетов. Так, например, не всегда указывается информация о прочтении (произношении) лексического сокращения (SiS, 167, 235, 247, 250; SSiS, 157, 169, 238), не проставлено ударение (SiS, 167, 194, 223; SPP, 662), сбивается алфавитный порядок подачи материала (SiS, 180).

Таким образом, в представлении лексических сокращений в современной польской лексикографии прослеживается определенная тенденция. Составители словарей стремятся к изложению как можно более полной информации о лексических сокращениях, что вызвано, на наш взгляд, во-первых, желанием лексикографов установить определенную норму в их написании, произношении и употреблении, во-вторых, помочь читателю «найти правильный ориентир в океане сокращений» (НССРЯ, 3) В современных толковых словарях, а также в словарях сокращений читатель найдет сведения не только о значении («расшифровке») лексических сокращений современного польского языка, но и о правильном их произношении и ударении, о родовой принадлежности, возможности склонения, о допустимых вариантах в их употреблении, об их производных и т. д.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Идея данной статьи родилась при сборе фактического материала в ходе работы над диссертационным сочинением «Основные типы аббревиатур в современном польском языке (к специфике моделей производящих синтаксических структур)» и, разумеется, не затрагивает всей специфики лексикографического описания аббревиатур.
- ² Здесь под аббревиацией прежде всего имеется в виду сложение сокращенных слов, или лексическая аббревиация, результатом которой являются лексические сокращения.
- ³ Подробнее об источниках пополнения разряда лексических сокращений см.: (Шадыко 1984, 524–526; Szadyko 2000, 16–21).
- ⁴ В качестве примеров, которые известны всем говорящим на польском языке, С. Шадыко приводит следующие образования: *BISE* (Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych), *BOT* (Biuro Obsługi Turystycznej), *DBG* (Dolnośląski Bank Gospodarczy), *DH* (Dom Handlowy), *DK* (Dom Książki, Dom Kultury), *TOS* (Techniczna Obsługa Samochodów), *TR* (Technikum Rolnicze) и др. (Szadyko 2000, 95).
- ⁵ Это утверждение справедливо в отношении целого ряда двуязычных словарей (PLV, WSPA 1992, WSPA 1970, WSPR и т. д.). Однако есть и исключения. Некоторые словари не содержат лексических сокращений, например: (Bartnicka, Satkiewicz 1999; WSPR 2004; SPR) и др.

- ⁶ На это, например, обращает внимание Г. Н. Складневская в предисловии к «Словарю сокращений современного русского языка» (СССРЯ, 6).
- ⁷ Но и это не всегда так. Исключение, в частности, представляет «Новый словарь польского литературного языка», где сокращения помещаются отдельным приложением под заголовком «Skrótowce» (NSPP, 1555–1594).
- ⁸ Статистические данные приводятся по монографии С. Шадыко (Szadyko 2000, 7, 9).
- ⁹ Особенно большое количество заимствованных из английского, немецкого, французского, русского, латинского и др. языков аббревиатур зафиксировано в словаре Ю. Паруха (Paruch 1992).
- ¹⁰ Обычно в словари сокращений русского языка этот материал также включается (НССРЯ, СССРЯ, Фадеев 1997).
- ¹¹ В классификации следуем: (SPP, 695).
- ¹² Некоторые лингвисты считают такого рода сокращения одной из моделей морфологической аббревиации: «*апокон*а, или отсечение от конца» (Szadyko 2000, 87).
- ¹³ Иногда производные существительные и прилагательные представлены в виде отдельных заголовочных слов с указанием на производящую аббревиатуру, например: *aelowiec*, *aelowski* р. AL, *alowiec*, *alowski* р. AL, *pegeerowiec*, *pegeerowski* р. PGR (SPP, 5, 12, 497). То же см.: USJP.
- ¹⁴ До выхода «Словаря сокращений современного русского языка» (СССРЯ).
- ¹⁵ Здесь не имеются в виду те немногочисленные толковые словари русского языка, которые включают в свой состав лексические сокращения (ТССРЯ, ТСЯС, БТСРЯ). В них как раз содержатся разные характеристики аббревиатуры-слова: орфографическая, орфоэпическая, грамматическая и т. д.

ЛИТЕРАТУРА И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

- БАС — *Словарь современного русского литературного языка*. В 17 тт. Москва/ Ленинград, 1950–1965.
- БНРС — *Большой немецко-русский словарь*¹ *Das Grosse deutsch-russische Wörterbuch*. В 3 тт. 4-е изд., стер. Москва, 1998.
- БТСРЯ — С. А. Кузнецов. *Большой толковый словарь русского языка*. С.-Петербург, 1998.
- БФРС — *Большой финско-русский словарь*¹ *Suomalais-venäläinen suursanakirja*. Под ред. В. Оллыкайнен, И. Сало. 5-е изд. Москва, 2002.

- Каховская 1977 — Л. Ф. Каховская. *Об одном способе образования сло-
жносокращенных слов в некоторых славянских языках*. Тыпалогія
дакладаў і паведамленняў III рэспубліканскай канферэнцыі (2–3 сне-
жня 1977 г.). Мінск, 1977, с. 168–170.
- МТС — В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина. *Малый толковый словарь русского
языка*. Москва, 1990.
- НАРС — *Новый англо-русский словарь/ Modern English-Russian dictionary*.
Изд. 5-е, стер. Москва, 1998.
- НБАРС — *Новый большой англо-русский словарь/ New English-Russian dic-
tionary*. В 3 тт. Изд. 4-е, стер. Москва, 1999.
- НССРЯ — *Новый словарь сокращений русского языка*. Под ред. Е. Г. Кова-
ленко. Москва, 1995.
- Онишкевич 1953 — М. Й. Онишкевич. *Абревіатури в польській мові та
способи їх наголошування*. Вопросы славянского языкознания.
Львов, 1953, кн. 3, с. 99–106.
- РТС — В. В. Лопатин, Л. Е. Лопатина. *Русский толковый словарь*. 4-е изд.,
стер. Москва, 1997.
- СССРЯ — Г. Н. Складарская. *Словарь сокращений современного русского
языка*. Москва, 2006.
- ТСРЯ — С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. *Толковый словарь русского языка*.
4-е изд., доп. Москва, 1997.
- ТСРЯ — *Толковый словарь русского языка конца XX в. Языковые измене-
ния*. Под ред. Г. Н. Складарской. С.-Петербург, 1998.
- ТСЯС — В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. *Толковый словарь языка Совде-
нии*. С.-Петербург, 1998.
- Шадыко 1984 — С. Шадыко. *Лексическая аббревиация в современных рус-
ском и польском языках, ее характер и условия появления*. *Slavia Ori-
entalis*, Warszawa, 1984, nr 3–4, s. 519–533.
- Фадеев 1997 — С. В. Фадеев. *Словарь сокращений современного русского
языка*. С.-Петербург, 1997.
- Bartnicka, Satkiewicz 1999 — B. Bartnicka, H. Satkiewicz. *Gramatyka języka
polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców*. Warszawa, 1990.
- NSPP — *Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN*. Wyd. 2, dodr. Red. nau-
kowy A. Markowski. Warszawa, 2002.
- Paruch 1992 — J. Paruch. *Słownik skrótów*. [Wyd. 2]. Warszawa, 1992.
- PLV — *Polu-latviešu vārdnīca*. Rīga, 1970.
- SiS — A. Czarnecka, J. Podracki. *Skróty i skrótownice: pisownia, wymowa, od-
miana, składnia*. Warszawa, 1995.
- SOJP — *Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i inter-
punkcji*. Red. nauk. M. Szymczak. Warszawa, 1975.

- SPP — *Słownik poprawnej polszczyzny*. 18. wyd. Red. Naczelny W. Doroszewski. Warszawa, 1997.
- SPR 1985 — *Słownik polsko-rosyjski*. Warszawa/ Moskwa, 1985.
- SSiS — J. Podracki. *Słownik skrótów i skrótowców*. Warszawa, 1999.
- Szadyko 2000 — S. Szadyko. *Аббревиация в русском языке (в сопоставлении с польским)*. Warszawa, 2000.
- USJP — *Uniwersalny słownik języka polskiego*. T. I–IV. Pod red. S. Dubisza. Warszawa, 2003.
- WSPA 1970 — J. Stanisławski. *Wielki słownik polsko-angielski*. Warszawa, 1970.
- WSPA 1992 — *Wielki słownik polsko-angielski*. T. I–II. Warszawa, 1992.
- WSPP — *Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN*. Pod. red. A. Markowskiego. Warszawa, 2007.
- WSPR 2005 — *Wielki słownik polsko-rosyjski*. Red. naczelny J. Wawrzyńczyk. Warszawa, 2005.
- WSPR 2004 — D. Hessen, R. Stypuła. *Wielki słownik polsko-rosyjski*. Wyd. 7. Warszawa, 2004.

Leksikaalsed lühendid poola leksikograafias

Irina Tabakova

Selle artikli idee sündis doktoriväitekirja «Abreviatuuride põhitüübid tänapäeva poola keeles (abreviatuure tuletavate süntaktiliste struktuuride mudelite spetsiifikaadist)» jaoks materjali kogudes. Seega on artikkel sõnavaralise töö praktilise iseloomuga tulemus ega puuduta lühendite leksikograafilise kirjeldamise kogu eripära.

Üldiselt võib tänapäevases poola leksikograafias jälgida teatud tendentse leksikaalsete lühendite käsitlemisel. Sõnaraamatute koostajad püüavad esitada võimalikult täielikku infot leksikaalsete lühendite kohta, mis tuleneb eelkõige leksikograafide soovist luua teatud norm nende kirjutamiseks, hääldamiseks ja kasutamiseks. Tänapäevastes seletus, aga ka lühendite sõnaraamatutest leiab lugeja andmeid mitte ainult poola keele lühendite tähenduse, vaid ka õige häälduse ja rõhuasetuse, sookategooria, käänamis- ja tuletusvõimaluste, lubatud kasutusvariantide ja muu kohta.

Людмила Васильевна Дуличенко
Тартуский университет

ЗАМЕТКИ О ЖАРГОННОЙ ЭТНОНИМИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Русский язык – лексикология – этнонимия – социальные диалекты – жаргонная этнонимия

Приблизительно в последние два десятилетия в русистике интенсивное развитие получает «жаргонная лексикография». Показателем этого процесса может служить то огромное число словарей и списков жаргонизмов, которые появились в указанный период времени. Разумеется, качество этих лексикографических изданий разное — от любительского до профессионального. Как бы то ни было, но нам стал доступным богатейший материал, активно используемый в устной речи различных социальных слоев населения, говорящего по-русски. В то же время в теоретическом осмыслении этого материала есть еще немало вопросов, требующих того или иного освещения или разрешения. Так, например, до сих пор нет более или менее четкого определения таких двух социальных диалектов, как жаргон и арг. По существу многие авторы теоретических работ ставят между ними знак равенства, хотя при этом и отмечают, например, что арг характерно более всего для узких и социально закрытых групп, в то время как жаргон трактуется как «принадлежность не одной, а многих социальных групп» (см., напр.: Арапов 1990, 151; см. также: Шахнарович 1990, 43 и др.). Таким образом, речь идет о таком различительном признаке, как *узкогрупповая* и *межгрупповая* распро-

странность ненормативных лексических и словообразовательных элементов. К этому следует также добавить и то, что в арг много искусственно созданных слов и выражений, а потому понимаемость арготической речи для непосвященных минимальна, в то время как жаргон основывается чаще всего на *переосмыслении известных слов и выражений*. Однако и жаргон, и арг с успехом используют и иноязычные элементы.

В любом случае и в жаргонном, и в арготическом слоях лексики большой процент составляют ономастические образования — топонимы, антропонимы и под. Среди них есть немало и этнонимов, которые весьма активно используются в соответствующей социальной среде. Причем обращает на себя внимание тот факт, что для арга более характерны искусственно созданные этнонимы или же этнонимы с затемненной структурой и происхождением, ср. *чка* для названия русского, *варлыш* — для поляка, *брутвинец* — для немца и под.

Жаргон для обозначения человека (людей) по этническому признаку чаще всего применяет достаточно прозрачные по происхождению единицы, основанные на этнонимах, антропонимах или на нарицательных словах. Семантически нейтральные, арготические и жаргонные этнонимы следует включать в систему антрополексем, называющих человека по различным признакам (см. Дуличенко 2000а; 2000б).

Жаргонная этнонимия распространена во всех языках. Этнонимическая база жаргонной лексики в русском языке достаточно обширна. Учитывая то, что жаргонная лексика является составной частью негативного в содержательном плане слоя словарного состава вообще, естественно ожидать, что и жаргонизмы, называющие человека по этническому признаку, носят чаще всего пейоративный, т. е. уничижительно-неодобрительный, а нередко и оскорбительный характер. По существу речь должна идти об особой разновидности этнонимии — этнопрозвищах (см., напр.: Ковалев 2003, 108). Показательно, что этнопрозвища даются другим народам, но не себе! Кстати сказать, этнопрозвища достаточно многочисленны и разнообразны по структуре и содержанию и могут составить особый жанр словаря. Однако до сих пор мы не имеем даже словника этнических прозвищ.

Жаргонные этнонимы, или этнопрозвища, возникли давно и нашли отражение в различных жанрах письменности, в том числе и в художественной литературе. Так, у А. С. Пушкина находим *москали* для обозначения русских со стороны украинцев и *хохлы* или *хохлачи* для обозначения украинцев русскими. В «Очарованном страннике» (1873) Н. С. Лескова татары русского человека называют *Иваном*, русскую женщину *Наташей*, а русского мальчика *Колькой*, ср.:

— Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их все так называете «Кольками» да «Наташками»?

— А это по-татарски. У них все, если взрослый русский человек — так *Иван*, а женщина — *Наташа*, а мальчиков они *Кольками* кличут, так и моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и *Наташками* звали, а мальчишек *Кольками*. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

«Теперь, — говорят [татары], — тебе, *Иван*, самому трудно быть, тебе ни воды принести, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери, — говорят, — брат, себе теперь *Наташу*, — мы тебе хорошую *Наташу* дадим, какую хочешь выбирай» (Н. С. Лесков. Собрание сочинений. Т. 4. Москва: Художественная литература, 1957, с. 430, 433).

Как видим, этнопрозвища, основанные на русских антропонимах, могли переносить и на этнически «своих» людей — «по мне их все уже русскими числили!» Надо заметить, этнопрозвище *Иван* является своего рода универсалией для обозначения русских разными народами; имя *Наташа* для обозначения русских женщин встречается и поныне, например, в Турции, куда приезжают на отдых русские...

Если взять в качестве источника изучения жаргонной этнонимии «Большой словарь русского жаргона» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной, содержащий 25 тысяч слов и 7 тысяч устойчивых сочетаний, то в нем можно обнаружить несколько сот этнопрозвищ и их вариантов (Мокиенко, Никитина 2000). Их систематический анализ еще предстоит изучить. Мы же коснемся в нашей заметке лишь отдельных аспектов этого материала.

Этнопрозвища можно изучать с различных точек зрения:

- а) учитывая их семантико-содержательную сторону;
- б) словообразовательные модели, по которым они создаются;

- в) происхождение, т. е. на своей ли лексической базе они возникли или же на основе иноязычных элементов;
- г) сочетаемостные аспекты — вплоть до роли и места в устойчивых словесных комплексах и, наконец,
- д) их функциональное проявление в связанном тексте.

Жаргонно-этнонимические единицы могут образовывать *семантико-содержательные поля*, которые составляют этнопрозвища, направленные на обозначение какого-либо одного этноса или целой группы этносов, родственных по происхождению или же просто объединенных по географической близости или смежности проживания. Вот некоторые обозначения цыган в русском словаре жаргона:

- а) *аза* 'молодая цыганка'
- б) *амора* 'цыган'
- б-в) *аморец* 'то же'
- г) *кало* 'то же'
- д) *кирилл* 'то же'
- е) *мора* 'то же'
- ж) *ром* 'то же'.

Приведенное семантико-содержательное поле, или гнездо, показывает, что оно формируется гетерогенно:

- 1) на основе собственных имен, т. е. женского и мужского антропонимов: *Аза* и *Кирилл* — а), д);
- 2) словообразовательным способом на основе суффиксального расширения типа *амора* → *амор-ец* — б-в);
- 3) на основе нарицательных слов цыганского языка: *кало* 'черный' и одновременно может иметь значение 'цыган'; *мора* (или *моро*) 'друг', 'товарищ', 'брат' или же 'цыган' — г), е);
- 4) на базе собственно этнонима-самоназвания: *ром* 'цыган', а также 'мужчина', 'муж' — ж);
- 5) что касается слова *амора* и его производного *аморец*, то оно, вероятнее всего, контаминированного характера, т. е. опирается на цыганское *мора* с указанным выше значением и на итальянское *amore* 'любовь' — б), б-в).

Обильное семантико-содержательное поле образуют обозначения выходцев из Кавказа и из Средней Азии:

- а) *абрек* 'уроженец Кавказа' (от осетин. *абрег* или черкес. *абрек* 'молодец', 'удалец'); *камикадзе* 'вооруженный бандит-кавказец'; *хазар* 'кавказец', 'южанин' и некоторые другие;
- б) *аллах* 'уроженец Средней Азии', *багира* 'красивая девушка, уроженка Средней Азии', *бабай* 'старик из Средней Азии', также 'татарин'; *башибузук* 'бандит, головорез — уроженец Средней Азии'; *верблюд* 'рослый заключенный — уроженец Средней Азии' и под.

Нередко асоциальная среда, говорящая по-русски, опирается на семантическую доминанту *южанин* 'житель, уроженец южных стран' и не делает специального различия между представителями Кавказа и Средней Азии. Таким образом, формируется новое, производное гнездо с названной выше доминантой *южанин*, ср.: *бедуин* 'притесняемый осужденный, как правило, уроженец Кавказа или Средней Азии', *богдыхан* 'начальник исправительно-трудового лагеря, уроженец Кавказа или Средней Азии'; *джигит* 'уроженец Кавказа или Средней Азии', *ишак* 'то же', *мамед* 'то же' и др.

Как видно, здесь также в качестве источника этнопрозвищ выступают нарицательные слова — антрополексемы типа *абрек*, *бабай*, *джигит*, антропонимы типа *Багира*, *Мамед* и собственного универсального слова *Аллах*, нарицательные слова, используемые в переносном антрополексическом значении, типа *верблюд*, *ишак* 'осел' и т. д.

Разнообразие источников, за счет которых формируются этнопрозвища, позволяет утверждать, что эта антрополексическая парадигма будет всегда открыта для новых образований — все будет зависеть от того, с представителями каких народов и в каком месте сталкивается асоциальная среда, говорящая на русском языке.

Сравнение семантико-содержательных полей этнопрозвищ в арго и в жаргоне показывает, что как состав, так и сами единицы значительно отличаются друг от друга. В этом не трудно убедиться, если сравнить поля со значением 'еврей' в этих двух социальных диалектах:

- а) в арго: *капсан*, *кербус*, *козлюня*, *козырь*, *кудлай*, *нефос*, *нефеть*, *парх*, *скес* и *скёс*, а также *скев*, *сиврюк* и *свярюк*, *ховрей*, *фермей* и под. (Бондалетов 1971, 31);

- б) в жаргоне: *абрам* и *абрамович*, *айд* и *айда*, *ашкиназик*, *глазан* и *глазанка*, *евреец* – *еврюга* – *еврюжник*, *ерусалимец* и *иерусалимец*, *изя*, *поц*, *паркач*, *суфферблат*, *фистон*, *файшель*, *хайка*, *хаммер* и др. (Мокиенко, Никитина 2000).

Сравнение этих двух полей наглядно демонстрирует семантическую непрозрачность арготических обозначений (потому-то они и использовались в тайных целях) и достаточную прозрачность жаргонных этнопрозвищ. Можно сказать также, что точек соприкосновения между рассматриваемыми полями практически нет, за исключением, может быть, *парх* – *паркач*.

Этнопрозвища — богатый материал для исследования процессов семантического развития слова в направлении создания все новых и новых антрополексем. Однако при этом важно иметь в виду как хронологический параметр этнопрозвищ (что функционально было и что сохраняется по настоящее время, что ушло и является своего рода архаизмом и под.), так и их региональную привязанность, т. е. своего рода ареальный аспект. Ни первое, ни второе в собраниях арготизмов и жаргонизмов, к сожалению, пока четко не разграничивается.

ЛИТЕРАТУРА

- Арапов 1990 — М. В. Арапов. *Жаргон*. Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. В. Н. Ярцева. Москва: Советская энциклопедия, 1990.
- Бондалетов 1971 — В. Д. Бондалетов. *Арготическая этнонимия*. Этнография имен. Отв. ред. В. А. Никонов, Г. Г. Стратанович. Москва: Наука, 1971, с. 30–32.
- Дуличенко 2000а — Л. В. Дуличенко. *Антрополексемы с негативным значением и их лексикографическое описание*. АКД. Санкт-Петербург, 2000.
- Дуличенко 2000б — Л. В. Дуличенко. *Словарь обидных слов*. Тарту, 2000.
- Ковалев 2003 — Г. Ф. Ковалев. *Этнос и имя*. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003.
- Мокиенко, Никитина 2000 — В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитина. *Большой словарь русского жаргона*. Санкт-Петербург: Норинт, 2000.

Шахнарович 1990 — А. М. Шахнарович. *Арго*. Лингвистический энциклопедический словарь. Гл. ред. В. Н. Ярцева. Москва: Советская энциклопедия, 1990.

Märkmeid vene žargoonetnonüümidest

Ljudmila V. Dulitšenko

Artiklis on vaatluse all liik žargoonilisi etnonüüme — etnohüüdnimed, millega ühe rahva esindajad nimetavad teise rahva esindajaid. Osutatakse etnohüüdnimede tekke- ja moodustusviisidele. Erilist tähelepanu pöörab autor tekkeviiside eneste heterogeensusele ja nende sõltuvusele sotsiaalsest keskkonnast. Kõrvutatakse mõningaid žargoon- ja argoo-etnohüüdnimede semantilisi rühmi ja selgitatakse nende erinevusi. Autori arvates on aeg mõelda spetsiaalse etniliste hüüdnimede sõnastiku koostamisele.

Евгений Андреевич Малиновский
Самаркандский университет

**ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ
ОТФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XX ВЕКА**

Русский язык – фразеология – отфразеологические образования – лексические неологизмы

С выходом в свет после шестидесятих годов XX в. нескольких словарей новых слов и выражений русского языка (НСИЗ 1971 и др.) вопросы неологии приобретают в отечественной лингвистике особую актуальность и начинают систематически изучаться (см.: Левашов и др. 1978).

«Лишь с начала 70-х годов прошлого века стало возможным говорить о появлении новой лексикографической специализации со своей теоретической базой», —

замечает С. Ю. Шкуратова, автор одной из последних статей по неологии (Шкуратова 2004). Она же, рассматривая различные подходы к определению неологизма (В. Г. Гака, В. И. Заботкиной, А. Брагиной, Н. З. Котеловой) и синтезируя их, предлагает следующую дефиницию этого понятия:

«...неологизм определяется как новая относительно какого-либо предшествующего периода времени единица (слово или сочетание слов), новая либо по форме, либо по содержанию (либо и по форме, и по содержанию) и имеющая некоторую закрепленность в речевом обиходе» (Шкуратова 2004, 116).

Считается, что с момента возникновения нового слова до его фиксации в толковом словаре, новая лексическая единица должна пройти несколько стадий социализации (принятие её в обществе и закрепление в речевом обиходе — чаще среди учителей, преподавателей, журналистов, затем в средствах массовой информации, что способствует её принятию широкими массами) и стадию лексикализации, результатом которой является кодификация нового слова в толковом словаре.

Среди весьма значительного состава новых слов русского языка в филологических словарях последних лет определенное место занимают и такие неологизмы, значения которых отражают структурные и смысловые связи с фразеологическими единицами (ФЕ). Сам по себе процесс, указывающий на тесную связь фразеологии с лексикологией, — на движение от слов к устойчивым словесным комплексам и обратно, от ФЕ к словам, не новый. На него указывали еще языковеды-классики XIX в. (И. И. Срезневский, Ф. Ф. Фортунатов, С. К. Булич, В. А. Богородицкий) и русские лингвисты середины — второй половины XX столетия. (В. В. Виноградов, Н. М. Шанский, Ю. Ю. Авалиани, А. В. Кунин и др.).

Однако заметная активизация отфразеологического образования слов в русском языке приходится на конец XX в. В этот период в различных функциональных сферах современного русского языка появляется большое количество узуальных и окказиональных слов — неологизмов, полностью или частично усвоивших фразеологическое значение и структурно соотносящихся с одним или несколькими компонентами исходного фразеологизма. Так как этот материал в лингвистической литературе не получил еще достаточного освещения, в настоящей статье будет предпринята попытка рассмотреть одну лишь часть неологизмов-отфразеологизмов, которые в определенный период времени — а именно в последней четверти XX — начале XXI вв. — были использованы «один раз в каком-либо тексте или акте речи», т. е. это окказиональные отфразеологические лексические дериваты, являющиеся индивидуально-авторскими новообразованиями. Они нашли свое частичное отражение лишь в незначительном количестве словарей, имеющих, однако, пометы с указанием на их единственное употребление в том или ином источнике

(газете, журнале, художественном произведении) или акте речи (на радио, телевидении, в специальной записи) (Никитина и др. 1998).

Наши наблюдения над этим материалом свидетельствуют, что лексика современного русского языка в своем составе содержит значительное количество окказионализмов, в разной степени мотивированных фразеологическими единицами. Это могут быть новообразования, полностью усвоившие фразеологическое значение, но структурно соотносящиеся либо со всеми компонентами ФЕ, либо с каким-нибудь из них. Ср. первые: *башнесло-новокоист* [от ФЕ *в башне из слоновой кости* (жить, замыкаться)] — ‘тот, кто живет, замыкаясь, отделяясь от людей, переставая интересоваться окружающим’; *белибердоносец* (от ФЕ *нести белиберду*) — ‘тот, кто несет чушь, белиберду, ерунду, вздор’; *беловоротничковый* (от ФЕ *белые воротнички*) — ‘государственный чиновник’; *божемойкать* [от ФЕ *Боже (Бог) мой*] — ‘выражать удивление, радость, негодование, досаду и т. п., повторяя *Боже мой*’; *вынь-да-положный* (от ФЕ *вынь да положи*) — ‘обязательный, непременный, сделавший во что бы то ни стало’; *нибенимекнуть* [от ФЕ *ни бе ни ме (ни кукареку)*] — ‘ничего не сказать, ни словом не обмолвиться по незнанию’; *крепколоктевой* (от ФЕ *крепкие локти*) — ‘такой, у которого крепкие локти, т. е. пробивной, настойчивый в своих действиях’; *крышесрыватьельный* [от ФЕ *срывать (сносить) крышу* ‘производить сильное впечатление, сводить с ума’] — ‘о том, кто оставляет неизгладимое впечатление’; *хвостопад* [от ФЕ *падать (упасть, насесть, прыгать, цепляться, прицепиться) на хвост кому*] — ‘тот, кто навязывает свое присутствие в надежде получить что-л. (выпивку, еду и т. п.) за чужой счет’.

Ср. другую разновидность окказионализмов современного русского языка, структура которых соотносится лишь с какой-то одной частью ФЕ: *бельмесость* (от ФЕ *ни бельмеса*) — ‘непонимание, полная невозможность разобраться в окружающем, осмыслить что-либо’; *белибердень* (от ФЕ *нести белиберду*) — ‘что-либо ненастоящее, несуразное, глупое, бессмыслица, вздор’; *малиново* (от ФЕ *малиновый звон*) — ‘приятно, мягко по тембру (звенеть)’; *межкресельный* (от ФЕ *сидеть между двух кресел, стульев*) — ‘о человеке, придерживающимся одновременно различных, непримиримых точек зре-

ния; ориентирующий в своих действиях на различные несовместимые мнения, взгляды и т. п.’; *пупист* (от ФЕ *пуп земли*) — ‘тот, кто считает себя центром, средоточием чего-либо, самым важным на свете’; *пупизм*, *пупистика*, *самопупство* ‘ощущения себя пупом земли; свойство пуписта’.

В отдельных случаях отфразеологический лексический дериват, структурно и семантически полностью совпадая с ФЕ, может усиливать свое значение за счет включения в него дополнительного элемента. Ср.: *вседолампочество* (от ФЕ *до лампочки* и слова *всё*) — ‘безразлично, равнодушно ко всему происходящему; апатия’; *вседофенищина* (от ФЕ *до фени* и слова *всё*) — ‘состояние, когда всё безразлично, не интересно, не нужно’.

Вероятно, данные дериваты созданы по модели тех узуальных фразеологических производных (*всенаплеизм*, *всенипочество*), которые и структурно, и систематически соотносятся со своими производящими ФЕ (*на всё наплевать*, *всё нипочем*). Иногда такой дополнительной составной частью отфразеологического лексического производного может оказаться заимствованный элемент, ср. *вломшидзе* (от ФЕ *в лом*, *в ломину*, *в ломякадзе*) — ‘тяжело, трудно делать что-либо, неприятно, не хочется’ (данный окказионализм создан со стилизацией под грузинскую фамилию). Однако такого рода неологизмы в составе современного русского языка представляют скорее исключение.

К редкому типу отфразеологических окказионализмов следует отнести и слова, структурно соотносящиеся с двумя близкими ФЕ и контаминирующие в себе модель и смысл еще одной лексемы, ср. *анахренархия* [от ФЕ *на хрена* (*хрен*) — *на какой* (*кой*) *хрен* + *анархия*] — ‘отсутствие организованного управления, приводящего к путанице, неразберихе, апатии и нежеланию что-либо делать’.

Таким же исключением в русском языке последних десятилетий являются неологизмы-окказионализмы, семантика которых частично совпадает со значением ФЕ либо значительно отличается от нее, ср. *доброутренник* (от устойчивой речевой формулы общения *доброе утро*) — ‘вор, совершающий квартирные кражи рано утром через раскрытые окна или двери’; *лапшемет* (от ФЕ *расчихнуть лапшемет*, где «лапшемет», обозначающий рот; образован от ФЕ *вешать*

лапшу, но с заменой компонента *вешать* словом *метать*) — ‘человек, несущий вздор, болтун’.

Довольно часто фразеологизмы порождают лексические дериваты-окказионализмы, которые вступают в омонимические отношения с давно существующими в языке словами, ср. «медведь» — ‘зверь’ и окказионализм *медведь* — ‘тот, кого нужно уничтожить для получения прибыли, тот, кого «заказали»’ (от ФЕ *делить шкуру неубитого медведя*), «мыло» — ‘твердое или жидкое средство для мытья и стирки’, «мыльница» — ‘футляр или коробочка для хранения мыла’ и окказионализмы *мыло*, *мыльница* — ‘многосерийная теле-, радио- или кинопостановка, рассчитанная на невзыскательного потребителя (обычно домохозяек)’ (от ФЕ *мыльная опера*). Ср. другие окказионализмы-омонимы типа: *мылиться*, *намылиться* — ‘очень долго смотреть мыльные оперы’; *велосипед* — ‘то, что давно известно, создано’ и др.

Наши наблюдения показывают, что в создании отфразеологических неологизмов-окказионализмов участвуют почти все способы русского словообразования (кроме аббревиации, что естественно, если учесть, что аббревиатуры обязаны своим происхождением широкой известности и прежде всего частотности употребления в речи устойчивых словесных комплексов).

Одним из продуктивных является способ, в результате которого появляются **сложные и сложносuffixальные слова**, включающие в свои составы основы двух и более компонентов фразеологической единицы, ср.: *остроязыкий* (от ФЕ *остер (острый) на язык*) — ‘остроумен, язвителен’; *вынь-даположный* [от ФЕ *вынь да положи*] — ‘обязательный, неременный’; *ванька-валяйство* (от ФЕ *валять ваньку*) — ‘праздное времяпрепровождение, безделье’; *какбычегоневышлизм* (от ФЕ *как бы чего не вышло*) — ‘о состоянии людей, боящихся, чтобы не случилось чего-либо непредвиденного, нежелательного в ответ на чьи-л. действия’; *подсебягребение* (от ФЕ *гребсти под себя*) — ‘поведение, поступки, учитывающие только свои личные интересы’; *позарезный* (от ФЕ *по зарез*) — ‘очень нужный, необходимый по зарез’. Ср. другие примеры окказионализмов, образованных аналогичным способом: *душезнатец*, *задомнапередность*, *сло-*

водержание, пушкорылость, звездночасность, долампочкизм, добронаживание, всенипочемство, всенаплеви́зм, проборция и др.

В качестве исключений этого словообразовательного способа следует признать такие отфразеологически производные окказионализмы, которые в своей структуре содержат или добавочный компонент, или же, наоборот, какой-либо из компонентов утрачивают, ср. *острозлободневный* (от ФЕ *на злобу дня*), *клятвонедер'ание* (от ФЕ *держать клятву*), *искросыпительный* (от ФЕ *искры из глаз сыплутся*) и др.

Более сложным типом следует признать образование отфразеологического окказионализма за счет замены в ФЕ одного из компонентов другим словом, что, однако, не нарушает всей целостности значения: *кисломордый* (от ФЕ *делать кислую мину*); *бочковтирательство* (от «очковтирательство», мотивированного ФЕ *втирать очки*). Интересен в этой связи окказионализм *остонадоесть*, образованный путем замены элемента — *чертеть* глаголом *надоесть*, т. е. в результате контаминации слов *осточертеть* и *надоесть* (от ФЕ *надоесть как сто чертей*). Ср. также другие способы образования неологизмов-окказионализмов.

Суффиксальный: *белибердень* (от ФЕ *нести белиберду*) — ‘бесмыслица, вздор, глупость’; *бельмесость* (от ФЕ *ни бельмеса*) — ‘непонимание, полная невозможность разобраться в окружающем, осмыслить что-л.’; *витун* (от ФЕ *витать в облаках*) — ‘о том, кто бесплодно мечтает, фантазирует, далек от действительности’; *галочкизм* (от ФЕ *для галочки*) — ‘формальность, формальное выполнение чего-л.’; *глотник* (от ФЕ *драть глотку*) — ‘о том, кто громко говорит, кричит’; *звездист, звездуха* (от ФЕ *звездная болезнь*) ‘необоснованно высокая самооценка, высокомерное, чванливое поведение лица, пользующегося успехом’; *карандашник* (от ФЕ *брать на карандаш*) — ‘о человеке, который все подмечает и берет на карандаш’ и др. Этот способ также продуктивный.

Префиксальный: *завиять* (от ФЕ *виять хвостом*) — ‘начать вести себя уклончиво, угодливо’; *клепать* (от ФЕ *возводить помся*) — ‘клеветать, наговаривать на кого-л.’ и др.

Префиксально-суффиксальный: *безбашенный* (от ФЕ *без башни*) — ‘о том, кто потерял контроль над собой; о безответственном,

несерьезном человеке'; *безнадёга* (от ФЕ *безнадежное дело*) — 'отсутствие надежды, безысходность, отчаяние'; *дофенизм* (от ФЕ *до фени*) — 'равнодушие, безразличие ко всему', *позарезный* (от ФЕ *позарез*) — 'очень нужный, необходимый, позарез' и др.

Префиксально-суффиксально-постфиксальный: *выструнить*ся [от ФЕ *вытянутся в струнку (струну)*] — 'встать на вытяжку, вытягиваться перед кем-либо'; *завариваться* [от ФЕ *заварить (заваривать) кашу*] — 'затянуть сложное, хлопотливое или неприятное дело' и др.

Суффиксально-постсуффиксальный: *мылиться* (от ФЕ *мыльная опера*) — 'очень долго смотреть «мыльные» передачи'; *пальцеваться* (от ФЕ *пальцы веером*) — 'жестикулировать пальцами (в среде криминальных структур и преуспевающих бизнесменов)'.

Значительно реже в современном русском языке возникают отфразеологические окказионализмы, образованные путем усечения компонента (или компонентов) ФЕ; в таком случае остается одна лишь лексема, которая в полном объеме конденсирует всю семантику фразеологизма, ср.: *медведь* (от ФЕ *делить шкуру неубитого медведя*) — 'тот, кого нужно уничтожить для получения прибыли'; *подкожные* (от ФЕ *подкожные деньги*) — 'утаенные, скрытые деньги' и др.

Таким образом, окказионализмы, значения которых сформировались под влиянием фразеологических единиц, в известной степени пополняют и оживляют эмотивный лексический фонд современного русского языка.

ЛИТЕРАТУРА

- Левашов и др. 1978 — Е. А. Левашов. *Словарь новых слов (краткий обзор)*. Новые слова и словари новых слов. Ленинград, 1978; С. И. Алаторцева. *Проблема неологии в истории русской лексикографии*. — Новые слова и словари новых слов. Ленинград, 1990; ее же. *Проблема неологии и русская неография*. АДД. СПб., 1999; М. А. Алексеенко. *Отражение актуальных процессов синхронической динамики языка в новой фразеологии*. Słowo. Tekst. Czas. VI: Новая фразеология в новой Европе. Szczecin – Greifswald, 2000; В. М. Мокиенко. *Проблемы*

европейской фразеологической неологии. Там же; его же. *Источники фразеологической неологии в русском языке*. Słowo. Tekst. Czas. VII: Новые средства языковой номинации в новой Европе. Szczecin, 2004; Е. А. Малиновский. *О фразеологии молодежного сленга сегодняшнего дня*. Там же.

Никитина 1998 — Т. Г. Никитина. *Так говорит молодежь. Словарь молодежного сленга*. СПб., 1998; *Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия*. Под ред. Г. Н. Складервской. Москва, 2001; М. А. Алексеенко, Т. П. Белоусова, О. И. Литвинникова. *Словарь отфразеологической лексики современного русского языка*. Москва., 2003.

НСиЗ 1971 и др. — *Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов*. Под ред. П. З. Котеловой, Ю. С. Сорокина. Москва, 1971; *Новые слова и значения: Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х гг.* Под ред. Н. З. Котеловой. Москва, 1984; *Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 80-х годов*. Под ред. Е. А. Левашова. СПб., 1977; Е. А. Левашов и др. *Словарь новых слов русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов)*. СПб., 1998.

Шкуратова 2004 — С. Ю. Шкуратова. *Неологизм как объект лексикографического исследования*. Вестник МГУ, серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация, Москва, 2004, 2.

Okasionaalsed fraseoloogiast lähtuvad uudissõnad tänapäeva vene keeles xx sajandi viimasel kolmandikul

Jevgenij A. Malinovski

Artikkel on pühendatud okasionaalse sõnaloomingu küsimusele tänapäeva vene keeles. Aluseks on võetud fraseoloogiliste üksuste (väljendite) põhjal moodustatud uudissõnad. Kõigepealt vaadeldakse okasionaalseid neologisme ja nende motiveeritust fraseoloogiliste üksustega, näiteks uudissõnu, mis on fraseologismi tähenduse täielikult üle võtnud, kuid struktuuriselt on vastavuses kas kõigi FÜ komponentidega või ühega neist jne. Edasi analüüsitakse fraseoloogiast lähtuvaid uudissõnu nende moodustamise viisi järgi. Seejuures on autori tähelepanu all liitsõna (fraseologismi kahe või enama komponendi tüved), sufikstuletus, prefikstuletus ning kahe- ja mitmeliitelised tuletusviisid: prefiks-sufikstuletus, ka prefiks-sufiks-postfikstuletus ja sufiks-postsufikstuletus.

Анжелика Вадимовна Штейнгольд
Тартуский университет

**МАНТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
СЕМАНТИКИ РУССКИХ ПАРЕМИЙ
ТИПА «ИЗ ОДНОГО МЕСТА НЕ ОДНИ ВЕСТИ»**

Этимология – этнолингвистика – историческая паремиология – семантика паремий – сакральный компонент семантики

Для паремиологии всегда актуально установление исходной внутренней формы той или иной пословицы или поговорки. Об этимологии паремии можно говорить только в определенном (не общелингвистическом) смысле, когда имеется четкое представление о специфике этой устойчивой единицы языка, во многом аналогичной фразеологизму, но тем не менее являющейся десигнатом определенной ситуации действительности, а следовательно обладающей чертами семантической многоплановости.

Паремиа как развернутое фразеологизированное высказывание реализуется в нескольких семантических модусах. Наиболее поверхностный семантический пласт паремии — это ее прямое, неметафорическое значение, являющееся отражением определенной бытовой ситуации. В лингвистическом отношении семантика паремийного оборота складывается из семантики его составляющих. В этом смысле паремиа напоминает произвольную синтагму. Этот семантический пласт часто «прозрачен» для понимания и не представляет собой проблемы. Исключения составляют паремии, включающие устаревшие или диалектные языковые элементы.

Второй уровень содержания отчетливо метафоричен, он представляет собой нравоучительный, философский вывод из наблюдений над рядом однотипных ситуаций. Толкование онтологического содержания пословицы или поговорки на этом уровне может быть сколь угодно подробным, но оно вторично по отношению к первичному, чисто языковому, значению.

Наличие третьего семантического среза — явление факультативное. Для ряда паремий рассмотрение в этом аспекте бесперспективно, поскольку ситуация, знаком которой они являются, вполне однозначна и не требует комментария. Для других образцов этого жанра толкование первого и второго уровней оказывается явно недостаточным для ответа на вопрос «О чем данная паремия?» При более детальном рассмотрении содержания пословиц и поговорок проблемными оказываются те смыслы, которые неочевидны, на которые имеются лишь бледные намеки, но которые тем не менее вполне реальны. Этот семантический срез может быть условно назван «сакральным», поскольку, функционируя в речи, такие паремии призваны апеллировать к сакральным знаниям реципиента (точнее, к его знаниям о сакральном)¹. Поиск этимологии для означенных паремий — это не только обнаружение буквального прочтения, не только учет переносного значения, но и возможность соотнесения с фрагментом языческого быта. Не стоит, наверное, напоминать, что при реконструкции сакрального содержания таких устойчивых речевых единиц степень реконструкции сакрального подтекста может быть разной. Ее убедительность прямо пропорциональна доказательной силе выдвигаемой аргументации.

Поскольку магическая практика восточных славян весьма многообразно представлена в русских пословицах и поговорках и разработке этой темы может быть посвящена не одна обширная монография, в настоящей статье мы остановимся лишь на одном частном случае. Речь пойдет о комплексе однотипных пословиц, объединяемых нами под общим названием *Из одного места не одни вести*. В соответствии с рабочей гипотезой эти паремии возникли как отголосок давней мантической (гадательной) практики восточных славян.

Интересующие нас пословицы не составляют очевидного паремийного массива ни в одном из соответствующих корпусов. Они

представлены единичными фиксациями в разных паремиологических собраниях (сборники А. И. Богданова, И. М. Снегирева, В. И. Даля, П. С. Ефименко, Д. А. Александрова и др.). Их выделение в особую группу основано на структурно-синтаксическом тождестве и лексико-семантической близости компонентов. При этимологизировании аналогичных паремий предлагается отойти от атомарного подхода, в целом свойственного этимологии, и разбирать всю группу паремий целиком, предполагая, что все они при варьирующемся компонентном составе живописуют один и тот же эпизод действительности. Важно осознать, что синтаксический «костяк» этих паремий неизменен и диктует выбор/ набор семантических валентностей, их же лексическое наполнение может быть многообразным, но тем не менее есть определенные ограничения, накладываемые на лексику общей семантикой высказывания. Рассмотрению семантических валентностей и их конкретного наполнения ниже мы уделим особое внимание. Аналогичный структурный подход в свое время был применен В. Я. Проппом для описания морфологии восточнославянской волшебной сказки (Пропп 1998). Такая методика позволит не только установить исходное значение паремий, но и выявить их устойчивую архаическую прагматику.

Каждое устойчивое высказывание, входящее в рассматриваемый комплекс, состоит из следующих грамматико-синтаксических компонентов: обстоятельства места с добавлением определения *один*, эллиптированного предиката с контекстуально восстанавливаемым значением 'бывают', 'раздаются', 'слышны', подлежащего со значением результата речи, выраженного сущ. в И. п., мн. ч. (напр., *басни*, *вести*, *речи*) с добавлением определения *не одни* (вар. *семеры*, *разные*) с интенсифицирующей семантикой. Было обнаружено 8 вариантов данной пословицы², при этом как одна пословица оценивались случаи, допускавшие наличие/ отсутствие некоторых незначительных частей речи (напр., усилительной частицы *да*):

1. *Из одного места (да) не одни вести* (ППЗ, 84 [из сб. А. И. Богданова], Снегирев 1999, прим. 24: 334);
2. *Из одного места да семеры вести* (ППЗ, 84) [из сб. А. И. Богданова];
3. *Из одного места да разные вести* (Зимин, Спирин 1996, 354);

4. *Из одного куста не одни вести* (Снегирев 1999, 124);
5. *Из одной бани да не одни басни* (Ефименко 1878, 245; Алксандров 1895, 206);
6. *Из одной бани (да) не одни вести* (Ивановский 1906, 12; Снегирев 1999, прим. 24: 334; Даль 2004, 571);
7. *Из одних яслей не одни басни* (Снегирев 1999, 400);
8. *Из одной печи (да) не одни речи* (там же; Даль 2004, 571).

Акцентируя внимание на функционально-значимых, маркированных компонентах предложенных высказываний, каковыми являются подлежащее и обстоятельство места, попытаемся ответить на следующие вопросы: 1) о каких *речах* (*баснях, вестях*) здесь говорится?; 3) почему эти *речи* раздаются из ясель, бани, куста?; 3) кто является субъектом этих *речей*?

Отвечая на первый вопрос о содержании так называемых речей, надо иметь в виду, что семантическая структура современных русских слов *басни, вести, речи* достаточно разнородна. В современном русском языке *басня* — 1. ‘короткий, обычно стихотворный нравоучительный или сатирический рассказ, построенный на олицетворении животных, растений и т.д.’; 2. обычно мн., разг. ‘выдумка, небывлица; вымысел’; 3. устар. ‘миф, легенда, сказание’ (БАС, I, 410); *весть* 1. — ‘известие, сообщение’; 2. мн. — ‘название теле-радиопередач, сообщающих последние новости’ (там же, II, 457); *речь* — ед. 1. ‘способность говорить, выражать словами мысль’; 2. ед. ‘язык как средство общения между людьми’; 3. ед. ‘тот или иной вид, стиль языка, слог’; 4. ‘слова, разговор, то, что говорят’ и некоторые др. (СлРЯ, III, 714). Как видим, данные современные лексемы объединяются лишь одной общей семьей — ‘нечто произнесенное’. Исторически на славянском и индоевропейском фоне эта группа лексики имела больше семантических схождений, что, в частности, выражалось в ее связи с областью сакрального знания. Так, напр., лексема *басня*, очевидно мотивированная глаголом *баять, баить* ‘говорить’, несмотря на обилие четких генетических соответствий в других и.-е. языках исключительно со значением результата речи, обнаруживает в славянских языках наличие автономно развившегося сакрального семантического ядра: ср. ц.-слав. *басня, баснь* ‘басня, заклинание’, болг. диал. *ба сна, ба сма* ‘заговор, заклинание против болезни’,

ст.-сл. балии 'врач, прорицатель', болг. *ба́я* 'колдую', с.-хорв. диал. *ba ja* 'чары, сглаз', ст.-укр. *бай* 'знахарь, колдун', с.-хорв. *bājati* 'заклинать', словен. *bajati* 'болтать, говорить, заклинать, гадать', укр. диал. *байати* 'ворожить, заговаривать' и т. д. (Фасмер 1986–1987, I, 131, 140; ЭССЯ, I, 137–141, 150).

Современное рус. *ведь* < *vĕd-ть связано исторически со ст.-сл. вѣдѣти 'знать' др.-инд. *vidā, vittis* 'знание', гр. *εἰδώς* 'знание', др.-прус. *waidimtai* 'мы знаем' (Фасмер 1986–1987, I, 304). В современном рус. *ведь* мы имеем в корне результат монофтонгизации дифтонга **ѡ*. Однако этот же дифтонг на качественной ступени аблаута давал в прасл. **i*, ср. ст.-сл. видѣти, формально соответствующее гот. *witan* 'смотреть, наблюдать', лит. *išvysti* 'заметить, увидеть' и др. и.-е. лексемам. В славянских языках слова, образованные от данных основ, традиционно закреплены за сферами гадания, магии и колдовства. Так образованы, в частности, наименования лиц, профессионально связанных с областью тайноведения, ср. др.-рус. *вѣштии* 'мудрый', серб. ц.-слав. *вѣшти* 'peritus', ср. совр. с.-хорв. *вѣшт* 'опытный', рус. *предвестник, ведьма, ведун, вещун* 'колдун, чародей', укр. *відьмак, вішчун* 'колдун', болг. *вещ* 'мудрый, опытный', морав. *věščica, věštka* 'колдунья', словен. *věšča* 'мудрая женщина', пол. *wieszcz* 'поэт-пророк, мудрец', чеш. *věští* 'мудрый', а также наименования колдовских действий и их результата, ср. рус. *предвещать, предвестье*, ст.-чеш. *věštěvání, věštování* 'предсказания' и многие др. (Фасмер 1986–1987, I, 309).

Рус. *речь*, с одной стороны, репрезентирует связь оноματοпсихической семантикой (в разных и.-е. языках, особенно в балтийских, встречаются значения этого корня 'реветь, кричать'), с другой — внутренне обусловлено идеей порядка, постановления, расчета (напр., в гот., др.-инд.). Русский язык плодотворно развил и сохранил до сих пор отголосок этой сакральной семантики в наименованиях типа *предрекать, зарекаться, пророк, рок, зарок*, ср. также устар. *урок* 'сглаз', *изуро*. *чить* 'испортить' (там же, III, 478).

Подтверждением того, что в паремиях типа *Из одного места не одни вести* лексемы *вести, басни, речи* употребляются не в профанном смысле и означают результат гадания, служит аналогичное их употребление и в тех случаях, когда в паремиях речь идет о гадании

по птичьему крику (др.-рус. *кобь*). Ср.: *Ворон грает вести, что нечего ести; От худыя птицы худы(я) и вести/рицы*³ (Снегирев 1999, 64, 209; Шайжин 1903, 5).

С другой стороны, закреплённость исследуемых пословиц за ситуацией гадания выявляется и при сопоставлении их с пословицей типа *И в одной бане, да не одни приметы* (Даль 2004, 772), в которой слово *приметы* занимает ту же синтаксическую позицию подлежащего, что и *речи, вести, басни* в наших примерах. Семантически данная пословица целиком идентична рассматриваемому комплексу паремий, что позволяет ее рассматривать как отсылку к той же ситуации.

Второй аргумент в пользу того, что паремия описывает обряд гадания, у нас появляется после анализа лексем, оказывающихся в позиции обстоятельства места: это прежде всего *баня, ясли, печь*. Все они указывают на «владения» нечистой силы. Современной славянской этнографией и культурологией накоплено значительное количество свидетельств о том, что святочные гадания осуществлялись в разных нежилых хозяйственных постройках: в амбаре, овине, в яслях, возле печи или внутри нее и, разумеется, в бане. Также важно отметить то, что первая часть нашей синтагмы *Из одной бани/печи/яслей...* структурно-синтаксически коррелирует с зачином *Из пустой клетки/избы/хоромины/дупла...* в пословицах типа: *Из пустой клетки либо сыч, либо сова, либо сам сатана* (Снегирев 1999, 125, прим. 122: 512), в которой содержится однозначное указание на место обитания нечисти (в пустой клетке).

Из парадигмы лексем, претендующих на соотнесенность с нечистыми локусами, необъясненными остаются лишь два: *место* и *куст*. Существительное *место* можно понимать либо как родовое наименование табуированного нечистого локуса (субститут лексем *печь, ясли, баня* и др.), либо как сокращение фразеологизмов-эвфемизмов типа *пустое/дурное/нехорошее место*. Свидетельства того, что гадания, в особенности святочные, осуществлялись в банях, яслях, амбарах, овинах, на перекрестках дорог, в пустых избах, в изобилии рассыпаны в этнографической литературе (см., в частности: Чулков 1786, 152; Максимов 1991, 8, 28–30; Неклепаев 1996, 53–65; Власова 1998, 471; Энциклопедия суеверий 1997, 87–88, 406–408).

Лексема *куст* в этом ряду выглядит несколько изолированно, но это впечатление обманчиво. Несмотря на то, что куст как объект гаданий нам неизвестен, многочисленны восточнославянские свидетельства о ритуальном поклонении и жертвоприношениях растительным объектам, об участии растительности в троицко-семицкой и семейной обрядности (Левкиевская 2005, 68–72; Душечкина 2002, 23–49). Так, по свидетельству былин (ср. «Три года Добрынюшка столничал», «О женитьбе князя Владимира») *вождение вокруг ракитова куста* у восточных славян раннехристианского периода выступало в качестве альтернативы церковному венчанию:

«Они в чистом поле женилися, *Круг ракитова куста венчались*» (Кирша Данилов 1938, 50);

«Тут они обручались, *Круг ракитова куста венчались*» (там же, 67).

Показательно, что после обручения с девицей в чистом поле Дунай Иванович повторно венчается с нею в церкви:

«Ради были тому попы соборные, *В те годы присяги* [т. е. церковного венчания. — А. Ш.] *не ведали*» (там же, 68).

Отголоски этого обряда случайно сохранились в исторических документах XVII в., причем в связи с антицерковной идеологией Степана Разина. По свидетельствам очевидцев, протест Разина против церковных установлений выражался, в частности, в призывах заключать браки в поле возле вербовых кустов: «Вместо обычного свадебного обряда, совершавшегося в России священником, заставлял он венчающихся, приплясывая, обойти несколько раз вокруг дерева, после чего считались они обвенчанными на Стенькин лад» (Записки иностранцев 1968, 108, там же прим. 10: 121; Костомаров 1994, 380). Как пронизательно отмечает Н. И. Костомаров, такая кощунственная альтернатива церковному венчанию не была выдумана Разиным: она отражает коллективную память о древнем обрядовом укладе, реликты которого, вероятно, сохранились к тому моменту у нетрадиционно верующих православных и сектантов. Важно отметить также и то, что к этому обряду атаман волжских разбойников относился так же «безбожно» иронически, как и к церковному таинству.

Связь куста ракиты, ели с брачной тематикой представлена в малых жанрах русского фольклора (преимущественно в негативном

ключе, причем чаще — об отступниках веры, раскольниках, инородцах): *Без батьки, без креста, вокруг ракитова куста* (Александров 1895, 207), *Венчали(сь) вокруг ели, а черти (им) пели* (Михельсон 1902–1903, I, 173; СРФ, 180). По воспоминаниям старожилов Новосибирской области (запись сделана в 1968 г.), в старину куст выступал как значимый символ свадебной обрядности, откуда до сих пор в народе сохранилось выражение *невеста под кустом*: «*Под кустом невеста* — салят куст наряженный в сани али в телегу, едет невеста с им по деревне после свадьбы» (ФСРГС, 101).

Показательно, что даже русский народный именослов содержит отдельные косвенные свидетельства обрядовой связи брака с кустом ракиты, ср. *Ракита* — прозвище парня, застигнутого с женщиной под ракитовым кустом (СРНГ, вып. 34, 88).

Вплоть до настоящего времени растительные объекты задействованы у всех славян в сезонной обрядности. Наиболее широко (реально и символически) они выступают в поклонении духам вегетации (в частности, русалкам). Например, во второй день Троицы на пограничье украинского и белорусского Полесья до недавнего времени традиционно осуществлялось *вождение куста* (на Украине *вождение тополи*), когда, по сути, девушку наряжали русалкой, украшали зелеными ветвями, водили по селу, а потом изгоняли (СД, III, 68–69). В соответствии с верованиями белорусских крестьян Гомельского уезда, собранными Д. К. Зелениным, заросли кустарника за границей села — это место обитания русалок (Зеленин 1995, 263). По свидетельствам этнографов XIX в., в Воронежской губернии в период весенне-летних праздников было принято развешивать на ветвях кустарников холсты, жертвуя их русалкам (там же, с. 187). В аналогичных целях нижегородские крестьянки увешивали кольцообразными «плетеницами» из ниток и лент ветви малины и смородины (там же, с. 283). Видимо, белорусская пословица-наставление *Поклонися кусту, а ён тебе даст хлеба лусту* (Носович 1867, 405) относится именно к ритуальному задабриванию духа вегетации, обитающего в кусте. Предположительно отражением какого-то обряда может являться и другая русская пословица *Не в том кусте сидишь, не те песни поешь* (Снегирев 1999, 183). В Духовном Регламенте упоминается «суеверный обычай вешать на посвященных деревьях, а осо-

бливо на дубах, полотенца, мотки ниток» (цит. По: Снегирев 1837–1839, т. 4, 10). Повсеместно в России известна особая обрядовая функция березы и цветов в период русалий (с помощью венков из растительности осуществляются гадания, под березой нередко приносится умиловительная жертва русалкам, совмещенная с трапезой).

Уместно здесь напомнить о том, что русалки не столько являются непосредственным объектом поклонения, сколько выступают в качестве трансморфных воплощений умерших предков. А предкам приносили не только умиловительные жертвы, но обращались к ним за профетической информацией. Другими воплощениями душ умерших предков считались у славян, как известно, птицы, растения, насекомые. Таким образом, являясь местом предсказаний, куст может выступать как место обитания русалок, место упокоения предка, объект, в который предок перевоплотился после своей смерти (зеленая растительность, молодая поросль), а также как место, где живет душа предка, воплощенная в птице, дающей предсказания. Как известно, в наибольшей степени воплощением души покойного родственника и одновременно вещей птицей у восточных славян традиционно считается кукушка.

Вернемся к ситуации гадания возле растительного объекта. В XIX в. А. Н. Афанасьевым, братьями Б. и Ю. Соколовыми, Н. Е. Ончуковым были записаны близкие варианты севернорусской сказки «Вещий Дуб» («Никола Дубенский»), которая ясно указывает на профетическую функцию дуба в традиционной русской обрядности (предсказания раздаются из дупла, в котором обитает «икона», Никола Дубенский и т. д.). Сказочный текст выявляет сакральный характер растительного объекта (дуба) не только на основании того, что именно к нему обращаются за предсказаниями, но и всей совокупностью отраженных в тексте этикетных ритуальных действий (поклон, молитва, благодарственная формула): «Пришла баба перед дубом, повалилася, замолилася, завывла: ‘Дуб дубовистый, дедушка речистый, как мне быть? Не хочу старого любить, хочу мужа ослепить; научи, чем полечить?’» (Афанасьев 1957, III, 261; см. также: Соколовы 1999, I, 139; Ончуков 1998, I, 430).

Другим важным указанием самой поэтики текста на связь обряда с тайноведением является ритмизованный и рифмованный характер вопросов гадалщицы и ответов «Николы Дубенского». Сакральный статус дуба как источника прорицаний подкрепляется эпитетом *речистый*, т. е. «вещий». Характерно и выражение *дедушка*, многократно встречающееся в этнографической литературе как ритуальное уважительное обращение к персонифицированной нечисти мужского пола, ср.: *Дедушка-домовой, пойдем с нами в новую хату! Дедушка-лесовой, верни мою коровку!* Видимо, на практике такое гадание должно было сопровождаться еще и жертвоприношением, однако сказка этот эпизод не сохранила.

Слушание *вестей, речей*, т. е. предсказаний, еще в XIX в. осуществлялось массово в крестьянской среде в календарные праздники, знаменующие высшую и низшую точки солнечной активности: на Ивана Купалу и в святочно-рождественский период (Соколовы 1999, II, 635–644). Кроме того, гадание осуществлялось и индивидуально в переломные жизненные моменты (свадьба, уход на государственную службу, покидание родного крова). Хорошей иллюстрацией того, как практически осуществлялось такое тайное общение с нечистью, служит быличка «Три парня узнают свою судьбу» из сборника братьев Соколовых:

«Три парня собрались и пошли слушать о святки к пустому дому. Никто в нем не жил, потому что чудилось [т. е. «шалила»] нечистая сила. — А. Ш.]. Оне подошли под окошко. И очертили (три черты) и в середках стоят.< ...> Первый и задумал: «Что со мной будет: али я женюсе, али в солдаты отдадут?» Не успел только задумать, вдруг в этом пустом доме человеческим голосом говорит: «Тебя в солдаты отдадут!»» (Соколовы 1999, I, 167–168).

Другим отражением ситуации «слушания вестей» в фольклорных текстах являются паремии типа: *Что услышишь под окном, того и жди; Что скажут подслухи, то и будет* (Даль 2004, 772).

Обобщая сакральную семантику рассмотренного выше комплекса паремий, отметим, что она допускает следующую вербализацию: «Один и тот же оракул может являться источником разных предсказаний». В заключение хочется отметить, что в результате естественных изменений, произошедших на протяжении ряда столетий в духовной жизни восточнославянских народов, представление о са-

кравальной подоплеке данного типа пословиц и поговорок было утрачено. Они частично десемантизировались и вышли из активного речевого употребления, частично ресемантизировались на основе новой ситуативной приуроченности. В итоге появились их «профаные» продолжения: *Из одной пасты да разные басни* (Иваницкий 1960, 185); *Из одного города не одни вести* (ППЗ, 53) [из сб. В. Н. Татищева].

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Подчеркнем, что речь здесь не идет о «профессиональных» магических знаниях и навыках, об особой посвященности в сферу магии и колдовства, но лишь об элементах духовной культуры периода упадка язычества или двоеверия, которые, являясь неотъемлемой частью мировоззрения типичного средневекового человека, до сих пор в пережиточной форме обнаруживаются в т.н. народном православии и в бессистемных суеверных представлениях, по сути, атеистически или индифферентно в религиозном отношении настроенной части современного русского общества.
- ² В данной работе все пословицы приводятся в оригинальной орфографии и пунктуации.
- ³ Необычна форма мн. ч. *рицы* обусловлена диалектным цокающим и икающим произношением. Корневой вокализм *-и-* в этом слове отмечен в Вологодском крае: *ричь* 'речь, разговор' (СРНГ, вып. 35, 107).

ЛИТЕРАТУРА

- Александров 1895 — Д. А. Александров. *Слова простонародной речи в Пермской губернии, пословицы, поговорки и приметы*. Записки Уральского общества любителей естествознания, Екатеринбург, 1895, т. XV, вып. 2, с. 203–207.
- Афанасьев 1957 — А. Н. Афанасьев. *Народные русские сказки*. Москва, 1957.
- БАС — *Большой академический словарь русского языка*. Т. I —. Москва, 2004—.
- Власова 1998 — М. Власова. *Русские суеверия*. С.-Петербург, 1998.
- Даль 2004 — В. И. Даль. *Пословицы русского народа*. Москва, 2004.

- Душечкина 2002 — Душечкина Е. В. *Русская елка: История, мифология, литература*. С.-Петербург, 2002.
- Ефименко 1878 — П. С. Ефименко. *Материалы по этнографии русского населения Архангельской губернии. Ч. 2. Народная словесность*. Труды этнографического отдела Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. XXX, Москва, 1878, кн. V, вып. 2.
- Записки иностранцев 1968 — *Записки иностранцев о восстании Степана Разина*. Под ред. А. Г. Манькова. Ленинград, 1968.
- Зеленин 1995 — Д. К. Зеленин. *Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки*. Москва, 1995.
- Зимин, Спирин 1996 — В. И. Зимин, А. С. Спирин. *Пословицы и поговорки русского народа. Объяснительный словарь*. Москва, 1996.
- Ивановский 1906 — В. Ивановский. *Пословицы и поговорки, записанные в Тобольской губернии*. Ежегодник Тобольского губернского лицея, Тобольск, 1906, вып. XV, с. 1–34.
- Кирша Данилов 1938 — *Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым*. Москва, 1938.
- Костомаров 1994 — Н. И. Костомаров. *Бунт Стеньки Разина*. Москва, 1994.
- Левкиевская 2005 — Е. Левкиевская. *Мифы русского народа*. Москва, 2005.
- Максимов 1991 — С. В. Максимов. *Крестная сила. Нечистая сила. Неведомая сила*. Кемерово, 1991.
- Михельсон 1902–1903 — М. И. Михельсон. *Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний*. С.-Петербург, 1902–1903.
- Неклепаев 1996 — И. Неклепаев. *Поверья и обычаи Сургутского края. Переиздание очерка 1903 г.* Русская традиционная культура (Альманах). Традиционные зимние увеселения взрослой молодежи в районах Среднего Приобья. Вып. 1–2. С.-Петербург, 1996, с. 5–66.
- Носович 1867 — И. И. Носович. *Сборник белорусских пословиц, составлен членом-сотрудником И. И. Носовичем*. Записки Императорского русского географического общества по отделению этнографии, С.-Петербург, 1867, т. I, с. 251–485.
- Ончуков 1998 — Н. Е. Ончуков. *Северные сказки*. С.-Петербург, 1998.
- ППЗ — *Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII–XX вв.* Ред. А. М. Астахова. Москва/ Ленинград, 1961.
- Пропп 1998 — В. Я. Пропп. [Собрание трудов]. *Морфология <волшебной> сказки. Исторические корни волшебной сказки*. Москва, 1998.

- СД — *Славянские древности. Этнолингвистический словарь*. Под ред. Н. И. Толстого. Т. I — Москва, 1995—.
- СлРЯ — *Словарь русского языка*. Т. I–IV. Под ред. А. П. Евгеньевой. Москва, 1981–1984.
- Снегирев 1837–1839 — И. М. Снегирев. *Русские простонародные праздники и суеверные обряды*. Москва, 1837–1839.
- Снегирев 1999 — И. М. Снегирев. *Русские народные пословицы и притчи*. Москва, 1999.
- Соколовы 1999 — Б. и Ю. Соколовы. *Сказки и песни Белозерского края*. С.-Петербург, 1999.
- СРНГ — *Словарь русских народных говоров*. Вып. I —. Москва/ Ленинград (С.-Петербург), 1965—.
- СРФ — А. К. Бирих, В. М. Мокиенко, Л. И. Степанова. *Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник*. С.-Петербург, 2001.
- Фасмер 1986–1987 — М. Фасмер. *Этимологический словарь русского языка*. Т. I–IV. Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Москва, 1986–1987.
- ФСРГС — *Фразеологический словарь русских говоров Сибири*. Под ред. А. И. Федорова. Новосибирск, 1983.
- Чулков 1786 — М. Чулков. *Абевега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов...* Москва, 1786.
- Шайжин 1903 — Н. С. Шайжин. *К материалам по народной словесности*. Петрозаводск, 1903.
- Энциклопедия суеверий 1997 — Э. Рэдфорд, М. А. Рэдфорд, Е. Миненок. *Энциклопедия суеверий*. Москва, 1997.
- ЭССЯ — *Этимологический словарь славянских языков*. Под ред. О. Н. Трубачева. Т. I —. Москва, 1974—.

«Samast kohast tulevad erinevad uudised» tüüpi vene paröömiade semantika mantiline komponent

Anželika Šteingold

Vahetevahel on arhailiste vene paröömiade sisevorm «ebaselge». Mõningad neist on seotud paganlike uskumuste ja kommetega. Artiklis püütakse selgitada arhailiste «Samast kohast tulevad erinevad uudised» tüüpi paröömiade kompleksi algset sisevormi. Need paröömiad omavad algset süntaksilist struktuuri ja leksikaalsemantilist sisu. Autori arutus algab järgmiste küsimuste püstitamisega: 1) millistest uudistest 'вестях' (речь 'jutt, kõne', басня 'valm') siin räägitakse? 2) miks

uudised kostuvad sõimest (ясли), saunast (баня), põõsast (куст)? 3) kes on nende juttude subjekt? Antud püsivate väljendite süntaktiliste ja leksikaalsete elementide analüüsi tulemusel jõuab autor järeldusele, et lekseemid *вести*, *басни*, *печи*, mis täidavad süntagmas aluse positsiooni, tähendavad ennustamise tulemust, s. t. nad omavad ettekuulutuse semantikat. Kohamääruse positsioonil asuvateks osutunud lekseemide (*место*, *ясли*, *баня*, *куст*) uurimine näitab, et kõik need nimisõnad viitavad tumedate jõudude valdustele, mis traditsiooniliselt esinevad slaavlastel ennustamise kohtadena. *Juttude* subjektiks osutub kurivaim, kes valdab kõigeteadmist ja on võimeline tulevikku ennustama. Autori poolt rekonstrueeritud võtme-paröömia algne tähendus on järgmine: «Sama oraakel ei anna kunagi samasuguseid ennustusi».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ СЛАВИСТОВ (МКС)

РУКОВОДСТВО МКС

Президент (председатель) акад. Милан Ѓурчинов/ Гюрчинов
Македонска академија на науките и уметностите
Македонски славистички комитет
п. факс 428, 1000 Скопје, Република Македонија
tel. + 389 (0) 2 311 42 00; fax + 389 (0) 2 311 59 03;
e-mail milgiurc@msk.edu.mk, milgiurc@manu.edu.mk

Заместитель президента проф. д-р Трајко Стаматоски
ул. Капиштец бр. 11, 1000 Скопје, Р. Македонија

Генеральный секретарь проф. д-р Димитрија Ристески
Филолошки факултет «Блаже Конески» – Скопје
Бул. Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје, Р. Македонија
e-mail dristeski@msk.edu.mk, dristeski@flf.ukim.edu.mk

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ СЛАВИСТОВ

Австралия и Новая Зеландия: Dr John McNair
Senior Lecturer in Russian and Convenor of the Russian Program, School
of Languages and Comparative Cultural Studies University of Queens-
land
Qld. 4072, CRICOS provider number 00025B
tel. (07) 3365 3090; fax (07) 3365 6799; e-mail russian@uq.edu.au

Австрия: Prof. Dr. Gerhard Neweklowsky
Emil Mendegasse 15, A-9073 Klagenfurt, Österreich
tel. + 43 463 281813; e-mail gerhard.neweklowsky@univie.ac.at

Белоруссия: проф. др. Аляксандр Лукашанец
Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі, Беларускі камітет славістаў
220072 Мінск, прасп. Ф. Скарыны, 66, Беларусь
tel. 375 17 215 20 74; fax. 375 17 239 31 63; e-mail alukashanets@tut.by

Бельгия: Prof. Francis Thomson
Association des Slavisants de Belgique
Avenue A. Bechet 3, 1950 Kraainem, Belgique
tel. 00-32-2-767.37.46.; e-mail francis.thomson@ua.ac.be

Болгария: проф. Тодор Бояджиев
Българска академия на науките, Български национален комитет на славистите
Бул. Шипченски проход 52, бл. 17, София, България
tel. (00359 2) 979 29 90; fax (00359 2) 971 70 56;
e-mail director@ilit.bas.bg, tinka@ilit.bas.bg

Босния и Герцеговина: dr. Naila Valjevac
Institut za jezik
ul. Hasana Kikića 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
e-mail insjezik@hih.net.ba

Великобритания: Dr. Catherine MacRobert
Lady Margaret Hall, Oxford, OX2 6QA, Great Britain
e-mail catherine.macrobert@lmh.ox.ac.uk

Венгрия: prof. István Nyomárkay
Nemzetközi Szlavisztikai Komité, Magyar Nemzeti Bizottsága
1052 Budapest, Piarista köz 1, Magyarország
tel./fax 2-663-342; e-mail hollasati@yahoo.de

Германия: Prof. Dr. Karl Gutschmidt
Hackelberger Ring 10, 13055 Berlin, Deutschland
tel./fax 0049 3098638205; e-mail karl.i.gutschmidt@gmx.de

Германия (Лужица): Prof. Dietrich Scholze-Šořta
Serbski institut z. t.
Dwornišćowa/ Bahnhofstraße 6, D-02625 Budyšin/ Bautzen, Deutschland
tel. (0 3591) 49-72-0; fax (0 3591) 49 72 14;
e-mail ds@serbski-institut.de

Греция: I. Ch. Tarnanidis

Emeritus Professor A.U.Th., Hellenic Association For Slavic Studies
Akakias 26, 57013 Thessaloniki, Greece
e-mail tarna@theo.auth.gr

Дания: Prof. Jens Norgard-Sorensen

Department of East European Studies, University of Copenhagen
Snorresgade 17-19, 2300 Copenhagen S, Denmark
tel. + 45 35 32 85 35; fax. + 45 35 32 85 32; e-mail jns@hum.ku.dk

Израиль: Prof. Wolf Moskovich

Israeli Committee of Slavists
P.O.Box 7823, Jerusalem, 91078, Israel
fax/phone + 972 256 34073; e-mail wmoskovich@gmail.com

Индия: Prof. Abhai Maurya

Department of Slavonic and Fino-Ugrian Studies, University of Delhi,
South Campus Benito Juarez Road, New Delhi 110021, India
fax. + 91 11 688 64 27

Испания: prof. Rafael Guzman Tírado

C/ Maestro Cebrián, Edif. Burdeos Esc. 4 § 2 § A, Granada 18003,
España
e-mail rguzman@ugr.es

Италия: Prof. Stefano Garzonio

Associazione Italiana degli Slavisti, Dipartimento di Linguistica, Univer-
sità di Pisa
Via Della Faggiola, 2, I-56126 Pisa, Italia
tel. 050-553089; fax 050-553089; e-mail garzonio@ling.unipi.it

Казахстан: проф. Элеонора Д. Сулейменова

Ул. 3. Шашкина, 96, кв. 13, Алма-Ата 480090, Казахстан
e-mail esuleim@hotmail.com

Канада: Prof. Nicholas G. Žekulin

Department of Germanic & Slavic Studies, The University of Calgary
Calgary Alberta, T2N1N4, Canada
tel. (1 403) 220 3992; fax (1 403) 284 3810; e-mail zekulin@ucalgary.ca

Литва: prof. Sergejus TEMČINAS

Vilnius University, Department of Slavic Philology

Universiteto 5, LT-2734 Vilnius, Lietuva
e-mail sergeius.temcinas@flf.vu.lt

Македонија: акад. Милан ЃУРЧИНОВ
Македонска академија на науките и уметностите, Македонски
славистички комитет
Р.О.В. 428, 1000 Скопје, Р. Македонија
tel. + 389 (0) 2 311 42 00; fax + 389 (0) 2 311 59 03; e-mail
milgiurc@msk.edu.mk

Молдавија: prof. Silviu BEREJAN
Academia de Stiințe a Republicii Moldova, Sectia de Stiințe Umanistice
27 7612 Chisinau, bd. Stefan cel Mare 1, Moldova
tel. 26 40 36, 26 21 07

Нидерланды: prof. Cecilia Odé
International Institute for Asian Studies
Nonnensteeg 1-3, 2311 VJ Leiden, Nederland
phone + 31-71-5274154; fax + 31-71-5274162;
e-mail c.ode@uva.nl

Норвегия: prof. dr. Jan Ivar Bjornflaten
Department of literature, area studies and european languages
Box 1009 Blindern, N-0315 Oslo, Norway
tel. + 47-22 85 67 37; fax + 47-22 85 41 40; mobile + 47-901261 1;
e-mail j.i.bjornflaten@east.uio.no

Польша: prof. dr Lucjan Suchanek
Polska Akademia Nauk, Wydział I Nauk Społecznych, Komitet Słowa-
noznanstwa PAN skrytka pocztowa 24, PL-00901 Warszawa, Polska
e-mail l.suchanek@chello.pl

Россия: проф. Александр Молдован
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН
119 019 Москва, Волхонка, 18/2, Россия
tel. (7-0 95) 202 65 40; fax (7-0 95) 291 23 17;
e-mail alexandr.moldovan@gmail.ru

Румыния: Prof. Dr. Constantin Geambașu
Katedra za slavistika, Universitatea din București, Romania
e-mail kgeambasu@yahoo.com

Сербия: проф. Слободан Ж. Марковић
 Филолошки факултет
 11000 Београд, Студентски трг 3, Србија
 tel. + 381 (11) 683 751; fax + 381 (11) 451 289;
 e-mail fonljupo@eunet.yu

Словакия: doc. Ph Dr. Peter Zeňuch
 Slovenský komitet slavistov
 Panska 26, SK-813 64 Bratislava 1, Slovensko/ Slovakia
 tel. + 421/2/54418359; tel./fax + 421/2/54418360;
 e-mail peter.zenuch@savba.sk

Словения: prof. Alenka Šivic-Dular
 Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 Aškerčeva cesta 2, p.p. 580, 1001 Ljubljana, Slovenija
 tel. + 386 1 241 12 72; e-mail alenka.sivic@guest.arnes.si

Соединенные Штаты Америки: Prof. Michael S. Flier
 Department of Slavic Languages and Literatures, Harvard University
 Barker Center, 12 Quincy Street, Cambridge, MA 02138, USA
 tel. + 1-617 495-4065 (Slavic Department);
 fax + 1 617 945-2168 (priv.); e-mail flier@fas.harvard.edu

Украина: акад. Олексій Семенович Онищенко
 National Academy of Sciences of Ukraine,
 Volodymyrska street 54, 01601, Kyiv-1, Ukraine
 tel. + 38 044 525 81 04; fax/tel. + 38 044 239 67 30;
 e-mail dankoua@ukr.net

Финляндия: prof. Jouko Lindstedt
 Slavistiikan ja baltologian laitos
 PL 4 (Vuorikatu 5 B), 00014 Helisingin yliopisto, Suomi
 fax + 358-9-191 2 22974; e-mail jouko.lindstedt@helsinki.fi

Франция: prof. Antonia Bernard
 INALCO, 2 rue de Lille, 75343 Paris Cedex 07, France
 fax 00-33-149-26-42-99; e-mail antonia.bernard@inalco.fr

Хорватия: prof. Anica Nazor
 Staroslavenski institut
 Demetrova 11, 10000 Zagreb, Hrvatska
 tel. + 385-1-485 13 80; e-mail duerrigl@filolog.hfi.hr

Чехия: prof. Ph Dr. Jan Kořenský
 Palackého univerzita Olomouc, Český komitét slavistů
 Slovanský ústav AV ČR, Valentinská 1, Praha 1, 110 00, Česká Republi-
 ka
 e-mail korenskv@ujc.cas.cz

Швейцария: prof. Patrick Sériot
 Professeur ordinaire de linguistique slave, Directeur du CRECLECO
 Faculté des Lettres, Université de Lausanne, Anthropole, CH-1015 Lau-
 sanne
 tél. + 41 21 692 30 01; fax + 41 21 692 29 35;
 e-mail patrick.seriot@unil.ch

Швеция: prof. Per Ambrosiani
 Department of Modern Languages/ Russian, Umeå University
 SE-901 87 Umeå, Sverige
 phone +46 90 786 7640; fax +46 90 786 6023;
 e-mail per.ambrosiani@ryska.umu.se

Эстония: проф. др. Александр Дмитриевич Дуличенко
 Tartu Ülikool/ Тартуский университет, Кафедра славянской филоло-
 гии/ Slaavi filoloogia õppetool
 EE 50090 Tartu, Näituse 2-215, Estonia /Eesti
 tel. 372/7 375 351; fax 372/7 376 352;
 e-mail aleksd@list.ru, aleksander.dulitsenko@ut.ee

Япония: Prof. Jun-Ichi Sato
 Japanese Association of Slavists
 1-17-23-903 Kinuta, Satagaya-ku Tokyo, 157-0073, Japan
 tel. 03-3416-8077; fax 03-3416-7864; e-mail yuminkz@hkg.odn.ne.jp

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ МКС

William B. Edgerton
 1801 East Maxwell Lane, Bloomington, Indiana 47401, USA

Sante Graciotti
 Via A. da Sarteano 19, 00 126 Roma, Italia
 tel. 06 52350156

Hans Rothe

D-532229 Bonn, Giersbergstr. 29, Deutschland
fax + 49 228 486086

Slavomír Wollman

Český komitét slavistů

Valentinská 1, 110 00 Praha, Česká Republika
fax + 42 2 232 30 96; tel. + 42 2 232 30 96

Dean Worth

Bellino Drive, Pacific Palisades, California 90272, USA
tel. + 1 310 4591710; e-mail ibnzdsw@msv.oac.ucla.edu

Gheorghe Mihailă

Alea valea Prahovei 1A, Bloc 825, Scata 1, ap. 13, 77347 Bucuresti,
Romania

Janusz Siatkowski

Plac konstytucji 4 m. 8, 00-552 Warszawa, Polska
tel./fax + 48 22 629 09 14

Riccardo Picchio

Via dei Pini 23 B, 00040 Laghetto di Castel Gandolfo (RM), Italia

ЧЛЕНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ ЭСТОНИИ (НКСЭ)

По состоянию на конец 2007 г. в Национальный Комитет славистов Эстонии (НКСЭ) входило 42 человека. Ниже приводятся некоторые данные тех членов НКСЭ, которые этого пожелали.

Абисогомян Ирина Валерьевна

Magister artium (славянская филология), лектор чешского языка; кафедра славянской филологии, Тартуский университет
чешский язык, история чешского языка, история чешской лексикографии, сравнительно-сопоставительное языкознание, славянская этимология, история славянской филологии
e-mail harakas@mail.ru

Абисогомян Роман Альбертович

Magister artium (русская литература); кафедра русской литературы,
Тартуский университет
история русской эмиграции в Эстонии (1918–1940), история русской
литературы в эмиграции, семиотика и культурологи
e-mail ugedej@mail.ru

Алликметс Кира Павловна

кандидат педагогических наук, доцент-эмеритус; Центр язы-
ков, Тартуский университет
теория и практика составления учебных пособий, коммуникативное
поведение, тестирование по РКИ
e-mail kiira.allikmets@ut.ee;
тел. + 372/7421 825, mob. 53 445 870

Виссак Хелле Юхановна

кандидат педагогических наук, доцент (лектор), лекторат русского
языка, Центр языков, Тартуский университет
методика преподавания русского языка (обучение языку специаль-
ности)
e-mail hellevissak@hotmail.com; тел. + 372/53 472 861

Гришакова Марина Феофановна

доктор философии (PhD), старший научный сотрудник, кафедра ми-
ровой литературы, Тартуский университет
сравнительное литературоведение, теория литературы, семиотика
e-mail marina.grisakova@ut.ee

Дуличенко Александр Дмитриевич

доктор филологических наук, ординарный профессор, зав. кафедрой
славянской филологии, Тартуский университет
общее языкознание и общая теория языка, социолингвистика, этно-
лингвистика, интерлингвистика, цыганология, сравнительно-типоло-
гическое языкознание, славянское языкознание и славянская фило-
логия, история и структура славянских языков (русский, сербско-
хорватский, словенский и др.), славянские литературные микроязы-
ки, история языкознания и славистики
e-mail aleksd@list.ru, aleksander.dulitsenko@ut.ee;
тел. + 372/7 375 351 (паб.)

Дуличенко Людмила Васильевна

кандидат филологических наук, лектор русского и украинского языков, лекторат русского языка, Центр языков, Тартуский университет
современный русский язык, сравнительное исследование русского и украинского языков, методика преподавания языков, тестирование
e-mail liudmilla.dulitsenko@ut.ee

Евстратова Светлана Борисовна

кандидат педагогических наук, доцент, кафедра русского языка, Тартуский университет
этнолингвистика, контрастивная грамматика, методика преподавания русского языка как иностранного
e-mail svetlana.ievstratova@ut.ee; тел. + 372/58 197 429

Исаков Сергей Геннадиевич

доктор филологических наук, профессор-эмеритус, кафедра славянской филологии, Тартуский университет
эстонско-славянские культурные и литературные связи
e-mail issakov@hot.ee; тел. + 372/7 427 191

Казури Маре Вальтеровна

кандидат филологических наук, главный специалист, Государственный экзаменационный и квалификационный центр (Таллин)
языковое тестирование
e-mail mare.kasuri@ekk.edu.ee

Киселева Любовь Николаевна

кандидат филологических наук, ординарный профессор, зав. кафедрой русской литературы, Тартуский университет
история русской литературы и культуры конца XVIII – первой половины XIX вв., имперская идеология, становление национального самосознания, творчество В. А. Жуковского, наследие Ю. М. Лотмана
e-mail liubov.kisseliovaa@ut.ee

Костанди Елизавета Илмаровна

кандидат филологических наук, доцент, кафедра русского языка, Тартуский университет
синтаксис предложения и текста, языковая прагматика, сопоставительная грамматика русского и эстонского языков
e-mail jelizaveta.kostandi@mail.ee; тел. + 372/53 801 164

Кудрявцев Юрий Сергеевич

доктор философии (PhD), кандидат филологических наук, доцент,
кафедра русского языка, Тартуский университет
русская историческая фонология и морфонология, диахронические
универсалии, контрастивная фонетика, русская этимология
e-mail juri.kudriavtsev@ut.ee; тел. + 372/7375 352 (раб.)

Кузьмина Ольга Владимировна

Magister artium (русская филология), преподаватель РКИ, Центр язы-
ков, Таллинская Высшая техническая школа
русский язык как иностранный (как РКИ общего владения, так и
РКИ в сфере профессионального общения), рекламный текст
e-mail armas99@mail.ru, тел. + 372/58 020 671

Кюльмоя Ирина Павловна

кандидат филологических наук, ординарный профессор, зав. кафед-
рой русского языка, Тартуский университет
функциональная грамматика русского языка, русские северо-запад-
ные говоры, в т. ч. говоры староверов Эстонии; языковые контакты,
контрастивная грамматика русского и эстонского языков; русский
язык в рассеянии
e-mail irina.kulmoja@ut.ee

Нечунаева Наталья Алексеевна

доктор философии по русской филологии, доцент, Центр языков,
Академия МВД Эстонии
история русского языка, русский язык как родной, русский язык как
иностранный
e-mail natalia.netsunaieva@sisekaitse.ee

Паликова Оксана Николаевна

PhD, научный сотрудник, кафедра русского языка, Тартуский уни-
верситет
двуязычная лексикография, словообразование и семантика, говор
русских староверов Эстонии
e-mail oksana.palikova@ut.ee, тел. + 372/53 44 63 60

Рагрина Светлана Ивановна

Доктор философии (славянские языки и культура), Эстонский ин-
ститут славистики, член правления НКО

текстология церковнославянских и старославянских памятников,
стилистика, РКИ
e-mail ragrina@hotmail.ru

Романчик Ромаш-Эрленд

Magister artium (славянская филология), ассистент, кафедра славянской филологии, Тартуский университет
польский и кашубский языки, сравнительно-сопоставительное языкознание, этимология, семантика
e-mail vorikr@mail.ru

Табакова Ирина Юрьевна

Magister artium (славянская филология), докторант-научный сотрудник, кафедра славянской филологии, Тартуский университет
фразеология, словообразование, синтаксис, аббревиация польского и др. языков
e-mail Irina.Tabakova@ut.ee

Шор Татьяна Кузьминична

Кандидат филологических наук, научный сотрудник Эстонского исторического архива (г. Тарту)
русская и славянская филология конца XIX – начала XX вв., история Тартуского университета, источниковедение истории национальных меньшинств в Эстонской Республике
e-mail Tatiana.Shor@ra.ee; тел. + 372/7 423 415 (дом.), + 372/7 387 519 (раб.)

Штейнгольд Анжелика Вадимовна

PhD, лектор, научный сотрудник, кафедра русского языка, Тартуский университет
русская этимология, этнолингвистика, паремиология
e-mail steingold@mail.ru, тел. + 372/7 441 936

Щаднева Валентина Петровна

доктор философии (PhD), старший научный сотрудник, кафедра русского языка, Тартуский университет
функциональная грамматика, семантика и прагматика, культура русской речи, язык диаспоры, сопоставительная грамматика русского и эстонского языков, лингвистические основы перевода
e-mail valentina.schadneva@ut.ee, veeradm48@yahoo.com;
тел. + 372/7 375 352 (раб.)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМИССИИ ПРИ МКС

Координатор комиссий МКС prof. dr Stanisław Gajda
Uniwersytet Opolski
Ul. Oleska 48, PL-45052 Opole, Polska
e-mail stgajda@uni.opole.pl

Комиссия по фольклору: Љубинко Раденковић; Србија,
rliubink@eunet.yu

Комиссия по славянской ономастике: dr Ewa Rzetelska-Feleszko;
Polska, tel./fax 00 48 22 883 25 62

Комиссия по компьютерной обработке древних рукописей и старопечатных книг:
prof. David Birnbaum; USA, dibpitt+@pitt.edu; Kiril Ribarov,
ribarov@ufal.mff.cuni.cz

Комиссия по переводу: Piotr Fast; Polska, fast@us.edu.pl

Комиссия по этнолингвистике: prof. dr Jerzy Bartmiński; Polska,
jbartmin@klio.umcs.lublin.pl

Комиссия по сравнительному изучению литератур: Halina Janaszek-Ivaničková; Polska, hajoti@wp.pl

Комиссия по славянским языковым контактам: Prof. Dr. Gerd Hentschel; Deutschland, hentschel@nwn.de,
hentschel@hrzl.uni-oldenburg.de, gerd_hentschel@web.de

Комиссия по славянскому этнологическому атласу: Mojmir Benža; Slovensko/ Slovakia, moimir.benza@stonline.sk

Комиссия по славянской стилистике и поэтике: prof. Ivo Pospíšil; Česká Republika,
ivo.pospisil@phil.muni.cz

Комиссия по грамматической структуре славянских языков: Jarmila Panevová; Česká Republika, panevova@ufal.mff.cuni.cz,
uhlirova@uic.cas.cz

Комиссия по издательству и текстологии: Adam Kapriński; Polska,
ibadlit@ibl.waw.pl

Комиссия по археологии: Peter Šalkovský; Slovensko/ Slovakia,
peter.salkovskv@savba.sk, nrausalk@savba.sk

Комиссия по новейшей истории славян: Irena Stawowy-Kawka; Polska, sakawka@cyf-kr.edu.pl

Комиссия по лингвистической библиографии: dr Zofia Rudnik-Karwatowa; Polska, zkarwat@ifispan.waw.pl

Комиссия по лексикологии и лексикографии: Маргарита И. Чернышева; Россия, tatyana@bogat.mks.ru

Комиссия по изучению Библии: проф. др. Анатолий А. Алексеев; Россия, alex@bsr.spb.ru

Комиссия по славянским литературным языкам: Jan Bosák; Slovensko/ Slovakia, janob@juls.savba.sk

Комиссия по церковнославянским словарям: Zdenka Ribarová

Комиссия по истории славистики: prof. Giovanna Brogi Bercoff; Italia, gbrogi@mailserver.unimi.it

Комиссия по словообразованию: Игорь С. Улуханов; Россия

Комиссия по славянской фразеологии: проф. др. Валерий Михайлович Мокиенко; Россия, mokienko@uni-greifswald.de, mokienko40@mail.ru

Комиссия по фонетике и фонологии славянских языков: Ján Šabol; Slovensko/ Slovakia, philfac@unipo.sk

Комиссия по этимологии: Александар Лома; Србија, etvmloma@bib.sanu.ac.yu, aloma@bg.ac.yu

Комиссия по общеславянскому лингвистическому атласу: Татьяна Вендина; Россия, fax 007 95 938 00 96

Комиссия по исследованию балтославянских отношений: Prof. Dr. Rainer Eckert; Deutschland, rainer_eckert@gmx.net

Комиссия по балканской лингвистике: Helmut Schaller; Deutschland, slawphil@mailers.uni-marburg.de, schalleh@staff.uni-marburg.de

Комиссия по издательству произведений Йосефа Добровского: Jiří Fiala, Katedra bohemistiky FF UP Olomouc, Česká Republika

Комиссия по библиологии: Krzysztof Migoń; Polska, migon@kn.pl

Комиссия по аспектологии: Људмил Спасов; Р. Македонија, ljspasov@ukim.edu.mk

В серии *Slavica Tartuensia* вышли:

- I. Исследования по истории славянского языкознания. Посвящается 150-летию отечественного университетского славяноведения. (УЗ ТартуГУ. Вып. 710). Отв. ред. А. Д. Дуличенко. Тарту, 1985, 144 с.
- II. Славянские литературные языки и историография славяноведения. (УЗ ТартуГУ. Вып. 811). Отв. ред. А. Д. Дуличенко. Тарту, 1988, 171 с.
- III. Славяно-славянские и славяно-финно-угорские сопоставления/ Slovenko-slovenska i slovensko-ugrofinska poređenja. (УЗ ТартуГУ. Вып. 932). Отв. редакторы А. Д. Дуличенко и Б. Тошович. Tartu, 1991, 206 с.
- IV. Языки малые и большие... In memoriam acad. Nikita I. Tolstoi. Отв. ред. А. Д. Дуличенко. Tartu, 1998, 317 с.
- V. 200 лет русско-славянской филологии в Тарту. Отв. ред. А. Д. Дуличенко. Tartu, 2003, 430 с.
- VI. Славянские языки: от прошлого к настоящему. К XIII Международному съезду славистов (Любляна, 15–21.08.2003). Отв. ред. А. Д. Дуличенко. Tartu, 2003, 337 с.
- VII. Славянские литературные микроязыки и языковые контакты. Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Международном Комитете славистов, Тарту, 15–17 сентября 2005 г. Под ред. А. Д. Дуличенко и С. Густавссона (при участии Дж. Дана). Тарту, 2006, 412 с.
- VIII. Славянское языкознание: покидая XX век... К XIV Международному съезду славистов (Охрид, 10–16.09.2008) Отв. ред. А. Д. Дуличенко. Tartu, 2008, 405 с.

